М.Е.
САЛТЫКОВ-
ЩЕДРИН

16
(II)

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В двадцати томах



Издание осуществляется
совместно с Институтом русской литературы
(Пушкинский дом) Академии наук СССР

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1974

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том шестнадцатый

КНИГА ВТОРАЯ

*

МЕЛОЧИ ЖИЗНИ

1886—1887

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1974

Р 1
С16

Подготовка текста *В. Э. Бограда*

Примечания
К. И. Тюнькина

Оформление художника
И. ЖИХАРЕВА

С $\frac{70301-323}{028(01)-74}$ Подп. изд.



МЕЛОЧИ ЖИЗНИ

ВВЕДЕНИЕ

I

Всякий истый петербуржец на три месяца в год обрекает себя на нечеловеческое житье. Конечно, я говорю не о «барах», которые разъезжаются по собственным деревням и за границу, а о простых смертных, которые расползаются по дачам, потому что за зиму Петербург их задавил. Кто поэкономнее, тот забирает из задних комнат мебелишку и старую, разнокалиберную посуду, увязывает на воза̀, садит сверху кухарку и едет. Другие нанимают дачи с мебелью и посудою и находят обломки и черепки. Постелей нет, или такие, что привыкать надо. Вместо простора — теснота, вместо тишины — судаченье соседей, вместо воздуха — сырость, вместо восстановляющих солнечных лучей — туман и дожди.

Именно так было поступлено и со мной, больным, почти умирающим. Вместо того чтобы везти меня за границу, куда, впрочем, я и сам не чаял доехать, повезли меня в Финляндию. Дача — на берегу озера, которое во время ветра невыносимо гудит, а в прочее время разливает окрест приятную сырость. Домик маленький, но веселенький, мебель сносная, но о зеркале и в помине нет. Поэтому утром я наливаю в рукомойник воды и причесываюсь над ним. Простору довольно, и большой сад для прогулок.

Болен я, могу без хвастовства сказать, невыносимо. Недуг впился в меня всеми когтями и не выпускает из них. Руки и ноги дрожат, в голове — целодневное гудение, по всему организму пробегает судорога. Несмотря на врачебную помощь, изможденное тело не может ничего противопоставить недугу. Ночи провожу в тревожном сне, пишу редко и с большим мученьем, читать не могу вовсе и даже — слышать чтение. По временам самый голос человеческий мне нестерпим.

Что это такое, как не мучительное и ежеминутное умирание, которому, по горькой насмешке судьбы, нет конца?

Знает ли читатель, что́ такое значит «пять минут»? Конечно, знает. Нет того русского человека, который многократно

не отсчитал бы эти «пять минут», сидя в приемной, в ожидании нужного человека. Но вот наконец нужный человек появился в дверях,— сказал мимоходом два-три слова,— и всё забыто. Теперь помножьте эти пять минут на часы, на сутки, месяцы, на год,— что это такое? Сидишь и смотришь, как одна минута ползет за другой. Вот наконец доползла; начинаются следующие пять минут... ужасно! Нечто подобное должен испытать сидящий в одиночном заключении...

Что привело меня к этому положению? — на этот вопрос не обинуясь и уверенно отвечаю: писательство. Ах, это писательское ремесло! Это не только мука, но целый душевный ад. Капля по капле сочится писательская кровь, прежде нежели попадет под печатный станок. Чего со мною не делали! И вырезывали, и урезывали, и перетолковывали, и целиком запрещали, и всенародно объявляли, что я — вредный, вредный, вредный. Трудно поверить, а в провинции власть имущие делали гримасы, встретив где-нибудь мою книгу. «Каким образом этот «вредный» писатель попал сюда?» — вот вопрос, который считался самым натуральным относительно моих сочинений, встреченных где-нибудь в библиотеке или в клубе. Один газетчик, которому я немало помог своим сотрудничеством при начале его журнального поприща, теперь прямо называет меня не только вредным, но *паскудным* писателем. Мало того: в родном городе некто пожертвовал в местный музей мой бюст. Стоял-стоял этот бюст год или два благополучно — и вдруг его куда-то вынесли. Оказалось, что я — вредный...

Надеюсь, что этого достаточно для самой богатой надгробной эпитафии...

Итак, я провел лето в Финляндии. Финляндия — это та самая страна, где, по свидетельству Пушкина, жила злая волшебница Наина и добрый волшебник Финн. Финн долго боролся с Наиной, но потом махнул рукой и уехал в Швейцарию доить симментальских коров. Наина осталась одна, и сколько она делает всяких пакостей своему отечеству — этого ни в сказке сказать, ни пером описать. Наводит тучи, из которых, в продолжение целых месяцев, льют дожди; наполняет страну ветрами, наворачивает камни на камни, зарывает деревни на восемь месяцев в снега и, наконец, в последнее время выслала сюда тьму-тьмущую русских пионеров.

Здешние русские пионеры — люди интеллигенции по преимуществу. Провозят из Петербурга чай, сахар, апельсины, табак и, миновавши териокскую таможню, крестятся и поверяют друг другу:

— Вы что провезли?

— Папиросы для мужа.

— А я — целую голову сахару... Угадайте — где она у меня была?

Шепот.

— Ах, проказница!

Я не имею сведений, как идет дело в глубине Финляндии, проникли ли и туда обрусители, но, начиная от Териок и Выборга, верст на двадцать по побережью Финского залива, нет того ничтожного озера, кругом которого не засели бы русские землевладельцы. И все из всех сил стараются. Деньги бросают пригоршнями, несут явные и значительные убытки, и в конце концов все-таки только и слышишь, что то один, то другой мечтают о продаже своих дач. Правда, что на место убывающих являются новые заселенцы; но выйдет ли когда-нибудь из этого толк — трудно сказать. Уходит масса денег — вот всё, что до сих пор ясно. И всё — благодаря пущенным слухам о необыкновенной живительности здешнего воздуха,— репутация, далеко не на всех оправдывающаяся.

Мне кажется, что если бы лет сто тому назад (тогда и «разговаривать» было легче) пустили сюда русских старообрядцев и дали им полную свободу относительно богослужения, русское дело, вообще на всех окраинах, шло бы толковее. Старообрядцы — это цвет русского простолюдья. Они трудолюбивы, предприимчивы, трезвы, живут союзно и, что всего важнее, имеют замечательную способность к пропаганде. В настоящее время они имели бы здесь массу прозелитов, как имеют их среди зырян, пермяков и прочих инородцев отдаленного севера. Укрываясь от преследований в глубь лесов, несмотря на «выгонки», они сумели покорить сердца полудиких людей и сделать их почти солидарными с собою...

Но, вместо того чтобы воспользоваться их колонизаторскими способностями, их били кнутом, рвали ноздри, урезывали языки и вызвали (так сказать, создали) ужасный обряд самосожжения.

За это, даже на том недалеком финском побережье, где я живу, о русском языке между финнами и слыхом не слыхать. А новейшие русские колонизаторы выучили их только трем словам: «риби» (грибы), «ривенник» (гривенник) и «двуривенник». Тем не менее в селе Новая-Кирка есть финны из толстосумов (торговцы), которые говорят по-русски довольно внятно.

Финны живут разрозненно и селятся починками в два-три дома. Есть, однако, большое село — Новая-Кирка, которое, впрочем, составляет тоже груду починков. Народ трудолюбив и любит страстно свою землю. Работает неутомимо, хотя частые непогоды мешают земледельческому труду. Землю удо-

бряют исправно и держат достаточно скота, в особенности овец и свиней. Но коровы здешние малорослы, потому что в Финляндию, по какому-то недоразумению, безусловно запрещено ввозить скот из других стран, а следовательно, и совершенствовать местную породу трудно. Нынешний год все уродилось прекрасно, но с полей убрать было нелегко: целый месяц лили дожди. Мастеровых кругом совсем нет, кроме одного пекаря, который продает вразнос выборгские крендели. Отхожих промыслов тоже нет, а стало быть, нет и бывалых людей. Финн замуровался в своей деревне, зарылся в снегах на две трети года и не двигается ни направо, ни налево. Есть, впрочем, в нашем соседстве два-три хозяина, которые скупают бруснику и ездят в сентябре в Петербург продавать ее.

О честности финской составилась провербиальная репутация, но нынче и в ней стали сомневаться. По крайней мере, русских пионеров они обманывают охотно, а нередко даже и поворовывают. В петербургских процессах о воровствах слишком часто стали попадать финские имена — стало быть, способность есть. Защитники Финляндии (из русских же) удостоверяют, что финнов научили воровать проникшие сюда вместе с пионерами русские рабочие — но ведь клеветать на невинных легко!

Есть у финнов и способность к пьянству, хотя вина здесь совсем нет, за редким исключением корчемства, строго преследуемого. Но, дорвавшись до Петербурга, финн напивается до самозабвения, теряет деньги, лошадь, сбрую и возвращается домой гол как сокол.

Талантливы ли финны — сказать не умею. Кажется, скорее, что нет, потому что у громадного большинства их вы видите в золотушных глазах только недоумение. Да и о выдающихся людях не слыхать. Если бы что-нибудь было в запасе, все-таки кто-нибудь да создал бы себе известность.

О финских песнях знаю мало. Мальчики-пастухи что-то поют, но тоскливое и всё на один и тот же мотив. Может быть, это такие же песни, как у их соплеменников, вотяков, которые, увидев забор, поют (вотяки, по крайней мере, русским языком щеголяют): «Ах, забéр!», увидав корову — поют: «Ах, корова!» Впрочем, одну финскую песнь мне перевели. Вот она:

Давидовой корове бог послал теленка,
        Ах, теленка!
А на другой год она принесла другого теленка,
        Ах, другого!
А на третий год принесла третьего теленка,
        Ах, третьего!
Когда принесла трех телят, то пастор узнал об этом,
        Ах, узнал!

И сказал Давиду: ты, Давид, забыл своего пастора,
Ах, забыл!
И за это увел к себе самого большого теленка,
Ах, самого большого!
А Давид остался только с двумя телятами,
Ах, с двумя!

Я, впрочем, не ручаюсь за верность перевода. Может быть, даже самый текст вымышлен, но, во всяком случае, он близок к «перлу создания» и характеризует роль, которую играют здесь пасторы.

О науке финской я ничего не знаю; ей отгорожено место в Гельсингфорсе, а что́ она там делает — неизвестно.

Исправников и становых здесь днем с огнем не сыщешь. Но паспорты у русских дачников с некоторого времени начали требовать.

. . . .

Но обращаюсь к «мелочам жизни».

Напрасно пренебрегают ими: в основе современной жизни лежит почти исключительно мелочь. Испуг и недоумение нависли над всею Европой; а что же такое испуг, как не сцепление обидных и деморализующих мелочей?

Вот уже сколько лет сряду, как каникулярное время посвящается преимущественно распространению испугов. Съезжаются, совещаются, пьют «молчаливые» тосты. «Граф Кальноки был с визитом у князя Бисмарка, а через полчаса князь Бисмарк отдал ему визит»; «граф Кальноки приехал в Варцин, куда ожидали также представителя от Италии»,— вот что читаешь в газетах. Король Милан тоже ездит, кланяется и пользуется «сердечным» приемом. Даже черногорский князь удосужился и съездил в Вену, где тоже был «сердечно» принят.

Что все это означает, как не фабрикацию испугов в умах и без того взбудораженных простецов? Зачем это понадобилось? с какого права признано необходимым, чтобы Сербия, Болгария, Босния не смели устроиваться по-своему, а непременно при вмешательстве Австрии? С какой стати Германия берется помогать Австрии в этом деле? Почему допускается вопиющая несправедливость к выгоде сильного и в ущерб слабому? Зачем нужно держать в страхе соседей?

Добрые гении пролагают железные пути, изобретают телеграфы, прорывают громадные каналы, мечтают о воздухоплавании, одним словом, делают всё, чтоб смягчить международную рознь; злые, напротив, употребляют все усилия, чтобы обострить эту рознь. Политиканство давит успехи науки и мысли и самые существенные победы последних умеет обращать исключительно в свою пользу.

Потом: «немецкие фабриканты совсем завладели Лодзем»; «немецкие офицеры живут в Смоленске»; «немецкие офицеры генерального штаба появились у Троицы-Сергия, изучают русский язык и ярославское шоссе, собирают статистические сведения, делают съемки» и т. д. Что им понадобилось? Ужели они мечтают, что германское знамя появится на ярославском шоссе и село Братовщина будет примежевано к германской империи?

Вот какие постыдные мелочи наполняют современную жизнь...

Это по части немцев; а по части россиян еще лучше.

«Фабриканты и заводчики рассчитываются с рабочими купонами девяностых годов...»

«Фабриканты и заводчики ходатайствуют об увеличении ввозных пошлин...»

«Фирма X проникла в земство и распоряжается по произволу выборами мировых судей...»

«Фирма Z скупила чуть ли не целую губернию...»

«Леса наши гибнут, реки мелеют...»

«Крестьяне год от году беднеют, помещики также; а рядом с этим всеобщим обеднением вырастают миллионы, сосредоточенные в немногих руках».

Это уж мелочи горькие, но покуда никто их еще не пугается; а когда наступит очередь для испуга,— может быть, дело будет уже непоправимо.

Все мы каждодневно читаем эти известия, но едва ли многим приходит на мысль спросить себя: в силу чего же живет современный человек? и каким образом не входит он в идиотизм от испуга?

Еще одна характеристическая мелочь. В последнее время многие огульно обвиняли нашу интеллигенцию во всех неурядицах и неустройствах и предлагали против нее поистине неслыханные, по своей нелепости, меры. В числе их немалую роль играл самосуд живорезов московского Охотного ряда, а некоторые не отступали даже перед топлением в Москве-реке. Разумеется, все это было говорено на ветер, но все-таки дает понятие о степени злопыхательства. И никому не пришло на мысль сказать во всеуслышание хотя бы умеренное слово в защиту интеллигенции. Хотя бы то, например, что единичные факты следует судить единично же; что обобщения в подобных случаях неуместны и вредны; что, наконец, если и можно забить интеллигенцию в грязь — что же тогда останется?

Не будь интеллигенции, мы не имели бы ни понятия о чести, ни веры в убеждения, ни даже представления о че-

ловеческом образе. Остались бы «чумазые» с их исконным стремлением расщипать общественный карман до последней нитки.

Идет чумазый, идет! Я не раз говорил это и теперь повторяю: идет, и даже уже пришел! Идет с фальшивою мерою, с фальшивым аршином и с неутолимою алчностью глотать, глотать, глотать...

Интеллигенция наша ничего не противопоставит ему, ибо она ниоткуда не защищена и гибнет беспомощно, как былие в поле...

Скучно и тяжело смотреть, как умы, вместо того чтобы питаться здоровою пищею, постепенно заполоняются испугом. Испуг до того въелся в нас, что мы даже совсем не сознаем его. Это уже не явление, приходящее извне, а вторая природа. Мы перечитываем всевозможные загадочности и безусловно верим, что таинственная их сила управляет миром и что судьбы истории всецело отданы им во власть. Но еще мучительнее думать, что этому мыслительному плену не предвидится конца, потому что и подрастающее поколение, прислушиваясь к непрерывному голошению старших, незаметно заражается им. Простую мелочь, которая исчезла бы от одного дуновения здорового, освежающего воздуха, мы сумели превратить в мелочь изнуряющую.

Сто́ит прислушаться к говору невольных пленников, возвращающихся из душного Петербурга на дачи, чтобы убедиться, до какой степени всеми овладела вера в загадочность будущего.

— Слышали? — раздается в вагонах,— граф Кальноки был с визитом у Бисмарка?

— А через полчаса князь Бисмарк отдал визит Кальноки, и опять оба имели продолжительное совещание...

— И при сем присутствовал итальянский министр Лампопо́...

— Ну, уж и Лампопо́?..

— Все они там Лампопо́... всех бы их...

— А слышали вы, что прусские офицеры у Сергия-Троицы живмя живут?

— Зачем их нелегкая принесла?

— Утереть бы им нос, этим паршивцам немцам,— вот и вся недолга́...

— То-то, что платков нет...

— А слышали вы, как купец Z с рабочими купонами девяностого года рассчитался?

— Вот так с праздником сделал!

— Крестьяне, разумеется, жаловаться; однако...

— А слышали вы, как купец X всё земство в своем уезде своими людьми заполонил?

— Неужто? а я еще его дворовым мальчиком помню...

— Да, батюшка, нынче хамы — сила!

— Станция Териоки! — провозглашает кондуктор.

Пленники вскакивают с мест и разбегаются по дачам. А на даче мать семейства, встречая своего главу, сообщает:

— А ведь граф-то Кальноки... каков! Вот «наши» так не умеют... У Троицы, сказывают, немца видели...

— Ну, ну, ладно, матушка! Какие такие там «наши»! Тоже... туда же... Вели-ка подавать суп, и будем обедать!

II

А с Баттенбергом творится что-то неладное. Его начали «возить». Сначала увезли, потом опять привезли. С какою целью? для чего лишний расход? чего смотрел майор Панов?

Бедный майор Панов! Сдается мне, что долго не быть ему подполковником. Разве новый Баттенберг приедет и напишет: «В воздаяние ваших заслуг по увозу Баттенберга 1-го жалую вас...» Да и тут навряд ли отдадут ему старшинство, потому что ведь эти Баттенберги подозрительны. Скажет: одного уж увез,— пожалуй, увезет и другого...

И зачем Баттенберг воротился?! Пожил в княжеском конаке, пожуировал — и будет. Наконец совсем было уехал — вдруг телеграмма: «Возвращайтесь! нашли надежную прислугу». И он возвратился. Даже не спросил себя: достаточно ли надежна прислуга и долго ли ему придется опять пожуировать. Жить бы да поживать ему где-нибудь в Касселе или Гомбурге, на хлебах у нескольких монархов —

А он, мятежный, ищет бури,
Как будто в бурях есть покой!..

Вот где нужно искать действительных космополитов: в среде Баттенбергов, Меренбергов и прочих штаб- и обер-офицеров прусской армии, которых обездолил князь Бисмарк. Рыщут по белу свету, теплых местечек подыскивают. Слушайте! ведь он, этот Баттенберг, так и говорит: «Болгария — любезное наше отечество!» — и язык у него не заплелся, выговаривая это слово! Отечество! Каким родом очутилось оно для него в Болгарии, о которой он и во сне не видал? Вот уж именно: не было ни гроша — и вдруг алтын.

А болгары что? «Они с таким же восторгом приветствовали возвращение князя, с каким, за несколько дней перед

тем, встретили весть об его низложении». Вот что пишут в газетах. Скажите: ну, чем они плоше древних афинян? Только вот насчет аттической соли у них плоховато.

Конечно, Баттенберг может сказать: моему возвращению рукоплескали. Но таких ли рукоплесканий я был свидетелем в молодости! Приедешь, бывало, в Михайловский театр, да выйдет на сцену Луиза Майер в китайском костюме (водевиль «La fille de Dominique»), да запоет:

Je suis Tchinn-ka la blonde,
Esclave du Sultan,
Et je parcours le monde
En dansant, en chantant...[1] —

как весь театр Михайловский словно облютеет. «Bis! bis!» — зальются хором люди всех ведомств и всех оружий. Вот если бы эти рукоплескания слышал Баттенберг, он, наверное, сказал бы себе: теперь я знаю, как надо приобретать народную любовь!

И находятся еще антики, которые уверяют, что весь этот хлам история запишет на свои скрижали... Хороши будут скрижали! Нет, время такой истории уж прошло. Я уверен, что даже современные болгары скоро забудут о Баттенберговых проказах и вспомнят о них лишь тогда, когда его во второй раз увезут: «Ба! — скажут они,— да ведь это уж, кажется, во второй раз! Как бы опять его к нам не привезли!»

Помните ли вы, читатель, Наполеона III? — наверное, позабыли! Между тем он почти 20 лет сряду срамил не одну Францию, но и всю Европу — и никто не замечал праха, который до краев наполнял этого человека. Все преклонялось перед ним, все считало его серьезною силою. Новогодние приемы его представляли собой как бы политическую программу на целый год,— программу, которая принималась безоговорочно к исполнению. Но наконец пробил-таки час, когда гноище, на котором он возлежал, раскрылось само собой. И что же? С последним громом пушек — всё смолкло, точно ничего и не было! Несмотря на его падение и смерть, события продолжали идти своим чередом, как будто он никогда никаким «концертом» не дирижировал. И теперь имя его до того погрузилось в мрак, что не только никто о нем не говорит, но даже и не помнит его существования. Концерты европейские

---

[1] Я белокурая китаянка, невольница султана, и я объезжаю свет, танцуя и распевая.

продолжают разыгрываться без него, как разыгрывались при нем, а жизнь народная продолжает по-прежнему свое течение, особо от концертов.

Имена Ньютонов, Франклинов, Галилеев, Ломоносовых будут переходить из века в век; имена Наполеонов и других концертантов потонут в болотных топях. Таков закон вещей, и никакое насилие не может его обойти. Не обойдет его и история.

Правда, что Наполеон III оставил по себе целое чужеядное племя Баттенбергов, в виде Наполеонидов, Орлеанов и проч. Все они бодрствуют и ищут глазами, всегда готовые броситься на добычу. Но история сумеет разобраться в этом наносном хламе и отыщет, где находится действительный центр тяжести жизни. Если же она и упомянет о хламе, то для того только, чтобы сказать: было время такой громадной душевной боли, когда всякий авантюрист овладевал человечеством без труда!

Скажет она это потому, что душевная боль не давала человечеству ни развиваться, ни совершать плодотворных дел, а следовательно, и в самой жизни человеческих обществ произошел как бы перерыв, который нельзя же не объяснить. Но, сказавши,— обведет эти строки черною каймою и более не возвратится к этому предмету.

Ах, эти мелочи! Как чесоточный зудень, впиваются они в организм человека, и точат, и жгут его. Сколько всевозможных «союзов» опутало человека со всех сторон; сколько каждый индивидуум ухитряется придумать лично для себя всяких стеснений! И всему этому, и пришедшему извне, и придуманному ради удовлетворения личной мнительности, он обязывается послужить, то есть отдать всю свою жизнь. Нет места для работы здоровой мысли, нет свободной минуты для плодотворного труда! Мелочи, мелочи, мелочи — заполонили всю жизнь.

Возьмем для примера хоть страх завтрашнего дня. Сколько постыдного заключается в этой трехсловной мелочи! Каким образом она могла въесться в существование человека, существа по преимуществу предусмотрительного, обладающего зиждительною силою? Что придавило его? что заставило так безусловно подчиниться простой и постыдной мелочи?

Встречаете на улице приятеля и видите, что он задумчив и угнетен.

— Что так задумались?

— Да как-то не по себе... Боюсь.

— Боитесь? чего же?

— Да завтрашнего дня. Все думается: что-то завтра будет! Не то боязнь, не то раздраженье чувствуешь... смутное что-то. Стараюсь вникнуть, но до сих пор еще не разобрался. Точно находишься в обществе, в котором собравшиеся все разбрелись по углам и шушукаются, а ты сидишь один у стола и пересматриваешь лежащие на нем и давно надоевшие альбомы... Вот это какое ощущение!

— Ах, пустяки какие!

— Пустяки — это верно. Но в том-то и сила, что одолели нас эти пустяки. Плывут со всех сторон, впиваются, рвут сердце на части.

— Но что же может быть завтра такого страшного?

— То-то, что ничего не известно. Будет — не будет, будет — не будет? — только на эту тему и работает голова. Слышишь шепоты, далекое урчанье, а ясного — ничего.

— Все-таки я не вижу, что же тут общего с завтрашним днем?

— И завтра, и сегодня, и сейчас, сию минуту,— разве это не все равно? Голова заполонена; кругом — пустота, неизвестность или нелепая и разноречивая болтовня: опускаются руки, и сам незаметно погружаешься в омут шепотов или нелепой болтовни... Вот это-то и омерзительно.

И действительно, кругом слышатся только шепоты да гул какой-то загадочной работы при замкнутых дверях. Поневоле вспомнятся стихи Пушкина:

Смутно всюду, тёмно всюду.
Быть тут чуду! Быть тут чуду!

Только не «чудо» является в результате, а простой изнуряющий вздор.

Возьмем теперь другой пример: образование. Не о высшей культуре идет здесь речь, а просто о школе. Школа приготовляет человека к восприятию знания; она дает ему основные элементы его. Это достаточно указывает, какая тесная связь существует между школой и знанием.

Известно и даже за аксиому всеми принято, что знание освещает не только того, кто непосредственно его воспринимает, но, через посредство школы, распространяет лучистый свет и на темные массы. Известно также, что люди одаряются от природы различными способностями и различною степенью восприимчивости; что ежели практически и трудно провести эту последнюю истину во всем ее объеме, то, во всяком случае, непростительно не принимать ее в соображение. Наконец,

признано всеми, что насильственно суживать пределы знания вредно, а еще вреднее наполнять содержание его всякими случайными примесями.

Посмотрим же, в какой мере применяются эти истины к школьному делу.

Прежде всего, над всей школой тяготеет нивелирующая рука циркуляра. Определяются во всей подробности не только пределы и содержание знания, но и число годовых часов, посвящаемых каждой отрасли его. Не стремление к распространению знания стоит на первом плане, а глухая боязнь этого распространения. О характеристических особенностях учащихся забыто вовсе: все предполагаются скроенными по одной мерке, для всех преподается один и тот же обязательный масштаб. Переводный или непереводный балл — вот единственное мерило для оценки, причем не берется в соображение, насколько в этом балле принимает участие слепая случайность. О личности педагога тоже забыто. Он не может ни остановиться лишних пять минут на таком эпизоде знания, который признает важным, ни посвятить пять минут меньше такому эпизоду, который представляется ему недостаточно важным или преждевременным. Он обязывается выполнить букву циркуляра — и больше ничего.

Но, в таком случае, для чего же не прибегнуть к помощи телефона? Набрать бы в центре отборных и вполне подходящих к уровню современных требований педагогов, которые и распространяли бы по телефону свет знания по лицу вселенной, а на местах содержать только туторов, которые наблюдали бы, чтобы ученики не повесничали...

Мало того: при самом входе в школу о всяком жаждущем знания наводится справка.

Дворянин или мещанин?

Какого вероисповедания: православный, католик или, наконец, еврей?

Для последних, в особенности, школа — время тяжкого и жгучего испытания. С юношеских лет еврей воспитывает в себе сердечную боль, проходит все степени неправды, унижения и рабства. Что же может выработаться из него в будущем?

Нет ни общей для всех справедливости, ни признания человеческой личности, ни живого слова. Ничего, кроме задачника Буренина и Малинина и учебников грамматики всевозможных сортов.

Что может дать такая школа? Что, кроме tabula rasa[1] и

---

[1] чистой доски.

особенной болезни, к которой следует применить специальное наименование «школьного худосочия»?

Сонливые и бессильные высыплют массы юношей и юниц из школ на арену жизни, сонливо отбудут жизненную повинность и сонливо же сойдут в преждевременные могилы.

А вот и третий пример. Представьте себе, что студент Хорьков женился на Липочке Большовой (известные лица из комедий Островского). Липочка вышла замуж, потому что случайно отдалась Хорькову, и надо же «прикрыть грех»; Хорьков женился, потому что принял Липочкину наглость за «святую простоту». При этом, само собой разумеется, старик Большов надул Хорькова и не дал за Липочкой никакого приданого, кроме тряпок. И вот они невдолге опознали друг друга. Липочка уверилась, что Хорьков не в состоянии дарить ей трепрашельчатых платьев; Хорьков убедился, что мечты его о «святой простоте», при первом же столкновении с действительностью, разбились в прах.

Что может выйти из этого сожития? Что, кроме клетки, в которой сидят два зверя, прикованные каждый к своему углу и готовые растерзать друг друга при первой возможности?

И, наконец, четвертый пример. Перед вами человек вполне независимый, обеспеченный и культурный. Он мог бы жить совершенно свободно, удовлетворяя потребностям своей развитости. Но его так и подмывает отдать себя в рабство. Он чует своим извращенным умом, что есть где-то лестница, которая ведет к почестям и власти. И вот он взбирается на нее. Скользит, оступается и летит стремглав назад. Это, однако ж, не останавливает его. Он вновь начинает взбираться, медленно, мучительно, ступень за ступенью, и наконец успевает прийти к цели. Тут его встречают щелчки за щелчками, потому что он чуженин в этой среде, чужого поля ягода. Тем не менее руководители среды очень хорошо понимают, что от этого чуженина отделаться не легко, что он упорен и не уйдет назад с одними щелчками. Его наконец пристроивают, дают приют и мало-помалу привыкают звать «своим». В ответ на это вынужденное радушие он ходко впрягается в плуг и начинает работать с ревностью прозелита. Идеалы, свобода, порывы души — все забыто, все принесено в жертву рабству. А через короткое время в результате получается заправский раб, в котором все сгнило, кроме гнуткой спины и лгущего языка во рту.

Довольно ли этих примеров?

Я не знаю, как отнесется читатель к написанному выше, но что касается до меня, то при одной мысли о «мелочах жизни» сердце мое болит невыносимо.

Несомненно, что весь этот угар, эта разнокалиберная фантасмагория устранится сама собой; но спрашивается: сколько увлекут за собой жертв одни усилия, направленные с целью этого устранения?

Мне скажут, быть может, что я смешал в одну кучу «мелочи» совсем различных категорий: Баттенберговы приключения со школою и т. д. Я и сам понимаю, что, в существе, это явления вполне разнородные, но и за всем тем не могу не признать хотя косвенной, но очень тесной связи между ними. Дело в том, что Баттенберговы проказы не сами по себе важны, а потому, что, несмотря на свое ничтожество, заслоняют те горькие «мелочи», которые заправским образом отравляют жизнь. Под шум всевозможных совещаний, концертов, тостов и других политических сюрпризов прекращается русловое течение жизни, и вся она уходит внутрь, но не для работы самоусовершенствования, а для того, чтобы переполниться внутренними болями. И умственный, и материальный уровень страны несомненно понижается; исчезает предусмотрительность; разрывается связь между людьми, и вместо всего на арену появляется существование в одиночку и страх перед завтрашним днем. Всё это, конечно, равносильно доброй войне.

Войну клянут; собирают митинги, пишут трактаты об устранении поводов к ней или о замене ее другим судом, менее бесчеловечным. Но забывают, что прелиминарии войны гораздо мучительнее, нежели самая война. Война открывает доступ самым дурным страстям (одни подрядчики и казнокрады чего стоят!); она изнуряет страну материально; прелиминарии к войне производят в стране умственное и нравственное разложение, погружают ее в мрак ничтожества. Все дурное, неправое и безнравственное назревает под влиянием смуты, заставляющей общество метаться из стороны в сторону без руководящей цели, без всякого сознания сущности этих беспорядочных метаний.

Общество, не знающее иного содержания, кроме сплетен и насильственно созданных пут, может быть способно лишь к прозябанию. Спрашивается, однако ж: возможно ли бессрочное прозябание и не должно ли оно постепенно перейти в гниение?

Признаюсь откровенно; как ни мучителен для меня утвердительный ответ, но я вынужден сказать: да, прозябание не бессрочно.

III

Чтобы вполне оценить гнетущее влияние «мелочей», чтобы ощутить их во всей осязаемости, перенесемся из больших центров в глубь провинции. И чем глубже, тем яснее и яснее выступит ненормальность условий, в которые поставлено человеческое существование [1].

В губернии вы прежде всего встретите человека, у которого сердце не на месте. Не потому оно не на месте, чтобы было переполнено заботами об общественном деле, а потому, что все содержание настоящей минуты исчерпывается одним предметом: ограждением прерогатив власти от действительных и мнимых нарушений.

Прерогативы власти — это такого рода вещь, которая почти недоступна вполне строгому определению. Здесь настоящее гнездилище чисто личных воззрений и оценок, так что ежели взять два крайних полюса этих воззрений, то между ними найдется очень мало общего. Все тут неясно и смутно: и пределы, и степень, и содержание. Одно только прямо бросается в глаза — это власть для власти, и, само собой разумеется, только одна эта цель и преследуется с полным сознанием.

В спокойное время на помощь к этой разнокалиберщине является циркуляр. Он старается съютить противоположные полюсы личных воззрений, приводит примеры, одно одобряет, другое порицает и в заключение все-таки взывает к усмотрению. Но ведь в спокойное время человек, у которого сердце не на месте, и сам сидит спокойно. Он равнодушно прочитывает полученную рацею и говорит себе: «У меня и без того смирно — чего еще больше?..» «Иван Иванович! — обращается он к приближенному лицу,— кажется, у нас ничего такого нет?» — И есть ли, нет ли, циркуляр подшивается к числу прочих — и делу конец.

Совсем в другом виде представляется дело в так называемые переходные эпохи, когда общество объято недоумениями, страхом завтрашнего дня и исканием новых жизненных основ. Это — время «строгости и скорости». Тут циркуляр не только теряет свое разъяснительное значение, но положительно запутывает. Что такое: «а посему»? Почему «посему»? — беспокойно спрашивает себя адресат. И вот начинаются утягиванья, натягиванья, и наконец личное усмотрение вступает в свои права. «Строгость и скорость» — только и всего. Власть

---

[1] Прошу читателя иметь в виду, что я говорю не об одной России: почти все европейские государства в этом отношении устроены на один образец. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

для власти, подозрительность, вмешательства — все призывается на помощь, лишь бы успокоить встревоженное сердце.

Наступает истинный переполох. И у себя дома, и в канцеляриях, и в гостях у частных лиц, и в общественных местах — везде чудятся дурные страсти, безначалие и подрывы основ, под которыми, за неясностью этого выражения, разумеются те же излюбленные прерогативы власти. Пускаются в ход благосклонные или язвительные улыбки (смотря по обстоятельствам), нахмуренные брови, воркотня; поднимается сам собой указательный палец и грозит в пространство. Уже не циркуляр является руководителем, а газета с ее толками и инсинуациями...

Все это я не во сне видел, а воочию. Я слышал, как провинция наполнялась криком, перекатывавшимся из края в край; я видел и улыбки, и нахмуренные брови; я ощущал их действие на самом себе. Я помню так называемые «столкновения», в которых один толкался, а другой думал единственно о том, как бы его не затолкали вконец. Я не только ничего не преувеличиваю, но, скорее, не нахожу настоящих красок.

Я не говорю уже о том, как мучительно жить под условием таких метаний, но спрашиваю: какое горькое сознание унижения должно всплыть со дна души при виде одного этого неустанно угрожающего указательного перста?

— Иван Иванович! кажется, к нам затесался анархист... Вот этот, черноватый, с длинными волосами... И вид у него такой, точно съесть хочет...

— Это у него от природы-с,— робко пытается разубедить Иван Иванович.

— Природа! знаем мы эту природу! Не природа, а порода. Природу нужно смягчать; торжествовать над ней надо. Нет, знаете ли что? лучше нам подальше от этих лохматых! пускай он идет с своей природой, куда пожелает. А вы между тем шепните ему, чтоб он держал ухо востро́!

Указательный палец поднимается сам собой, а «лохматый», к немалому своему испугу и удивлению товарищей, обязывается исчезнуть с лица земли.

Или:

— А ведь у вас, Федор Федорович, в ведомстве не совсем-то благополучно.

— Что такое? — озабоченно спрашивает Федор Федорович.

— Да так... не скажу, чтоб явное противодействие, а душо́к проявляется-таки. И при этом не без иронии...

— Помилуйте-с!

— А вы припомните, как вы мне ответили на мой запрос о

необходимости иметь в сердцах страх божий? Конечно, я вас лично не обвиняю, но письмоводитель ваш — шпилька!

— Но что же я такое ответил?

— А ответили: «В моем ведомстве страха божия очень достаточно»... н-да-с...

К счастию, в это время подвертывается Емельян Семенович с колодой карт.

— Повинтить-с?

— С удовольствием.

Человек, у которого сердце не на месте, усаживается за винт; но, когда кончается условленное число роберов, он все-таки не преминет напомнить Федору Федоровичу:

— А насчет письмоводителя вы все-таки имейте в виду. Я давно в нем замечаю. Нет у него этой теплоты чувства, этой, так сказать...

Таков человек, у которого сердце не на месте; а за ним следует целая свита людей, у которых тоже сердце не на месте, у каждого по своему ведомству. И опять появляются на сцену лохматые, опять слышатся слова: «противодействие», «ирония». Сколько тут жертв!

Мне скажут, что все это мелочи, что в известные эпохи отдельные личности имеют значение настолько относительное, что нельзя формализироваться тем, что они исчезают бесследно в круговороте жизни. Да ведь я и сам с того начал, что все подобные явления назвал мелочами. Но мелочами, которые опутывают и подавляют...

Таким образом, губерния постепенно приводится к тому томительному однообразию, которое не допускает ни обмена мыслей, ни живой деятельности. Вся она твердит одни и те же подневольные слова, не сознавая их значения и только руководствуясь одним соображением: что эти слова идут ходко на жизненном рынке.

Канут ли эти мелочи в вечность бесследно или будут иметь какие-нибудь последствия? — не знаю. Одно могу сказать с некоторою достоверностью, что есть мелочи, которые, подобно снежному шару, чем дальше катятся, тем больше нарастают и наконец образуют из себя глыбу.

Ежели мы спустимся ступенью ниже — в уезд, то увидим, что там мелочи жизни выражаются еще грубее и еще меньше встречают отпора. Уезд исстари был вместилищем людей одинаковой степени развития и одинакового отстутствия образа мыслей. Теперь, при готовых девизах из губернии, разномыслие исчезло окончательно. Даже жены чиновников не ссорятся, но единомысленно подвывают: «Ах, какой циркуляр!»

Была минута, когда мировые и земские учреждения внесли

некоторое оживление в эту омертвелую среду, но время это памятно уже очень немногим современникам. Нынче и мировые, и земские деятели одинаково погрузились в общую пучину единомыслия и одинаково твердят одни и те же заветные слова. Пришли новые люди и принесли с собой сознание о вреде так называемых пререканий и о необходимости безусловно покориться веяниям минуты. А ежели и остались немногие из недавних «старых», то они так легко выдержали процесс переодевания, что опознать в них людей, которые еще накануне плели лапти с подковыркою, совсем невозможно.

Главная цель, к которой ныне направлены все усилия уездной административной деятельности,— это справляться дома, своими средствами, и как можно меньше беспокоить начальство. Но так как выражение «свои средства» есть не что иное, как вольный перевод выражения «произвол», то для подкрепления его явилось к услугам и еще выражение: «в законах нет». Целых пятнадцать томов законов написано, а все отыскать закона не могут! Стоят эти томы в шкапу и безмолвствуют; а ключ от шкапа заброшен в колодезь, чтоб прочнее дело было.

Соберутся уездные деятели на воскресном пироге у соборного протоиерея (ныне и он играет очень немаловажную роль) и ведут единомысленную беседу.

— Я в своем участке одного человека заприметил,— ораторствует мировой судья,— надо бы к нему легонечко подойти.

— А у нас тут мещанинишко в городе завелся,— подхватывает непременный член,— газету выписывает, книжки читает... да и поговаривает. В базарные дни всякий народ около его лавчонки толпится, а он сидит и газету в руках держит... долго ли до греха!

Исправник слушает и безмолвствует, только усами шевелит.

— Сократить бы! — изрекает отец протопоп.

— Всенепременно-с,— подтверждает председатель земской управы,— и я за одним человеком примечаю... Я уж и говорил ему: мы, брат, тебя без шуму, своими средствами... И представьте себе, какой нахал: «Попробуйте» — говорит!

— Что ж, попробовать можно! — вставляет свое слово городской голова, усмехаясь в бороду.

— И попробуем! — решает предводитель.

— И по-про-бу-ем! — восклицает исправник, вставая из-за стола.

Пирог съеден, гости разошлись по домам, а на другой день «свое средство» уже в ходу.

Так, изо дня в день, течет эта безрассветная жизнь, вся поглощенная мелочами, чего-то отыскивающая и ничего не обретающая, кроме усмотрения. Сегодня намечается одна жертва, завтра уже две и так далее в усиленной прогрессии.

Недаром же так давно идут толки о децентрализации, смешиваемой с сатрапством, и о расширении власти, смешиваемом с разнузданностью. Плоды этих толков, до сих пор, впрочем, остававшихся под спудом, уже достаточно выяснились. «Эти толки недаром! в них-то и скрывается настоящая интимная мысль!» — рассуждает провинция и, не откладывая дела в долгий ящик, начинает приводить в исполнение не закон и даже не циркуляр, а простые газетные толки, не предвидя впереди никакой ответственности...

Но и за всем тем, какое бессилие! одиночные жертвы да сетования и слезы близких людей — неужели это бесплодное щипанье может удовлетворять и даже радовать?

Спустимся еще ступенью ниже — в деревню, и мы найдем ее всецело отданною в жертву мелочам. Тут мы прежде всего встретимся с «чумазым», который всюду проник с сонмищами своих агентов. Эти агенты рыщут по деревням, устанавливают цены, скупают, обвешивают, обмеривают, обсчитывают, платят неосуществившимися деньгами, являются на аукционы, от которых плачет недоимщик, чутко прислушиваются к бабьим стонам и целыми обществами закабаляют людей, считающихся свободными. Словом сказать, везде, где чуется нужда, горе, слезы,— там и «чумазый» с своим кошелем. Мало того: чумазый внедрился в самую деревню в виде кабатчика, прасола, кулака, мироеда. Эти уж действуют не наездом, а постоянно и не торопясь. Что касается до мирских властей, то они беспрекословно отдались в руки чумазому и думают только об исполнении его прихотей.

Затем мы встречаемся с общиной, которая не только не защищает деревенского мужика от внешних и внутренних неурядиц, но сковывает его по рукам и ногам. Она не дает простора ни личному труду, ни личной инициативе, губит в самом зародыше всякое проявление самостоятельности и, в заключение, отдает в кабалу или выгоняет на улицу слабых, не успевших заручиться благорасположением мироеда. Было время, когда надеялись, что община обеспечит хоть кусок хлеба слабому члену, но нынче и эти надежды рассеялись. Оставленные наделы, покинутые и заколоченные избы достаточно свидетельствуют о сладостях деревенской жизни. Куда девались обитатели этих опустелых изб? Увы! скоро самая память о них исчезнет в деревне. Они получили паспорта и «ушли» — вот все, что известно; а удастся ли им, вне родного гнезда,

разрешить поставленный покойным Решетниковым вопрос: «Где лучше?» — на это все прошлое достаточно ясно отвечает: нет, не удастся.

Наконец мы встречаемся с крестьянской избой, переполненной сварой, семейными счетами и непрестанным галдением. В этом миниатюрном ковчеге нередко ютится несколько поколений, от грудного младенца до ветхого старика, который много лет, не испуская жалобы, лежит на печи и не может дождаться смерти. Всевозможные насекомые ползут по стенкам и сыплются с потолка; всевозможные звуки раздаются с утра до вечера: тут и крик младенца, и назойливое гоношенье подростков, и брань взрослых, и блеяние объягнившейся овцы, и мычание теленка, и вздохи старика. Целый ад, который только летом, когда изба остается целый день пустою, несколько смягчает свои сатанинские крики.

Ах, этот жалкий старик! Помнится, читал я в одном из сборников Льва Толстого сказку о старом коршуне. Вздумалось ему переселиться из родной стороны за море — вот он и стал переносить по очереди своих коршунят на новое место. Понес одного, долетел до середины морской пучины и начал допрашивать птенца: «Будешь ли меня кормить?» Натурально, птенец испугался и запищал: «Буду». Тогда старый коршун бросил его в пучину водную и возвратился назад. Полетел он с другим коршуненком, и опять повторилась та же сцена. Опять вопрос: «Будешь ли меня кормить?» — и ответ: «Буду!» Бросил старый коршун и этого птенца в пучину и полетел за третьим. Но третий был настоящий коршун, беспощадный и жестокий. На вопрос: «Будешь ли меня на старости лет кормить?» — он отвечал прямо: «Не буду!» И старый коршун бережно донес его до нового места, воспитал и улетел прочь умирать.

Точно то же и тут. Выкормил-выпоил старый Кузьма своих коршунов и полез на печку умирать. Сколько уж лет он мрет, и всё окончания этому умиранию нет. Кости да кожа, ноги мозжат, всего знобит, спину до ран пролежал, и когда-то когда влезет к нему на печь молодуха и обрядит его.

— Долго ли, батюшка, нам с тобой маяться? — нетерпеливо спрашивает его большáк-коршун.

— Видно уже, пока смерть...— чуть слышно вздыхает в ответ старик.— Тюрьки бы мне... поесть хочется!

В такой обстановке человек поневоле делается жестóк. Куда скрыться от домашнего гвалта? на улицу? — но там тоже гвалт: сход собрался — судят, рядят, секут. Со всех сторон, купно с мироедами, обступило сельское и волостное начальство, всякий спрашивает, и перед всяким ответ надо держать...

А вот и кабак! Слышите, как Ваиюха Бесчастный на гармонике заливается?

. . . .

Как живут массы при таких условиях? Еще недавно на этот вопрос я отвечал бы: они живут особливою жизнью, независимою от культурных ухищрений. Но теперь, разобравшись ближе в тине мелочей, я не могу остаться при прежнем объяснении. Культурный человек сделался проницателен; он понял свою зависимость от жизни масс и потому приспособляет последнюю так, чтобы будущее было для него обеспечено. Отсюда такая бесконечная масса проектов, трактующих об упрощении и устранении. Семейная жизнь крестьянина, его отношение к земле, к промыслам, к нанимателю, к начальству — все выступило на арену, и всему предполагается учинить отчетливую и безвыходную регламентацию. Конечно, все это покуда «толки», но, как я сказал выше, в известной среде «толкам» дается даже большее значение, нежели ясно высказанному слову. Культурный глаз проникнет в мельчайшие подробности крестьянской жизни, а культурные намерения, несомненно, дадут ей соответствующую окраску. Самая возможность самостоятельного развития исчезнет надолго, а сумма мелочей не только не умалится, но увеличится. И будет катиться эта глыба вперед и вперед, покуда не застрянет среди дороги и не сделает ее непроходимою.

И много породит несчастливцев эта глыба, много — в своем нарастании — увлечет она жертв в могилы.

Вот настоящие, удручающие мелочи жизни. Сравните их с приключениями Наполеонов, Орлеанов, Баттенбергов и проч. Сопоставьте с европейскими концертами — и ответьте сами: какие из них, по всей справедливости, должны сделаться достоянием истории и какие будут отметены ею. Что до меня, то я даже ни на минуту не сомневаюсь в ее выборе.

Говорят, будто Баттенберг прослезился, когда ему доложили: «Карета готова!» Еще бы! Все лучше быть каким ни на есть державцем, нежели играть на бильярде в берлинских кофейнях. Притом же, на первых порах, его беспокоит вопрос: что скажут свои? папенька с маменькой, тетеньки, дяденьки, братцы и сестрицы? как-то встретят его прочие Баттенберги и Орлеаны? Наконец, ему ведь придется отвыкать говорить: «Болгария — любезное отечество наше!» Нет у него теперь отечества, нет и не будет!

Но все эти тревоги скоро пройдут. Забудется Болгария, забудется война с Сербией, и начнет Баттенберг переходить из

кофейни «Золотого Оленя» в кофейню «Золотого Рога», всюду, где в окне вывешено объявление: «Продается пиво прямо из бочки». Русскую ли партию он будет играть на бильярде — с засаживанием шаров в лузу, или немецкую — с одними карамболями? Нужно полагать, что, несмотря на неудачный конец, он все-таки сохранит благодарную память и предпочтет русскую партию всякой другой. А впрочем... кто может измерить глубину будущего? кто может сказать заранее, оснуется ли Баттенберг навсегда в кофейне «Золотого Оленя» или... А вдруг состоится новый концерт, и привезут его опять в Болгарию, и опять он обретет «любезное отечество».

Случайно или не случайно, но с окончанием баттенберговских похождений затихли и европейские концерты. Визиты, встречи и совещания прекратились, и все разъехались по домам. Начинается зимняя работа; настает время собирать материалы и готовиться к концертам будущего лета. Так оно и пойдет колесом, покуда есть налицо человек (имярек), который держит всю Европу в испуге и смуте. А исчезнет со сцены этот имярек, на месте его появится другой, третий.

«Паны дерутся, а у хлопов чубы болят»,— говорит старая малороссийская пословица, и в настоящем случае она с удивительною пунктуальностью применяется на практике. Но только понимает ли заманиловский Авдей, что его злополучие имеет какую-то связь с «молчаливым тостом»? что от этого зависит война или мир, повышение или понижение курса, дороговизна или дешевизна, наличность баланса или отсутствие его?

— А ну-тко, Авдей, отвечай, знаешь ли ты, что такое баланс?

IV

Вспомним сравнительно недавнее прошлое — и мы почувствуем себя среди целой сети самых вопиющих мелочей.

Я вырос на лоне крепостного права, вскормлен молоком крепостной кормилицы, воспитан крепостными мамками и, наконец, обучен грамоте крепостным грамотеем. Все ужасы этой вековой кабалы я видел в их наготе.

Самые разнообразные виды рабской купли и продажи существовали тогда. Людей продавали и дарили, и целыми деревнями, и поодиночке; отдавали в услужение друзьям и знакомым; законтрактовывали партиями на фабрики, заводы, в судовую работу (бурлачество); торговали рекрутскими квитанциями и проч. В особенности жестоко было крепостное право относительно дворовых людей: даже волосы крепостных

девок эксплуатировали, продавая их косы парикмахерам. Хотя закон, изданный, впрочем, уже в нынешнем столетии, и воспрещал продажу людей в одиночку, но находили средства обходить его. Не дозволяли дворовым вступать в браки и продавали мужчин (особенно поваров, кучеров, выездных лакеев и вообще людей, обученных какому-нибудь мастерству) поодиночке, с придачею стариков, отца и матери,— это называлось продажей целым семейством; выдавали девок замуж в чужие вотчины — это называлось: продать девку на вывод. Женский персонал помещичий был по преимуществу выдумчив по этой части. Не в редкость было в то время слышать такие разговоры:

— Что же, сударыня, продадите, что ли, девку-то? — спрашивал сосед-помещик помещицу-кулака, чересчур дорожившуюся живым товаром.

— Да дешево уж очень даете.

— Помилуйте! шестьдесят рублей (на ассигнации)! их нынче по сорока рублей за штуку — сколько угодно!

— А вы за кого ее замуж хотите отдать?

— Есть у меня, видите ли, вдовец. Не стар еще, да детей куча, тягла править не в силах. Своих девок на выданье у меня во всей вотчине хоть шаром покати,— поневоле в люди идешь!

— Вот видите ли, за вдовца! За шестьдесят рублей я девку несчастною должна сделать!

— Да прибавь ей, сударь, пять рубликов! — вступается муж помещицы-кулака.

— Ну, видно, нечего с вами делать. Извольте шестьдесят пять рублей.

— Хорошо, я согласна. Хоть и дешевенько, да для соседа.

Торг заключался. За шестьдесят рублей девку не соглашались сделать несчастной, а за шестьдесят пять — согласились. Синенькую бумажку ее несчастье стоило. На другой день девке объявляли через старосту, что она — невеста вдовца и должна навсегда покинуть родной дом и родную деревню. Поднимался вой, плач, но «задаток» был уже взят — не отдавать же назад!

То же проделывалось с рекрутчиной, которая представляла уже серьезную статью дохода. Торговать рекрутами закон не дозволял, но продавать зачетные рекрутские квитанции было разрешено. Главный контингент для этого рода эксплуатации доставляли те же дворовые люди. В старину помещики охотно переводили крестьян в дворовые, особливо ежели крестьянское семейство приходило почему-либо в упадок. Дворовые люди представляли несомненную выгоду. Во-первых, им

не нужно было давать «дней» для работы на себя, а можно было каждодневно томить на барской работе; во-вторых, при их посредстве можно было исправлять рекрутчину, не нарушая целости и благосостояния крестьянских семей.

Я помню, как еще при первых слухах о предстоящем наборе помещичьи гнезда наполнялись шушуканьем. Помещики и помещицы, во время обеда, чая и ужина, начинали говорить по-французски; лакеи настороживали уши, усиливаясь понять, на кого падет жребий. Вообще весь воздух, начиная от конюшен и кончая барскими хоромами, наполнялся томительным ожиданием. За всем тем нужно заметить, что в крестьянской среде рекрутская очередь велась неупустительно, и всякая крестьянская семья обязана была отбыть ее своевременно; но это была только проформа, или, лучше сказать, средство для вымогательства денег. Зажиточные семьи в большинстве случаев откупались, и тут-то вот и шли в ход зачетные квитанции. Бóльшая часть их расходилась между своими, излишние — продавались на сторону.

Перед отвозом людей в рекрутское присутствие сохранялась глубокая тайна относительно назначенных в рекруты. Последних даже приголубливали, выказывали им удовольствие («Ванька! да, никак, ты уж и пить перестал! Молодец, брат!»). Но некоторые чутьем угадывали ожидающую их участь и скрывались, несмотря на строгий надзор. Большинство не уходило дальше своего же леса и скиталось там, несмотря на зимний холод, все время, покуда длилась процедура отвоза. Тем, которых застигали врасплох или излавливали, набивали на ноги колодки, надевали железные поручни или приковывали к «стулу» (так называлось толстое бревно, сквозь которое продета была железная цепь, оканчивавшаяся железным ошейником). Я думаю, что в некоторых старинных помещичьих гнездах эти орудия пытки сохранились и поднесь, во свидетельство прошлого.

Самая барщина представляла ряд распоряжений, которые даже в то не знавшее законов время считались беззаконными. Закон требовал, чтобы три дня в неделю крестьянин работал на помещика, а остальные три дня предоставлял ему для собственных работ. Но у редких помещиков барщина отбывалась «брат на брата»; у большинства — совсем не велось никакого учета, или же последний велся смотря по состоянию погоды и по другим хозяйственным соображениям. При продолжительном ненастье первые ведреные дни отдавались исключительно барщине, причем предполагалось, что крестьяне уже воспользовались «своими днями» прежде, и т. д. Словом сказать, нельзя не только было разобраться в этом хаосе, но и

определить, как изворачивается крестьянин, как он устраивается на зиму и чем живет. Но он жил — это считалось достаточным.

И было время, когда все эти ужасающие картины никого не приводили в удивление, никого не пугали. Это были «мелочи», обыкновенный жизненный обиход, и ничего больше; а те, которых они возмущали, считались подрывателями основ, потрясателями законного порядка вещей.

Да, видно, каждая эпоха имеет свои мелочи, свой собственный мучительный аппарат, при посредстве которого люди без особых усилий доводятся до исступления.

Но что всего замечательнее: даже тогда, когда само правительство обращало внимание на злоупотребления помещичьей власти и подвергало их исследованию,— даже тогда помещики решались, хоть косвенным образом, протестовать в пользу «мелочей». При так называемых повальных обысках соседи-помещики заявляли, что поступки злоупотребителя не выходят из категории действий, без которых немыслимы ни порядок, ни доброе хозяйство; а депутатское собрание, основываясь на этих отзывах, оставляло дело без последствий. Таким образом, и те редкие попытки, которые предпринимались для смягчения крепостных уз, пропадали даром.

Это до такой степени верно, что в позднейшие времена мне случалось слышать от некоторых помещиков, уже захудалых и бесприютных, такого рода наивные ретроспективные жалобы:

— Кабы мы в то время были умнее да не мирволили бы своим расходившимся собратам, так, может быть, и теперь крепостное право существовало бы по-прежнему!

Как же, дожидайтесь!

Накануне крестьянского освобождения, когда в наболевшие сердца начал уже проникать луч надежды, случилось нечто в высшей степени странное. Правительственные намерения были уже заявлены; местные комитеты уже начали свою тревожную работу; но старые порядки, даже в самых вопиющих своих чертах, еще не были упразднены. Благодаря этому упущению, несмотря на неизбежность грядущей «катастрофы», как тогда называли освобождение, крепостные отношения не только не смягчились, но еще более обострились.

Помещики потеряли всякую почву под ногами и взамен того приобрели дар прозорливости. Провидели будущих грубиянов и смутителей, припоминали прежние провинности, следили за выражением физиономий, истолковывали телодвиже-

ния и улыбки, видели тревожные сны, верили в гаданья и т. д. Словом сказать, образовался целый помещичий бред, имевший целью обеспечить спокойствие в будущем. И так как старый закон не был упразднен, то обеспечение представлялось делом легким и удобоисполнимым. А именно, в распоряжении помещика находилось два очень простых средства: рекрутчина и ссылка в Сибирь «по воле помещика» (так эта операция и называлась).

На этот раз помещики действовали уже вполне бескорыстно. Прежде отдавали людей в рекруты, потому что это представляло хорошую статью дохода (в Сибирь ссылали редко и в крайних случаях, когда уже, за старостью лет, провинившегося нельзя было сдать в солдаты); теперь они уже потеряли всякий расчет. Даже тратили собственные деньги, лишь бы успокоить взбудораженные паникою сердца.

Это было уже в 1859 году, и я служил тогда в одной из ближайших к Москве губерний. В то же время в одном из уездных городов процветал и имел громадную фабрику купец Чумазый. Он очень ловко воспользовался паникою, овладевшею помещичьей средою, и предлагал желающим очень выгодную сделку. Сделка состояла в том, что крестьянам и дворовым людям, тайно от них, давалась «вольная», и затем, тоже без их ведома, от имени каждого, в качестве уже вольноотпущенного, заключался долгосрочный контракт с хитроумным фабрикантом. Все это за дешевую плату легко оборудовал местный уездный суд, несмотря на то, что в числе закабаливших себя были и грамотные[1]. И вольная и контракты прямо отданы были в руки фабриканту; закабаленные же полагали, что над ними проделываются остатки старых порядков и что помещик просто отдал их в работы, как это делывалось и прежде. Затем, разумеется, они надеялись, что завтрашняя свобода сама собой снимет с них оковы сегодняшнего рабства и освободит от насильственных обязательств.

Для помещиков эта операция была, несомненно, выгодна. Во-первых, Чумазый уплачивал хорошую цену за одни крестьянские тела; во-вторых, оставался задаром крестьянский земельный надел, который в тех местах имеет значительную ценность. Для Чумазого выгода заключалась в том, что он на долгое время обеспечивал себя дешевой рабочей силой. Что касается до закабаляемых, то им оставалась в удел надежда, что невзгода настигает их... в *последний раз!*

Однако же дело раскрылось раньше, нежели на это рас-

[1] По закону уездный суд обязан был вручить вольную каждому отпускаемому лично, в присутствии суда, и опросить, *желает ли он быть вольным. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

считывали. Объявлена была девятая народная перепись, и все так называемые вольные немедленно обязаны были приобрести себе права состояния и приписаться к какому-нибудь обществу. Можно себе представить удивление закабаленных, когда фабричное начальство погнало их приписываться к мещанскому обществу города Z.

— Мы не вольноотпущенные! — возопили они в один голос,— мы на днях сами будем свободные... с землей! Не хотим в мещане!

И вслед за этим нагрянули целой толпой в губернский город с жалобами на то, что накануне освобождения их сделали вольными помимо их желания.

Началось следствие, и тут-то раскрылись поползновения Чумазого, в то время только что начинавшего раскидывать сети на всю Россию.

Дело наделало шума; но даже в самый разгар эмансипационных надежд редко кто усмотрел его вопиющую сущность. Большинство культурных людей отнеслось к нему как к «мелочи», более или менее остроумной.

В клубе раздавался неудержимый хохот.

— Однако догадлив-таки Петр Иванович! — говорил один про кого-нибудь из участвовавших в этой драме,— сдал деревню Чумазому — и прав... ха-ха-ха!

— Ну, да и Чумазому это дело не обойдется даром! — подхватывал другой,— тут все канцелярские крысы добудут ребятишкам на молочишко... ха-ха-ха!

Выискивались и такие, которые даже в самой попытке защищать закабаленных увидели вредный пример посягательства на освященные веками права на чужую собственность, чуть не потрясение основ.

— Шутка сказать! — восклицали они,— накануне самой «катастрофы» и какое дело затеяли! Не смеет, изволите видеть, помещик оградить себя от будущих возмутителей! не смеет распорядиться своею собственностью! Слава богу, прав́а-то еще не отняли! что́ хочу, то с своим Ванькой и делаю! Вот завтра, как нарушите права,— будет другой разговор, а покуда аттанде-с!

Чумазый тоже горько жаловался на постигшее его злоключение.

— Помилуйте! — говорил он,— мы испокон века такие дела делали, завсегда у господ людей скупали — иначе где же бы нам работников для фабрики добыть? А теперь, на-тко, что случилось! И во сне не гадал!

Само начальство, возбудившее преследование, едва ли не раскаивалось: все-таки хлопоты.

Чем кончилось это дело, я не знаю, так как вскоре я оставил названную губернию. Вероятно, Чумазый порядочно поплатился, но затем, включив свои траты в графу: «издержки производства», успокоился. Возвратились ли закабаленные в «первобытное состояние» и были ли вновь освобождены на основании Положения 19-го февраля, или поднесь скитаются между небом и землей, оторванные от семей и питаясь горьким хлебом поденщины?

Рассказывая изложенное выше, я не раз задавался вопросом: как смотрели народные массы на опутывавшие их со всех сторон бедствия? — и должен сознаться, что пришел к убеждению, что и в их глазах это были не более как «мелочи», как искони установившийся обиход. В этом отношении они были вполне солидарны со всеми кабальными людьми, выросшими и состаревшимися под ярмом, как бы оно ни гнело их. Они *привыкли*.

Было время, когда люди выкрикивали на площадях: «слово и дело», зная, что их ожидает впереди застенок со всеми ужасами пытки. Нередко они возвращались из застенков в «первобытное состояние», живые, но искалеченные и обезображенные; однако это нимало не мешало тому, чтобы у них во множестве отыскивались подражатели. И опять появлялось на сцену «слово и дело», опять застенки и пытки... Словом сказать, целое поветрие своеобразных «мелочей».

Правда, что массы безмолвны, и мы знаем очень мало о том внутреннем жизненном процессе, который совершается в них. Быть может, что продлившееся их ярмо совсем не представлялось им мелочью; быть может, они выносили его далеко не так безучастно и тупо, как это кажется по наружности... Прекрасно; но ежели это так, то каким же образом они не вымирали сейчас же, немедленно, как только сознание коснулось их? Одно сознание подобных мук должно убить, а они жили.

Поколения нарастали за поколениями; старики населяли сельские погосты, молодые хоронили стариков и выступали на арену мучительства... Ужели все это было бы возможно, ежели бы на помощь не приходило нечто смягчающее, в форме исконного обихода, привычки и представления о неизбывных «мелочах»?

Шли в Сибирь, шли в солдаты, шли в работы на заводы и фабрики; лили слезы, но шли... Разве такая солидарность с злосчастием мыслима, ежели последнее не представляется обыденною мелочью жизни? И разве не правы были жестокие

сердца, говоря: «Помилуйте! или вы не видите, что эти люди живы? А коли живы — стало быть, им ничего другого и не нужно»...

Я мог бы привести здесь примеры изумительнейшей выносливости, но воздерживаюсь от этого, зная, что частные случаи очень мало доказывают. Общее настроение общества и масс — вот главное, что меня занимает, и это главное свидетельствует вполне убедительно, что мелочи управляют и будут управлять миром до тех пор, пока человеческое сознание не вступит в свои права и не научится различать терзающие мелочи от баттенберговских.

Когда наступит пора для этого различения? — кто может это угадать! Но сдается, что придется еще пережить эпоху чумазовского торжества, чтобы понять всю глубину обступившего массы злосчастия. А что Чумазый будет держаться за свое торжество упорно — за это ручаются его откровенно-нахальные замашки и самоуверенная бессовестность.

Нет опаснее человека, которому чуждо человеческое, который равнодушен к судьбам родной страны, к судьбам ближнего, ко всему, кроме судеб пущенного им в оборот алтына. Таков современный чумазый. Повторяю то, что́ я уже сказал в предыдущей главе: русский чумазый перенял от своего западного собрата его алчность и жалкую страсть к внешним отличиям, но не усвоил себе ни его подготовки, ни трудолюбия. Либо пан, либо пропал,— говорит он себе, и ежели легкая нажива не удается ему, то он не особенно ропщет, попадая вместо хоро́м в навозную кучу.

Русский крестьянин, который так терпеливо вынес на своих плечах иго крепостного права, мечтал, что с наступлением момента освобождения он поживет в мире и тишине и во всяком благом поспешении; но он ошибся в своих скромных надеждах: кабала словно приросла к нему. Чумазый преподнес ее ему на новоселье в новой форме, но с содержанием горшим против старой. Старая форма давала раны, новая — дает скорпионы; старая — томила барщиной и произволом (был, впрочем, очень значительный разряд помещичьих имений, оброчных, где крестьянин не знал барщины и жил, сравнительно, довольно льготно), новая — донимает голодом. Чумазый вторгся в самое сердце деревни и преследует мужика и на деревенской улице, и за околицей. Обставленный кабаком, лавочкой и грошовой кассой ссуд, он обмеривает, обвешивает, обсчитывает, доводит питание мужика до минимума и в заключение взывает к властям об укрощении людей, взволнованных его же неправдами. Поле деревенского кулака не нуждается в наемных рабочих: мужик обработает его не за день-

ги, а за процент или в благодарность за «одолжение». Вон он, дом кулака! вон он высится тесовой крышей над почерневшими хижинами односельцев; издалека видно, куда скрылся паук и откуда он денно и нощно стелет свою паутину.

Хиреет русская деревня, с каждым годом все больше и больше беднеет. О «добрых щах и браге», когда-то воспетых Державиным, нет и в помине. Толокно да тюря; даже гречневая каша в редкость. Население растет, а границы земельного надела остаются те же. Отхожие промыслы, благодаря благосклонному участию Чумазого, не представляют почти никакого подспорья.

Период помещичьего закрепощения канул в вечность; наступил период закрепощения чумазовского...

V

И нельзя сказать, чтобы не было делаемо усилий к ограждению масс от давления жизненных мелочей. Конечно, не мелочей нравственного порядка, для признания которых еще и теперь не наступило время, а для мелочей материальных, для всех одинаково осязаемых и наглядных. И за то спасибо.

Вспомните дореформенное административное устройство (я не говорю о судах, которые были безобразны), и вы найдете, что в нем была своего рода стройность. Не скажу, чтобы в результате этого строя лежала правда, но что вся совокупность этого сложного и искусственно-соображенного механизма была направлена к ограждению от неправды — это несомненно. Жандарм утирал слезы; прокурор с целою армией стряпчих собирал слезы в урны. Затем и платки и урны отсылались по начальству; начиналась переписка, запросы; требовались объяснения; нередко оказывались и видимые последствия этих объяснений в форме увольнений, отдачи под суд и т. д. Самая администрация имела организацию коллегиальную, каждый член которой тоже утирал слезы и собирал их в урну. Не больше как лет тридцать тому назад даже было строго воспрещено производить дела единолично и не в коллегии. Словом сказать, сказывалось бесспорное усилие оградить провинцию от скверны личного произвола.

Сколько тогда одних ревизоров было — страшно вспомнить! И для каждого нужно было делать обеды, устраивать пикники, катанья, танцевальные вечера. А уедет ревизор — смотришь, через месяц записка в три пальца толщиной, и в ней все неправды изложены, а правды ни одной, словно ее и не бывало. Почесывают себе затылок губернские властелины и начинают изворачиваться.

— Это в благодарность за мои обеды! — молвит один.

— А я еще ему на дорогу целый коробок с провизией послал! — отзовется другой.

Но, делать нечего, отписываться все-таки приходилось. И отписывались...

Каждые два года приезжал к набору флигель-адъютант, и тоже утирал слезы и подавал отчет. И отчеты не об одном наборе, но и обо всем виденном и слышанном, об управлении вообще. Существует ли в губернии правда или нет ее, и что нужно сделать, чтоб она существовала не на бумаге только, но и на деле. И опять запросы, опять отписки...

Я не говорю уже о сенаторских ревизиях, которые назначались лишь в крайних случаях и производили сущий погром. Ни одна метла не мела так чисто, как мел ревизующий сенатор. Камня на камне не оставалось; чины, начиная от губернатора до писца низших инстанций, увольнялись и отдавались под суд массами, хотя обеды, вечера и пикники шли своим чередом. Сенатор приезжал с целою свитою, и каждый член этой свиты старался что-нибудь заприметить, кого-нибудь подсидеть. Иногда даже без особенной надобности, а только чтобы выполнить задачу утирания слез... и, может быть, чтобы положить основание своей будущей карьере.

И вдобавок в те времена не было речи ни о благонамеренности, ни об образе мыслей, ни о подрывании основ и т. д. Ничего подобного и не подозревали. Просто прислушивались, не плачет ли кто, и ежели до слуха доходило нечто похожее на плач, то поспешали на помощь. «Рекрутство сопровождается несправедливостями и подкупом; повинности выполняются неправильно и беспорядочно; следственные дела представляют картину сплошного взяточничества» — вот и все, о чем тогда говорилось и писалось. Но разве этого мало? Помилуйте! да если бы ко всему этому прибавить еще «неблагонадежность», то вышло бы настоящее вавилонское столпотворение...

Однако ж все-таки оказывалось, что мало, даже в смысле простого утирания слез; до такой степени мало, что нынче от этой хитросплетенной организации не осталось и воспоминаний. Ревизоры приезжали и уезжали; на место их приезжали другие ревизоры и тоже уезжали; губернские чиновные кадры убывали и вновь пополнялись, а слезы все капали да капали... Ныне и платки и урны сданы в архивы, где они и хранятся на полках, в ожидании, что когда-нибудь найдется любитель, который заглянет в них и напишет два-три анекдота о том, как утирание слез постепенно превращалось в наплевание в глаза. Словно белка в колесе, вертелся этот взаимный административный контроль, ничего не защищая и не обеспечивая, кроме

форм и обрядов. В результате оказывалось нечто вроде игры в casse-tête[1], где каждая фигурка плотно вкладывается в другую, покуда не образуется нечто целое, долженствующее выполнить из кучи кусочков нарисованную в книжке фигуру, не имеющую никакого значения вне процесса игры. Кончилась игра, надоела; спрятали кусочки в коробку — и будет.

Я слишком достаточно говорил выше (III) о современной административной организации, чтобы возвращаться к этому предмету, но думаю, что она основана на тех же началах, как и в былые времена, за исключением коллегий, платков и урн. К последним административным приемам ныне относятся уже иронически, предпочитая строгость и скорость и оправдывая это предпочтение нарождением неблагонадежных элементов. Но так как закон упоминает о татях, разбойниках, расхитителях, мздоимцах и проч., а неблагонадежные элементы игнорирует, то можно себе представить, каким разнообразным и нежданным толкованиям подвергается это новоявленное выражение.

Впрочем, я отнюдь не хочу утверждать, чтобы нынешняя администрация была плоха, нерасторопна и не способна к утиранию слез; я говорю только, что она, подобно своей предшественнице, лишена творческой силы.

Не утверждаю также, что так называемые неблагонадежные элементы существуют только в взбудораженных воображениях охранителей. Всякий порядок вещей хранит в своих недрах и споспешествующие элементы, и *не*споспешествующие. Первые прозываются — *благо*надежными; вторым присвоивают наименование *не*благонадежных. Все это не только не противоречит истине, но и вполне естественно. Поэтому примириться с этим явлением необходимо, и вся претензия современного человека должна заключаться единственно в том, чтобы оценка подлежащих элементов производилась спокойно и не чересчур расторопно. Недостаточно сказать: вот (имярек) неблагонадежный элемент! — надо еще доказать, действительно ли он неблагонадежен и по отношению к чему.

Может быть, сам по себе взятый, он совсем не так неблагонадежен, как кажется впопыхах. В дореформенное время, по крайней мере, не в редкость бывало встретить такого рода аттестацию: «человек образа мыслей благородного, но в исполнении служебных обязанностей весьма усерден». Вот видите ли, как тогда правильно и спокойно оценивали человеческую деятельность: и благороден, и казенного интереса не чужд... Какая же в том беда, что человек благороден?

---

[1] головоломку.

Очевидно, что надежда на внешнюю помощь, в смысле удаления терзающих мелочей, навсегда останется тщетною. Все в этом деле зависит от подъема уровня общественного сознания, от коренного преобразования жизненных форм и, наконец, от тех внутренних и материальных преуспеяний, которые должны представлять собой постепенное раскрытие находящихся под спудом сил природы и усвоение человеком результатов этого раскрытия. Исчезновение призраков — вот существеннейшая задача, к осуществлению которой естественно и неизбежно должно прийти человечество, чтобы обеспечить себе спокойное развитие в будущем.

Старинные утописты были вполне правы, утверждая, что для новой жизни и основания должны быть даны новые и что только при этом условии человечество освободится от удручающих его зол. Они наглядно рисовали картины новой жизни, вводили в самые недра ее, показывали ее в полном действии. Влияние утопистов на общество чувствуется и теперь, хотя и до сих пор задача о новых основаниях заставляет метаться человечество в унынии и безнадежности. Жажда жизни пожирает сердца, но, в конце концов, дает очень мало удовлетворения и требует слишком много жертв.

Ошибка утопистов заключалась в том, что они, так сказать, усчитывали будущее, уснащая его мельчайшими подробностями. Стоя почти исключительно на почве психологической, они думали, что человек сам собой, независимо от внешней природы и ее тайн, при помощи одной доброй воли, может создать свое конечное благополучие. Между тем человечество искони связано с природой неразрывной связью и, сверх того, обладает прикладною наукой, которая с каждым днем приносит новые открытия. Фурье провидел ненужных антильвов и антиакул и не провидел ни железных дорог, ни телеграфа, ни телефона, которые несравненно радикальнее влияют на ход человеческого развития, нежели антильвы. Его смущал вопрос об удалении нечистот из помещений фаланстеров, и для разрешения его он прибегнул к когортам самоотверженных, тогда как в недалеком будущем дело устроилось проще — при помощи ватерклозетов, дренажа, сточных труб и, наконец, целого подземного города, образец которого мы видим в катакомбах Парижа. В заключение он думал, что комбинированная им форма общежития может существовать во всякой среде, не только не рискуя быть подавленною, но и подготовляя своим примером к воспринятию новой жизни самых закоренелых профанов,— и тоже ошибся в расчетах. Затем, большинство его последователей было таково, что придерживалось именно буквы учения и, в особенности, настаи-

вало на его подробностях. В результате оказалось явное противоречие с беспрерывно нарастающими жизненными требованиями, а за противоречием последовало недоверие, смех, надругательства. Великие основные идеи о привлекательности труда, о гармонии страстей, об общедоступности жизненных благ и проч. были заслонены провидениями, регламентацией и, в конце концов, забыты или, по крайней мере, рассыпались по мелочам.

Тем не менее идея новых оснований для новой жизни, идея освобождения жизни, исключительно при помощи этих новых оснований, от мелочей, делающих ее постылою, остается пока во всей своей силе и продолжает волновать мыслящие умы. Но к ней прибавилась и еще бесспорная истина, что жизнь не может и не должна оставаться неподвижною, как бы ни совершенны казались в данную минуту придуманные для нее формы; что она идет вперед и развивается, верная общему принципу, в силу которого всякий новый успех, как в области прикладных наук, так и в области социологии, должен принести за собою новое благо, а отнюдь не новый недруг, как это слишком часто оказывалось доныне.

Что история изобретений, открытий и вообще борьбы человека с природой и доныне представляет собой сплошной мартиролог, с этим согласится каждый современный человек, если в нем есть хоть капля правдивости. Железные дороги уничтожают на протяжении своем целую серию промыслов, дававших цветение и жизнь. Села и деревни пустеют; население бежит; дома, дававшие приют массе путников, уныло стоят с заколоченными ставнями; лошади и другой скот сбываются за бесценок; наконец появляется особая категория дотоле неизвестных преступных деяний. Новая ткацкая машина, новый плуг, сенокосилка, жнея — все это угобжает меньшинство и обездоливает целые массы рабочих сил. Конечно, пройдут десятки лет, и массы приобыкнут, найдут новые источники существования, так что, в общем, изменение произойдет даже к лучшему. Но ведь эти десятки лет надо прожить.

И таким образом идет изо дня в день с той самой минуты, когда человек освободился от ига фатализма и открыто заявил о своем праве проникать в заветнейшие тайники природы. Всякий день непредвидимый недуг настигает сотни и тысячи людей, и всякий день «благополучный человек» продолжает твердить одну и ту же пословицу: «Перемелется — мука будет». Он твердит ее даже на крайнем Западе, среди ужасов динамитного отмщения, все глубже и шире раздвигающего свои пределы.

Ясно, что идет какая-то знаменательная внутренняя ра-

бота, что народились новые подземные ключи, которые кипят и клокочут с очевидной решимостью пробиться наружу. Исконное течение жизни все больше и больше заглушается этим подземным гудением; трудная пора еще не наступила, но близость ее признается уже всеми.

В особенности на Западе (во Франции, в Англии) попытки отдалить момент общественного разложения ведутся очень деятельно. Предпринимаются обеспечивающие меры; устраиваются компромиссы и соглашения; раздаются призывы к самопожертвованию, к уступкам, к удовлетворению наиболее вопиющих нужд; наконец, имеются наготове войска. Словом сказать, в усилиях огородиться или устроить хотя временно примирение с «диким» человеком недостатка нет. Весь вопрос — будут ли эти усилия иметь успех?

На мой взгляд, желанный успех не только сомнителен, но и прямо невозможен. Выражу здесь мою мысль вполне откровенно. Чем больше делается попыток в смысле компромиссов, чем больше возлагается надежд на примирение, тем выше становится уровень требований противной стороны. Это аксиома, быть может, очень неутешительная, но все-таки аксиома. Поневоле приходится отказаться от попыток и оставить дело в том виде, в каком застала его минута.

Но, с другой стороны, и оставить мудрено. Нутро заинтересовано,— поймите: нутро! Сердце бьется, весь организм болит, как тут не заговорить! А при этом приличие требует оставаться, хоть наружно, спокойным, казаться доброжелательным, действительно жаждущим примирения без задней мысли: завтра, дескать, посмотрим! Тщетно! завтрашний день настанет при тех же условиях, как и сегодняшний; завтра выступят те же требования и та же бесконечная канитель переговоров... Эта перспектива раздражает еще сильнее.

Спрашивается, однако ж: что делать, чтоб устранить грядущую смуту?

Повторяю: я выражаю здесь свое убеждение, не желая ни прать против рожна, ни тем менее дразнить кого бы то ни было. И сущность этого убеждения заключается в том, что человечество бессрочно будет томиться под игом мелочей, ежели заблаговременно не получится полной свободы в обсуждении идеалов будущего. Только одно это средство и может дать ощутительные результаты.

Господствующее мнение, руководимое политиканами, не только у нас, но и в целой Европе, не признает, однако ж, этой истины. Политиканы охотнее допускают расширение свободы в обсуждении задач политических, нежели социальных. Последние считаются не только преждевременными и ни к чему

не ведущими, но и положительно опасными. Самая постановка их будто бы равносильна посягательству на существующий порядок вещей, возбуждению дурных страстей и несбыточных надежд. Ежели и политические новшества влекут за собой зло, не легко поправимое, то, по крайней мере, они скользят по поверхности, не затрогивая коренных основ, на которых искони зиждутся общество и государство. Напротив того, новшества социальные проникают в самую глубь масс, порождают в них озлобление, будят инстинкты зависти и алчности и, наконец, вызывают на открытую борьбу. Одним словом, вред, принесенный старинными утопистами и их позднейшими последователями, сделался, в глазах политиканов, настолько ясен, что поощрять утопию и даже оставаться к ней равнодушным не представляется никакой возможности.

Нельзя не признать, что в этом суждении есть известная доля правды, и именно в том, что касается политических новшеств. Последние действительно только скользят по поверхности, перемещая центр власти из одних рук в другие (от Баттенберга к Меренбергу и т. д.) и отчасти расширяя (впрочем, очень умеренно) кадры правящих классов. В массы народные они проникают в виде отдаленного гула, не изменяя ни одной черты ни в их быте, ни в их благосостоянии. Поэтому массы относятся к подобным новшествам не только равнодушно, но и с удивлением, не понимая, почему у кормила понадобился в данную минуту Гизо, а Тьер оказался ненужным.

Напротив, то же господствующее мнение оказывается совершенно неправым относительно новшеств социологических. И не право оно, во-первых, потому, что в основании социологических изысканий лежит предусмотрительность, которая всегда была главным и существенным основанием развития человеческих обществ, и, во-вторых, потому, что ежели и справедливо, что утопии производили в массах известный переполох, то причину этого нужно искать не в открытом обсуждении идеалов будущего, а скорее в стеснениях и преследованиях, которыми постоянно сопровождалось это обсуждение.

Встречаются и поныне люди, на которых простое напоминание о праве человека масс на участие в благах жизни производит действие пытки. Но это уже дело личного темперамента или старинного, вкоренившегося предрассудка — и ничего больше. Если б эти люди умели рассуждать, если б они были в состоянии проникать в тайны человеческой природы, то они поняли бы, что одну из неизбежных принадлежностей этой природы составляет развитие и повышение уровня нравственных и материальных потребностей. Немыслимо, чтобы чело-

век смотрел и не видел, слушал и не слышал, чтоб он жил как растение, цветя или увядая, смотря по уходу, который ему дается, независимо от его деятельного участия в нем.

Самая наглядная очевидность требует, чтоб общественные вопросы всегда стояли на очереди и постоянно подвергались разработке. Нет нужды, что разработка эта не обойдется без ошибок и заблуждений — при открытом обсуждении не только ошибки, но и самые нелепости легко устраняются при помощи полемики. Во всяком случае, такое обсуждение представляет гораздо менее риска, нежели тайны общества и подземная работа нарастающих общественных элементов, которые, при отсутствии света и воздуха, невольным образом обостряются и приобретают угрожающий характер.

Затем естественно возникает вопрос: если уж нельзя не ощущать паники при одном слове «новшества», то какие из них заключают в себе наибольшую сумму угроз: политические или социальные?

На мой взгляд — первые. Прежде всего, они почти всегда настигают общество внезапно; сверх того, сравнительно бедные результатами, они непосредственно затрогивают личные интересы и уязвляют личные честолюбия. Повторяю: они перемещают центры власти, в ущерб или к выгоде немногих заинтересованных личностей, но без существенной пользы для масс. Напротив того, социальные новшества ежели и не влекут за собой прямого освобождения масс от удручающих мелочей, то представляют собой непрерывную подготовку к такому освобождению.

Подготовка эта, без сомнения, получит вполне спокойное развитие, если при этом не будет встречаться внешних усложнений. А для этого нужно только терпение и свобода от предрассудков — ничего больше.

Сами массы совсем не так нетерпеливы и не представляют чересчур несоразмерных требований, как об этом привыкли вопиять встревоженные умы. Прислушайтесь к этим требованиям, и вы без труда убедитесь, что даже maximum их, сравнительно, не очень велик. И причина этой умеренности очень проста: человеку масс неоткуда взять идеалов роскоши, пресыщения и даже простого довольства,— он не знает их. Все его желания по части новшеств ограничиваются лишь тем, что составляет действительную и неотложную нужду. Парижский рабочий не мечтает ни о раках à la bordelaise, ни о житье в пространных палаццо, среди роскошной обстановки; но он, конечно, не откажется ни от choucroute[1], ни от светлого и хо-

[1] кислой капусты.

рошо вентилированного помещения. Непритязательность этой претензии уже начинает уясняться для самих политиканов, и предусмотрительнейшие из них не отказываются от попыток в смысле их удовлетворения. Только попытки эти представляют собой каплю в море и потому достигают лишь очень немногих частных результатов.

Само собой, впрочем, разумеется, что я говорю здесь вообще, а отнюдь не применительно к России. Последняя так еще молода и имеет так много задатков здорового развития, что относительно ее не может быть и речи о каких-либо новшествах.

Итак, терпение, милостивые государи! Терпение с небольшою прибавкой доброжелательства и решимости разрешать назревающие вопросы жизни не одной постановкой обнаженного fin de non recevoir [1], но и с участием свободного анализа.

---

[1] отказа дать делу законный ход.

I
НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УХИЩРЕНИЙ

1. ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ МУЖИЧОК

Известно ли читателю, как поступает хозяйственный мужик, чтоб обеспечить сытость для себя и своего семейства? О! это целая наука. Тут и хитрость змия, и изворотливость дипломата, и тщательное знакомство с окружающею средою, ее обычаями и преданиями, и, наконец, глубокое знание человеческого сердца.

Прежде всего он начинает с самого себя, с своей семьи, с работника или работницы, ежели у него есть, с людей, созываемых на пòмочи, и т. д. И главная забота его заключается в том, чтоб этот рабочий улей как можно умереннее потреблял еды и в то же время был достаточно сыт, чтобы устоять в непрерывной работе. Первый предмет, представляющийся его вниманию,— хлеб. Он не подает на стол мягкого хлеба, а непременно черствый — почему? — потому что черствый хлеб спорее; мягкого хлеба вдвое съешь. Затем он круглый год льет в кашу не коровье масло, а конопляное, хотя первое можно найти дома, а второе нужно купить, и оно обойдется почти не дешевле коровьего — почему? — потому что налей мужику коровьего масла, он вдвое каши съест. Свежую убоину он употребляет только по самым большим праздникам, потому что она дорога, да в деревне ее, пожалуй, и не найдешь, но главное потому, что тут уж ему не сладить с расчетом: каково бы ни было качество убоины, мужик набрасывается на нее и наедается ею до пресыщения. Одно средство, за редкими исключениями, совсем изгнать ее из насыщающего обихода.

Не менее мудро поступает он и с гостями во время пирований, которые приходятся на большие праздники, как рождество, пасха или престольные, и на такие семейные торжества, как свадьба, крестины, именины хозяйки и хозяина. Он прямо подносит приходящему гостю большой стакан водки, чтобы он сразу захмелел.

— Как поднесу я ему стакан,— говорит он,— его сразу ошеломит; ни пить, ни есть потом не захочется. А коли будет

он с самого начала по рюмочкам пить, так он один всю водку сожрет, да и еды на него не напасешься.

Скотину он тоже закармливает с осени. Осенью она и сена с сырцо́й поест, да и тело скорее нагуляет. Как нагуляет тело, она уж зимой не много корму запросит, а к весне, когда кормы у всех к концу подойдут, подкинешь ей соломенной резки — и на том бог простит. Все-таки она до новой травы выдержит, с целыми ногами в поле выйдет.

Таковы характеристические черты крестьянского хозяйственного быта, те черты, которыми определяется дальнейшее его жизнестроительство. Голова скромного хозяйственного мужичка не знает отдыха; с утра до вечера она занята всевозможными устроительными подробностями. Много лежит на нем обязанностей: прежде всего нужно, конечно, определить крайний minimum, чтобы прокормить себя и семью; потом — подумать об уплате денежных сборов и отыскать средства для выполнений этой обузы; наконец, ежели окажутся лишки, то помечтать и о так называемой «полной чаше». Но расчеты его чересчур часто нарушаются. Беспрестанно встречаются экстренные расходы: то свадьба в доме, то крестины — все это составляет предмет мучительных забот. Мужику все нужно; но главнее всего нужна предусмотрительность, уменье заблаговременно приготовиться и запастись, способность изнуряться, не жалеть личного труда, лишь бы как можно меньше истратить денег.

Деньги — это кровная язва крестьянского быта. Дома крестьянин очень мало в них нуждается — только на соль, да вино, да на праздничную убоину. От времени до времени требуется сшить девушке-невесте ситцевый сарафан, купить платок, готовый шугайчик; по возвращении из поездки в город хочется побаловать ребят калачом или баранками. В кои-то веки он купит праздничный армяк синего сукна для себя и недорогой материи на сарафан для жены. Вот и вся его домашняя денежная трата. Остальное он должен добыть на уплату всевозможных сборов.

Ради них он обязывается урвать от своего куска нечто, считающееся «лишним», и свезти это лишнее на продажу в город; ради них он лишает семью молока и отпаивает теленка, которого тоже везет в город; ради них он, в дождь и стужу, идет за тридцать — сорок верст в город пешком с возом «лишнего» сена; ради них его обсчитывает, обмеривает и ругает скверными словами купец или кулак; ради них в самой деревне его держит в ежовых рукавицах мироед. Самого его не только не тянет к мироедству, но он и способностей к нему не имеет: он просто толковый и хозяйственный мужик.

Не удивительно, стало быть, что он весь погружен в одну думу: спасти себя и присных.

И он настолько привык к этой думе, настолько усвоил ее с молодых ногтей, что не может представить себе жизнь в иных условиях, чем те, которые как будто сами собой создались для него. Он идет за возом в город, думает и в то же время ищет глазами. Подкова на дороге валяется — он ее за пазуху спрячет (найденная подкова предвещает счастие); бумажку кто-нибудь обронил, окурок папироски — он и их поднимет; даже клочок навоза кинет в телегу и привезет домой. Сегодня клочок, завтра клочок — смотришь, ан и целый возок наберется. В городе он отстаивает себя до последней крайности, но почти всегда без успеха, потому что городская обстановка ошеломляет его; там всё ба́ры живут да купцы, которые тоже барами смотрят,— чуть что, и городовой к ним на помощь подоспеет, в кутузку его, сиволапого, потащат. Где ему, темному и безграмотному мужику, спастись от всех ловушек, которые специально для него расставлены? Поэтому он продает свой товар по произвольно установленной цене, наскоро кормит лошадей и, сделавши необходимые закупки, спешит засветло доехать домой. Здесь он рассчитывает себя, откладывает гроши к грошам, разглаживает и рассматривает на свет скомканные ассигнации и прячет выручку в заветную кубышку. В большинстве случаев оказывается, что получка далеко не оправдывает ожиданий.

Подобные неудачи встречаются очень часто и до боли его трогают. Но они от него не зависят: все равно, застигнут ли они его или благополучно пройдут мимо,— все равно, ему и еще, и еще придется идти им навстречу и подчиниться. Надо, стало быть, забыть о неудачах и стараться наверстать на чем-нибудь другом. И он, не успевши отдохнуть с дороги, обходит двор, осматривает, все ли везде в порядке, задан ли скоту корм, жиреет ли поросенок, которого откармливают на продажу, не стерлась ли ось в телеге, на месте ли чеки, не подгнили ли слеги на крыше двора, можно ли надеяться, что вон этот столб, один из тех, которые поддерживают двор, некоторое время еще простоит. Он берет в руки топор и до самого ужина стучит им и облаживает замеченные огрехи. Словом сказать, спасает себя.

В свое время он припасается, стараясь прежде всего вырвать то, что достается задаром, а потом уже думает о том, чтобы как можно дешевле приобрести то, чего нельзя достать иначе, как за деньги. Летом овраг, разделяющий деревню на две половины, совсем засыхает; но в весеннее половодье он наполняется до краев водою, бурлит и шумит. Из соседней

речки Пишковки заходит туда рыба: головли, ерши, язи, плотва, окуни, щуки. Заботливый хозяин пользуется этим даровым прибытком и ставит вéрши. Он больше всего радуется щуке, которая хоть и костлява, но зато попадается крупных размеров и притом годна к солке впрок. Он наполняет ею все кадочки и бочонки, какие только найдутся в доме, и в продолжение всего лета лакомит себя, семью и домочадцев соленою рыбкой. Рыба тверда, почти несъедобна, но зато она спора, ее меньше съедят — и это все, что требуется доказать. Притом же на стол ставится чашка не с пустыми щами, а щи с рыбой; а это означает тороватость. Про такого мужика говорят: «он живет торовато, у него щи с рыбой едят». И работники идут к нему охотнее, и пòмочь он скорее сберет.

Весной же он запасается солониной. Прослышит, что где-нибудь корова от бескормицы еле жива, а владельца этой коровы сборами нажимают, устроится с тремя-четырьмя другими заботливыми хозяевами в складчину, и купят коровью мясную тушу за пять рублей. В ней больше костей, нежели мяса, да и мясо неуваристое, точно мочало, а все-таки мало-мало двенадцать пудов этого мяса найдется — пуд-то обойдется каких-нибудь сорок копеек. И вот у него на все лето солонины хватит. За неимением погребов, солонина зарывается в землю, но к наступлению летнего мясоеда все-таки сильно припахивает; но это делает ее еще спорее. Мужик и с запашкóм убоину съест, но, разумеется, меньше, нежели если б она была совсем свежая. Стало быть, и тут выгода.

Главное, поддержать в исправности силы, необходимые для летней страды. Не наедаться, а именно только в меру себя поддерживать. А как и чем этого достигнуть — вопрос второстепенный.

Летом мужик весь в работе. Ленивый и захудалый мужичонко — и тот не сходит с полосы, а хозяйственный мужичок просто-напросто мрет на ней. Он почти не спит; ложится поздно, встает с зарей (по вечерней и утренней заре косить траву спорее) и спешит на работу. Вечно тревожимый думою о насущном хлебе, он набрал у соседнего помещика пустошных покосов исполу и даже из третьей копны, косит до глубокой осени и только с большой натугой успевает справиться с работой. И жена, и взрослые дети — все мучатся хуже каторги; даже подростки — и те разделяют общую страдную муку. Зато в конце августа он уже может рассчитать, что своего хлеба у него хватит до масленой. Но сена вдоволь: есть чем и скотину прокормить и на сторону продать можно. Сено — главная его надежда. Земельный надел так ограничен, что зернового хлеба сеется малость; сена же он может добыть зада-

ром, то есть только потратив, не жалеючи, свой личный труд на уборку. Мало его личного труда — он ходит по соседям, сбирает по́мочи. Обыкновенно на по́мочи выходят в праздники, а это тоже доставляет своего рода спорость: прогульных дней меньше. Все знают, что у него и рыбы, и мяса насолено, и конопляного масла непочатый бочонок стоит, и чарка водки найдется,— и идут к нему. Идут весело, с песнями, работают споро; он в первой косе. Хотя с работы возвращаются не поздно, но на миру работа идет вдвое спорее; все-таки угощенье наполовину дешевле обойдется, нежели ту же пустошь наемными рабочими убрать. Да и хозяину веселее, когда кругом все кипит и спорится. Это, может быть, одни из редких минут, когда в нем сердце взаправду играет.

Однако к концу страды даже он начинает тощать на работе. Лицо у него почернело под слоем въевшейся пыли; домашние еле бродят. К счастию, страда кончается: и с озимым отсеялись, и снопы с поля свезены и сложены в скирды, и последнее сено убрали. Наступает осень, иногда румяная, иногда сопровождаемая ливнями. Осень тоже имеет свою страду, но уже более снисходительную. Работают преимущественно под крышей или вблизи дома, на гумне, на огороде. Слышится стук цепов; воздух насыщается запахом созревших овощей. Но хозяйственный мужичок зорко следит за атмосферическими изменениями, потому что и сплошь румяная осень может повредить, и от слишком частых дождей хозяйство, пожалуй, пострадает. Всего лучше, ежели погода перемежающаяся — тогда его сердце успокаивается до весны. Он ходит в поле и любуется на рост озими. Но и тут уж мелькает в его голове предательская мысль: осень всклочет, да как-то весна захочет!

Что, ежели вдруг весна придет бездождная или сплошь переполненная дождями? «Пойдут на низинах вымочки — своего зерна не соберешь; или на низинах хорошо взойдет, да наверху сгорит!» — мучительно думается ему.

Но загадывать до весны далеко: как-нибудь изворачивались прежде, изворотимся и вперед. На то он и слывет в околотке умным и хозяйственным мужиком. Рожь не удается, овес уродится. Ежели совсем неурожайный год будет, он кого-нибудь из сыновей на фабрику пошлет, а сам в извоз уедет или дрова пилить наймется. Нужда, конечно, будет, но ведь крестьянину нужду знать никогда не лишнее.

Осенью он запасается на зиму. Сам с взрослыми сыновьями — целый день в лесу, готовит дрова и сучья; или молотит на гумне, справляет на зиму сбрую. Ежели найдется досуг, то для наполнения его у него есть и ремесло. Дуги на продажу

готовит, бондарничает, веревки вьет. Женский персонал между тем занимается зимним припасом. Стучат сечки о корыто, наполненное ядреной капустой; солится небольшой запас огурцов, в виде лакомства, на праздники; ходенем ходит ткацкий станок, заготовляя красно и шерстяную редину, которыми зимой обшивают семью. Минуты нет отдохнуть. Даже с наступлением сумерек, при свете керосиновой лампочки (такое освещение дешевле лучины стоит),— и тут дело найдется. Большак новый лапоть плетет или старый починивает; старуха шерстяные чулки и карпетки вяжет; молодухи прядут. Благословенный труд не покидает этой семьи; он не кажется ей каторгой, а составляет естественный жизненный процесс. Поздно вечером (сидят долго, но зато встают позднее — где еще до свету!) ужинают и ложатся спать. Временно каторга прекращается.

Ночью изба представляет собою нечто вроде нестерпимой клоаки. Домочадцев скучилось так много, что и пол занят, и полати, и лавки по стенам. Изба полна смрадом и стонами этого замученного хозяйственностью люда. У мужика есть, кроме избы, и «чистая» горница, но она не топится, ради сбережения дров, и вообще в ней даже летом редко живут; она существует напоказ и открывается только в праздники. Хорошо еще, что жилая изба топится по-«черному»; утром, чуть свет, затопит хозяйка печку, и дым поглотит скопившиеся в избе миазмы. Этот дым выедает глаза, щекочет ноздри. В беспрестанно отворяемую дверь врывается холодный воздух. Сонные домочадцы, разбуженные запахом гари и холодом, вскакивают как встрепанные и бегут на крыльцо, где на веревке качается рукомойник. Зато, часа через два, когда семейный обед готов, хозяйка заботливо закутывает печь, и в избе делается светло и тепло. «Точно в раю!» — говорит она довольным голосом.

Только в короткий рождественский мясоед жизнь становится как будто льготнее. Молодежь отдыхает; даже старики позволяют себе относительную свободу, хотя хозяйственный мужичок и тут не упускает случая, дающего возможность с выгодой употребить свой труд. Днем, около сумерек, деревенская улица полна катающимися. Парни, усадив в сани гурьбы девушек, настегивают лошадей и мчатся во всю прыть. Слышатся гиканья, крики, смех. Накатаются досыта, иззябнут, но в избу заходят ненадолго. Зажгутся в избах огни — пора на поседки. Соберутся в очередную избу, играют песни и веселятся до петухов. Тут парни высматривают невест, завязываются сватовства на Красную горку; любовь вступает в свои права.

В это же время, по преимуществу, хозяйственный мужичок играет свадьбы.

Женитьба сына не требует особенных приготовлений. Сын берет бабу в дом, а дома все идет своим чередом; прибавляется только лишняя работница. Присмотреть невесту, уговориться насчет приданого, установить норму расходов для пирований и на плату за венчание — вот все, что требуется. Но к свадьбе дочери подготовляются издалека и исподволь, чтоб расход не был чувствителен. Дочь имеет собственную коробью, в которую сама собирает свое приданое. Ей каждый год отделяется небольшой клочок земли и дается горсточка льну на посев; этот лен она сама сеет, обделывает и затем готовит из него для себя краснó. Все заготовленное она прячет в коробью, вместе с полученными в разное время подарками: платками, бусами, нарядными сарафанами и т. д.

С наступлением времени выхода в замужество — приданое готово; остается только выбрать корову или телку, смотря по достаткам. Если бы мужичок не предусмотрел зáгодя всех этих мелочей, он, наверное, почувствовал бы значительный урон в своем хозяйстве. А теперь словно ничего не случилось; отдали любимое детище в чужие люди, отпировали свадьбу, как быть надлежит,— только и всего.

Выше я сказал, что хозяйственный мужичок играет домашние свадьбы (или, точнее, женит сына, потому что дочь выдается, когда жених найдется) преимущественно к концу рождественского мясоеда. В этом деле им тоже руководит мудрость змия и твердая решимость не потерпеть ущерба в жизнестроительном обиходе. Своевременно приведенная в дом сноха родит, при таком расчете, не раньше осени; следовательно всю летнюю страду она отбудет свободно. И не только будущую страду, но и предбудущую, потому что ребенок, родившийся с осени, успеет мало-мальски окрепнуть и не будет слишком часто отрывать мать от работы. Женить на Красную горку тоже удобно, с точки зрения ближайшей страды, но зато предбудущая уже не дает достаточного обеспечения: ребенок будет мал и слаб.

Как видит читатель, никаких дум у хозяйственного мужика нет, кроме думы о жизнестроительстве. Ради нее он отдает себя и семью в жертву каторге, ради нее терпеливо выносит всякие неожиданности. Она затемняет в нем даже любовь к семье. Он всецело отдает ей самого себя, но — и только. Той любви, которая заставляет видеть в жене, сыне, дочери нечто ненаглядное, неприкосновенное для обид, не существует для него. И всю семью он успел на свой лад дисциплинировать; и жена и дети видят в нем главу семьи, которого следует беспре-

кословно слушаться, но горячее чувство любви заменилось для них простою формальностью — и не согревает их сердец.

Наконец идеал «полной чаши» достигнут. Изба прочна и хорошо ухичена; запасу вдоволь, скотины в избытке, дети — в порядке. В доме царствуют мир и согласие; даже в кубышке деньга, на черный день, водится. В таком положении до мироедства — один только шаг. Но хозяйственный мужик от природы чужд кровопивства; его не соблазняет ни лавочка, ни кабак. Непрерывным трудом и думою о будущем он достиг известной степени зажиточности — и будет с него. По-прежнему — он отказывается от чайничества, по-прежнему — ест хлеб черствый, а не мягкий, по-прежнему — осторожно обращается с свежей убоиной. Если б он поступил иначе, ему было бы не по себе, он перестал бы быть самим собой.

Но с «полною чашей» приходит и старость. Мало-помалу силы слабеют; он не может уже идти сорок верст за возом в город и не выносит тяжелой работы. Старческое недомогание обступает со всех сторон; он долго перемогает себя, но наконец влезает на печь и замолкает.

На арену хозяйственности выступает большак-сын. Если он удался, вся семья следует его указаниям и, по крайней мере, при жизни старика не выказывает розни. Но, по временам, стремление к особничеству все-таки прорывается. Младшие сыновья припрятывают деньги,— не всё на общее дело отдают, что выработают на стороне. Между снохами появляются «занозы», которые расстраивают мужей.

«Умру — всё растащат!» — думается старику, и болит, ах, болит его хозяйственное сердце!

Наконец он умирает. Умирает тихо, честно, почти свято. За гробом следует жена с толпою сыновей, дочерей, снох и внучат. После погребенья совершают поминки, в которых участвует вся деревня. Все поминают добром покойника. «Честный был, трудовой мужик — настоящий хрестьянин!»

Да, это был действительно честный и разумный мужик. Он достиг своей цели: довел свой дом до полной чаши. Но спрашивается: с какой стороны подойти к этому разумному мужику? каким образом уверить его, что не о хлебе едином жив бывает человек?

2. СЕЛЬСКИЙ СВЯЩЕННИК

В основе существования сельского священника лежит та же мысль, как и у хозяйственного мужика: обеспечить себя и семью от вторжения нужды. Та же мучительная дума о за-

втрашнем дне, то же неотступное желание заблаговременно определить мельчайшие подробности жизнестроительства, с целью избежать неожиданностей. Впрочем, оговариваюсь: я говорю исключительно о священнике бедного прихода, и притом держащемся старозаветных преданий, словом сказать, о священнике, не отказавшемся от личного сельскохозяйственного труда. О священниках новой формации я знаю очень мало, хотя слышал, что большинство их уже относится, например, к полеводству довольно холодно (отдают свой земельный участок в кортому). Какой тип священника лучше и любезнее для народа, это покажет время; но личные мои симпатии, несомненно, тянут к прежнему типу, и я очень рад, что он исчезает настолько медленно, что и теперь еще составляет большинство. Но даже и там, где уже появился новый «батюшка», рядом с ним живут дьячок или пономарь, которым уж никак нельзя существовать иначе, как существовали их отцы и деды.

Поэтому все, что я скажу дальше о сельском священнике, вполне применимо и к причетническому быту, но, разумеется, в удвоенной степени, потому что и нужда здесь двойная, и размеры обеспечивающих средств вдвое и втрое меньше.

Нужда сельского священника значительно превышает нужду хозяйственного мужика. Священник живет шире не потому, чтоб это была его прихоть, а по необходимости: поповская обстановка исстари так сложилась. У него дом больше — такой достался ему при поступлении на место; в этом доме, не считая стряпущей, по крайней мере, две горницы, которые отапливаются зимой «по-чистому», и это требует лишних дров; он круглый год нанимает работницу, а на лето и работника, потому что земли у него больше, а стало быть, больше и скота — одному с попадьей за всем недоглядеть; одежда его и жены дороже стоит, хотя бы ни он, ни она не имели никаких поползновений к франтовству; для него самовар почти обязателен, да и закуска в запасе имеется, потому что его во всякое время может посетить нечаянный гость: благочинный, ревизор из уездного духовного правления, чиновник, приехавший на следствие или по другим казенным делам, становой пристав, волостной старшина, наконец, просто проезжий человек, за метелью или непогодой не решающийся продолжать путь. Куда толкнуться? — на постоялом дворе пьянство, холод, вонь — айда к попу! И священник волей-неволей заказывает работнице самовар и подает угощенье. Но что всего больше угнетает священника — это дети. Их надо воспитать, а воспитать — значит подносить подарки, прилично одевать, содержать на наемной квартире и покупных хлебах, сначала в уездном городе, а потом и губернском. Язва, которую вносят с

собой деньги в обиход хозяйственного мужика, в священническом обиходе оказывается двойною и тройною. Везде дыры, везде заткнуть надо. И дом достался ему — только слово, что дом; стены ветхие, накаты под полом сгнили, половицы колеблются. Всюду дует, везде надо заплату поставить — надолго ли? И двор, того гляди, повалится — хоть новый строй. У дочери-невесты платья подошли, а поблизости, у соседа-священника, скоро свадьбу играть будут; ежели не ехать — люди осудят, а ежели ехать — надо и самому приформиться, и семью обшить. В старом-то сарафане и пригожую девку никто за себя не возьмет. Сидит батюшка поздно вечером за приходскими книгами и думает крепкую думу: «Никак не извернусь!» Придется ему вытянуться в струну, урезать себя, отказаться от куска, лишь бы угомонить женский персонал, который уже зáгодя предвкушает удовольствие предстоящего свадебного пирования.

Приход мал и беден. С праздничным причт ходит раз пять в год, причем мужики отделываются трешницами или пятишницами; даже местный мироед больше двугривенного не дает. Сколько с сорока — пятидесяти дворов таких грошей наберешь? Церковь пустует; еле хватает церковных доходов на покупку муки для просфор и красного вина. Молебны редкие, за требу — плата ничтожная, свадеб мало. Соберется в год рублей сотни полторы — и те надо с причетниками поделить; очистится ли, нет ли после дележа на его пай сотня рублей? Жалованье тоже несообразное, и не увидишь, как оно между пальцев уйдет. Единственная прочная надежда на землю и на личный труд. Да и то еще как бог совершит.

Известно, что к церквам обязательно прирезывается до тридцати трех десятин земли. В иных приходах бывают и жертвованные земли, но это встречается редко. Две трети этой земли (ежели нет дьякона) составляют долю священника; остальная треть отдается двум причетникам. Вот на этих-то двадцати двух десятинах и сосредоточивает священник свои упования. Из них до шести десятин на его долю под лесом приходится, десятины две под лугом, около десятины уйдет под усадьбу с огородом, под церковь, под площадь. Десятин приблизительно двенадцать священник распахивает да с четверть десятины уделяет под лен жене и дочерям.

Хорошо еще, что церковная земля лежит в сторонке, а то не уберечься бы попу от потрав. Но и теперь в церковном лесу постоянно плешинки оказываются. Напрасно пономарь Филатыч встает ночью и крадется в лес, чтобы изловить порубщиков, напрасно разглядывает он следы телеги или саней, и нередко даже доходит до самого двора, куда привезен по-

хищенный лес,— порубщик всегда сумеет отпереться, да и односельцы покроют его.

В полеводстве священник (назову его отцом Николаем) держится старой, трехпольной системы. Новшества — не в характере духовенства, да и не с чем к ним приступиться. Нужны усовершенствованные орудия, а у него в распоряжении только соха да борона. Но главная беда — удобрения мало. Скота — две коровы, штук пять-шесть овец да лошадь — тут, вместе с небольшим огородцем, и одной десятины поля как следует не удобрить, а ему приходится удобрять четыре. Поэтому земля удобряется кой-как и дает соответственный урожай. Редко последний достигает размера сам-четверт для ржи и сам-третей для овса. Тут и на семена отложить надо, и самому продовольствоваться, и на сторону хоть немного продать.

Хозяйственный священник сам пашет и боронит, чередуясь с работником, ежели такой у него есть. В воспоминаниях моего детства неизгладимо запечатлелась фигура нашего старого батюшки, в белой рубашке навыпуск, с волосами, заплетенными в косичку. Он бодро напирает всей грудью на соху и понукает лошадь, и сряду около двух недель без отдыха проводит в этом тяжком труде, сменяя соху бороной. А заборонит — смотришь, через две недели опять или под овес запахивать нужно, или под озимь двоить.

Помочи при пашне не в обычае. Миряне, если бы и собрались на помочь, то не вспахали бы, а только взболтали бы землю, каждый на свой образец. При крепостном праве обратится, бывало, священник к помещику: «Позвольте дня на два работничка»,— тот и дает. А нынче даже если и есть в селе господская экономия, то в ней хоть шаром покати. Впрочем, ежели церковный староста дружит с священником, то иногда уговорит двух-трех особенно набожных прихожан — сам-четверт урвут часа по три собственной пашни и вспашут батюшке десятинку. Такой помочи священник особенно рад: ни «подносить», ни угощать помощников не нужно, на ласковом слове довольны.

Сенокос обыкновенно убирается помочью; но между этою помочью и тою, которую устраивает хозяйственный мужичок, существует громадная разница. Мужичок приглашает таких же хозяйственных мужиков-соседей, как он сам; работа у них кипит, потому что они взаимно друг с другом чередуются. Нынешнее воскресенье у него помочь; в следующий праздничный день он сам идет на помочь к соседу. Священник обращается за помочью ко всему миру; все обещают, а назавтра добрая половина не явится.

— Припасу на сорок человек наготовлено,— горюет ба-

тюшка,— а пришло двадцать человек! хоть в навоз выливай щи!

Народ собрался разнокалиберный, работа идет вяло. Поп сам в первой косе идет, но прихожане не торопятся, смотрят на солнышко и часа через полтора уже намекают, что обедать пора. Уж обнесли однажды по стакану водки и по ломтю хлеба с солью — приходится по другому обнести, лишь бы отдалить час обеда. Но работа даже и после этого идет всё вялее и вялее; некоторые и косы побросали.

— Не каторжные! — раздается в толпе.

Делать нечего, надо сбирать обед. Священник и вся семья суетятся, потчуют. В кашу льется то же постное масло, во щи нарезывается та же солонина с запашком; но то, что сходит с рук своему брату, крестьянину, ставится священнику в укор. «Работали до седьмого пота, а он гнилятиной кормит!»

Наконец обед кончен. Священник с вымученной улыбкой говорит:

— А нуте, господа миряне, на дорожку еще часик бы покосили!

Но половина мирян уже разошлась и молча, без песен, возвращается по домам.

Хорошо, что к сенокосу подоспели на каникулы сыновья. Старший уж кончает семинарию и басом читает за обедней апостола; младшие тоже, по крестьянскому выражению, гогочут. С их помощью батюшка успевает покончить с остальным сенокосом.

Попадья и с своей стороны собирает помочь: на сушку сена, на жнитво. Тут та же процедура, та же вялость и неспорость в работе.

«Смотреть на этих баб тошно!» — мучительно думает попадья, но вслух говорит: — А вы, бабыньки, для отца-то духовного постарайтесь! не шибко соломой трясите: неравно половина зерна на полосе останется.

К половине сентября начинает сводить священник полевые счеты и только вздрагивает от боли. Оказывается, что ежели отложить на семена, то останется ржи четвертей десять — двенадцать, да овса четвертей двадцать. Тут — и на собственное продовольствие, и на корм скоту, и на продажу.

Некоторые священники пчелами занимаются, колод по двадцати, по тридцати держат. Это занятие выгодное. Пчела работает даром, но надо уметь с ней отваживаться. Ежели есть в доме старик отец или тесть (оставшийся за штатом), то обыкновенно он занимается пчелами и во время роенья не отходит от ульев. Ежели нет такого старика, то и эта забота падает на долю священника, мешая его полевым работам, пото-

му что пчела капризна: как раз не усмотришь — и новый рой на глазах улетел. Однако все-таки тут довольно чувствительное подспорье. Около первого Спаса приедет прасол, который скупает мед и воск,— пожалуй, рублей двадцать — тридцать и наберется.

Есть у священника и еще подспорье — это сборы с прихожан натуральными произведениями. О пасхе каждым прихожанином уделяется ему на заутрени, при христосованье, несколько яиц; при освящении пасх (вместо которых употребляются ватрушки) тоже вырезывается кусок. Священник стоит с крестом в руках, а сбоку, на столике, лукошко, наполняемое яйцами. И у причетников по лукошку, и у детей священника и причетников — каждого оделяют: кто одно, кто два яйца положит. То же самое повторяется и на славлении, которое производится целой гурьбой. А на другой день матушка по приходу с лукошком ходит — опять яйца. Ежели славить идут в дальнюю деревню, то запрягают лошадь и нагружают телегу лукошками. Яиц набирается много, девать некуда; кусков — тоже. Едят целую неделю, всего приесть не могут. Поэтому солят яйца впрок, а куски ватрушек сушат. Хоть и не весть какая пища, а все же годится для наполнения желудка.

Другое подспорье — поминальные пироги и блины. И от них уделяется часть священнику и церковному причту. Недаром сложилась пословица: поповское брюхо, что бёрдо, всё мнет. Горькая эта пословица, обидная, а делать нечего: из песни слова не выкинешь.

Третье, и самое значительное, подспорье — новь. Около Воздвиженья священник ездит по приходу в телеге и собирает новую рожь и овес. Кто насыплет в мешок того и другого по гарнцу, а кто — и на два расщедрится. Следом за батюшкой является и матушка — ей тоже по горсточке льняного семени кинут.

Как и хозяйственный мужичок, священник на круглый год запасается с осени. В это время весь его домашний обиход определяется вполне точно. Что успел наготовить и собрать к Покрову — больше этого не будет. В это же время и покупной запас можно дешевле купить: и в городе и по деревням — всего в изобилии. Упустишь минуту, когда, например, крупа или пшеничная мука на пятак за пуд дешевле,— кайся потом весь год.

Питается священник в своей семье совершенно так же, как и хозяйственный мужичок. Точно так же осторожно обходится с убоиной; ест кашу не всякий день и льет в нее не коровье масло, а постное; хлеб подает на стол черствый и солит похлебку не во время варки ее (соляных частиц много улетучи-

вается), а тогда, когда она уже стоит на столе. «Недосол на столе, а пересол на спине»,— шутит он, ради оправдания своих чересчур уже экономических соображений. Зато «напоказ» он и самовар имеет, и закуску держит,— чтобы гость понимал, что он, как и прочие, по-людски живет.

Однако хозяйственный мужичок позволяет себе думать о «полной чаше», и нередко даже достигает ее, а священнику никогда и на мысль представление о «полной чаше» не приходит. Единственное, чего он добивается, это свести у года концы с концами. И вполне доволен, ежели это ему удастся.

— Мужичок в сто крат лучше нашего живет,— говорит он попадье,— у него, по крайности, руки не связаны, да и семья в сборе. Как хочет, так и распорядится, и собой и семьей.

— Вон на Петра Матвеева посмотреть любо! — вторит ему попадья,— старшего сына в запрошлом году женил, другого — по осени женить собирается. Две новых работницы в доме прибудет. Сам и в город возóк сена свезет, сам и купит, и продаст — на этом одном сколько выгадает! А мы, словно прикованные, сидим у окошка да ждем барышника: какую он цену назначит — на том и спасибо.

— А старость придет — в заштат отчислят, землю отберут... Ах, старость! старость!

Голова отца Николая осаждается невеселыми думами, сердце — в постоянной тревоге.

Основа, на которой зиждется его существование, до того тонка, что малейший неосторожный шаг неминуемо повлечет за собой нужду. Сыновья у него с детских лет в разброде, да и не воротятся домой, потому что по окончании курса пристроятся на стороне. Только дочери дома; их и рад бы сбыть, да с бесприданницами придется еще подождать.

Ни поговорить по душе не с кем, ни посоветоваться. Как ни просто держит себя священник, все же он не свой брат,— без нужды мужик к нему не пойдет. Сиди дома, думай думу, дела не делай, а от дела не бегай. Зимние долгие вечера наполнить нечем: нет у него ремесла. Ежели поучения сочинять, так не всякий на то способность имеет, а сверх того, вон — их целая книга на всякие случаи готова. Ходит отец Николай по горнице; портреты епархиальных архиереев рассматривает; рад-радехонек, когда пробьет наконец девять часов. Поставят на стол пустые щи, а там, по молитве, и спать. Во сне он видит, что комиссия об улучшении быта духовенства устраивается.

— А я во сне видел, что нам жалованья прибавили,— сообщает он жене — а что, ежели сон-то вещий?

— Добро! ступай-ка скотине корм задавать. Ужо́ на картах погадаем, прибавят ли тебе жалованья или нет.

Годы тянутся за годами, серые, полные тоски. Священник мечтает о другом приходе, где больше доходов, но мечты его сбываются редко. Он и беден, и протекции не имеет. Хорошо, ежели и старое-то место успеет за собой закрепить до тех пор, покуда силы не оставили. Старшую дочь он наконец успел выдать замуж — ничего, живет хорошо. Одной заботой меньше. Но каких хлопот ему это стоило! Нужно было и к прихожанам обращаться, каких-то старых «благодетелей» вспомнить, просить, кланяться, за каждый грош благодарить. Ради этого он в город съездил, всех купцов обошел, всех назвал ревнителями и истинными сынами церкви. И везде слышал: «выпьем, батя!» — и хорошо-хорошо, если в результате оказывалась зелененькая. А изъян, причиненный этим событием в собственном хозяйстве,— сам по себе. Пришлось корову продать, в долги влезть. Будет памятна отцу Николаю эта свадьба.

А невзгоды между тем идут своим чередом. То капли дождя не канет — сгорело всё; то ливни льют — всё сопрело, сгнило. Вот он, подпоясанный, в белой рубашке навыпуск, идет с лукошком в руках. На дворе — который день дождик льет, от работы совсем отбило. Снопы с поля убирать бы надо, да погода не пускает, а снопы уж прорастать начали. «Семян не соберем!» — говорит он себе, и страх перед завтрашним днем ни на минуту не покидает его. Дождливая погода приводит урожай на грибы, и он все время проводит в лесу. Берет батюшка грибы и на небо посматривает, не прояснится ли где хоть кусочек. Вот, слава богу, в сторонке слой облаков как будто потоньше становится; вот и синевы клочок показался... слава богу! завтра, может быть, и солнышко выглянет.

Выглянет солнышко — деревня оживет. Священник со всею семьей спешит возить снопы, складывать их в скирды и начинает молотить. И все-таки оказывается, что дожди свое дело сделали: и зерно вышло легкое, и меньше его. На целых двадцать пять процентов урожай вышел меньше против прошлогоднего.

Ни одного дня, который не отравлялся бы думою о куске, ни одной радости. Куда ни оглянется батюшка, всё ему или чуждо, или на все голоса кричит: нужда! нужда! нужда! Сын ли окончил курс — и это не радует: он совсем исчезнет для него, а может быть, и забудет о старике отце. Дочь ли выдаст замуж — и она уйдет в люди, и ее он не увидит. Всякая минута, приближающая его к старости, приносит ему горе.

И вот старость уж за плечами стоит. Священник начинает плохо разбирать печатное; рука его еле держит потир; о тя-

желых полевых работах он и не помышляет. Семья его разбрелась окончательно. Старший сын уж лет десять профессорствует в дальней епархиальной семинарии; второй сын священствует где-то в Сибири; третий — не задался: не кончил курса и определился писцом в одно из губернских присутственных мест. Дочери тоже повыданы замуж, а одна ушла в монастырь. Помощи ждать неоткуда, потому что у всех свои заботы, свои семьи. Землю батюшка сдал в кортому и один на один с попадьей коротает старческий век. Вдвоем им немного нужно, но впереди ждет неминуемый «заштат»...

Наконец грозная минута настала: старик отчислен заштат. Приезжает молодой священник, для которого, в свою очередь, начинается сказка об изнурительном жизнестроительстве. На вырученные деньги за старый дом заштатный священник ставит себе нечто вроде сторожки и удаляется в нее, питаясь крохами, падающими со скудной трапезы своего заместителя, ежели последний, по доброте сердца или по добровольно принятому обязательству, соглашается что-нибудь уделить.

По старой привычке, а отчасти и по необходимости, отец Николай ходит в свите причетников по приходу за яйцами, за новью; но его наделяют уж скупо...

Горькое начало, горькое существование, горький конец!

3. ПОМЕЩИК

Я буду говорить собственно о средней полосе России, и притом о помещике средней руки, не очень крупном и не совсем мелкопоместном.

Крупные землевладельцы встречаются редко. Они избрали благую часть: отрезали крестьянам в надел пахотную землю, а сами остались при так называемых оброчных статьях: лесах, лугах, рыбных ловлях и т. п. Пашню, какая осталась в излишестве, запустили под пастбище и тоже обратили в оброчную статью. Скота держат малость, только на случай приезда; старинные каменные хозяйственные постройки отчасти распроданы, отчасти пустеют и приходят в ветхость. Очевидно, что при таких условиях требуется не хозяйство, а только конторский надзор и счетоводство. В определенное время сдаются в конторе с торгов участки леса, лугов, мельницы, постоялые дворы, пастбище и прочие статьи. Доход получается без хлопот, издержки по управлению незначительны. Живет себе владелец припеваючи в столице или за границей, и много-много, ежели на месяц, на два, заглянет летом с семьей в усадьбу, чтоб убедиться, всё ли на своем месте, не кривит ли душой управляющий и в порядке ли сад.

Но, кроме того, есть и еще соображение: эти посещения напоминают детям, что они — русские, а гувернерам и гувернанткам, их окружающим, свидетельствуют, что и в России возможна своего рода vie de château[1]. Дети заходят в деревни и видят крестьянских детей, о которых им говорят: «Они такие же, как и вы!» Но француженка-гувернантка никак не хочет с этим согласиться и восклицает: «C'est une race d'hommes tout-à-fait à part!»[2] И затем, воротившись с экскурсии домой, ест персики, вишни и прочие фрукты, подаваемые в изобилии за завтраком и обедом, и опять восклицает: «Ah! que c'est beau! que c'est succulent! cela me rappelle les fruits de ma chère Touraine!»[3]

Повторяю: это не хозяйство, а конторское управление.

Что касается до мелкопоместных дворян, то они уже в самом начале крестьянской реформы почти совсем исчезли с сельскохозяйственной арены. Продали оставшиеся за наделом отрезки крестьянам позажиточнее (из них в скором времени образовались мироеды) и разбежались, куда глаза глядят. Вообще судьба этих людей представляет изрядную загадку: никто не следил за их исчезновением, никто не помнит о них, не знает, что с ними сталось. Такого-то видели в Москве — «совсем обносился»; такого-то встретили на железной дороге — в кондукторах служит. А большинство совсем как в воду кануло. Во всяком случае, эта помещичья разновидность встречается в настоящее время как редкое исключение. Ее заменил разночинец, который хозяйствует на свой образец.

Помещик средней руки обладает очень неважными средствами. В старину у него было душ двести — триста крестьян, а за наделом их в его распоряжении осталось от шести до семи сот десятин земли. Усадьба некрасивая, в захолустье; дом — похожий на крохотную казарму; службы ветшают; о «заведениях», парке, реке и в помине нет. Редко где встретишь ручеек, на котором, для вида, поставлена мельница, а воды и на один постав не хватает. Небольшой садишко с яблонями да огородец сбоку, а при въезде в усадьбу — прудок, похожий на помойную яму. Кругом ровное место, без малейшего пригорка, так что нет и признака так называемого «красивого местоположения». Земля тоже не особенно чивая. Половина под пустошами, десятин с сотню под лесом, о заливных лугах и слы-

[1] жизнь в замке.
[2] Это порода людей совсем особая!
[3] Ах, какая прелесть! как это вкусно! это мне напоминает плоды моей дорогой Турени!

хом не слыхать. Природа ничего не дала здесь даром, все приходится с бою брать.

Жить в такой обстановке непривлекательно, ежели на первом плане не стоит сельскохозяйственный интерес. Соседство ограниченное, а ежели и есть, то разнокалиберное, несимпатичное; материальные средства небольшие; однообразие, и в природе и в людях, изумительное: порадовать взоры не на чем. Чтобы не чувствовать, как час за часом тянется серая жизнь, нужно, чтобы человека со всех сторон охватили мелочи, чтоб они с утра до вечера не давали ему опомниться. Тогда он не увидит, как пролетел день, и когда настанет время отдыха, то заснет как убитый. «Я ни разу болен не был с тех пор, как поселился в деревне! — говорит он, с гордостью вытягивая мускулистые руки,— да и не скучал никогда: времени нет!»

Помещиков средней руки имеется три типа: во-первых — равнодушный, во-вторых — убежденный и в-третьих — изворачивающийся с помощью прижимки.

О равнодушном помещике в этом этюде не будет речи, по тем же соображениям, как и о крупном землевладельце: ни тот, ни другой хозяйственным делом не занимаются. Равнодушный помещик на скорую руку устроился с крестьянами, оставил за собой пустоша́, небольшой кусок лесу, пашню запустил, окна в доме заколотил досками, скот распродал и, поставив во главе выморочного имущества не то управителя, не то сторожа (преимущественно из отставных солдат), уехал.

— Ты за лесом смотри, паче глазу его береги! — сказал он сторожу на прощанье,— буду наезжать; ежели замечу порубку — не спущу! Да мебель из дому чтоб не растащили!

— Будьте покойны, вашескородие!

— Пустоша́ сдавай в кортому; пашню, вероятно, крестьяне под поскотину наймут: им скот выгнать некуда. Жалованье тебе назначаю в год двести рублей, на твоих харчах. Рассчитывай себя из доходов, а что больше выручишь — присылай. Вот здесь, во флигельке, и живи. А для протопления можешь сучьями пользоваться.

— Много доволен, вашескородие!

Затем он приискал в Петербурге местечко и живет на жалованье да на проценты с выкупного свидетельства. Изредка получает из деревни то двести, то триста рублей и говорит знакомым:

— Я сегодня доход из деревни получил.

В течение десяти лет он только однажды посетил родное пепелище. Вошел в дом, понюхал и сказал:

— У, да как здесь пахнет!

Потом обошел лес и, заметив местами порубки, пригрозил сторожу («Без этого, вашескородие, невозможно!»). Узнал, что с пустошами дело идет плохо: крестьяне совсем их не разбирают.

— Кои загрубели, кои березничком поросли,— жаловался сторож.

— Тем лучше; со временем лес будет!

— И лесу не будет; крестьяне расти не дают. Вскочит березка — сейчас вершину на веники срежут.

В два дня он все осмотрел и в заключение сказал:

— Ну, черт с вами! Вот сын у меня растет; может быть, он хозяйничать захочет. Дам ему тогда денег на обзаведение, и пускай он хлопочет. Только вот лес пуще всего береги, старик! Ежели еще раз порубку замечу — спуску не дам!

«Убежденный» помещик (быть может, тот самый сын «равнодушного», о котором сейчас упомянуто) верит, что сельское хозяйство составляет главную основу благосостояния страны. Это — теоретическая сторона его миросозерцания. С практической стороны, он убежден, что нигде так выгодно нельзя поместить капитал. Но, разумеется, надо терпение, настойчивость, соответственный капитал и известный запас сведений.

Терпением и настойчивостью он обладает; капитал, хотя и небольшой, у него есть. Сведениями он тоже запасся. Кое-что он за границей видел, кое-чему научился из книг, кое-что слышал от опытных сельских хозяев. Но главному, разумеется, научит сама практика, сближение с разумным мужиком и наглядное знакомство с соседними хозяйствами. Хотя он еще молод и не живал подолгу в деревне, но уверен, что предстоящая задача совсем не так головоломна, как уверяют. Не боги горшки обжигают,— и простые смертные, при помощи доброй воли, сумеют это сделать.

Теперешнее его убеждение таково: надо как можно больше производить молока. Большое количество молока предполагает большое стадо коров. Кроме молока, стадо даст ему удобрение; удобрение повлечет за собой большее количество зерна и достаточно сена для продовольствия рогатого скота и лошадей. Молочное хозяйство должно окупить все текущие расходы по полевой операции; зерно должно представлять собой чистый доход. Вот цель, к которой должны быть направлены все усилия.

— И я достигну этой цели,— говорит он.— Везде, в целом мире, полеводство дает хотя и не блестящий, но вполне верный барыш; не может быть, чтобы мы одни составляли исключение!

С такими намерениями он приезжает на хозяйство и повсюду застает запустение. Прежде нежели приступить к полеводству, надо собственную обстановку устроить так, чтоб и ему и семье существовать было можно. Жену он тоже успел настроить в своем направлении, так что и во сне она коров видит; за детей заранее радуется, какие они вырастут крепкие и здоровые на вольном деревенском воздухе. Но и жена и дети прежде всего нуждаются в обстановке, в хорошо защищенном доме, не представляющем риска для простуды и вообще имеющем вид жилого помещения.

Ежели имение досталось ему по наследству — разумеется, он поневоле мирится с неудачами первых шагов; но ежели он купил имение, то в его сердце заползает червь сомнения. Дело в том, что он был слишком доверчив: смотрел и недоглядел. Начать с того, что он купил имение ранней весной (никто в это время не осматривает имений), когда поля еще покрыты снегом, дороги в лес завалены и дом стоит нетопленный; когда годовой запас зерна и сена подходит к концу, а скот, по самому ходу вещей, тощ («увидите, как за лето он отгуляется!»). Следовательно, ничего доскональным образом ни осмотреть, ни определить невозможно.

И точно: везде, куда он теперь ни оглянется, продавец обманул его. Дом протекает; накаты под полом ветхи; фундамент в одном месте осел; корму до новой травы не хватит; наконец, ме́ленка, которая, покуда он осматривал имение, работала на оба постава и была завалена мешками с зерном,— молчит.

— Воды только на один постав и хватает, да и для одного-то помольцев нет,— говорит мельник.— Какая это мельница! Только горе с ней!

— Как же при мне она на оба постава работала, да и зерна было навезено вдоволь?

— А мы дня два перед тем воду копили, да мужичкам по окру́ге объявили, что за полцены молоть будем... вот и работала мельница.

— Мы и сами в ту пору дивились,— сообщает, в свою очередь, староста (из местных мужичков), которого он на время своего отсутствия, по случаю совершения купчей и первых закупок, оставил присмотреть за усадьбой.— Видите — в поле еще снег не тронулся, в лес проезду нет, а вы осматривать приехали. Старый-то барин садовнику Пётре цалковый-рупь посулил, чтоб вас в лес провез по меже: и направо и налево — все, дескать, его лес!

И батюшка, пришедший с просвирой поздравить его с приездом, присовокупляет:

— И у меня, грешным делом, вертелось на языке: погодите

до тепла, не поспешайте! Но при сем думалось и так: ежели господин поспешает — стало быть, ему надобно.

Словом сказать, совсем он не то купил, что смотрел.

Но повторяю: наследственное ли имение или благоприобретенное, во всяком случае, надо начать с домашней обстановки, отложив на время мечты об усовершенствованных приемах полеводства, об улучшении породы скота и т. п. Все в упадке: и дом, и скотный двор, и службы, все требует коренного, серьезного ремонта.

Целое лето кипит в доме работа. Помещик перебрался на одну половину дома, а другую предоставил в распоряжение плотников и маляров. С зарею раздается стук топоров, пение песен, а из отворенных окон валит едкая пыль. Плотники подняли полы и рубят новые накаты; кровельщики влезли на крышу, звенят железными листами, вбивают гвозди. На днях приедут штукатуры и маляры — и ад будет в полной форме. У детей с утра до вечера головки болят; днем в хорошую погоду, они на воздухе, в саду, но в дождь приюта найти не могут.

— Надо же примириться с этим,— утешает помещик,— ведь мы не на один год устраиваемся!

Но что всего чувствительнее — уходит масса денег, и нет уверенности, что они уходят производительно. Не успели покончить одну работу, как в перспективе уже виднеется другая. И всё такие работы, которые представляют только безвозвратную трату. Везде — подлость, мерзость, обман. Плотники работают кое-как, маляры на целую неделю запоздали. Помещик за всем смотрит сам, но его обманывают в глаза. Он и понимает, что его обманывают, но что-то в этом обмане есть такое, чего он раскрыть и объяснить не может. Приходится махнуть рукой и сказать себе: «Ах, хоть бы поскорее кончилось!»

Покуда в доме идет содом, он осматривает свои владения. Осведомляется, где в последний раз сеяли озимь (пашня уж два года сряду пустует), и нанимает топографа, чтобы снял полевую землю на план и разбил на шесть участков, по числу полей. Оказывается, что в каждом поле придется по двадцати десятин, и он спешит посеять овес с клевером на том месте, где было старое озимое.

— А впереди у меня будет паровое поле, которое я летом приготовлю под озимь,— толкует он топографу,— надо не сразу, а постепенно работать.

— Поспешность потребна только блох ловить! — развязно откликается топограф.

— Гм... блох... да! — задумчиво вторит ему хозяин и, обращаясь к старосте, спрашивает: — Давно ли со скотного двора навоза не вывозили?

— Да года два уже не возим: скотина по уши в грязи стоит.

— Ну, видишь ли, хоть скота у меня и немного, но так как удобрение два года копилось, то и достаточно будет под озимь! А с будущей осени заведу скота сколько следует, и тогда уж...

Осмотревши поля, едет на беговых дрожках в лес. То там куртинка, то тут. Есть куртинки частые, а есть и редичь. Лес, по преимуществу, дровяной — кое-где деревцо на холостую постройку годно. Но, в совокупности, десятин с сотню наберется.

— В случае надобности, можно будет и тово...— нашептывает ему тайный голос.

А староста точно слышит этот голос и говорит:

— Вот эту куртинку старый барин еще с осени собирался продать.

— С осени? — машинально вторит помещик.

— Точно так. Мне, говорит, она не к месту, а между тем за нее хорошие деньги дадут. Березняк здесь крупный, стеколистый; саженей сто швырка с десятины наберется.

— Гм... однако ж!

Осмотревши лес, едут на пустошá.

— Вот на этой пустоши бывает трава, мужички даже исполу с охотой берут. Болотце вон там в уголку, так острец растет, лошади его едят. А вот в Лисьей-Норе — там и вовсе ничего не растет: ни травы, ни лесу. Продать бы вам, сударь, эту пустошь!

— А мы попробуем обработать ее.

— Как ее обработаешь! Земля в ней как камень скипелась, лишаями поросла. Тронуть ее, так все сохи переломаешь, да и навозу она пропасть сожрет. А навоз-то за пять верст возить нужно.

— А сколько за нее дадут, если продать?

— Рублей сто дадут, кому нужно.

— Помилуй! в ней с лишком сорок десятин!

— Какая земля, такая и цена. И сто рублей на дороге не валяются. Со стами-то рублями мужичок все хозяйство оборудует, да еще останется.

Невесело возвращаться домой с такими результатами, а дома барыня чуть не плачет.

— Помилуй! — жалуется она,— когда же ты навоз вывозить велишь? ведь коровы по уши в грязи вязнут.

— Погоди, душа моя, дай отсеяться с яровым.

— Нечего годить; скоро мы совсем без молока будем. Двадцать коров на дворе, а для дома недостает. Давеча Володя

сливок просит, послала на скотную — нет сливок; принесли молока, да и то жидкого.

— Должно быть, прислуга...

— Помилуй! в деревне жить, да прислуге в молоке отказывать! Известно, по бутылке на человека берут. Шесть человек — шесть бутылок.

— Однако!

— Нет, это коровы такие... Одна корова два года ялова ходит, чайную чашечку в день доит; коров с семь перестарки, остальные — запущены. Всех надо на мясо продать, все стадо возобновить, да и скотницу прогнать. И быка другого необходимо купить — теперешнего коровы не любят.

— А я надеялся постепенно усовершенствовать стадо. Конечно, нужно и прикупить, да не всё же вдруг...

Заранее принятые решения оказываются построенными на песке. Действительность представляется в таком виде: стройка валится; коровы запущены,— не дают достаточно молока даже для продовольствия; прислуга, привезенная из города, извольничалась, а глядя на нее, и местная прислуга начинает пошаливать; лошади тощи, никогда не видят овса. Даже пойла хорошего нет, потому что единственный в усадьбе пруд с незапамятных времен не чищен («Вот осенью вычищу — сколько я из него наилку на десятины вывезу!» — мечтает барин). Всё надо припасти и исправить разом, как бы по мановению волшебства, потому что в жизнестроительстве все подробности связаны: запусти одни — и все остальное в упадок придет. Малейшая оплошность, словно червоточина, проникнет всюду и все заботы приведет к нулю. Какая масса денег потребуется, чтоб все это исполнить?! Где их взять?

Но помещик недаром называет себя убежденным. Он принимает героическое решение и откладывает добрую часть капитала на хозяйственные реформы. Для деревенской жизни ему за глаза достаточно процентов с остальной части капитала («масло свое, живность своя, хлеб свой», и т. д.). Настоящего севооборота он, конечно, не дождется раньше трех лет, но зато к тому времени у него все будет готово, все начеку: и постройки, и стадо, и усовершенствованные орудия — словом сказать, весь живой и мертвый сельскохозяйственный инвентарь. И на одной из пустошей он мечтает самостоятельный хуторок завести. Выстроить скотный двор и при нем небольшой флигелек для рабочих, с чистою комнатою на случай приезда. Прудок выроет, огородец разведет.

— Мы туда чай пить будем ездить,— сообщает он жене.— Это детям удовольствие доставит, а мы между тем присмотрим...

Через три года — хозяйство в полном ходу. Поля удобрены («вон на ту десятину гуано положили»), клевер в обоих полях вскочил густо; стадо большое, больше ста голов (хороший хозяин не менее $1^1/_3$ штуки на десятину пашни держит); коровы сытые, породистые; скотный двор содержится опрятно, каждая корова имеет свой кондуитный список: чуть начала давать молока меньше — сейчас соберут совет и начинают добиваться, каким образом и отчего. И добьются. Главная скотница — от Широбокова; молочница — ученица Верещагина; обе получают хорошее жалованье; работники — тоже исправные, обходятся с орудиями умеючи. Кормит он их сытно, хотя по-крестьянски, то есть льет в кашу не скоромное, а постное масло и солонину дает с запашко́м. Во всяком случае, ропота на плохую пищу не слышит, а это только и нужно. И дом и службы, после капитального ремонта, особенных затрат не требуют. И, в довершение всего, по каждой отрасли заведена двойная бухгалтерия. Словом сказать, хозяйство идет по маслу. Правда, что половины капитала как не бывало, но со временем она возвратится с лихвою. Терпение и настойчивость — вот главное.

Ни в том, ни в другом у него недостатка нет. Убежденный хозяин с утра до вечера хлопочет; встает в одно время с рабочими и в одно время с ними полдничает, обедает и отдыхает. Везде — он сам; на пашне ни малейшего огреха не пропустит; на сенокосе сейчас заметит, который работник не чисто косит. А на скотном дворе хлопочет жена. При себе заставляет коров доить, при себе приказывает корм задавать. Добрую корову погладит, велит кусок черного хлеба с солью принести и из своих рук накормит; худой, не брегущей о хозяйской выгоде корове пальцем погрозит. Заглянет в молочную — и сама засучит рукава, попробует масло бить. И удовольствие и выгода — всё вместе.

Дети между тем здоровеют на чистом воздухе; старший сынок уж учиться начал — того гляди, и вплотную придется заняться им.

После целого года работы и неустанных хлопот приводится в действие двойная бухгалтерия. Сводятся счета. Оказывается — доход уж есть, но маленький, около двухсот рублей.

— Маловато,— соглашается помещик,— но на будущий год...

— На службе ты куда больше получил бы! — замечает жена.

На будущий год доход увеличивается до трехсот рублей. Работал-работал, суетился-суетился, капитал растратил, труд положил, и все-таки меньше рубля в день осталось. Зато

масло — свое, картофель — свой, живность — своя... А впрочем, ведь и это не так. По двойной бухгалтерии, и за масло и за живность деньги заплатили...

Кроме того: хотя все устроено капитально и прочно, но кто же может поручиться за будущее? Ведь не вечны же, в самом деле, накаты; нельзя же думать, чтобы на крыше краска никогда не выгорела... Вон в молочной на крышу-то понадеялись, старую оставили, а она мохом уж поросла!

Наконец, нельзя терять из вида и того, что старший сын совсем уж поспел — хоть сейчас вези в гимназию. Убежденный помещик начинает задумываться и все больше и больше обращается к прошлому. У него много товарищей; некоторые из них уж действительные статские советники, а один даже тайный советник есть. Все получают содержание, которое их обеспечивает; сверх того, большинство участвует в промышленных компаниях, пользуется учредительскими паями...

А он что́? Как вышел из «заведения» коллежским секретарем (лет двенадцать за границей потом прожил, все хозяйству учился), так и теперь коллежский секретарь. Даже земские собрания ни разу не посетил, в мировые не баллотировался. Связи все растерял, с бывшими товарищами переписки прекратил, с деревенскими соседями не познакомился. Только и побывал, однажды в три года, у «интеллигентного работника», полюбопытствовал, как у него хозяйство идет.

Интеллигентный работник, Анпетов, поселился года четыре тому назад в десяти верстах от убежденного помещика, вместе с отставным солдатом Финагеичем. Купил Анпетов задешево небольшую пустошь, приобрел две коровы, лошадь, несколько овец, запасся орудиями, выстроил избу на крестьянский манер и начал работать. Солдат был женатый и жил не в качестве наемника, а на правах пайщика — и убытки и барыши пополам; только процент на затраченный капитал предполагался к зачету из дохода. Но покуда еще ничего у пайщиков не выяснилось, кроме пустых щей да хлеба, который они ели. Но, разумеется, они надеялись, что в будущем труд прокормит их.

— Как дела? — спрашивал его помещик.

В ответ на это интеллигентный рабочий показал мозолистые руки.

— Вот, покуда, что в результате получилось,— молвил он,— ну, да ведь мы с Финагеичем не отстанем. Теперь только коровы и выручают нас. Сами молоко не едим, так Финагеич в неделю раз-другой на сыроварню возит. Но потом...

И в заключение не удержался и обругал посетителя.

— Вы белоручки,— сказал он,— по пашне да по сенокосу

с тросточкой похаживаете. Попробовали бы вы сами десятину вспахать или восемь часов косой помахать, как мы... небось, пропала бы охота баловаться хозяйством!

Разумеется, он не попробовал; нашел, что довольно и того, что он за всем сам следит, всему дает тон. Кабы не его неустанный руководящий труд — разве цвели бы клевером его поля? разве давала бы рожь сам-двенадцать? разве заготовлялось бы на скотном дворе такое количество масла? Стало быть, Анпетов соврал, назвавши его белоручкой. И он работает, только труд его называется «руководящим».

Однако на другой день он пожелал проверить оценку Анпетова. Выйдя из дому, он увидел, что работник Семен уж похаживает по полю с плужком. Лошадь — белая, Семен в белой рубашке — издали кажет, точно белый лебедь рассекает волны. Но, по мере приближения к пашне, оказывалось, что рубашка на Семене не совсем белая, а пропитанная пóтом.

— Дай-ко, я попахаю! — предложил помещик Семену.

— Куда же вам! только ручки себе намозолите!

— Нет, дай!

Он стал за плугом, но не успел пройти и двух сажен, как уже задохся; плуг выскочил у него из рук, и лошадь побежала по пашне, цепляясь лемехом за землю.

— Стой, каторжная! — кричал Семен на лошадь.

А барин между тем стоял на месте и покачивался словно пьяный.

«Действительно,— думал он,— пахать — это... Но все-таки Анпетов соврал. Пахать я, конечно, не могу, но, в сущности, это и не мое дело. Мое дело — руководить, вдохнуть душу, а всё остальное...»

Так на этом он и успокоился. И даже, возвратясь домой, сказал жене:

— Пробовал я сегодня пахать — не могу. Это не мое дело. Мое дело — вдохнуть душу, распорядиться, руководить. Это тоже труд, и не маленький!

— Еще бы! — отозвалась жена.

Словом сказать, погружаясь в море хозяйственных мелочей, убежденный помещик душу свою мало-помалу истратил на вытягиванье гроша за грошом. Он ничего не читал, ничем не интересовался, потерял понятие о комфорте и красоте. Яма, в которой стояла усадьба, вполне удовлетворяла его; он находил, что зимою в ней теплее. Он одичал, потерял разговор. Однажды заехал к нему исправник и завел разговор о сербских делах Он слушал, но только из учтивости не зевал. В голове у него совсем не сербские дела были, а бычок, которого он недавно купил.

— Хотите, я вам бычка своего покажу? — не выдержал он.

— С удовольствием.

Пошли на скотный двор, вывели бычка — красавец! грудь широкая, ноги крепкие и, несмотря на детский возраст (всего шесть месяцев),— уж сердится.

— Вот так бычок! — не выдержал, в свою очередь, исправник.

— Это — надежда моего скотного двора! это — столп, на котором зиждется все будущее моего молочного хозяйства! Четыре месяца тому назад восемьдесят рублей за него заплатил, а теперь и за полтораста не отдам...

Словом сказать, совсем всякую способность к общежитию утратил.

А в результате оказывалось чистой прибыли все-таки триста рублей. Хорошо, что еще помещение, в котором он ютился с семьей, не попало в двойную бухгалтерию, а то быть бы убытку рублей в семьсот — восемьсот.

— Ты думаешь, мало такая квартира стоит? — не раз говорил он жене,— да кухня отдельная, да флигель... Ежели все-то сосчитать...

— Ну, что тут! надо же где-нибудь жить!

Однако сын все растет да растет; поэтому самая естественная родительская обязанность заставляет позаботиться о его воспитании. Убежденный помещик понимает это и начинает заглядывать в будущее.

— Надо же как-нибудь насчет Володи порешить,— осторожно заговаривает он.

— Надо,— соглашается с ним жена.

— Я думаю, не написать ли к Зверкову? Он, по-товарищески, примет его на свое попечение, определит...

— Что твой Зверков! Он и думать забыл о тебе! Зверков! — вот о ком вспомнил! Надо самим ехать в Петербург. Поселишься там — и товарищи о тебе вспомнят. И сына определишь, и сам место найдешь. Опять человеком сделаешься.

Наболевшее слово вырвалось, и высказала его, по обыкновению, жена. Высказала резко, без подготовлений, забыв, что вчера говорила совсем другое. Во всяком случае, мужу остается только решить: да или нет. Но какой отличный предлог: сын! Не по капризу они бросают деревню, а во имя священных обязанностей.

— Ты думаешь? — цедит он сквозь зубы.

— Чего думать! Целый день с утра до вечера точно в огне горим. И в слякоть и в жару — никогда покоя не знаем. Посмотри, на что я похожа стала! на что ты сам похож! А дохо-

дов все нет. Рожь сам-двенадцать, в молоке хоть купайся, всё в полном ходу — хоть на выставку, а в результате... триста рублей!

— Да, есть тут загадка какая-то.

— Никакой загадки нет. Баловство одно — это хозяйство со всеми затеями и усовершенствованиями. Только деньги словно в пропасть бросили. Уедем, пока вконец не разорились.

— Ну, все-таки... Знаешь, я рассчитывал, кроме того, и на окружающих влияние иметь...

— Лучше бы ты о себе думал, а другим предоставил бы жить, как сами хотят. Никто на тебя не смотрит, никто примера с тебя не берет. Сам видишь! Стало быть, никому и не нужно!

Разговор возобновляется чаще и чаще, и с каждым днем приобретает более и более определенный характер. Подстрекательницей является все-таки жена.

— Вот что я тебе скажу,— говорит она однажды,— хозяйство у нас так поставлено, что и без личного надзора может идти. Староста у нас честный, а ежели ты сто рублей в год ему прибавишь, то он вполне тебя заменит. Но если ты захочешь, то можешь и сам с апреля до октября здесь жить, а я с детьми на каникулы буду приезжать. Вот что я сделаю. Теперь июль месяц в конце, а в августе приемные экзамены начнутся. Через неделю я уеду с Володей в Петербург. Съезжу к твоим товарищам,— ты мне письма дашь,— подыщу квартиру и определю Володю, а ты к октябрю уберешься с хлебом и приедешь к нам с Верочкой и с Анной Ивановной (гувернантка). Анна Ивановна! ведь вы без меня на скотном присмотрите?

— С удовольствием.

— Ну, так вот...

Сказано — сделано. Через неделю жена собрала сына и уехала в Петербург. К концу августа убежденный помещик получил известие, что сын выдержал экзамен в гимназию, а Зверков, Жизнеев, Эльман и другие товарищи дали слово определить к делу и отца.

В начале октября он уехал из деревни, наказав старосте вести хозяйство по заведенному порядку.

Теперь он состоит где-то чиновником особых поручений, а сверх того, имеет выгодные частные занятия. В одной компании директорствует, в другой выбран членом ревизионной комиссии. Пробует и сам сочинять проекты новых предприятий и, быть может, будет иметь успех. Словом сказать, хлопочет и суетится так же, как и в деревне, но уже около более прибыльных мелочей.

В деревню он заглядывает недели на две в течение года: больше разживаться некогда. Но жена с детьми проводит там каникулы, и — упаси бог, ежели что заметит! А впрочем, она не ошиблась в старосте: хозяйство идет хоть и не так красиво, как прежде, но стоит дешевле. Дохода очищается триста рублей.

Рядом с убежденным помещиком процветает другой помещик, Конон Лукич Лобков, и процветает достаточно удовлетворительно. Подобно соседу своему, он надеется на землю и верит, что она даст ему возможность существовать; но возможность эту он ставит в зависимость от множества подспорьев, которые к полеводству вовсе не относятся.

Земли у него немного, десятин пятьсот с небольшим. Из них сто под пашней в трех полях (он держится отцовских порядков), около полутораста под лесом, слишком двести под пустошами да около пятидесяти под лугом; болотце есть, острец в нем хорошо растет, а кругом, по мокрому месту, травка мяконькая. Но нет той пяди, из которой он не извлекал бы пользу, кроме леса, который он, до поры до времени, бережет. И, благодарение создателю, живет,— не роскошествует, но и на недостатки не жалуется.

Лобков не заботится ни о том, чтоб хозяйство его считалось образцовым, ни о том, чтоб пример его влиял на соседей, побуждал их к признанию пользы усовершенствованных приемов земледелия, и т. д. Он рассуждает просто и ясно: лучше получить прибыли четыре зерна из пяти, нежели одно из десяти. Очевидно, он не столько рассчитывает на силу урожая, сколько на дешевизну и даже на безвозмездность необходимого для обработки земли труда.

Вот с этою-то целью и изобретена им целая хитроспелетенная система подспорьев.

Первое место в ряду подспорьев занимает прижимка. Конон Лукич подкрадывался к ней издалека, еще в то время, когда только что пошли слухи о предстоящей крестьянской передряге (так называет он упразднение крепостной зависимости). В то время он всячески ласкал крестьян и обнадеживал их: «Вот ужо́, будете вольные, и заживем мы по-соседски мирком да ладком. Ни вы меня, ни я вас — все у нас будет по-хорошему». Так что когда наступил срок для составления уставной грамоты, то он без малейшего труда опутал будущих «соседушек» со всех сторон. И себя и крестьян разделил дорогою: по одну сторону дороги — его земля (пахотная), по другую — надельная; по одну сторону — его усадьба, по другую — кре-

стьянский порядок. А сзади деревни — крестьянское поле, и кругом, куда ни взгляни,— господский лес.

— Вы пашни больше берите,— увещевал он крестьян,— в ней вся ваша надежда. За лесом не гонитесь, я и сучьев на протопление, и валёжнику на лучину, хоть задаром, добрым соседям отпущу! Лугов тоже немного вам нужно — у меня пустошей сколько угодно есть. На кой мне их шут! Только горе одно... хоть даром косите!

Словом сказать, так обставил дело, что мужичку курицы выпустить некуда. Курица глупа, не рассуждает, что́ свое и что́ чужое, бредет туда, где лучше,— за это ее сейчас в суп. Ищет баба курицу, с ног сбилась, а Конон Лукич молчит.

— Вы, что ли, Конон Лукич, курицу взяли? — пристает она к барину.

— Не знаю; видел я давеча курицу у себя в огороде, а твоя ли, моя ли — Христос их разберет!

— Куда же она девалась?

— Должно быть, в суп ко мне попала. Не ходи в огород! — за это я не только чужой, но и своей курице потачки не дам!

Что бабе делать? Не судиться же из-за курицы! Обругает барина, да он уже обтерпелся. В глаза его «мучителем» зовут, а он только опояску на халате обдергивает.

И полеводство свое он расположил с расчетом. Когда у крестьян земля под па́ром, у него, через дорогу, овес посеян. Видит скотина — на пару ей взять нечего, а тут же, чуть не под самым рылом, целое море зелени. Нет-нет, да и забредет в господские овсы, а ее оттуда кнутьями, да с хозяина — штраф. Потравила скотина на гривенник, а штрафу — рубль. «Хоть все поле стравите — мне же лучше! — ухмыляется Конон Лукич — ни градобитиев бояться не нужно, ни бабам за жнитво платить!»

Однако он настолько добр, что денег за штрафы не требует.

— Мне на что деньги! — говорит он,— на свечку богу да на лампадное маслице у меня и своих хватит! А ты вот что, друг: с тебя за потраву следует рубль, так ты мне, вместо того, полдесятинки вспаши да сдвой,— ну, и заборони, разумеется,— а уж посею я сам. Так мы с тобой по-хорошему и разойдемся.

— Мучитель вы наш, Конон Лукич!

— Ты говоришь: мучитель, а я говорю: правило такое есть. На чужую собственность не заглядывайся. Я к тебе не хожу, ты ко мне не ходи. Знаешь ли ты, что такое собственность? Ею, друг, государство держится. Потому всякому своего жаль; а коли своего жаль, так, стало быть, и чужого касаться не следует. Все друг по дружке живут: я тебя берегу, ты — меня...

потому что у каждого есть собственность. А ежели кто это забывает — значит, тот и государству изменник, да и вообще... ну, просто, значит, ничего не стоящий человек!

Словом сказать, и потравы и порубки не печалят его, а радуют. Всякий нанесенный ему ущерб оценен заблаговременно, на все установлена определенная такса. Целый день он бродит по полям, по лугам, по лесу, ничего не пропустит и словно чутьем угадает виновного. Даже ночью одним ухом спит, а другим — прислушивается.

На первых порах после освобождения он завалил мирового посредника жалобами и постоянно судился, хотя почти всегда проигрывал дела; но крестьянам даже выигрывать надоело: выиграешь медный пятак, а времени прогуляешь на рубль. Постепенно они подчинились; отводили душу, ругая Лобкова в глаза, но назначенные десятины обработывали исправно, не кривя душой. Чего еще лучше!

Другое подспорье — это система так называемых одолжений. У мужичка к весне и хлеб и сено подошли, а Конон Лукич всегда готов, по-соседски, одолжить.

— Одолжили бы, сударь пудика два мучки до осени? — кланяется мужичок.

— С удовольствием, друг. И процента не возьму: я тебе два пуда, и ты мне два пуда — святое дело! Известно, за благодарность ты что-нибудь поработаешь... Что́ бы, например? — Ну, например, хозяйка твоя с сношеньками полдесятинки овса мне сожнет. Ах, хороша у тебя старшая сноха... я-адреная!

— Помилуйте, Конон Лукич! — полдесятины-то овса сжать мало-мальски два с полтиной отдать нужно!

— Это ежели деньгами платить, а мне — за благодарность. Я ведь не неволю; мне и гуляючи отработаете. Наступит время, поспеет овес — бабыньки-то твои и не увидят, как шутя полдесятинки сожнут!

За первым мужичком следует другой, за другим — третий и так далее. У всех нужда, и всех Конон Лукич готов наделить. Весной он обеспечивает себе обработку и уборку полей. С наступлением лета он точно так же обеспечивает уборку сенокоса.

Здесь ему приходит на помощь третье отличнейшее подспорье — пустоша́.

— Берите у меня пустоша́! — советует он мужичкам,— я с вас ни денег, ни сена не возьму — на что́ мне! Вот лужок мой всем миром уберете — я и за то благодарен буду! Вы это шутя на гулянках сделаете, а мне — подспорье!

— Всё на гулянках да на гулянках! — и то круглый год гуляем у вас, словно на барщине! — возражают мужички,—

вы бы лучше, как и другие, Конон Лукич: за деньги либо исполу...

— Что вы, Христос с вами! — да мне стыдно будет в люди глаза показать, если я с соседями на деньги пойду! Я — вам, вы — мне; вот как по-христиански следует. А как скосите мне лужок,— я вам ведерко поставлю да пирожком обделю — это само собой.

Словом сказать, благодаря подспорьям, гуляют у него мужички на работе, а он пропитывается.

Скота он держит немного и стада своего не совершенствует, хотя от покупки доброй коровы-ярославки — не прочь: удой от нее хорош, да и ухода изысканного не требует. Это он даже в патриотизм себе вменяет.

— Чем по заграницам деньги транжирить,— говорит он,— лучше свое, отечественное, поощрять... так ли?

Но чтобы получить достаточное количество навоза, он придумал опять своего рода подспорье. Осенью ездит по ярмаркам и сельским аукционам и скупает лошадей-па́лошниц. Рублей по десяти за голову, штук шестьдесят он таких одров накупит и поставит на зиму на мякину да на соломенную резку, чтоб только не подохла скотина. К весне слегка овсецом подправит — и продает. Ту же лошадь, ввиду наступления рабочего времени, мужичок за сорок рублей купит — смотришь, рублей десять — пятнадцать барышка с каждой головы наберется. А навоз сам по себе... конский навоз!

Тут барышок, там барышок, везде, за что он ни возьмется,— везде барышок. Правда, что он с утра до вечера мается, маклачит, мелочничает, но зато сыт. Живет он одиноко; многие даже думают, что у него совсем семьи нет. Но это не так: есть у него семья, да только не удалась она. Есть жена, да полудурье, и притом попивает,— никому он ее не кажет. Есть два сына: один — на Кавказе ротным командиром служит, другой — в моряках. Оба лет двадцать к нему глаз не кажут — очень уж он в детстве тиранил — и даже не пишут. Есть и дочь, да он ее проклял. Но он до такой степени «изворовался» в сельскохозяйственных ухищрениях, что даже не замечает отсутствия семьи.

Однажды, после одного из судбищ, заехал к нему мировой посредник и разговорился.

— Из чего только вы хлопочете, Конон Лукич? — спросил посредник.

— А вы из чего?

— Я... как же возможно! Я — служу, посильную пользу обществу приношу.

— Все мы из-за одного бьемся... кормиться хотим. Вы глядите в книгу и видите фигу — за это деньги получаете; я — около хозяйства колочусь. Сыт — и слава богу!

Посредник обиделся (перед ним действительно как будто фига вдруг выросла) и уехал, а Конон Лукич остался дома и продолжал «колотиться» по-старому. Зайдет в лес — бабу поймает, лукошко с грибами отнимет; заглянет в поле — скотину выгонит и штраф возьмет. С утра до вечера всё в маете да в маете. Только в праздник к обедне сходит, и как ударят к «Достойно», непременно падет на колени, вынет платок и от избытка чувств сморкнется.

Зимой ему посвободнее. Но и тут он нашел себе занятие: ябеды пишет. Доносит на священника, что он в такой-то царский день молебна не служил; на Анпетова — что он своим примером в смущение приводит; на сельского старосту — что он, будучи вызван в воскресенье к исправнику, так отважно выразился, что даже миряне потупили очи.

Словом сказать, совершенно доволен, что его со всех сторон обступили мелочи,— ни дыхнуть, ни подумать ни о чем не дают. Ценою этого он сыт и здоров,— а больше ему ничего и не требуется.

4. МИРОЕДЫ

И мироед не чужд природе. Разумеется, не в смысле сельскохозяйственном, а в том, что и он производит свой чужеядный промысел на лоне природы, в вольном воздухе, в виду лугов, лесов и болот.

Мироеды — порождение новейших времен; хотя и в дореформенное время этот термин существовал, но означал он совсем не то, что теперь означает. Собственно говоря, был и тогда мироед, в современном значении этого слова, но он ютился в области крепостного права и, конечно, не назывался мироедом. Затем, в среде государственных крестьян, мироедами прозывались «коштаны», то есть горлопаны, волновавшие мирские сходки и находившиеся на замечании у начальства, как бунтовщики; в среде мещан под этой же фирмой процветали «кулаки», которые подстерегали у застав крестьян, едущих в город с продуктами, и почти силой уводили их в купеческие дворы, где их обсчитывали, обмеривали и обвешивали. Наконец, были прасолы, ездившие по усадьбам и деревням и скупавшие и продававшие всякий сельский продукт. По тогдашнему простому времени, и этого было довольно.

Истинный мироед зачался одновременно с упразднением

крепостного права, но настоящим образом он оперился, оформился и расцвел благодаря сивушной реформе.

Крестьянская реформа создала обстановку. Она дала деревенскому люду общину, но общину своеобразную, содержание которой исчерпывалось круговой порукой, облегчавшей исправный платеж податей и повинностей. Ни в каком другом отношении эта новоявленная община ни обеспечения, ни ручательства не представляла. Для захудалого мужика она еще могла бы представлять некоторое обеспечение в смысле более равномерного распределения денежных сборов; но ведь для подобных платежных единиц (им присвоивается кличка «нерадивых») существуют соответствующие меры побуждения,— стало быть, тут и без равномерности можно обойтись. Для мужика сильного, успевшего «забраться» еще при крепостном праве, община представляла выгоду лишь в том случае, если рядом с нею шло порабощение более слабых платежных единиц. Человеку сильному и предприимчивому тяжело подчиниться общинным порядкам, которые прежде всего обезличивают его, налагают путы на всю его деятельность, вторгаются в его жизненную обстановку и вообще держат под угрозой «сравнения с прочими». Идеалы сильного деревенского мужика не особенно высоки; он крепко держится за них, употребляя на осуществление их весь запас хитрости, лукавства и умелости, который находится в его распоряжении. Чтобы достигнуть этого, надобно прежде всего ослабить до минимума путы, связывающие его деятельность, устроиться так, чтобы стоять в стороне от прочей «гольтепы», чтобы порядки последней не были для него обязательны, чтобы за ним обеспечена была личная свобода действий; словом сказать, чтобы имя его пользовалось почетом в мире сельских властей и через посредство их производило давление на голь мирскую. Затем, по сущей справедливости, не лишнее извлечь и осязательную выгоду из созданного таким образом привилегированного положения. Потому что, как бы ни были ослаблены узы его зависимости от общины, все-таки он числится членом ее, следовательно — привязан к известному месту, стеснен в передвижениях. Надо вознаградить себя за это. По зрелом размышлении, такое вознаграждение он может добыть, не ходя далеко, в недрах той «гольтепы», которая окружает его. Надо только предварительно самого себя освободить от пут совести и с легким сердцем приступить к задаче, которая ему предстоит и формулируется двумя словами: «Есть мир». И он решается на этот подвиг тем с меньшим затруднением, что слово «совесть» имеет для него значение, обнимающее очень ограниченный круг нравственных представлений самого ходячего свойства. Он рассуждает так:

«Я выбрался из нужды — стало быть, и другие имеют возможность выбраться; а если они не делают этого, то это происходит оттого, что они не умеют управлять собою. Учить их некогда, да и незачем, а надо просто-напросто есть их, хотя бы ради того, чтобы личный их труд не растрачивался на ветер, а где-нибудь производил накопление. «Где-нибудь» — это у него. Отсюда название: «мироед».

Наицелесообразнейшее средство для удовлетворения алчности дала ему сивушная реформа. Она каждую деревню наградила кабаком и от кабатчика потребовала только соблюдения двух условий: приговора общества и нравственного ценза. Приговор общества мироеду достать очень легко: стоит только выставить «гольтепе» ведро или два (смотря по величине деревни) — и приговор готов. В большинстве случаев, кроме официального приговора, давался еще дополнительный, которым постановлялось: никому другому в деревне другого кабака не разрешать и никому из членов общества в кабаках соседних деревень не пить, под опасением штрафа, а пить исключительно у него, имярек, мироеда. Что же касается до нравственного ценза, то добыть его еще легче. Мужик он обстоятельный, исправный, никого явно не убил, не ограбил, а стало быть, и под судом не бывал. Он мироед — только и всего; но разве мироедство подлежит компетенции суда?

Дешевизна водки произвела оглушающее действие. «Гольтепа» массой потянулась в кабак. Как будто она сразу хотела вознаградить себя за долгий искус лишения продукта, который, ввиду ее одичалости, представлял для нее громадный соблазн. Но, сверх того, ей необходимо было забыться, угореть. Обида преследует ее всюду: и дома и на улице. Только кабак, в лице своего властелина, видит в нем равноправного потребителя и ограждает эту равноправность. Только в кабаке он сам-большой и может прикрикнуть даже на самого мироеда: «Ты что озорничаешь? наливай до краев!» И мироед не ответит на его окрик, а только ухмыльнется в бороду.

«Разоренье» вошло в полный фазис своего развития. Пропивались заработанные тяжким трудом деньги, и ежели денег недоставало — пропивалась самая жизнь. Рабочие орудия, скот, одежда, личный труд, будущий урожай — все потянулось к кабаку и словно пропадало в утробе кабатчика. А рядом с кабаком стояла лавочка, где весь деревенский товар был налицо, начиная от гвоздя до женского головного платка. Зачем запасаться дома, зачем копить, коль скоро все в лавочке найти можно?! И денег не нужно — знай, хребтом шевели: мироед своего не упустит! он, брат, укажет, где и как шевелить!

И действительно: он укажет. Он знает каждого члена окружающей «гольтепы» и может во всякое время определить, кто чего стоит. Вот этот хребет еще долго выдержит, а вон тот уж надламывается. Первому можно без риска верить; что касается до второго, то не лишнее и остеречься. И изба, и клеть, и соха, и всякий гвоздь в избе — все на виду у мироеда, и все принимается им в расчет. Даже семейное положение: у кого сын на фабрике, у кого дочь в казачках: в крайнем случае, и они отработать долг могут. Мужичья изба словно фонарь — все в ней наружу. Вон она стоит, оголивши ребра, словно остов зверя. Там бревно из пазов вышло, тут — иструпело совсем; солома на крыше гниет, ветром ее истрепало, на корм скотине клочья весной повытаскали. Но и из этой груды полуистлевшего хлама пользишку извлечь можно. Вон он! вон! около телеги копошится! Э, да он, видно, остатки сена на воз навивать хочет!..

— Авдей, а Авдей! никак, ты сено-то в город везешь? — кричит мироед на всю улицу.

— Собрался было, Петр Матвеич,— робко откликается Авдей, чувствуя угрозу.

— Вези лучше ко мне — те же деньги, да и в город ездить не нужно. А коли искупить что в городе хотел, так и у меня в лавке товару довольно.

Авдей не прекословит. Вязанку за вязанкой он перетаскивает сено во двор к мироеду и получает расчет. В городе сено тридцать копеек стоит, мироед дает двадцать пять: «Экой ты, братец! поехал бы в город — наверное, больше пяти копеек на пуд истряс бы!»

— Чтой-то, Петр Матвеич, словно бы маловато весу у вас выходит! Надо быть, сена у меня тридцать пудов было, а у вас двадцать семь весы показывают...

— Чудак, братец, ты! разве я вешаю? стрелка вешает! Вон смотри стрелку-то — прямо стоит? А коли прямо — значит, верно.

— У Петра Матвеича весы живые: сколько ему захочется, столько и весят! — шутит сосед, тоже член мирской «гольтепы», случайно проходя мимо.

Пошутит прохожий, пошутит и сам продавец, пошутит и мироед — так на шутке и помирятся. Расчет будет сделан все-таки, как мироеду хочется; но, в добрый час, он и косушку поднести не прочь.

— Вот на этом спасибо! — благодарит Авдей,— добёр ты, Петр Матвеич! это так только вороги твои клеплют, будто ты крестьянское горе сосешь... Ишь ведь! и денежки до копеечки заплатил, и косушку поднес; кто, кроме Петра Матвеича, так

сделает? Ну, а теперь пойти к старосте, хоть пятишницу в недоимку отдать. И то намеднись стегать меня собирался.

С утра до ночи голова мироеда занята расчетами; с утра до ночи взор его вглядывается в деревенскую даль. Заручившись деревенской статистикой, он мало того, что знает хозяйственное положение каждого однообщественника, как свое собственное, но может даже напомнить односельцу о таких предметах, о которых тот и сам позабыл.

— А помнишь, дядя Семен, рыдван у тебя тележный старенький был — где он теперь?

— Ах, прах те побери! — спохватывается дядя Семен,— и взаправду ведь был! где он теперь? Вот ловко находку нашел!

И бежит домой, обшаривает двор и наконец где-нибудь в пустом хлеву, где осенью поросенка откармливали, находит остов тележного рыдвана.

— Нашел! — радуется он на всю улицу,— ишь ты, починить его мало-мальски, и опять за новый пойдет! И с чего это я его бросил!

— За новый он не пойдет — это ты вздор мелешь! — резонно говорит Петр Матвеич,— и бросил ты его оттого, что он уж совсем изрешетился. А коли хочешь за него полштоф — бери!

— Получай! — соглашается дядя Семен,— что ж! кабы не ты, я и не вспомнил бы, что у меня на дворе клад есть. Ах, добёр ты, Петр Матвеич, уж так ты добёр, так добёр!

Дядя Семен доволен, потому что он сутки пьян. Петр Матвеич тоже доволен, потому что он почистил тележный рыдван, обил его изнутри рогожей,— и будет он ему еще долго служить наравне с новыми.

Мироеды, по родопроисхождению, бывают двух сортов: аборигены и наезжие.

Мироед-абориген ест своих однообщественников, а потому для него обязательна известная доля осмотрительности. Он зачался еще при крепостном праве и принадлежит к числу тех благомысленных мужичков, которыми так любили хвалиться помещики. Во всей округе он был известен под именем «министра», и помещик не только не препятствовал ему разживаться, но даже помогал,— участвовал в его торговых операциях или просто ссужал за проценты деньгами. Односельцев благомысленный мужик не трогал, так как это было бы в ущерб помещику; он вел свои обороты на стороне, посещая базары и ярмарки. И скупал и продавал все, что́ представлялось в данную минуту выгодным, не держась специальности; но в результате

нередко образовывался значительный капитал. С падением крепостного права некоторые из «благомысленных» выписались в купцы, но большинство, по естественному ходу вещей, превратилось в мироедов. Такое прошлое, не представляя особенных задатков действительной благомысленности, все-таки свидетельствовало о недюжинном уме и способности извлекать пользу из окружающей среды и тех условий, в которых она живет. И точно: никто зорче его не присмотрится, никто основательнее не взвесит. Он непременно возьмет «свое», но возьмет вовремя и именно столько, сколько можно.

Выше я сказал, что он напомнит дяде Семену о существовании заброшенного тележного рыдвана, но одновременно с этим он прочтет дяде Авдею наставление, что вести на базар последнюю животину — значит окончательно разорить дом, что можно потерпеть, оборотиться и т. д. Вообще, где следует, он нажмет, а где следует, и отдохнуть даст. Дать мужику без резону потачку — он нос задерет; но, с другой стороны, дать захудалому отдохнуть — он и опять исподволь обрастет. И опять его стриги, сколько хочется.

На этом уменье — взять вовремя и сколько можно — основан весь расчет мироеда-аборигена. «Гольтепа» мирская знает это и не скрывает от себя, что от помещика она попала в крепость мироеду. Но процесс этого перехода произошел так незаметно и естественно и отношения, которые из него вытекли, так чужды насильственности, что приходится только подчиниться им. И действительно, «гольтепа» подчинилась, и не только в силу тяготеющего над ней рока, но и не без некоторой доли сознательности. Она понимает, что к ней присосалось нечто чужеядное, благодаря которому она постепенно опускается все глубже и глубже, но не чувствует тисков, не нащупывает дна. Существуя лишь в качестве живого рабочего инвентаря, она только то и имеет, что в обрез необходимо для поддержания этого инвентаря в надлежащей исправности.

Что касается до сельскохозяйственных оборотов мироеда-аборигена, то он ведет свое полеводство тем же порядком, как и «хозяйственный мужичок». Он любит и холит землю, как настоящий крестьянин, но уже не работает ее сам, а предпочитает пользоваться дешевым или даровым трудом кабальной «гольтепы». Сколько находится у него в распоряжении этого труда, столько берет он и земли. Он не гонится за большими сельскохозяйственными предприятиями, ибо знает, что сила его не тут, а в той неприступной крепости, которую он создал себе благодаря кабаку и торговым оборотам. Так что все его требования относительно земли, как надельной, так и

арендуемой, ограничиваются тем, чтоб результаты ее производительности доставались ему даром, составляли чистую прибыль.

Кроме мироеда-аборигена, в деревнях нередко встречается мироед наезжий. Последний является на место уже вполне свободным от тех сложных соображений, которые от времени до времени волнуют мироеда-аборигена. Он, собственно говоря, человек выморочный. Не будучи членом общины, он не чувствует себя связанным ни с ее интересами, ни с ее людом. В его глазах община есть объект для эксплуатации — и ничего больше. Он берет с этого объекта все, что может, берет нагло, ни перед чем не задумываясь и зная, что сегодня он тут, а завтра — в ином месте. Быть может, он присасывается не так солидно, как местный абориген, но зато все его прижимки наглядны, бесстыдны и ненавистны. Мироед-абориген возбуждает страх; мироед наезжий — ненависть. Он сам это отлично понимает и потому находится в вечном трепете красного петуха.

Наезжий мироед — разночинец; это или бывший дворовый человек, или мещанин из соседнего города, соблазнившийся барышами, которые сулила сивушная реформа, или, наконец, оставшийся без места, по случаю реформ, чиновник. Иногда (впрочем, как редкое исключение) мироедом является и сам бывший помещик.

Бывший дворовый человек непременно возлежал на лоне у своего помещика. То есть служил камердинером, выполнял негласные поручения, подлаживался к барским привычкам, изучал барские вкусы и вообще пользовался доверием настолько, что имел право обшаривать барские карманы и входить, в отсутствие барина, в комнату, где находился незапертый ящик с деньгами. Он воровал господские сигары и потчевал ими друзей, ел с господского стола, ходил в гости в господском платье и вообще получил вкус к барской жизни. Друзья барина величали его по имени и по отчеству; некоторые занимали у него деньги и жали ему руку.

Ежели барин вел картежную игру, то камердинеру представлялась доходная статья настолько значительная, что устраняла всякие подозрения относительно его честности. При картах — вино, бутылки несчитанные; навертываются счастливые игроки, которым и сто рублей выбросить на водку расторопному лакею ничего не стоит. Правда, что он ночей не спал, ног под собой не слышал, но зато у него скопился настолько значительный капитал, что он, уже при первом слухе о предстоящей эмансипации, начал тосковать о самостоятельности. И когда роковой час наступил, то он, дав барину время разде-

латься с крестьянами, в самый день получения выкупной ссуды бросил его на произвол судьбы.

— Наворовал довольно? — внезапно прозрел барин.

— Послужил — и будет,— отвечал скромно вчерашний доверенный слуга.

И что же! несмотря на прозрение, барина сейчас же начала угнетать тоска: «Куда я теперь денусь? Все был Иван Фомич — и вдруг его нет! все у него на руках было; все он знал, и подать и принять; знал привычки каждого гостя, чем кому угодить,— когда все это опять наладится?» И долго тосковал барин, долго пересчитывал оставшуюся после Ивана Фомича посуду, белье, вспоминал о каких-то исчезнувших пиджаках, галстухах, жилетах; но наконец махнул рукой и зажил по-старому.

Между тем Иван Фомич уж облюбовал себе местечко в деревенском поселке. Ах, хорошо местечко! В самой середке деревни, на берегу обрыва, на дне которого пробился ключ! Кстати, тут оказалась и упалая изба. Владелец ее, зажиточный легковой извозчик, вслед за объявлением воли, собрал семейство, заколотил окна избы досками и совсем переселился в Москву.

Иван Фомич выставил миру два ведра и получил приговор; затем сошелся задешево с хозяином упалой избы и открыл «постоялый двор», пристроив сбоку небольшой флигелек под лавочку. Не приняв еще окончательного решения насчет своего будущего,— в голове его мелькал город с его шумом, суетою и соблазнами,— он устроил себе в деревне лишь временное гнездо, которое, однако ж, было вполне достаточно для начатия атаки. И он повел эту атаку быстро, нагло и горячо.

В сельскохозяйственном смысле действия Ивана Фомича имеют тот же временный характер. Он охотно снимает в краткосрочную аренду земельные участки, в особенности запущенные старые пашни, поросшие мелким лесом; поросль выжжет, землю распашет «за благодарность», снимет хлеб-другой, ограбит землю и уйдет. Еще охотнее он занимается лесным делом. Купит лесочек под вырубку, срубит всё до последней годовалой березки, а голое место отдаст в кортому под пастьбу скота. Так что, когда, по окончании арендного срока, вырубка возвратится к владельцу, то последний может быть уверен, что тут уж никогда даже осинка не вырастет.

И благо Ивану Фомичу, что он устраивается в деревне лишь временно. Деревенский постоялый двор для него только школа, в которой он приобретает знания и навык, необходимые для грабительства в более широких размерах. Но, кроме того, годы, проведенные в деревне, полезны и в том отношении, что

они дают время забыть его лакейское прошлое. В сущности, он ни на минуту не спускает глаз с Петербурга и уже видит себя настоящим торговцем, владельцем, на первое время, хоть табачного магазина. И кто знает, что ему сулит будущее? Быть может, он будет членом общественного управления, членом санитарной комиссии, водопроводной субкомиссии и проч.— вообще, необходимою спицей в колеснице. Может быть, на груди его будет блистать медаль, а может быть...

. . . .

О прочих наезжих мироедах распространяться я не буду. Они ведут свое дело с тою же наглостью и горячностью, как и Иван Фомич,— только размах у них не так широк и перспективы уже. И чиновник и мещанин навсегда завекуют в деревне, без малейшей надежды попасть в члены суб-субкомиссии для вывозки из города нечистот.

Подобно хозяйственному мужику, сельскому священнику и помещику, мироед всю жизнь колотится около крох, не чувствуя под ногами иной почвы и не усматривая впереди ничего, кроме крох. Всех одинаково обступили мелочи, все одинаково в них одних видят обеспечение против угроз завтрашнего дня. Но поэтому-то именно мелочи, на общепринятом языке, и называются «делом», а все остальное — мечтанием, угрозою...

II
МОЛОДЫЕ ЛЮДИ

1. СЕРЕЖА РОСТОКИН

Русскому читателю достаточно известно значение слова «шалопай». Это — человек, всем существом своим преданный праздности; это — идол портных, содержателей ресторанов и кокоток, покуда не запутается в неоплатных долгах. Предвидя неминучее банкротство и долговую тюрьму, он нередко делается вором, составителем фальшивых документов и является действующим лицом в крупных уголовных процессах. Но иногда благополучно ускользает от скандала, исчезая куда-нибудь в деревню на приятельские хлеба. Процветает он исключительно в больших городах.

Так, впрочем, было в сравнительно недавнее время, когда шалопай был только бесполезен и оскорблял нравственное чувство единственно своею ненужностью. Без думы, не умея различить добра от зла, не понимая уроков прошлого и не имея цели в будущем, он жил со дня на день, веселый, праздный и счастливый своею невежественностью. Просыпался утром поздно и посвистывал; сидел битый час или два за туалетом, чистил ногти, холил щеки, вертелся перед зеркалом, не решаясь, какой надеть жилет, галстух, и опять посвистывал. В два часа садился в собственную эгоистку и ехал завтракать к Дюсо; там встречался со стаею таких же шалопаев и условливался насчет остального дня; в четыре часа выходил на Невский, улыбался проезжавшим мимо кокоткам и жал руки знакомым; в шесть часов обедал у того же неизменного Дюсо, а в праздники — у ma tante;[1] вечер проводил в балете, а оттуда, купно с прочими шалопаями, закатывался на долгое ночное бдение туда же, к Дюсо. Говорил мало, мыслил еще меньше, ибо был человек телодвижений по преимуществу.

Так протекала эта бездумная жизнь со дня выхода из «заведения» вплоть до седых волос. Надевши седые волосы, ша-

---

[1] тетушки.

лопай впервые задумывался. Он еще продолжал гулять в урочный час по Невскому, распахнув на груди пальто в трескучий мороз, но уже начинал чувствовать некоторые телесные изъяны. То ногу волочить приходится, то лопатка заноет, да и руки начинают трястись (стакан с вином рискует расплескать, покуда донесет до рта). Кроме того, вследствие усиленных настояний содержателей ресторанов, портных и проч., ему пришлось рассчитаться. Кое-что ему простили, но все-таки вышла сумма настолько изрядная, что он и сам не подозревал. Рассчитавшись, он увидел себя в обладании такой скромной фортуны, что продолжать жить по-прежнему оказывалось немыслимым. Но, раз попавши в праздничную колею, он уже не имел возможности сойти с нее, даже если бы хотел. Он не знал ничего другого; ни ум, ни чувство, ни воображение — ничто не говорило ему об иной жизни. Тогда он или делался героем уголовных процессов, или же из шалопая деятельного постепенно превращался в скромного pique assiett'a [1]. Пристраивался к кружку только что вылупившихся шалопаев и менторствовал в нем. Пил и ел на счет молодых людей, рассказывал до цинизма отвратительные анекдоты, пел поганые песни, паясничал; словом сказать, проделывал все гнусности, которые радуют и заставляют заливаться неистовым хохотом жеребячьи сердца. Наконец, наступало еще более трудное время. Его щелкали в нос, мазали по лицу селедкой, заставляли брать в рот сигару зажженным концом, выпивать подлую смесь опивков и проч. И хохотали при этом, хохотали до слез. Затем, что дальше, то труднее и труднее. Он уже не смел войти в ту комнату, где раздавался хохот его неблагодарных учеников, и скромно становился у буфета, где татарин-буфетчик, из жалости, наливал ему рюмку водки и давал бутерброд *задаром*. Постоявши в буфете, он, по привычке отправлялся на Невский и подолгу застаивался перед витринами братьев Елисеевых, любуясь выставкой гастрономических новинок. Желудок страстно ныл, зубы машинально жевали; наконец он не выдерживал, нащупывал в кармане рублевку и покупал четверть фунта икры. Это был его обед. Измаявшись и измучившись, он как-то внезапно совсем исчезал. В одно прекрасное утро в газетах появлялся его некролог:

«На днях умер Иван Иваныч Обносков, известный в нашем светском обществе как милый и неистощимый собеседник. До конца жизни он сохранил веселость и добродушный юмор, который нередко, впрочем, заставлял призадумываться. Никто и не подозревал, что ему уж семьдесят лет, до такой степени

---

[1] прихлебателя.

все привыкли видеть его в урочный час на Невском проспекте бодрым и приветливым. Еще накануне его там видели. Мир праху твоему, незлобивый старик!»

Таков был шалопай недавнего прошлого; таким же остался он и теперь, ежели взглянуть на него исключительно со стороны его внутреннего ничтожества. То же празднолюбие, та же бездумность, то же бесцельное прожигание жизни в чаду ресторанов, в плену у портных и кокоток. Но к этому прибавилась одна черта, которая делает его не только нравственно-оголтелым, но и вредным. Он заразился честолюбием и пытается проникнуть в тайны внутренней политики, которая, таким образом, делается одним из видов высшего шалопайства. Mon oncle и ma tante[1] успели его убедить, что нынче такие люди нужны, и он охотно поверил им. Он шляется уже не по одним ресторанам, но заглядывает и в канцелярии и предлагает свои услуги. Иногда даже, в самом разгаре оргии, он задумывается и начинает бормотать что-то гневное. Он недоволен, он утверждает, que tout est à refaire[2], и инстинктивно грозит пальцем в пространство. Спросите его: кто тебя, дурашка? кому ты грозишь? — он, наверное, повторит ту же стереотипную фразу: tout est à refaire. Он слышал, что эта фраза в ходу на жизненном рынке, что она сама по себе представляет залог, и чувствует себя взбудораженным ею, ждет, что она даст ему нечто в будущем. Mon oncle и ma tante, с своей стороны, ходатайствуют. И очень часто, с их помощью, а также при содействии других, уже успевших заручиться, шалопаев, он обретает желаемое сокровище, так что старость не застает его врасплох, как шалопая прежних времен.

Таков именно герой настоящего этюда, Сережа Ростокин.

Он, так сказать, шалопай высшей школы. Ему не больше двадцати пяти лет, и еще памятна скамья «заведения», в котором он воспитывался и обучался кратким наукам. Он имеет хорошие материальные средства, живет в удобной квартире, держит собственный экипаж, ходит в безукоризненном белье и одевается у лучшего портного. Всегда душистый, свежий и бодрый, он приводит в умиление кокоток, к вящей зависти дамочек и девиц, посещающих салоны mon oncle и ma tante. Последние возлагают на него большие надежды (они бездетны, и имение их должно перейти Сереже) и исподволь подыскивают ему приличную партию; но он покуда еще уклоняется от брачных оков. Вообще он появляется в салонах лишь мельком и предпочитает проводить время в ресторанах, в обществе ко-

---

[1] дядюшка и тетушка

[2] что все надо переделать.

коток, у которых и телодвижения свободнее, и всегда отыщется на языке le mot pour rire[1].

Заглянемте утром в его квартиру. Это очень уютное гнездышко, которое француз-лакей Шарль содержит в величайшей опрятности. Это для него тем легче, что хозяина почти целый день нет дома, и, стало быть, обязанности его не идут дальше утра и возобновляются только к ночи. Остальное время он свободен и шалопайничает не плоше самого Ростокина.

До десяти часов в квартире царствует тишина. Шарль пьет кофе и перемигивается через двор с мастерицами швейного магазина. Но в то же время он чутко прислушивается.

Бьет половина одиннадцатого; Шарль осторожно стучится в дверь Сережиной спальни. Слышится позевыванье, потягиванье, и наконец раздается громкое: entrez![2] Начинается туалет...

Я не буду описывать подробностей и тайн этого сложного процесса: не имею для этого ни достаточных данных, ни надлежащего искусства. В спальне раздается то посвистыванье, то тихое мурлыканье — это Сережа вспоминает виденное и слышанное накануне. Он сидит перед зеркалом, препарирует себя и улыбается. Именно только улыбается, улыбается безотносительно, без всякой мысли. В голове его пробегают какие-то обрывки без связи и последовательности, так что, в сущности, он, если можно так выразиться, не сознает себя сущим. Хорошо ему — вот и всё. Он, слава богу, проснулся, и впереди его ждет совсем белый день, без точек, без пестрины, одним словом, день, в который, как и вчера, *ничего не может случиться.* А ежели и предстоит какая-нибудь особенность, вроде, например, привоза свежих устриц и заранее данного обещания собраться у Одинцова, то и эта неголоволомная подробность уже зараньше занесена им в carnet[3], так что сто́ит только заглянуть туда — и весь день как на ладони. Во всяком случае, думать ему нет надобности, а можно только улыбаться. Улыбается он и без повода, просто самому себе, и случайно припоминая какую-нибудь легонькую проказу, в которой он был действующим лицом. Покуда он улыбается и препарирует себя, Шарль летает как муха, приготовляя кофе и легкий завтрак и раскладывая по стульям столовой несколько пар платья для выбора.

Подкрепившись и решив вопрос о панталонах, галстухе и проч., Сережа начинает одеваться. Опять посвистыванье, опять улыбки и опять ни одной мысли. Время летит незаметно среди

[1] забавное словечко.
[2] войдите!
[3] записную книжку.

колебаний и переговоров с Шарлем, раздается облегчительное: «Enfin, me voici en règle!» [1] — и великий процесс одеванья кончен. Часы показывают два; Сережа надевает шляпу, натягивает перчатки и в последний раз останавливается перед зеркалом. Тут он осматривает себя с ног до головы, сзади, с боков, и, довольный собой, выходит на крыльцо, где уж его ожидает экипаж. Он едет... куда?

Старозаветный шалопай ответил бы на этот вопрос: «Мой кучер уж знает»,— и приехал бы прямо к Дюсо. Сережа отступил от завещанного предания и прежде всего отправляется... в канцелярию! Здесь он справляется у швейцара: «Петр Николаич приехал?» — и, выслушав ответ: «Сейчас приедут, курьер уж привез портфель»,— направляет шаги в помещение, где ютятся чиновники. Накурено, насорено, а по местам и наплевано. Но Сережа не формализируется этим; он понимает, что находится здесь не для того, чтоб рвать цветы удовольствия, а потому, что обязан исполнить свой «долг» (un devoir à remplir). Канцелярские чиновники сидят по местам и скребут перьями; среднее чиновничество, вроде столоначальников и их помощников, расселось где попало верхом на стульях, курит папиросы, рассказывает ходящие в городе слухи и вообще занимается празднословием; начальники отделений — читают газеты или поглядывают то на дверь, то на лежащие перед ними папки с бумагами, в ожидании Петра Николаича.

— Скоро ли же вы с этим безобразием покончите? — спрашивает Сережа, поочередно пожимая руки начальникам отделений,— эти суды, это земство, эта печать... ах, господа, господа!

— Прытки вы очень! У нас-то уж давно написано и готово, да первый же Петр Николаич по полугоду в наши проекты не заглядывает. А там найдутся и другие рассматриватели... целая ведь лестница впереди! А напомнишь Петру Николаичу — он отвечает: «Момент, любезный друг, не такой! надо момент уловить,— тогда у нас разом все проекты как по маслу пройдут!»

— Да; но согласитесь, что ждать ужасно! Все кругом рушится, tout est à refaire,— а тут момент уловить не могут!

— Э! проживем как-нибудь. Может быть, и совсем момента не изловим, и все-таки проживем. Ведь еще бабушка надвое сказала, что лучше. По крайней мере, то, что есть, уж известно.. А тут пойдут ломки да переделки, одних вопросов не оберешься... Вы думаете, нам сладки вопросы-то?

Собеседник меланхолически посматривает в окно, как бы

---

[1] «Ну, вот я и готов!»

не желая продолжать разговора о материи, набившей ему оскомину. Вся его фигура выражает одну мысль: наплевать! я, что приказано, сделал,— а там хоть черт родись... надоело!

Но Сережа совсем не того мнения. Он продолжает утверждать, que tout est à refaire и что настоящее положение вещей невыносимо. Картавя и рисуясь, он бормочет слова: «суды, земство... и эта шутовская печать!.. ах, господа, господа!» Он, видимо, всем надоел в канцелярии; но так как никто не говорит этого ему в глаза, то он остается при убеждении, что исполняет свой долг, и продолжает надоедать.

Наконец в соседней комнате раздается передвиганье стульев и слышатся торопливые шаги. Это спешит сам Петр Николаич, предшествуемый курьером.

Сережа обдергивается, приосанивается и приказывает доложить о себе.

— Ах, шут гороховый! опять задержит! — ропщут начальники отделений.

В кабинете между тем происходит сцена.

— Pierre! да когда же вы кончите с этим безобразием? — пристает Сережа,— все рушится, все страдает, tout est à refaire, а вы пальца о палец не хотите ударить!

Петр Николаич глубокомысленно почесывает нос.

— Момент еще не пришел,— отвечал он,— ты слишком нетерпелив, душа моя. Когда наступит момент,— поверь,— он застанет нас во всеоружии, и тогда всякая штука проскочит у нас comme bonjour![1] Но покуда мы только боремся с противоположными течениями и подготовляем почву. Ведь и это недешево нам обходится.

— Но когда же? когда? — сгорает нетерпением Сережа,— мне из деревни пишут... mais c'est horrible ce qui s'y passe![2]

— Это же самое мне вчера графиня Крымцева говорила. И всех вас, добрых и преданных, приходится успокоивать! Разумеется, я так и сделал.— Графиня! — сказал я ей,— поверьте, что, когда наступит момент, мы будем готовы! И что же, ты думаешь, она мне на это ответила: «А у меня между тем хлеб в поле не убран!» Я так и развел руками!

И Петр Николаич показывает на деле, как он развел руками.

— Сентябрь уж на дворе, а у нее хлеб еще в поле... понимаешь ли ты это? Приходится, однако же, мириться и не с такими безобразиями, но зато... Ах, душа моя! у нас и без того дела до зарезу,— печально продолжает он,— не надо затруднять наш путь преждевременными сетованиями! Хоть вы-то,

---

[1] без сучка и задоринки!

[2] ужас, что там творится!

видящие нас в самом сердце дела, пожалейте нас! Успокойся же! всё в свое время придет, и когда наступит момент, мы не пропустим его. Когда-нибудь мы с тобою переговорим об этом серьезно, а теперь... скажи, куда ты отсюда?

— К Одинцову; свежие устрицы привезли.

— Ах, как я тебе завидую, и тебе, и всем вам, благородным и преданным... но только немножко нетерпеливым!.. С каким бы удовольствием я сопровождал тебя, и вот... Долг приковал меня здесь, и до шести часов я нахожусь в плену... Ты думаешь, мне дешево достается мое возвышенье?

— О!!

— Да, не сладко мне, не на розах я сплю. Но до свидания Меня ждут. Ах, устрицы, устрицы! Кстати: вчера меня о тебе спрашивали, и может быть. Enfin, qui vivra verra [1].

— Я не спешу, но, конечно, не прочь пристроиться.

— И не спеши; мы за тебя поспешим. Нам люди нужны; и не простые канцелярские исполнители, а люди с искрой, с убеждением. До свиданья, душа моя!

Раздается звонок и приказание: «Попросите Егора Иваныча!»

Сережа почтительно удаляется.

Покуда он еще не имеет определенной должности; он просто «состоит». Не начинать же ему карьеру с помощника столоначальника... Фуй! не для того он кратким наукам обучен, чтобы «корпеть»; он прямо «метит». Родители не раз заманивали его в родной город, обещая предводительство, но он и тут не соблазнился, хотя быть двадцати пяти лет предводителем очень недурно, да и шансы на будущую карьеру несомненны. Это он хорошо понимает; но ему еще жаль Петербурга с его ресторанами, закусочными и кокотками. В нем еще слишком живо говорит молодая кровь, чтоб решиться, хоть на время, закупорить себя в захолустье. Он боится обрюзгнуть, растолстеть, разлениться. Нет, он лучше здесь подождет, на глазах у однокашников — это хоть и медленнее, но вернее. Кстати, его взял под свое руководство Петр Николаич Лопаснин, который не далее как три года тому назад разыгрывал такую же роль, как и Сережа, а теперь по целым годам проекты под сукном держит и все момента ждет. Мудреного нет, что и Сережа... ведь он малый с «искрой»! Вдруг понадобятся «люди», а он и тут как тут! В голове у него, правда, настолько смутно, что никакого, даже вредного, проекта он не сочинит; но на это есть дельцы, есть приказная челядь, а его дело — руководить. Он знает, что tout est à recommencer [2] — и будет

[1] Впрочем, поживем — увидим.
[2] все надо начать сначала.

с него. Но что всего замечательнее — не только «с него будет», но и с тех, которые слушают его пустопорожнее бормотанье. И mon oncle, и ma tante, и Петр Николаич — все от него в восхищении, всем он угодил своею невозмутимостью и благородным образом мыслей.

Я не поведу читателя ни к Одинцову, ни на Невский, где он гуляет entre chien et loup[1], ради обострения аппетита и встречи с бесчисленными шалопаями, ни даже к Борелю, где он обедает в веселой компании. Везде слышатся одни и те же неосмысленные речи, везде производятся одни и те же паскудные телодвижения. И все это, вместе взятое, составляет то, что у порядочных людей известно под выражением: «отдавать дань молодости».

— Ничего, мой друг, веселись! это свойственно молодости,— поощряет Сережу mon oncle,— еще будет время остепениться... Когда я был молод, то княгиня Любинская называла меня le démon de la nuit...[2] Не спалось и мне тогда ночи напролет; зато теперь крепко спится.

Вечер заканчивается, по преимуществу, в балете или у французов; а потом опять к Борелю, где ждет ужин, который длится до двух или трех часов ночи. Но к этому времени Сережа уж непременно дома, в своем гнездышке, и торопливо делает ночной туалет. Нередко он даже негодует на себя за слишком поздний сон, потому что боится потерять свои краски и бодрый вид. Но что прикажете делать? à la guerre comme à la guerre![3] — приходится урвать час-другой от сна, чтоб не огорчить друзей. Все они сплелись между собой, все дали слово поддерживать друг друга,— стало быть, надо идти рука в руку, покуда хватит сил...

А назавтра опять *белый* день, с новым повторением тех же подробностей и того же празднословия. И это не надоедает... напротив! Встречаешься с этим днем, точно с старым другом, с которым всегда есть о чем поговорить, или как с насиженным местом, где знаешь наверное, куда идти, и где всякая мелочь говорит о каком-нибудь приятном воспоминании.

Приближаясь к тридцати годам, Сережа мало-помалу остепеняется. Он по-прежнему остается шалопаем, по-прежнему твердит неосмысленные слова, но уже выжидает момента. Не знаю, вполне ли он самостоятельно действует, или только еще приобщен, в виде компаньона, но, во всяком случае, уже близок к самостоятельности. Он бесповоротно решил, que tout est

---

[1] в сумерки.
[2] ночным демоном...
[3] на войне, как на войне!

à recommencer, и стоит на страже во всеоружии. Mais, au nom de Dieu[1], не торопитесь, господа! Не осложняйте преждевременною рьяностью нашего, и без того нелегкого, труда! Все придет в свое время — ручательством служит вот эта куча проектов, которая лежит у него на столе. Изредка, на досуге, он перечитывает то один, то другой проект и от времени до времени глубокомысленно восклицает:

— C'est ça![2] Именно то самое, что я хотел сказать!

Из провинции чуть не каждый день наезжают всевозможных сортов добровольцы, смотрят ему в глаза и любопытствуют:

— Сергей Семеныч! да когда же вы наконец приступите?

И он, подобно своему ментору и другу, спешит успокоить нетерпеливцев:

— Мы готовы, мы ждем только сигнала,— говорит он,— но прежде всего необходимо уловить благоприятный момент. Коль скоро момент будет *благо*приятен — и все совершится *благо*приятно; а ежели мы начнем в *не*благоприятный момент, то и все остальное совершится *не*благоприятно. Ведь вы этого не желаете, господа?

— Помилуйте! зачем же?

— И я тоже не желаю, а потому и стою, покамест, во всеоружии. Следовательно, возвращайтесь каждый к своим обязанностям, исполняйте ваш долг и будьте терпеливы. Tout est à refaire — вот девиз нашего времени и всех людей порядка; но задача так обширна и обставлена такими трудностями, что нельзя думать о выполнении ее, покуда не наступит момент. Момент — это сила, это conditio sine qua non[3]. Правду ли я говорю?

— Что правда, то правда. Хоть и горько, а приходится согласиться.

— Вам горько, а нам, вы полагаете, легче? В одном месте хлеб не убран, в другом — не засеян; там молотьба прекратилась, тут льют дожди, хлеб гниет на корню — разве это приятно? Со страхом спрашиваешь себя: куда мы, наконец, идем? какой получится в результате баланс? И таким образом каждый день. Каждый день мы слышим эти ламентации — и все-таки ждем! Ждите же и вы, господа! и будьте уверены, что здесь заботятся не только о вас, но и обо всех вообще... И об тех, которые пострадали, и об тех, которым угрожает страдание в будущем... Мы и об мужичках думаем...

---

[1] Но, ради бога.
[2] Вот именно!
[3] необходимое условие.

Да! Nous sommes nulle part et partout[1] — вот сколько у нас забот! Прощайте, господа!

И длится эта изнурительная канитель целыми годами и находит доступ в публику то при помощи уличных слухов, то при посредстве газетных известий. У Подхалимова дыханье в зобу сперло от внутреннего ликованья; он со всеми курьерами передружился, лишь бы подслушивали у дверей и сообщали ему самые свежие новости.

Слухи эти, в существе своем, настолько нелепы, что можно было бы и не упоминать о них, тем более что большинство так и остается на степени слухов. Но, к сожалению, мы так приучены к нелепостям, до такой степени они всосались в нас, что мы принимаем всякую нескладицу за чистую монету и приходим в волнение по ее поводу. Добровольцы разъезжаются по своим местам и там грозят: погодите! вот ужó! И всё притихает перед этим «ужó»; деятельность, и без того не чересчур яркая, окончательно вялеет; зачатки жизни превращаются в умирание. Точно на другой день ожидается светопреставление.

Разумеется, Сережа ничего этого не знает, да и знать ему, признаться, не нужно. Да и вообще ничего ему не нужно, ровно ничего. Никакой интерес его не тревожит, потому что он даже не понимает значения слова «интерес»; никакой истины он не ищет, потому что с самого дня выхода из школы не слыхал даже, чтоб кто-нибудь произнес при нем это слово. Разве у Бореля и у Донона говорят об истине? Разве в «Кипрской красавице» или в «Дочери фараона» идет речь об убеждениях, о честности, о любви к родной стране?

Никогда!

Между тридцатью пятью годами и сорока Сережа начинает склонять слух к увещаниям mon oncle и ma tante. Давно уже они отыскивают ему подходящую партию, давно убеждают устроиться собственным гнездышком, но до сих пор Сережа отстаивает свою независимость и свободу.

— La liberté et l'indépendance — je ne connais que ça! [2] — говорит он в ответ на родственные увещания, и старики грустно покачивали головами и уж почти отчаялись когда-нибудь видеть милого Serge'а во главе семейства.

Однако ж теперь он начинает понимать, что роковой момент недалеко. Он уже отрастил брюшко, на голове у него

[1] Мы нигде и везде.
[2] Свобода и независимость — ничего, кроме этого!

появились подозрительные взлизы; он сделался как будто вялее в своих движениях, и его все более и более тянет... домой! Приедет в свое гнездышко, рассчитывая отдохнуть и помечтать... так, ни об чем! А там — Шарль угощает свою белошвейку сладкими пирожками из соседней булочной. Скрепя сердце, он опять едет к Донону, но уже без прежнего внутреннего ликования, которое заставляло, при входе его, улыбаться во весь рот дононовских татар.

Вообще становится скучно; только и отводишь душу с Петром Николаичем в умной беседе: que tout est à recommencer и что вчера уж думали, что момент наступил, а сегодня опять...

Наконец выдается очень солидная партия. Именно как раз по нем.

Она — дочь «сведущего человека» и премилая особа. Красива, стройна, говорит отлично по-французски, знает un peu d'arithmétique, un peu de géographie et un peu de mythologie[1] (чуточку!), изрядно играет на фортепиано и умеет держать себя в обществе. Сверх того, она богата. За нею три тысячи десятин земли в одной из черноземных губерний, прекрасная усадьба и сахарный завод, не говоря уже о надеждах в будущем (еще сахарный завод), потому что она — единственная дочь и наследница у своих родителей. Но этого мало: у нее есть дядя, старый холостяк, и ежели он не женится — куда ему, старику! — то и его именье (третий сахарный завод) со временем перейдет к ней. Отец ее, Иван Петрович Грифков, приехал в Петербург, в качестве сведущего человека, и ездит на совещания в какую-то субкомиссию, в которой деятельно ведутся переговоры об упразднении. Сережа уже познакомился с ним и даже близко сошелся, потому что оба они того мнения, que tout est à refaire, и оба с нетерпением ждут момента.

— Не упускай этого случая, мой друг! — твердит ему ma tante.— Таких завидных партий нынче в целой России немного сыщешь!

— Подумаем, ma tante, подумаем! — отвечает он, улыбаясь и покручивая усики, которые у него всегда в порядке: не очень длинны и не очень коротки.

— У тебя будет свой собственный сахарный завод, да у нее в перспективе три,— продолжает mon oncle,— у тебя отличная усадьба, да у нее три... Ежели у вас даже четверо детей будет — вот уж каждому по усадьбе готово.

— Ну, зачем четверо! с нас будет довольно и двоих! Баран да ярочка — красная парочка! — шутит Сережа.

— Ну, там видно будет; Христос с тобой, начинай!

---

[1] кое-что из арифметики, кое-что из географии и кое-что из мифологии.

В сущности, он уж решился. Он уже намекнул отцу молодой особы, да и ей самой, о своих намерениях. Ей он открылся во время мазурки. Она ничего положительного ему не сказала, а только загадочно спросила:

— Вы можете любить?

— О! — начал было он, но в это время одна из танцующих дам подвела ей двух кавалеров:

— Гиацинт или рододендрон?

— Гиацинт,— ответила она и умчалась скользить по паркету.

Через три месяца, на Красную горку, была их свадьба. Они поселились на Сергиевской в таком гнездышке, что и родители, и тетеньки с дяденьками не могли достаточно налюбоваться на них. Под венцом она была удивительно мила; вся в белом, с белым венком на голове, она походила на беломраморную статую, сошедшую с пьедестала, чтобы обойти заветное число раз кругом аналоя. Он тоже был как раз под пару, и нашептывал ей, во время обряда, страстные слова. Но она не смущалась этими словами и смотрела как-то чересчур уж светло и самоуверенно вперед.

На коврик она ступила первая.

Целый месяц после свадьбы они ездили с визитами и принимали у себя, в своем гнездышке. Потом уехали в усадьбу *к ней,* и там началась настоящая poème d'amour[1]. Но даже в деревне, среди изъявлений любви, они успевали повеселиться; ездили по соседям, приглашали к себе, устраивали охоты, пикники, кавалькады. Словом сказать, не видали, как пролетело время и настала минута возвратиться из деревенского гнездышка в петербургское.

Через полгода он уже занимает хороший пост и пишет циркуляры, в которых напоминает, истолковывает свою мысль и побуждает. В то же время он — член английского клуба, который и посещает почти каждый вечер. Ведет среднюю игру, по преимуществу же беседует с наезжими добровольцами о том, que tout est à recommencer, но момент еще не наступил.

— Будьте терпеливы, господа! — убеждает он своих единомышленников,— когда наступит момент, он найдет нас во всеоружии; вы думаете, нам сладко — ах! только грудь да подоплёка знают, чего нам сто́ят эти проволо́чки! Однако ж мы ждем,— ждите и вы!

К Борелю он заезжает лишь изредка, чтоб мельком полюбоваться на эту бодрую и сильную молодежь, которая, даже среди винных паров, табачного дыма и кокоток, не забывает,

---

[1] поэма любви.

que tout est à refaire. Нечего и говорить, что его принимают — и татары, и молодые люди — как дорогого и желанного гостя.

С своей стороны, Ирина Ивановна принимает по вечерам в своей гостиной. Хотя муж очень редко бывает дома, но ей живется не скучно. Навещают ее салон большею частью люди с весом, пожилые, но бывают и молодые люди. Она пополнела, сделалась вполне самостоятельною и ведет себя с большим апломбом, так что опасаться за нее нечего. Под конец вечера Сережа заезжает на минутку домой, беседует с наиболее влиятельными гостями на тему que tout est à refaire, и когда старички уезжают, он опять исчезает в клуб, оставляя жену коротать остатки вечера в обществе молодых людей.

К весне она собирается родить. Будет ли у них красная парочка, баран да ярочка, как предсказывал себе сам Сережа, или число детей увеличится до четырех — каждому по усадьбе и по сахарному заводу — это покажет будущее.

Вообще жизнь его устроилась, попала в окончательную колею, из которой уже не выйдет. Ни тревог, ни волнений, ничего впереди, кроме неосмысленной фразы: que tout est à recommencer.

В свое время он умрет, и прах его с надлежащею помпой отвезут сначала на варшавский вокзал, а потом в родовое имение, где похоронены останки его предков. А на другой день в газетах появится его некролог:

«Вчера скончался Сергей Семенович Ростóкин, один из самых ревностных реформаторов последнего времени. Еще накануне он беседовал с друзьями об одном проекте, который составлял предмет его постоянных забот, и в этой беседе, внезапно, на порвавшемся слове, застигла его смерть... Мир праху твоему, честный труженик!»

2. ЕВГЕНИЙ ЛЮБЕРЦЕВ

Он — товарищ Сережи Ростóкина по школе, но какая разница! Сережа учился более нежели плохо и слыл между товарищами глупеньким; Люберцев учился отлично (вышел с золотою медалью) и уже на школьной скамье выглядывал мужем совета.

— Oh, celui-là ne manquera pas sa carrière! [1] — говорил про него француз-воспитатель, ласково держа его за подбородок и проницательно вглядываясь ему в глаза.

А русский воспитатель прибавлял:

---

[1] О, этот не промахнется, сделает карьеру!

— Со временем бразды правления в руках держать будет. И не без пользы для себя... и для других.

Евгений Филиппыч был сын чиновника из второстепенных, но пользовавшегося отличною репутациею. Филипп Андреич занимал не блестящий, но довольно солидный пост, на котором надеялся и покончить свою служебную карьеру. Многое от него зависело, хотя он скромно об этом умалчивал. Никогда он не метил высоко, держался средней линии и паче всего заботился о том, чтоб начальнику даже в голову не пришло, что он, честный и старый служака Люберцев, кому-нибудь ножку подставить хочет. Зато все его любили, все обращались к нему с доверием, дружелюбно жали ему руку, как равному, и никогда не отказывали в маленьких послугах, вроде определения детей на казенный счет, выдачи пособия на случай поездки куда-нибудь на воды и проч. Одним словом, Евгений Филиппыч принадлежал к одной из тех солидных чиновничьих семей, которые считают в прошлом несколько поколений начальников отделения и одного вице-директора (Филипп Андреич).

Евгений любил отца, видел его трудовую жизнь, сочувствовал ей и готовился идти по родительским стопам. Сходство между ними было поразительное во всех отношениях. По наружному виду он был такого же высокого роста, так же плотен и расположен к дебелости, как и отец. В нравственном отношении оба выросли в понятиях «долга», оба знали цену «послушанию», оба были трудолюбивы, толковиты и прямо отыскивали суть дела. Но существовала и разница: отец был человек себе на уме, а сын был тоже себе на уме, но, кроме того, и с «искрой». Впрочем, это последнее качество проявилось в нем как результат новых веяний.

Вышедши из школы, Люберцев поселился не вместе с родным семейством, а на отдельной квартире, и отец вполне согласился, что он поступает правильно. Старик жил стародавнею жизнью и понимал, что сыну нужна совсем другая обстановка. Нужны товарищи, более или менее шумные собеседования, а по временам и сосредоточенность, которую не могла бы нарушить семейная сутолока. Словом сказать, нужно молодому человеку развязать руки, доставить самостоятельность. А семьи он не позабудет; он слишком солиден и честен, чтобы поставить себя в сомнительные отношения к отцу и матери.

— Пускай его поживет на своих ногах! — утешал Филипп Андреич огорченную жену,— в школе довольно поводили на помочах — теперь пусть сам собой попробует ходить!

Наняли для Генечки скромную квартиру (всего две ком-

наты), чистенько убрали, назначили на первое время небольшое пособие, справили новоселье, и затем молодой Люберцев начал новую жизнь под личною ответственностью, но с сознанием, что отцовский глаз зорко следит за ним и что, на случай нужды, ему всегда будет оказана помощь и дан добрый совет.

— Главное, друг мой, береги здоровье! — твердил ему отец,— mens sana in corpore sano[1]. Будешь здоров, и житься будет веселее, и все пойдет у тебя ладком да мирком!

— Не правда ли, папенька? — соглашался Евгений с отцом.

— Здоровье — это первое наше благо! — подтверждал отец,— ну, Христос с тобой! живи; я на тебя надеюсь!

Как я сказал выше, Люберцев уже на школьной скамье выглядывал дельцом. По выходе из школы он быстро втянулся в служебный круговорот (благо, служба была обязательная и место уже в перспективе имелось готовое) и даже усвоил себе известную терминологию, которою, однако ж, покамест пользовался как бы шутя. Так, улыбаясь, он называл себя государственным по́слушником,— не опричником, фуй! а именно по́слушником,— а иногда рисковал даже, тоже улыбаясь, говорить: «Мы, государственные доктринеры...» Вообще, на первых порах, трудно было разобрать, серьезно ли он говорит или иронически. Большинство видело, впрочем, скорее тонкую иронию, и это дало ему немало друзей из молодых людей с несколько пылким темпераментом.

У него не было француза-слуги, а выписан был из деревни для прислуг сын родительской кухарки, мальчик лет четырнадцати, неумелый и неловкий, которого он, однако ж, скоро так вышколил, что в квартире его все блестело, сапоги были хорошо вычищены и на платье ни соринки.

День его протекал очень просто, без всяких вычур. Все он делал систематически, не торопясь; с вечера расписывал завтрашние шестнадцать часов на клетки, и везде поспевал в свое время. Случались отступления от расписания, но редко, да и то исключительно в форме начальственных приглашений, от которых уклониться было нельзя. Вставал аккуратно в девять часов и сам делал свой несложный туалет. В девять с половиной он был уж у самовара, сам разливал себе чай и брался за книгу. Процесс чаепития (это был в то же время и завтрак его) длился довольно долго, но так как он сопровождался чтением, то Люберцев не старался об его сокращении. До одиннадцати часов он читал. Любимыми авторами его

---

[1] здоровый дух в здоровом теле.

были французские доктринеры времен Луи-Филиппа: Гизо, Дюшатель, Вилльмен и проч.; из журналов он читал только «Revue des deux Mondes», удивляясь олимпийскому спокойствию мысли и логичности выводов и не подозревая, что эта логичность представляет собой не больше как беличье колесо. Бисмарку он тоже удивлялся, но, по его мнению, он был слишком смел и, так сказать, внезапен в своей политике. Нельзя было заранее из предыдущего поступка предусмотреть последующий, хотя сущность этих поступков имела одну и ту же подкладку. Втайне он даже был уверен, что «раскусил» Бисмарка и каждый его шаг может предсказать вперед. «Франция — это только отвод,— говорил он,— с Францией он на Бельгии помирится или выбросит ей кусок Лотарингии — не Эльзас, нет! — а главным образом взоры его устремлены на Россию,— это узел его политики,— вот увидите!» По его мнению, будь наше время несколько менее тревожно, и деятельность Бисмарка имела бы менее тревожный характер; он просто представлял бы собой повторение твердого, спокойного и строго-логического Гизо.

В одиннадцать часов он выходил на прогулку. Помня завет отца, он охранял свое здоровье от всяких случайностей. Он инстинктивно любил жизнь, хотя еще не знал ее. Поэтому он был в высшей степени аккуратен и умерен в гигиеническом смысле и считал часовую утреннюю прогулку одним из главных предохранительных условий в этом отношении. На прогулке он нередко встречался с отцом (он даже искал этих встреч), которому тоже предписаны были ежедневные прогулки для предупреждения излишнего расположения к дебелости.

— Здоров? — спрашивал отец.

— Слава богу! вы как, папенька?

— Мне что делается! я уж стар, и умру, так удивительного не будет... А ты береги свое здоровье, мой друг! это — первое наше благо. Умру, так вся семья на твоих руках останется. Ну, а по службе как?

— Понемножку. Но скучаю, что настоящего дела нет. Впрочем, на днях записку составить поручили; я в два дня кончил и подал свой труд, да что-то молчат. Должно быть, дело-то не очень нужное; так, для пробы пера, дали, чтоб испытать, способен ли я.

— Это и всегда так бывает на первых порах. Все равно как у портных: сначала на лоскутках шить приучают, а потом и настоящее дело дадут. Потерпи, не сомневайся. В свое время будешь и шить, и кроить, и утюжить.

— Ах, папенька, как же так можно выражаться!..

— Ну, ну, пошутить-то ведь не грех. Не все же серьезни-

чать; шутка тоже, в свое время, не лишняя. Жизнь она смазывает. Начнут колеса скрипеть — возьмешь и смажешь. Так-то, голубчик. Христос с тобой! Главное — здоровье береги!

В полдень Люберцев уже на службе, серьезный и сосредоточенный. Покуда у него нет определенной должности; но швейцар Никита, который тридцать лет стоит с булавой в департаментских сенях, уже угадал его и выражается прямо, что Евгений Филиппыч из молодых да ранний.

— Вот, погодите, щелкоперы! — говорит он чиновникам,— он вам ужо, как начальником будет, задаст перцу! Забудете папироски курить да посвистывать!

Люберцев сидит за пустым столом и от нечего делать перелистывает старое дело. Исподволь он приучается к формам и обрядам (приучается на лоскутках шить), а между тем присматривается и к канцелярскому быту. Чиновники, по его мнению, распущены и имеют лишь смутное понятие о государственном интересе; начальники отделений смотрят вяло, пишут — не пишут, вообще ведут себя, словно им до смерти вся эта канитель надоела. Многие даже откровенно зубоскалят; критикуют начальственные распоряжения, радуются, когда в газетах появится колкая заметка или намек, сами собираются что-нибудь тиснуть. Директор департамента приходит поздно, засиживается у «своей» (так, по крайней мере, говорят чиновники) и совершенно понапрасну задерживает подчиненных. И у него на лице написаны усталость и равнодушие.

— А все-таки машина не останавливается! — размышляет про себя Генечка,— вот что значит раз пустить ее в ход! вот какую силу представляет собой идея государства! Покуда она не тронута, все функции государства совершаются сами собой!

В этих присматриваньях идет время до шести часов. Скучное, тягучее время, но Люберцев бодро высиживает его, и не потому, что — кто знает? вдруг случится в нем надобность! — а просто потому, что он сознает себя одною из составных частей этой машины, функции которой совершаются сами собой. Затем нелишнее, конечно, чтобы и директор видел, что он готов и ждет только мановения.

— А! вы здесь? — изредка говорит ему, проходя мимо, директор, который знает его отца и не прочь оказать протекцию сыну,— это очень любезно с вашей стороны. Скоро мы и для вас настоящее дело найдем, к месту вас пристроим! Я вашу записку читал... сделана умно, но, разумеется, молодо. Рассуждений много, теория преобладает — сейчас видно, что школьная скамья еще не простыла... ну-с, а покуда прощайте!

Люберцев не держит дома обеда, а обедает или у своих (два раза в неделю), или в скромном отельчике за рубль серебром. Дома ему было бы приятнее обедать, но он не хочет баловать себя и боится утратить хоть частичку той выдержки, которую поставил целью всей своей жизни. Два раза в неделю — это, конечно, даже необходимо; в эти дни его нетерпеливо поджидает мать и заказывает его любимые блюда — совестно и огорчить отсутствием. За обедом он сообщает отцу о своих делах.

— Директор недавно видел меня и упоминал о моей записке,— рассказывает он,— говорил, что составлена недурно, но рассуждений много, теория преобладает...

— Да, мой друг, в делах службы рассуждения только мешают. Нужно быть кратким, держаться фактов, а факты уже сами собой покажут, куда следует идти.

— Но нельзя же, папенька, не рассуждать. Ведь недаром нас теории учили.

— Рассуждать ты можешь про себя, а об теориях в частных разговорах беседовать можно. Ну, и на службе, пожалуй, ими руководись, только чтоб не бросалось в глаза, не замедляло, так сказать, изложения. Теория, мой друг, окраску человеку дает, клеймо кладет на его деятельность — ну, и смотри на дело с точки зрения этой окраски, только не выставляй ее. Я сам в молодости теориям обучался, а потому вышел из меня Филипп Андреич Люберцев, а не Андрей Филиппыч. И всякий знает мою работу, всякий сразу скажет: эту записку писал не Андрей Филиппыч, а Филипп Андреев, сын Люберцев. Ex ungue leonem [1], если можно, без хвастовства, так выразиться. Вот об чем я говорю.

Вечер, часов с девяти, Люберцев проводит в кругу товарищей, но не таких шалопаев, какРостóкин (он с ним почти не встречается), а таких же основательных и солидных, как и он сам. Раз в неделю он принимает у себя; остальные вечера переходит от одного товарища к другому и изредка посещает театр. Когда собираются у него, он очень мило разыгрывает роль хозяина, потчует чаем с сдобными булками, а под конец появляется и очень приличная закуска. Несмотря на солидность, между товарищами поднимаются шумные споры. Говорят, по преимуществу, о государстве, его функциях и отношениях к отдельному индивидууму. Как люди, готовящиеся к занятию «постов», юноши задорно стоят на стороне государства и защищают неприкосновенность его прав.

— Государство — это всё,— ораторствует Генечка,— на-

---

[1] Узнаю льва по когтям.

ука о государстве — это современный палладиум. Это целое верование. Никакой отдельный индивидуум немыслим вне государства, потому что только последнее может дать защиту, оградить не только от внешних вторжений, но и от самого себя.

Однако бывают и противоречия, не то чтобы очень радикальные, а все-таки не столь всецело отдающие индивидуума в жертву государству. Середка на половине. Но Люберцев не формализируется противоречиями, ибо знает, что du choc des opinions jaillit la vérité [1]. Терпимость — это одно из достоинств, которым он особенно дорожит, но, конечно, в пределах. Сам он не отступит ни на пядь, но выслушает всегда благосклонно.

— И прекрасно, мой друг, делаешь,— хвалит его отец,— и я выслушиваю, когда начальник отделения мне возражает, а иногда и соглашаюсь с ним. И директор мои возражения благосклонно выслушивает. Ну, не захочет по-моему сделать — его воля! Стало быть, он прав, а я виноват,— из-за чего тут горячку пороть! А чаще всего так бывает, что поспорим-поспорим, да на чем-нибудь середнем и сойдемся!

— Не правда ли, папенька?

— Говорю тебе, что хорошо делаешь, что не горячишься. В жизни и все так бывает. Иногда идешь на Гороховую, да прозеваешь переулок и очутишься на Вознесенской. Так что же такое! И воротишься,— не бог знает, чего стоит. Излишняя горячность здоровью вредит, а оно нам нужнее всего. Ты здоров?

— Слава богу, папенька!

— Ну, и Христос с тобой! Посещай товарищей, не пренебрегай ими! Иной раз пренебрежешь человеком, а он потом в самонужнейших окажется!

На один из дружеских вечеров совсем неожиданно явился Сережа Ростóкин. Он слышал, что у Генечки происходят в определенные дни умные разговоры, и пожелал полюбопытствовать, а при случае, с своей стороны, словечко вставить, доказать, que tout est à refaire. Он приехал навеселе, прямо от Бореля, и появление его так всех удивило, что вдруг все смолкло. Люберцев хотел разыграть радушного хозяина и не мог: голос у него потух. Гости сидели как на иголках; некоторые даже искали глазами свои шляпы. С своей стороны, и Сережа молчал и удивленно хлопал глазами, не видя нигде ни вина, ни объедков, ни залитой и загаженной скатерти.

— Вы́пито! — бессмысленно пробормотал он наконец, щел-

[1] из столкновения мнений рождается истина.

кая себя в галстух.— Да, было-таки... Но какую мы свежую икру ели... сливки!

Пробормотавши это, он опять замолчал и через четверть часа встал и направился к выходу. Но тут обернулся и крикнул:

— Засýшины вы! все вы еще в пеленках высохли!.. Государство... туда же! Вот мы когда-нибудь с Петром Николаичем... разберем!

И исчез.

Споры возобновились, но Люберцев был слегка задумчив. Он вспомнил вещие слова отца: иной раз пренебрежешь человеком, а он в самонужнейших окажется...

«Чтó, ежели этот шалопай, в самом деле...» — тревожился он.

И на другой день, урвавши четверть часа у прогулки, он зашел к Сереже и застал его в самом разгаре туалетной деятельности.

— А! Люберцев! — воскликнул Ростокин, слегка удивленный,— каким добрым ветром тебя занесло?

Оказалось, что он действительно был так пьян накануне, что все забыл.

— Да так, повидаться захотелось. Давно уж...

— И я давно собираюсь к тебе. У тебя, говорят, умные вечера завелись... надо, надо послушать, чтó умные люди говорят. Ведь и я с своей стороны... Вместе бы... unitibus...[1] как это?

И он начал, по обыкновению, твердить, que tout est à refaire. Твердил бестолково, вращая зрачками, грозя пальцем и ссылаясь на Петра Николаича.

— Ежели вы, господа, на этой же почве стоите,— говорил он,— то я с вами сойдусь. Буду ездить на ваши совещания, пить чай с булками, и общими усилиями нам, быть может, удастся подвинуть дело вперед. Помилуй! tout croule, tout roule[2] — а у нас полезнейшие проекты под сукном по полугоду лежат, и никто ни о чем подумать не хочет! Момент, говорят, не наступил; но уловите же наконец этот момент... sacrebleu!..[3]

Генечка слушал терпеливо и от времени до времени качал головой. Он рад был, что вчерашняя история кончилась так благополучно.

Так проводит свой день государственный пóслушник

---

[1] объединимся.
[2] все рушится, все разваливается.
[3] черт возьми!

Евгений Филиппыч Люберцев и кончает его пунктуально в час ночи, когда мирно отходит ко сну.

Немного спустя, ему дали составить другую записку. Давно уже начали собирать данные о необходимости восстановить заставы и шлагбаумы, и наконец отовсюду получены были ответные донесения. Оказывалось, что заставы и шлагбаумы не только полезны, но и самое восстановление их может совершиться легко, без потрясений. Столбы старых шлагбаумов еще доселе стоят невредимы, следовательно, стоит только купить новые цепи и нанять сторожа (буде военное ведомство не даст караула) — и города вновь украсятся и процветут. При сем прилагались и штаты. Генечка рассмотрел это дело очень внимательно. Он воздержался от рассуждений и только в одном месте упомянул об обывательских страстях, к ограждению от коих преимущественно должны служить заставы. Штаты он нашел умеренными и с помощью первых четырех правил арифметики легко вывел среднюю сумму предстоящих издержек. Оставалось только найти источник для удовлетворения нового расхода. Люберцев сходил за справкой в министерство финансов, но там ему сказали, что государственное казначейство и без того чересчур обременено. Слышал он мельком, что где-то существует калмыцкий капитал, толкнулся и туда, но там встретил почти враждебный отпор («вам какое дело?»). Предстояло одно из двух: или обратить дело к дополнительным запросам,— но тогда оно затянулось бы на неопределенное время,— или же ограждение обывателей от собственных их страстей произвести на счет их самих.

Генечка решил в последнем смысле: и короче, да и вполне справедливо. Дело не залежится, а между тем идея государственности будет соблюдена. Затем он составил свод мнений, включил справку о недостаточности средств казны и неприкосновенности калмыцкого капитала, разлиновал штаты, закруглил — и подал.

Директор одобрил записку всецело, только тираду о страстях вычеркнул, найдя, что в деловой бумаге поэзии и вообще вымыслов допустить нельзя. Затем положил доклад в ящик, щелкнул замком и сказал, что когда наступит момент, тогда все, что хранится в ящике, само собой выйдет оттуда и увидит свет.

Шаг этот был важен для Люберцева в том отношении, что открывал ему настежь двери в будущее. Ему дали место помощника столоначальника. Это было первое звено той цепи, которую ему предстояло пройти. Сравнительно, новое его положение досталось ему довольно легко. Прошло лишь семь-

восемь месяцев по выходе из школы, и он, двадцатилетний юноша, уже находился в служебном круговороте, в качестве рычага государственной машины. Рычага маленького, почти незаметного, а все-таки...

По этому случаю у стариков Люберцевых был экстраординарный обед. Подавали шампанское и пили здоровье новобранца. Филипп Андреич сиял; Анна Яковлевна (мать) плакала от умиления; сестрицы и братцы говорили: «Je vous félicite»[1]. Генечка был несколько взволнован, но сдерживался.

— Я в нем уверен,— говорил старик Люберцев,— в нем наша, люберцевская кровь. Батюшка у меня умер на службе, я — на службе умру, и он пойдет по нашим следам. Старайся, мой друг, воздерживаться от теорий, а паче всего от поэзии... ну ее! Держись фактов — это в нашем деле главное. А пуще всего пекись об здоровье. Береги себя, друг мой, не искушайся! Ведь ты здоров?

— Здоров, папенька.

— Ну, и слава богу. А теперь, на радостях, еще по бокальчику выпьем — вон, я вижу, в бутылке еще осталось. Не привык я к шампанскому, хотя и случалось в посторонних домах полакомиться. Ну, да на этот раз, ежели и сверх обыкновенного весел буду, так Аннушка простит.

И, вновь выпив здоровье новобранца, Филипп Андреич продолжал:

— Ты обо мне не суди по-теперешнему; я тоже повеселиться мастер был. Однажды даже настоящим образом был пьян. Зазвал меня к себе начальник, да в шутку, должно быть,— выпьемте да выпьемте! — и накатил! Да так накатил, что воротился я домой — зги божьей не вижу! Сестра Аннушкина в ту пору у нас гостила, так я Аннушку от нее отличить не могу: пойдем,— говорю! Месяца два после этого Анюта меня все пьяницей звала. Насилу оправдался.

— Так вот вы какой, папенька!

С получением штатного места пришлось несколько видоизменить modus vivendi[2]. Люберцев продолжал принимать у себя раз в неделю, но товарищей посещал уже реже, потому что приходилось и по вечерам работать дома. Дружеский кружок редел; между членами его мало-помалу образовался раскол. Некоторые члены заразились фантазиями, оказались чересчур рьяными и отделились.

Люберцев быстро втягивался в службу, и по мере того, как он проникал в ее сердце, идея государственности заменялась

---

[1] Поздравляю.
[2] образ жизни.

идеей о бюрократии, а интерес государства превращался в интерес казны. Слова и мнения старика отца с каждым днем все больше и больше принимали для сына значение непререкаемости. Он вполне усвоил себе идею главенства фактов и устранил вымысел и теорию навсегда. Если речь идет о снабжении городовых свистками, то только о свистках и писалось, а рассуждения на тему о безопасности допускались лишь настолько, насколько это нужно для оправдания свистков. «В видах ограждения безопасности обывателей, необходимо снабдить городовых свистками», только и всего. Потому что, ежели начать с того, что главная забота государства заключается в том...— то это уж будет не доклад, а бред. Залезешь в такую трущобу, что потом и не вылезешь. Ведь идея государственности и в обнаженном изложении фактов просочится сама собой — стало быть, ничего другого и не требуется. Это складка, которую он получил уже на школьной скамье и которая никогда его не оставит; зачем же выставлять ее напоказ и замедлять стройное и логическое изложение экскурсиями по сторонам?

Ты не очень, однако, в канцелярщину затягивайся! — предостерегал его отец,— надседаться будешь — пожалуй, и на шею сядут. Начальство тоже себе на уме; скажет: вот настоящий помощник столоначальника, и останешься ты аридовы веки в помощниках. Действуй вольно, показывай вид, что не очень дорожишь, что тебя везде с удовольствием приютят. Тогда тобой дорожить станут, настоящим образом труд твой будут ценить. Я десять лет вице-директором состою, да то — я, а тебе я этого не желаю. Связей не упускай, посещай людей, рассматривай. И старых знакомых, которые полезны, не упускай, и новых знакомств не беги. Мудреная, брат, это наука — жизнь! Ну, да, бог даст, ты справишься.

Генечка последовал и этому совету. Он даже сошелся с Ростóкиным, хотя должен был, так сказать, привыкать к его обществу. Через Ростóкина он надеялся проникнуть дальше, устроить такие связи, о каких отец и не мечтал. Однако ж сердце все-таки тревожилось воспоминанием о товарищах, на глазах которых он вступил в жизнь и из которых значительная часть уже отшатнулась от него. С одним из них он однажды встретился.

— А помнишь, как Ростóкин всех нас обозвал засушинами? — спросил прежний сочлен по «умным» вечерам,— глуп-глуп, а правду сказал. Ты не совсем еще засох?

Люберцев кисло улыбнулся в ответ.

— Засохнешь — в этом не сомневайся! — продолжал то-

варищ.— Смотри, как бы, вместо государственных-то людей, в простых подьячих не очутиться!

Но Генечка этого не опасался и продолжал преуспевать. Ему еще тридцати лет не было, а уже самые лестные предложения сыпались на него со всех сторон. Он не раз мог бы получить в провинции хорошо оплаченное и ответственное место, но уклонялся от таких предложений, предпочитая служить в Петербурге, на глазах у начальства. Много проектов он уже выработал, а еще больше имел в виду выработать в непродолжительном времени. Словом сказать, ему предстояло пролить свет...

Хотя свет этот начинал уже походить на тусклое освещение, разливаемое сальной свечой подьячего, но от окончательного подьячества его спасли связи и старая складка государственности, приобретенная еще в школе. Тем не менее он и от чада сальной свечки был бы не прочь, если б убедился, что этот чад ведет к цели.

Тридцати лет он уже занимал полуответственный пост, наравне с Сережей Росто̀киным. Мысль, что служебный круговорот совершенно тождествен с круговоротом жизненным и что успех невозможен, покуда представление этой тождественности не будет усвоено во всей его полноте, все яснее и яснее обрисовывалась перед его умственным взором. И он, не торопясь, но настойчиво, начал подготовлять себя к применению этой мысли на практике.

К этому времени отец его совсем состарился, но все еще занимал прежнюю должность. Он с любовью следил за успехами сына, хотя, признаться, многого уже не понимал в его поступках. Его радовало, что сын здоров, что он на виду,— ничего другого он не желал. Старуха мать заботливо приискивала сыну приличную партию и однажды даже совсем было высватала ему богатенькую купеческую дочь, По́хотневу, и Генечка чуть не соблазнился блестящим приданым и даже решил в уме, что неловко звучащую фамилию «По́хотнев» можно без труда изменить на «Пахо́тнев» (madame de Lubertzeff, née de Pakhotneff) [1]. Но, по зрелом рассуждении, нашел, что еще рано садиться в гнездо, и предпочел сохранить независимость.

В настоящее время служебная его карьера настолько определилась, что до него рукой не достать. Он вполне изменил свой взгляд на служебный труд. Оставил при себе только государственную складку, а труд предоставил подчиненным. С утра до вечера он в движении: ездит по влиятельным зна-

---

[1] г-жа Люберцева, урожденная Пахотнева.

комым, совещается, шушукается, подставляет ножки и всячески ограждает свою карьеру от случайности.

— Связи — вот главное! — говорит он отцу,— а как будет такой-то служебный вопрос решен, за или против,— это для меня безразлично. Перемелется — все мука́ будет. Заручившись связями, я спокоен, да мне и приятно находиться в постоянном движении. Высшие сферы имеют чарующую, притягательную силу. Тут и роскошь обстановки, и непрерывная изворотливость мысли, и интерес неожиданных поворотов служебного ветра, то радующих, то пугающих, и роскошные женщины. Женщина, выхоленная, выдрессированная, сама по себе уже представляет для глаз неисчерпаемый источник наслаждений, а на любом рауте перед вами дефилируют десятки таких женщин. Свет, благоуханье, обнаженные плечи... Помилуйте! зачем я буду корпеть дома и перебирать бюрократическую ветошь, которая все равно ни к чему не поведет!

Старик выслушивает эти речи с некоторым удивлением, но не противоречит. Он просто думает, что, за старостью лет, отстал от времени и что, стало быть, все это нужно, ежели Генечка не может иначе поступать.

От времени до времени Люберцеву приходит на мысль, что теперь самая пора обзавестись своим семейством. Он тщательно приглядывается, рассматривает, разузнает, но делает это сам, не прибегая к постороннему посредничеству. Вообще подходит к этому вопросу с осторожностью и надеется в непродолжительном времени разрешить его.

3. ЧЕРЕЗОВЫ МУЖ И ЖЕНА

Оба молоды, и оба без устали работают.

Женились они всего три месяца назад, и только брачный день позволили себе провести праздно. Сватовство было недолгое. Семен Александрыч в первый раз увидел Надежду Владимировну в конторе, где она работала и куда он заходил за справкой. Затем раз пять им пришлось сидеть рядом за общим столом в кухмистерской. Разговорились; оказалось, что оба работают. Оба одиноки, знакомых не имеют, кроме тех, с которыми встречаются за общим трудом, и оба до того втянулись в эту одинокую, не знающую отдыха жизнь, что даже утратили ясное сознание, живут они или нет.

— Хоть в праздники-то вы свободны ли? — однажды спросил он у нее.

— Да, но без работы скверно; не знаешь, куда деваться. В нумере у себя сидеть, сложивши руки,— тоска! На улицу

выйдешь — еще пуще тоска! Словно улица-то новая; в обыкновенное время идешь и не примечаешь, а тут вдруг... магазины, экипажи, народ... К товарке одной — вместе работаем — иногда захожу, да и она уж одичала. Посидим, помолчим и разойдемся.

— Это уж вроде схимы...

— А что вы думаете? именно схима! Даже вериги чувствовать начинаю.

— Вы бы что-нибудь читали хоть в праздник...

— Отвыкла. Ничто не интересует. Говорю вам, совсем одичала. В театр изредка в воскресенье схожу — и будет! А вы?

Он безнадежно махнул рукой в ответ.

— Тоже недалеко от схимы?

— Чего недалеко! весь веригами опутан... каким образом? из-за чего?

— Как из-за чего? Жизнь-то не достается даром. Вот и теперь мы здесь роскошествуем, а уходя все-таки сорок пять копеек придется отдать. Здесь сорок пять, в другом месте сорок пять, а в третьем и целый рубль... надо же добыть!

— И таким образом проходит вся жизнь?

— Жизнь только еще начинается. Потом она будет продолжаться, а затем и конец.

— Именно так: начинается, продолжается и кончается — только и всего. Но неужто вы совсем одни? ни родных, ни знакомых?

— Одна. Отец давно умер, мать — в прошлом году. Очень нам трудно было с матерью жить — всего она пенсии десять рублей в месяц получала. Тут и на нее и на меня; приходилось хоть милостыню просить. Я, сравнительно, теперь лучше живу. Меня счастливицей называют. Случай как-то помог, работу нашла. Могу комнату отдельную иметь, обед; хоть голодом не сижу. А вы?

— И я один; ни отца, ни матери не помню; воспитывался на какие-то пожертвования. Меня начальник школы и на службу определил. И тоже хоть голодом не сижу, а близко-таки... Когда приходится туго, призываю на помощь терпение, изворачиваюсь, удвоиваю старания,— и вот, как видите!

— Скучно вам?

— Скучать некогда. Даже о будущем подумать нет времени. Иногда и мелькнет в голове: надо что-нибудь... не всегда же... да только рукою махнешь. Авось как-нибудь, день за день, и пройдет... жизнь.

— Да; трудно что-нибудь выдумать. Жить надо — только и всего.

Спустя некоторое время, после одного из таких разговоров, он спросил ее:

— А что, если мы вместе будем работать?

Она на минуту смутилась и побелела. Но затем щеки у нее заалели румянцем, она подала ему руку и бодро ответила:

— Будемте.

Через месяц они были муж и жена, и, как я сказал выше, позволили себе в праздности провести будничный день. Но назавтра оба уж были в работе.

Ей посчастливилось. Утром она работала в банкирской конторе, вечером — имела урок. Все это вместе давало ей около восьмисот рублей в год. В летнее время доход уменьшался, за отъездом ученицы; но тогда она приискивала другую работу, хотя и подешевле. Вообще вопрос о безработице не коснулся ее. Он тоже успел довольно прочно устроиться; утром ходил в департамент, где служил помощником столоначальника; вечером — имел занятия в одном из железнодорожных правлений. Доход его простирался до полутора тысяч, так что оба вместе они получали в год до двух тысяч пятисот рублей.

Им завидовали и говорили, что на эти деньги вдвоем прожить можно не только без нужды, но даже позволяя себе некоторые прихоти. И они соглашались с этим. Кругом они видели столько бедности и наготы, что заработок их действительно представлялся суммою очень достаточною. Несмотря на это, они никогда не испытывали даже слабого довольства. Продолжали жить, по-прежнему, со дня на день, с трудом сводя концы с концами, и — что всего хуже — постоянно испытывали то чувство страха перед будущим, которое свойственно всем людям, живущим исключительно личным трудом. Что́, ежели вдруг случится заболеть? что, ежели в уроке не будет надобности? что, ежели частная служба изменит? соперник явится, место упразднится, в работе окажется недосмотр, начальник неудовольствие выкажет? Все эти вопросы даже усиленною работою не заглушались, а волновали и мучили с утра до вечера. Некогда было подумать о том, зачем пришла и куда идет эта безрассветная жизнь... Но о том, что эта жизнь может мгновенно порваться, думалось ежемгновенно, без отдыха.

В сущности, неправы были те, которые удивлялись, что они, при своем заработке, не умеют прожить иначе, как с величайшею осторожностью. Если бы эти деньги являлись, например, в виде заработка главы семейства, а она пользовалась хоть относительным досугом, тогда действительно жизнь не представляла бы особенных недостач с материаль-

ной стороны. Личный домостроительный труд помогает сокращать издержки на добрую треть. Можно вовремя распорядиться, вовремя закупить,— был бы досуг. Стоит только сходить за четыре версты — ноги-то свои, не купленные! — за курицей, за сигом, стоит выждать часа два у окна, пока появится во дворе знакомый разносчик,— и дело в шляпе. Рубля двоим на обед за глаза достаточно, даже и с детьми, ежели их немного; пожалуй, и пирог в праздник будет. И прислуга заведется, и опять-таки дешевенькая... Где-нибудь в колонии, из-за хлеба, молодую девчонку отыщут и приучат ее понемногу. В конце года, смотришь, окажется даже экономия. Муж доволен, что сыт; жена довольна, что бог их и с семьею за рубль прокормил; у детей щеки от праздничного пирога лоснятся. Квартира — ничего себе, стол — ничего себе; извозчика, правда, нанять не из чего — ну, да ведь не графы и не князья, и на своих на двоих дойти сумеем. Даже приятели вечером придут — и для тех закуска найдется. В винт по сотой копейки засядут, проиграет глава семейства рубль — и не поморщится. Вот как на две-то с половиной тысячи умные люди живут, а не то чтобы что.

Ничем подобным не могли пользоваться Черезовы по самому характеру и обстановке их труда. Оба работали и утром, и вечером вне дома, оба жили в готовых, однажды сложившихся условиях и, стало быть, не имели ни времени, ни привычки, ни надобности входить в хозяйственные подробности. Это до того въелось в их природу, с самых молодых ногтей, что если бы даже и выпал для них случайный досуг, то они не знали бы, как им распорядиться, и растерялись бы на первом шагу при вступлении в практическую жизнь.

Сделавшись мужем и женой, они не оставили ни прежних привычек, ни бездомовой жизни; обедали в определенный час в кухмистерской, продолжали жить в меблированных номерах, где занимали две комнаты, и, кроме того, обязаны были иметь карманные деньги на извозчика, на завтрак, на подачки сторожам и нумерной прислуге и на прочую мелочь. А там еще одежда, белье — ведь на частную работу или на урок не пойдешь засуча рукава в ситцевом платье, как ходит в лавочку домовитая хозяйка, которая сама стоит на страже своего очага. Одним словом, приходилось тратить полтора рубля там, где у домовитого хозяина выходило не больше рубля. Но зато они тратили деньги без хлопот, точно как по прейскуранту.

Сходились они обыкновенно за обедом в кухмистерской и дома в поздний час. Оба приходили усталые, обоим было не до разговоров. Пили чай, съедали принесенную закуску и за-

сыпали, чтобы на другой день, около десяти часов утра, разойтись. Но с праздниками им удалось устроиться так, что они проводили целый день вместе. Утром он ей читал, и непременно что-нибудь печальное, так как это всего больше соответствовало их душевному настроению; вечером — ходили в театр. В праздники же им случалось разговаривать по душе, но беседа шла больная, скорее растравляющая, нежели успокоивающая. Во всяком случае, заработок утекал незаметно, так что они были рады, если год кончался без особенных затруднений, вроде долга мелочной лавочке или хозяйке квартиры.

Страх перед завтрашним днем ни на минуту не оставлял их. Оба принадлежали к тому типу обыкновенных, смирных людей, которые инстинктивно стремятся к одной цели: самосохранению. Может быть, при других обстоятельствах, при иной школе, сердца их раскрылись бы и для иных идеалов, но труд без содержания, труд, направленный исключительно к целям самосохранения, окончательно заглушил в них всякие зачатки высших стремлений. Они не сознавали даже, что этот труд, который доставляет им дневной кошт, в то же время мало-помалу убивает их и навсегда лишает возможности различать добро от зла. Не вникая в содержание труда, они ценили его лишь с точки зрения оплаты и охотно брались за *всякую* работу, лишь бы она была оплачена. Постыдного они, правда, не делали, но кто же и поручит им что-нибудь постыдное? Для постыдного и люди должны быть постыдные, прожженные, дошлые люди, которые могут и пролезть, и вылезть, и сухими из воды выйти,— куда же им с их простотой! ведь им и на ум ничего постыдного не придет! Это просто не жившие, но уже измученные жизнью люди, и только. Бояться и трепетать — вот их дело. Все разговоры их ведутся на эту тему и не исчерпаются никогда, потому что они всецело сосредоточились в испуге, и никакие влияния, ни внешние, ни внутренние, не могут внести иные элементы в их скудное существование. Нет этих влияний, и неоткуда им прийти; труд для труда, труд, падающий в какую-то бездну и мгновенно поглощаемый ею, погубил всякую восприимчивость, всякий зачаток самодеятельности.

— Боюсь я, как бы урока мне не лишиться,— говорила она.

— А что?

— Да так; ученица моя поговаривает, что отец ее совсем из Петербурга хочет уехать. Пожалуй, двадцать-то пять рублей в месяц и улыбнутся.

— Скверно; ну, да бог даст...

— Я уж и то стороной разузнаю, не наклюнется ли чего-нибудь... Двоюродная сестра у моей ученицы есть, так там тоже учительнице хотят отказать... вот кабы!

— Ищи, голубушка; только не тяжело ли будет, ежели два урока придется давать?

— Ничего, устроюсь. Надо же. Да вот что я еще хотела тебе сказать, Сеня. Бухгалтер у нас в конторе ко мне пристает... с тех пор как я замуж вышла. Подсаживается ко мне, разговаривает, спрашивает, люблю ли я конфекты...

— Мерзавец!

— И я говорю, что мерзавец, да ведь когда зависишь... Что, если он банкиру на меня наговорит? — ведь, пожалуй, и там... Тут двадцать пять рублей улыбнутся, а там и целых пятьдесят. Останусь я у тебя на шее, да, кроме того, и делать нечего будет... С утра до вечера все буду думать... Думать да думать, одна да одна... ах, не дай бог!

— Ну, как-нибудь обойдется; ты у меня молодец, вывернешься. Вот у нас в правлении должность бухгалтера скоро очистится,— разве попытать?

— А у тебя как свое-то дело идет?

— Покуда — ничего. В департаменте даже говорят, что меня столоначальником сделают. Полторы тысячи — ведь это куш. Правда, что тогда от частной службы отказаться придется, потому что и на дому казенной работы по вечерам довольно будет, но что-нибудь легонькое все-таки и посторонним трудом можно будет заработать, рубликов хоть на триста. Квартиру наймем; ты только вечером на уроки станешь ходить, а по утрам дома будешь сидеть; хозяйство свое заведем — живут же другие!

— Ах, боюсь я! — особенно этот бухгалтер... Придется опять просить, кланяться, хлопотать, а время между тем летит. Один день пройдет — нет работы, другой — нет работы, и каждый день урезывай себя, рассчитывай, как прожить дольше... Устанешь хуже, чем на работе. Ах, боюсь!

Теперь они боятся в особенности, потому что Надежда Владимировна готовится сделаться матерью. Ах, что-то будет? что такое будет, даже представить себе нельзя!.. Сколько рабочих дней отнимут одни роды, а потом и ребенок. Надо его кормить, пеленать, мыть, отлучиться от него нельзя. Да и как тут поступить — не знаешь. Настанут роды — к кому обратиться, куда идти, что́ будет стоить, и вообще как совершается весь этот процесс? Прислуга — дорогая и ненадежная, да материнского сердца и не уймешь. Вот тогда-то действительно придется бросить бездомную жизнь, нанять квартиру, лишиться главного заработка, засучить рукава, взять скалку в

руки и раскатывать на столе тесто для пирога. На какие деньги они будут жить! Хоть и обещали Семену Александрычу место столоначальника, да что-то не слыхать, а сам он заискивать и напоминать о себе не смеет. Фальшивые нынче люди, не верные! все их обещания на воде писаны. Ах, не сумеют они своим домом жить. В меблированных комнатах — все готово, в кухмистерской — тоже. Так они прожили всю жизнь и другой жизни не знают. И вдруг очутятся в пространстве на собственной ответственности — вот где настоящая-то мука! Везде — обман, везде — фальшь, а ежели и нет обмана, то будет казаться, что он есть.

— Куда мы с тобой денемся? — мучительно спрашивает она его.

Он тоже глядит вопросительно, хочет сказать что-нибудь и не может. Он сам не раз задавался этим вопросом и ни к какому решению не пришел.

— Скажи, что мы будем делать? — настаивает она.

— Ах, да не мучь ты меня!

— Через три месяца у нас ребенок будет. Надо теперь же начать... Ходи, старайся, хлопочи!

— Стесниться придется на первое время...

— Нет, стесниться уж больше некуда, и без того тесно. Говорю тебе: надо кланяться, напоминать о себе, хлопотать... Хлопочут же другие...

— Ну, хорошо, попытаюсь.

Но чéрезовская удача и тут приходит к ним на выручку. Через месяц Семена Александрыча делают хоть и не столоначальником,— начальство думает, что для этой должности он недостаточно боек,— а чем-то вроде регистратора, с столоначальническим окладом. Это, впрочем, еще лучше, потому что у регистратора вечерних занятий нет; стало быть, можно будет и частную службу за собой оставить. Только вот будущее как будто захлопнулось навсегда; но на радостях он об этом не думает. Да и никогда, признаться, не думал, потому что *никогда* дверь будущего не была перед ним настежь раскрыта. Однако ж Надежду Владимировну этот полууспех мужа несколько смутил.

— Зачем мы сошлись! зачем мы живем! — мучительно волнует она себя.

— Ты сама кормить будешь? — спрашивает он ее, прерывая ее думу.

— Ах, почем я знаю! Зачем, зачем мы сошлись! жили бы мы...

До последней возможности они, однако ж, живут в меблированных комнатах. Черезов успел, на всякий случай, скопить

несколько денег, несмотря на то, что Надежда Владимировна лишилась места в банкирской конторе. Она сидит по утрам дома, готовится и помаленьку всматривается в жизнь. Открытий оказалась бездна, но хозяйка квартиры и соседка по комнате не оставляют ее и помогают своими указаниями хоть сколько-нибудь освоиться с жизнью. Обе учат, что нужно приготовить для ожидаемого первенца, и советуют лечь в родильный дом.

— Где вам справиться, ничего вы в жизни не видели! — говорят они в один голос,— ни вы, ни Семен Александрыч и идти-то куда — не знаете. Так, попусту, будете путаться.

Так и сделали. Она ушла в родильный дом; он исподволь подыскивал квартиру. Две комнаты; одна будет служить общею спальней, в другой — его кабинет, приемная и столовая. И прислугу он нанял, пожилую женщину, не ветрогонку и добрую; сумеет и суп сварить, и кусок говядины изжарить, и за малюткой углядит, покуда матери дома не будет.

— Проживем! — утешает он себя.

Наконец ожидаемый первенец увидел свет. И благо ему, что он вступил в жизнь в родильном доме, при готовом уходе и своевременной врачебной помощи, потому что, произойди этот случай в своей квартире, Семен Александрыч, наверное, запутался бы в самую критическую минуту. Родился сын, и Надежда Владимировна решила кормить его сама. Спустя урочное время, она вышла из родильного дома, но работать еще не могла. Уход за ребенком был так сложен, что отнимал все время, да и заработка в виду не было. Надо было переждать и потом опять просить, хлопотать. Тем не менее они *продолжали жить* — и это было все, что нужно.

Спустя некоторое время нашлась вечерняя работа в том самом правлении, где работал ее муж. По крайней мере, они были вместе по вечерам. Уходя на службу, она укладывала ребенка, и с помощью кухарки Авдотьи устраивалась так, чтобы он до прихода ее не был голоден. Жизнь потекла обычным порядком, вялая, серая, даже серее прежнего, потому что в своей квартире было голо и царствовала какая-то надрывающая сердце тишина.

Даже ребенок не особенно радовал Черезовых. Они до самой минуты его рождения ничего такого не предвидели, и теперь их единственно занимал вопрос: как он проживет (разумеется, с материальной стороны)? То есть тот самый вопрос, который их самих ежеминутно терзал и который они инстинктивно переносили и на ребенка. Этот вопрос обнимал собою и высшую любовь, и высшее нравственное убожество. Высшую любовь — потому что в благополучном его разрешении

заключалось, по их воззрению, все благо, весь жизненный идеал; высшее нравственное убожество — потому что, даже в случае удачного разрешения вопроса о пропитании, за ним ничего иного не виделось, кроме пустоты и безнадежности.

Ребенок рос одиноко; жизнь родителей, тоже одинокая и постылая, тоже шла особняком, почти не касаясь его. Сынок удался — это был тихий и молчаливый ребенок, весь в отца. Весь он, казалось, был погружен в какую-то загадочную думу, мало говорил, ни о чем не расспрашивал, даже не передразнивал разносчиков, возглашавших на дворе всякую всячину.

— Ты у меня, Гриша, будешь умница? — спрашивал Семен Александрыч, гладя его по голове.

Гриша удивленно взглядывал на отца, как бы говоря: неужто можно сомневаться в этом?

Из Надежды Владимировны даже посредственной хозяйки не вышло. Она рассудила, с своей точки зрения, очень правильно: на хозяйстве, как ни бейся, все-таки выгадаешь какой-нибудь двугривенный, тогда как «работа» во всяком случае даст рубль. И, заручившись этою истиной, подыскала себе утренний урок, который на два часа сокращал ее домашнюю жизнь. Теперь у нее явилось страстное желание копить; но скапливались такие пустяки, что просто совестно. Слыхала она, правда, анекдот про человека, который, выходя из дома, начинал с того, что кликал извозчика, упорно держась гривенника, покуда не доходил до места пешком, и таким образом составил себе целое состояние. Но как-то плохо верилось этому анекдоту, когда, несмотря на все урезыванья, в результате оказывалось, что годовой доход увеличивался на каких-нибудь пять рублей.

— Сколько он башмаков в год износит! — сетовала она на Гришу,— скоро, поди, и из рубашек вырастет... А потом надо будет в ученье отдавать, пойдут блузы, мундиры, пальто... и каждый год новое! Вот когда мы настоящую нужду узнаем!

Словом сказать, сетованиям и испугу конца не было. Даже кухарка Авдотья начала скучать, слыша беспрестанные толки о добыче и трудностях жизни.

— Точно вы на каторге оба живете! — ворчала она,— по-моему, день прошел — и слава богу! сегодня прошел — завтра прошел,— что тут загадывать!

Она одна относилась к ребенку по-человечески, и к ней одной он питал нечто вроде привязанности. Она рассказывала ему про деревню, про бывших помещиков, как им привольно жилось, какая была сладкая еда. От нее он получил смутное представление о поле, о лесе, о крестьянской избе.

— И как это ты проживешь, ничего не видевши! — кручинилась она,— хотя бы у колонистов на лето папенька с маменькой избушку наняли. И недорого, и, по крайности, ты хоть настоящую траву, настоящее деревцо увидал бы, простор узнал бы, здоровья бы себе нагулял, а то ишь ты бледный какой! Посмотрю я на тебя,— и при родителях ровно ты сирота!

Изредка она уводила его на рынок или в лавку: пускай, по крайности, хоть на людей посмотрит, каковы таковы живые люди бывают!

Однако ж главное все-таки было в порядке, и черезовская удача продолжала не изменять. Семен Александрыч регистраторствовал с таким тактом, что начальник говорил про него: «В первый раз вижу человека, который попал на свое место,— именно таков должен быть истинный регистратор!»

Частная служба хотя не представляла прежней устойчивости, особливо у Надежды Владимировны, но все-таки не приносила особенных ущербов. Колесо было пущено, составилась репутация,— стало быть, и с этой стороны бояться было нечего. Но бояться чего-нибудь все-таки было надобно. Боялись, что вдруг придет болезнь и поставит кого-нибудь из них в невозможность работать...

— Что тогда мы будем делать! — мучилась Надежда Владимировна.

— Да, на казенной-то службе еще потерпят,— вторил ей Семен Александрыч,— а вот частные занятия... Признаюсь, и у меня мурашки по коже при этой мысли ползают! Однако что̀ же ты, наконец! все слава богу, а тебе с чего-то вздумалось!

По временам его самого начинали уже обременять назойливые страхи, которые преследовали Надежду Владимировну. Он настолько обтерпелся, что ему было почти удобно. Каторга не изнурила его, а, напротив, казалось, укрепила и закалила. К петербургской атмосферической сутолоке, с ее сыростью, изменчивостью и непогодами, он привык и чувствовал себя вполне здоровым; жена и сын тоже никогда не бывали больны. Зачем же придумывать напрасные угрозы в будущем? Авдотья рассуждает в этом случае правильнее: день прошел, и слава богу! в их положении иначе не может и быть.

«А что, если и в самом деле...— внезапно мелькало у него в голове.— Что тогда?»

Он усиленно зарывался в работу, чтоб заглушить эти мысли, чтобы не терзали они его.

Оказалось, однако ж, что Надежда Владимировна была права: черезовская удача совсем неожиданно изменила. Все

шло своим порядком, тихо, безмятежно и вдруг порвалось. И именно порвала болезнь.

Однажды, глубокой осенью, Черезов возвращался вечером из своего правления. Идти было довольно далеко, а на улице точно светопреставление царствовало. Дождь лил как из ведра, тротуары были полны водой, ветер выл как бешеный и вместе с потоками дождя проникал за воротник пальто. Впрочем, Черезову не в первый раз приходилось видеть картины петербургского безвременья; он прибавил шагу и шел. Но, пришедши домой, почти мгновенно почувствовал легкий озноб: оказалось, что он промочил ноги. Жена раздела его, напоила наскоро чаем, укутала и уложила в постель. Предчувствие грозы уже томило ее, но на этот раз она не высказалась. К двум часам ночи он был весь в огне и разбудил жену. Хотели бежать за доктором, но было так поздно и непогода так разыгралась, что он посовестился. Ограничились тем, что опять напоили его чаем и еще плотнее укутали.

— Теперича его в пот вгонит,— утешала Авдотья,— а к утру пóтом болезнь и выгонит. Посидит денька два дома, а потом и опять молодцом на службу пойдет!

Но пóта не появлялось; напротив, тело становилось все горячее и горячее, губы запеклись, язык высох и бормотал какие-то несвязные слова. Всю остальную ночь Надежда Владимировна просидела у его постели, смачивая ему губы и язык водою с уксусом. По временам он выбивался из-под одеяла и пылающею рукою искал ее руку. Мало-помалу невнятное бормотанье превратилось в настоящий бред. Посреди этого бреда появлялись минуты какого-то вымученного просветления. Очевидно, в его голове носились терзающие воспоминания.

— Что я делал? Зачем жил? — стонал он и затем, обращаясь к жене, повторял: — Что мы делали? зачем жили?

Утром, часу в девятом, как только на дворе побелело, Надежда Владимировна побежала за доктором; но последний был еще в постели и выслал сказать, что приедет в одиннадцать часов.

Когда она воротилась домой, больной как будто утих, но все-таки не спал, а только находился в лихорадочном полузабытьи. Почуяв ее присутствие, он широко открыл глаза и, словно сквозь сон, сказал:

— Что мы делали? зачем жили?

Затем он опять начал метаться, повторяя:

— Ах, какие все пустяки! пустяки! пустяки! пустяки!

Она стояла возле него, неподвижная, бледная, замученная, и вслед за ним так же, словно сквозь сон, твердила:

— Ах, какие все пустяки! пустяки! пустяки! пустяки!

Даже Авдотья, стоя поодаль и утирая слезы концом головного платка, всхлипывала:

— Надорвался!.. сердечный!

Сын (ему было уже шесть лет) забился в угол в кабинете и молчал, как придавленный, точно впервые понял, что перед ним происходит нечто не фантастическое, а вполне реальное. Он сосредоточенно смотрел в одну точку: на раскрытую дверь спальни — и ждал.

В одиннадцать часов приехал доктор, осмотрел больного и осторожно заявил, что Черезов безнадежен.

— До вечера, может быть, доживет,— сказал он,— но в ночь... Впрочем, я вечерком забегу.

— Что такое мы делали? Зачем, зачем мы жили? — стонал между тем больной.

К вечеру, едва смерклось, как началась агония. Сравнительно он умирал покойно и уже в полном сознании сказал жене:

— Надя! Тебе будет трудно... Не справиться... И сама ты, да еще сын на руках. Ах, зачем, зачем была дана эта жизнь? Надя! Ведь мы на каторге были, и называли это жизнью, и даже не понимали, из чего мы бьемся, что делаем; ничего мы не понимали!

В шесть часов вечера его не стало. Черезовская удача до такой степени изменила, что он не воспользовался даже льготным сроком, который на казенной службе дается заболевшим чиновникам. Надежда Владимировна совсем растерялась. Ей не приходило в голову, что нужно обрядить умершего, послать за гробовщиком, положить покойника на стол и пригласить псаломщика. Все это сделала за нее Авдотья.

Через два дня его схоронили у Митрофания на счет небольшого пособия, присланного из департамента. Похороны состоялись без помпы, хотя департамент командировал депутата для присутствования. Депутат доехал на извозчике до Измайловского проспекта, там юркнул в первую кондитерскую и исчез. За гробом дошли до кладбища только Надежда Владимировна и Авдотья.

Но тут черезовская удача опять воротилась. Надежде Владимировне назначили пенсию в триста рублей, хотя муж ее никакого пенсионного срока не выслужил, а в таком размере и подавно.

Она и теперь продолжает работать с утра до вечера. Теряя одну работу, подыскивает другую, так что «каторга» остается в прежней силе.

4. ЧУДИНОВ

Нет, вздумал странствовать один
из них, лететь...

Он сам определенно не сознает, что привело его из глубины провинции в Петербург. Учиться и, для того чтобы достигнуть этого, отыскать работу, которая давала бы средства хоть для самого скудного существования,— вот единственная мысль, которая смутно бродит в его голове.

Николай Чудинов — очень бедный юноша. Отец его служит главным бухгалтером казначейства в отдаленном уездном городке. По-тамошнему, это место недурное, и семья могла содержать себя без нужды, как вдруг сыну пришла в голову какая-то «гнилая фантазия». Ему было двадцать лет, а он уже возмечтал! Учиться! разве мало он учился! Слава богу, кончил гимназию — и будет.

Действительно, Николай уже прошел гимназический курс и готовился поступить в университет, когда Андрей Тимофеич вызвал его к себе, находя, что учиться довольно. Юноша приехал; его сейчас же зачислили в штат полицейского управления и назначили двенадцать рублей месячного жалованья; при готовых хлебах и даровой квартире этого было достаточно. Предстояло на трудовой заработок только одеться, обуться да кой-какие мелочи исправить. Посидит на этом окладе, а скоро, глядишь, и прибавят рубля три. И таким-то образом не всякому удается начинать. А затем и в уезде — дорога широкая. И в становые пристава, и в непременные члены, а может быть, и в исправники — всюду пройти можно,— был бы царь в голове. А не то так и в мировые учреждения, в земство. У Андрея Тимофеича есть связи в уезде. Всем до казначейства есть дело, а он — душа казначейства. Стало быть, того, другого попросит, состоится единогласное избрание — вот и мировой судья готов. Шутка сказать! ведь это две тысячи рублей одного содержания, а с канцелярией да с камерой — и не сочтешь, сколько тут денег наберется!

Но юноша, вскоре после приезда, уже начал скучать, и так как он был единственный сын, то отец и мать, натурально, встревожились. Ни на что он не жаловался, но на службе старанья не проявил, жил особняком и не искал знакомств. «Не ко двору он в родном городе, не любит своих родителей!» — тужили старики. Пытали они рисовать перед ним соблазнительные перспективы — и всё задаром.

— Ежели не по нутру тебе полицейская служба — можно в земство махнуть! — говорил отец,— попрошу Ивана Петро-

вича да Семена Николаевича — кому другому, а мне не откажут. Сначала в секретари управы, благо нынешний секретарь в лес глядит, а там куплю на твое имя двести десятин болота, и в члены попадешь. Здесь, мой друг, всё в наших руках. Захотим, так и в судьи попадем, нет нужды, что ты университета не кончил. Того же Ивана Петровича попрошу — он как раз единогласное избрание оборудует. Вот ты и на виду, и в люди показаться не стыдно. Сто́ит только годика два до новых выборов подождать.

Николай не возражал против отцовских увещаний, но и согласия не заявлял. Он продолжал скучать, жить особняком и тревожить родительские сердца. Наконец, однако ж, пришлось высказаться.

— Я бы в Петербург желал,— сказал он нерешительно.

— Что ты там забыл?

— В университет хочу поступить. Начал ученье и не кончил...

— А чем же ты будешь в Петербурге жить?

— Устроюсь как-нибудь. Мне бы только доехать, а там уроки найду, частные занятия — много ли мне на прожиток нужно!

— Слышал я, что казенные стипендии в триста рублей полагают — стало быть, меньше этого прожить нельзя. Да за лекции от платы освобождают — это тоже счет. Где ты эти триста — четыреста рублей добудешь?

— Как-нибудь...

— С «как-нибудь»-то люди голодом сидят, а ты прежде подумай да досконально все рассчитай! нас, стариков, пожалей... Мы ведь настоящей помощи дать не можем, сами в обрез живем. Ах, не чаяли печали, а она за углом стерегла!

Но сколько старики не тратили убеждений, в конце концов все-таки пришлось уступить. Собрали кой-как рублей двести на дорогу и на первые издержки и снарядили сынка. В одно прекрасное утро Николай сел с попутчиком в телегу — и след его простыл, а старики остались дома выплакивать остальные слезы.

Однако, по мере приближения к Петербургу, молодой Чудинов начал чувствовать некоторое смущение. Как ни силился он овладеть собою, но страх неизвестного все больше и больше проникал в его сердце. Спутники по вагону расспрашивали его, и что-то сомнительное слышалось в их вопросах и ответах.

— В Петербург? — спрашивали его.

— Да, в Петербург.

— При должности-с?

— Нет, учиться хочу.

— Так-с. При родителях будете жить?

— Нет, родители у меня живут в провинции.

— Ну, все равно, помогать будут?

— И помощи я от них ждать не могу. Сам должен буду о себе заботиться...

— Мудреное дело-с.

— Отчего же? Мне многого не нужно, а добыть урок или два, или какое-нибудь занятие — неужели это так трудно?

— Кандидатов слишком довольно. На каждое место десять — двадцать человек, друг у дружки так и рвут. И чем больше нужды, тем труднее: нынче и к месту-то пристроиться легче тому, у кого особенной нужды нет. Доверия больше, коли человек не жмется, вольной ногой в квартиру к нанимателю входит. Одёжа нужна хорошая, вид откровенный. А коли этого нет, так хошь сто лет грани мостовую — ничего не получишь. Нет, ежели у кого родители есть — самое святое дело под крылышком у них смирно сидеть.

— А ежели учиться хочется?

— Хотение-то наше не для всех вразумительно. Деньги нужно добыть, чтоб хотенье выполнить, а они на мостовой не валяются. Есть нужно, приют нужен, да и за ученье, само собой, заплати. На пожертвования надежда плоха, потому нынче и без того все испрожертвовались. Туда десять целковых, в другое место десять целковых — ан, под конец, и скучно!

И так далее.

Назойливо тянулась эта нить дорожных разговоров, тревожа и волнуя Чудинова. Но вот наконец показался и Петербург.

Чудинов очутился на улице с маленьким саком в руках. Он был словно пьян. Озирался направо и налево, слышал шум экипажей, крик кучеров и извозчиков, говор толпы. К счастию, последний его собеседник по вагону — добрый, должно быть, человек был,— проходя мимо, крикнул ему:

— Коли не знаете, где остановиться, так ступайте к Анне Ивановне в Разъезжую: у нее много горюнов живет. Нумера порядочные, обед — тоже, а главное, сама она добрая. Может быть, и насчет занятий похлопочет. Покуда что, у нее и поживете.

Чудинов, разумеется, последовал этому совету.

Указанные нумера помещались в четвертом этаже громадного дома. Его встретила в дверях сама хозяйка, чистенькая старушка лет под шестьдесят. Было около десяти часов, и нумера пустели; в коридоре то и дело сновали уходящие жильцы.

— Вам нумерок? небольшой? — приветливо спросила хозяйка, оглядывая приезжего.

— Да, из самых недорогих.

— Рублей на пятнадцать с обедом в месяц? удобно это для вас?

Комнатка действительно оказалась совсем маленькая. Одно окно; около двери кровать; в другом углу, возле окна, раскрытый ломберный стол с чернильным прибором; три плетеных стула.

— Обед будет из двух блюд: суп и мясное блюдо,— продолжала хозяйка.— Считается в двадцать копеек; а ежели третье блюдо закажете — прибавка 15 копеек. Обедают в общей столовой между пятью и шестью часами, как кто удосужается. Остальные девять рублей — за квартиру. Мелочных расходов прислуге, дворнику — рубля два в месяц наберется. Чай — ваш, свечи — тоже ваши. Вы место искать приехали?

Чудинов сказал ей.

— Учиться? — переспросила она,— но ведь у вас и в своем округе университет есть? Зачем непременно в Петербург? Вся провинция в Петербург поднялась, а здесь, как нарочно, двери всё плотнее и плотнее запираются! Точно поветрие.

Чудинов не мог ничего более объяснить. Нельзя же сказать, что его влекла в Петербург безотчетная сила,— это было слишком субъективное побуждение, чтобы оправдать серьезный жизненный шаг. Хозяйка согласилась, впрочем, что, раз дело сделано,— не возвращаться же назад. Затем она, без всякой назойливости, а просто из доброго участия, расспросила его о средствах, которыми он располагает, и об его надеждах в будущем. Оказалось, что у него от дороги осталось около полутораста рублей, что из дома он надеется получать не больше пятидесяти — ста рублей в год и что главный расчет его — на свой собственный труд.

— Занятий приискивать будете? уроков? вот здесь, в нумерах, собственными глазами увидите, легко ли это добывается,— сказала она.— Иные по году бьются, кругом задолжали — и всё ни при чем. Вот, благослови господи, за лекции около двадцати пяти рублей за первое полугодие уплатить нужно, да мундирчики нынче требуются, да объявления в газетах придется печатать,— смотришь, из ваших полутораста-то рублей и немного останется. Ну, да там увидится. И то, правду сказать, запугиваньем дела не поправишь. Были бы хоть на первых порах сыты.

В тот же день, за обедом, один из жильцов, студент третьего курса, объяснил Чудинову, что так как он поступает в юридический факультет, то за лекции ему придется уплатить за полугодие около тридцати рублей, да обмундирование будет стоить, с форменной фуражкой и шпагой, по малой мере, семь-

десят рублей. Объявления в газетах тоже потребуют изрядных денег.

— Я двадцать рублей, по крайней мере, издержал, а через полгода только один урок в купеческом доме получил, да и то случайно. Двадцать рублей в месяц зарабатываю, да вдобавок поучения по поводу разврата, обуявшего молодое поколение, выслушиваю. А в летнее время на шее у отца с матерью живу, благо ехать к ним недалеко. А им и самим жить нечем.

— Как же вы на двадцать рублей ухитряетесь жить?

— Да так вот. Отец рубля три в месяц высылает, переписывать рубля на два достаю, по десяти копеек с листа, да и то почти насильно выклянчил. От чая я уж отказался, ем раз в сутки,— сами видите, какая это еда! За лекции уплачивать несколько раз запаздывал,— чуть не исключили. Насилу упросил. Хозяйке и сейчас за три месяца должен, а она тоже из-за корки хлеба бьется. Хорошо, что на третьем курсе состою, хоть обмундирование для меня не обязательно, а для вас и это потребуется. Нынче у нас на первом курсе студенты чистенькие, напомаженные. И душа у них напомаженная. Ходят по улицам, шпагой поигрывают, думают: чем мы хуже пажей? И солдаты им честь отдают,— тоже лестно! Не тот уж ныне университет, что прежде.

Вообще некрасивую картину нарисовал новый знакомец, и в заключение прибавил:

— Не забудьте, что так как вы, после получения аттестата зрелости, два года баклуши били, то для вас потребуется проверочный экзамен. Tolle me, mu, mi, mis, si declinare domus vis [1] — не забыли?

На другой же день начались похождения Чудинова. Прежде всего он отправился в контору газеты и подал объявление об уроке, причем упомянул об основательном знании древних языков, а равно и о том, что не прочь и от переписки. Потом явился в правление университета, подал прошение и получил ответ, что он обязывается держать поверочный экзамен.

Был август месяц в начале, но на дворе уже пахло осенью. Наступало дождливое время, вечера темнели, да благодаря постоянно покрытому тучами небу улицы с утра уже наполнялись сумерками. Но город мало-помалу оживал, уличное движение становилось заметнее и заметнее. С летней каторги обыватели перемещались на зимнюю, в надежде хоть печным теплом отогреться от летних продуваний и сквозных ветров. Сколько при этих переездах испорчено было мебели, сколько

---

[1] Отбрось me, mu, mi, mis, если хочешь просклонять слово дом.

распростудилось кухарок — это поймет только коренной петербургский житель, которому ни флюсы, ни желудочные катары, ни плевриты — ничто не в поучение.

Экзамен Чудинов сдал исправно, внес плату за предстоящий учебный семестр и в свое время пунктуально начал посещать университет. По примеру других, он обмундировался и на первых же порах убедился в справедливости отзыва его нового знакомца по нумерам. В мундире он и сам себя не узнал. Он как-то невольно взглянул на свои волосы и сказал: «Надо припомадиться». Новые его собратья по науке смотрели так мило и так свежо, так все друг на друга были похожи, что производить диссонанс в этом гармонически сложившемся мирке было совсем немыслимо. Старые лохматые дикари печально доживали свой срок на последних курсах. Пройдет два-три года, и все будет мило, благородно — загляденье!

Прошел месяц, но ни урока, ни переписки не являлось. Чудинов напечатал новое объявление и дней через пять получил приглашение явиться. Он не пошел, а полетел, и успел понравиться. Условились за двадцать пять рублей в месяц, с тем чтобы за эту сумму ходить каждый день и приготовлять двух мальчиков к поступлению в гимназию. Давно он не чувствовал себя так бодро и весело. Но когда он на другой день вечером явился на урок, то ему сказал швейцар, что утром приходил другой студент, взял двадцать рублей и получил предпочтение.

— Что же мне не сказали? я бы...— начал было Чудинов, но понял, что дело его потеряно, и замолк.

С тех пор, несмотря на неоднократно возобновляемые объявления, вопрос об уроке словно в воду канул. Не отыскивалось желающих окунуться в силоамскую купель просвещения — и только. Деньги, привезенные из дому, таяли-таяли и наконец растаяли...

. . . .

На дворе март. Целых шесть месяцев не было ни осени, ни зимы, да и теперь весны нет, а какое-то безвременье. Чудинов по-прежнему живет в нумерах у Анны Ивановны, но он уже исключен из числа студентов, за невзнос полугодовой платы. Старику отцу следовало бы свидетельство о бедности для сына справить, а он, вместо того, охал да ахал. А впрочем, и с свидетельством недалеко уйдешь, ежели при поверке в известных предметах отличнейших познаний не выкажешь. Молодой человек прожил не только привезенные с собой деньги, но и сторублевое пособие, полученное из дома. Безработица продолжает преследовать его, хотя хозяйка и жильцы всяче-

ски старались ему помочь в его исканиях. Сунулся он было в комитет вспомоществования, но там ему выдали восемь рублей, а ссуду он попросить не решился, сробел. О стипендии он и не мечтал: что-то еще скажет экзамен при переходе на второй курс, а до тех пор и думать нечего... Хозяйке он давно задолжал, но она не тревожит его, и это с ее стороны представляет тем бóльшую жертву, что молодой человек серьезно заболел. Он подозрительно кашляет, тяжело дышит и беспрерывно хватается за грудь. Говорят, у него чахотка, да у него и у самого смутно мелькает в голове, что конец недалеко. Ходил он раза два к доктору; тот объяснил, что болезнь его — следствие дурного питания, частых простуд, обнадежил, прописал лекарство и сказал, что весной надо уехать. На какие деньги покупать лекарство? Куда ехать?

Учился он страстно, все думал как-нибудь выбраться, переждать суровую нужду. От чая отказался, от обеда — тоже. Платить двадцать копеек за обед оказывалось не под силу. Он брал на десять копеек два пирога в пирожной и этим был сыт. Но выбраться все-таки не удалось. Приходилось расстаться с заветной мечтой, бросить ученье. Для других оно было светочем жизни, для него — погребальным факелом. Всякую надежду на лучшее будущее предстояло оставить, сказать себе раз навсегда, что луч света уже не согреет его существования. И затем отдаться в жертву голодной смерти.

Теперь он даже в пирожную ходить не может; и денег нет, и силы тают с каждым днем. С трудом Анна Ивановна уговорила его не отказываться от скудного обеда в два блюда, обнадежив, что не все еще пропало и что со временем она возвратит свои издержки.

— Мне приходский батюшка обещал беспременно достать для вас урок,— сказала она,— тогда и заплатите. И в университет начнете ходить. Упросим как-нибудь принять взнос.

Тайно от него она известила старого бухгалтера о безнадежном положении молодого человека. Старик собрался с силами и опять выслал двести рублей, но требовал, чтобы сын непременно воротился в родное гнездо.

Семь часов вечера. Чудинов лежит в постели; лицо у него в поту; в теле чувствуется то озноб, то жар; у изголовья его сидит Анна Ивановна и вяжет чулок. В полузабытьи ему представляется то светлый дух с светочем в руках, то злобная парка с смердящим факелом. Это — «ученье», ради которого он оставил родной кров.

Странное дело! припоминается ему: точно такой случай был у нас в городе. Приехали поверять торговлю и зашли к сапожнику, который пропитывался своим ремеслом один, без

учеников. «Есть свидетельство на мещанские промыслы?» — «Нет свидетельства!» Запечатали сапожный инструмент и ушли. Он тоже ушел... в кабак. Точно так же и тут. «Учиться желаю».— «Извольте внести вперед за семестр такую-то сумму».— «Нет у меня такой».— «А нет суммы, и ученья нет». Стало быть, и учиться нельзя, а надо идти... куда? Ни учиться, ни работать; только беспошлинно праздношататься — полная свобода, да и то ежели полиция не заподозрит.

— Жарко мне, вся подушка мокрая! — говорит он слабым голосом.

Анна Ивановна приподнимает ему голову, ощупывает подушку и перевертывает ее, потому что наволочка действительно оказывается мокрой.

— Что вы всё лежите, прибодрились бы! — говорит она,— запустите себя, потом и всё в постель да в постель тянуть будет.

— Вас мне совестно; всё вы около меня, а у вас и без того дела по горло,— продолжает он,— вот отец к себе зовет... Я и сам вижу, что нужно ехать, да как быть? Ежели ждать — опять последние деньги уйдут. Поскорее бы... как-нибудь... Главное, от железной дороги полтораста верст на телеге придется трястись. Не выдержишь.

— Выдержите, молодцом приедете. Скоро и тепло настанет. А деньги мы сбережем. Какой расход с моей стороны будет — папенька заплатит.

— Добрая вы!

Чудинова все любят. Доктор от времени до времени навещает его и не берет гонорара; в нумерах поселился студент медицинской академии и тоже следит за ним. Девушка-курсистка сменяет около него Анну Ивановну, когда последней недосужно. Комнату ему отвели уютную, в стороне, поставили туда покойное кресло и стараются поблизости не шуметь.

Но все-таки бо́льшую часть времени ему приходится оставаться одному. Он сидит в кресле и чувствует, как жизнь постепенно угасает в нем. Ему постоянно дремлется, голова в поту. Временами он встает с кресла, но дойдет до постели и опять ляжет.

В нем происходит тот двойственный внутренний процесс, который составляет принадлежность чахотки: и полная безнадежность, и в то же время такое страстное желание жить, которое переходит в уверенность исцеления.

— Вот приеду домой, там отгуляюсь,— мечтает он,— лето, воздух, здоровая пища, уход и, наконец, сила молодости...

Но не успевает надежда согреть его существование, как рассудком его всецело овладевает представление о смерти.

— Еще жить не начинал — и вдруг смерть! — терзается он,— за что?

Воспоминания толпою проходили перед ним, но были однообразны и исчерпывались одним словом: «ученье». Припоминались товарищи по гимназии, учителя, родные, но все это заслонялось «ученьем». Лиц почти не существовало; их заменяло отвлеченное понятие, которое, в сущности, даже не давало пищи для ума. Ученье для ученья — вот тема, которая вконец измучила его. Только в последнее время, в Петербурге, он начал понимать, что за ученьем может стоять целый разнообразный мир отношений. Что существует общество, родная страна, дело, подвиг... Что все это неудержимо влечет к себе человека; что знание есть не больше, как подготовка; что экзаменами и переходами из курса в курс не все исчерпывается...

Жизнь представлялась ему в виде необъятного пространства, переполненного непрерывающимся движением. Тут всё: и добро и зло, и праздность и труд, и ненависть и любовь, и пресыщение и горькая нужда, и самодовольство и слезы, слезы без конца... Вот куда предстояло ему идти, вот где не жаль было растратить молодые силы! В нумерах у Анны Ивановны, в общей столовой, часто велись разговоры на эту тему, и он жадно к ним прислушивался. Даже больной, он кое-как переходил в столовую и чувствовал, как молодые речи и страстные стремления постепенно освещали его существо, зажигали его душу смутными, но уже неодолимыми стремлениями...

И что же! — едва занялась заря осмысленного существования, как за нею уже стоит смерть!

— Тяжело умирать? — спрашивал он Анну Ивановну.

— Что вы всё про смерть да про смерть! — негодовала она,— ежели всё так будете, я и сидеть с вами не стану. Слушайте-ка, что я вам скажу. Я сама два раза умирала; один раз уж совсем было... Да сказала себе: не хочу я умирать — и вот, как видите. Так и вы себе скажите: не хочу умереть!

— Нет, что! мне теперь легко; хотелось бы, однако, признаки знать. Ежели люди вообще тяжело умирают, стало быть, еще я, пожалуй, и продержусь. Но чахоточные, говорят, умирают почти незаметно, так вот это...

Студент-медик тоже разуверял его, говорил, что у него не чахотка, а просто бронхи не в порядке; и это, конечно, может перейти в чахотку, ежели не принять мер.

— Вот пройдет весенняя сумятица — и вам легче будет,— говорил студент,— поедете домой — там совсем другой будете. Только в Петербург уж — шабаш! Ежели хотите учиться, так отправляйтесь в другое место.

— А тяжело умирать? — добивался от него Чудинов.

— Смерть никогда не легка, особливо ежели ей предшествует продолжительный болезненный процесс. Бывает, что люди годами выносят сущую пытку, и все-таки боятся умереть. Таков уж инстинкт самосохранения в человеке. Вот внезапно, сразу умереть — это, говорят, ничего.

Благодаря этим разуверениям он ободрился и стал светлее смотреть на будущее. Конечно, дверь ученья для него уже закрыта, но он как-нибудь доберется до дома, отдохнет, выправится и непременно выполнит ту задачу, которая в последнее время начала волновать его. Надо идти туда, где сгустился мрак, откуда слышатся стоны, куда до такой степени не проник луч сознательности, что вся жизнь кажется отданною в жертву неосмысленному обычаю,— и не слышно даже о стремлении освободиться от оков его. Там достаточно и тех знаний, которыми он уже обладает, а ежели их окажется мало, то он восполнит этот недостаток любовью, самоотвержением.

Наконец, есть книги. Он будет читать, найдет в чтении материал для дальнейшего развития. Во всяком случае, он даст, что может, и не его вина, ежели судьба и горькие условия жизни заградили ему путь к достижению заветных целей, которые он почти с детства для себя наметил. Главное, быть бодрым и не растрачивать попусту того, чем он уже обладал.

В его воображении рисовалась деревня. В сущности, впрочем, он знал ее очень мало, хотя и провел все детство обок с нею. Главный материал для знакомства с деревенским бытом ему дали собеседования с новыми знакомцами по общей квартире, но в материале этом было слишком много дано места романическому «несчастному» и упускалось из вида конкретное, упорствующее, не поддающееся убеждению. Деревня, которую видело его умственное око, была деревня идеальная, так сказать предрасположенная. Он представлял себе, что нужно только придти, и не задавался вопросом, как будет принят его приход. Согласны ли будут скованные преданием люди сбросить с себя иго этого предания? Не пустило ли последнее настолько глубокие корни, что для извлечения их, кроме горячего слова, окажутся нужными и другие приемы? в чем состоят эти приемы? Быть может, в отождествлении личной духовной природы пришельца с подавленностью, охватившею духовный мир аборигенов?

В сущности, однако ж, в том положении, в каком он находился, если бы и возникли в уме его эти вопросы, они были бы лишними или, лучше сказать, только измучили бы его, затемнили бы вконец тот луч, который хоть на время осветил

и согрел его существование. Все равно, ему ни идти никуда не придется, ни задачи никакой выполнить не предстоит. Перед ним широко раскрыта дверь в темное царство смерти — это единственное ясное разрешение новых стремлений, которые волнуют его.

Наступило тепло; он чаще и чаще говорил об отъезде из Петербурга, и в то же время быстрее и быстрее угасал. Недуг не терзал его, а изнурял. Голова была тяжела и вся в поту. Квартирные жильцы следили за ним с удвоенным вниманием и даже с любопытством. Загадка смерти стояла так близко, что все с минуты на минуту ждали ее разрешения.

Однажды, ночью, когда никого около него не было, он потянулся, чтобы достать стакан воды, стоявший на ночном столике. Но рука его застыла в воздухе...

Схоронили его на Митрофаньевском кладбище. Ни некролога, ни даже простого извещения об его смерти не было. Умер человек, искавший света и обревший — смерть.

III

ЧИТАТЕЛЬ

(Несколько нелишних характеристик)

Для всякого убежденного и желающего убеждать писателя (а именно только такого я имею в виду) вопрос о том, есть ли у него читатель, где он и как к нему относится, есть вопрос далеко не праздный.

Читатель представляет собой тот устой, на котором всецело зиждется деятельность писателя; он — единственный объект, ради которого горит писательская мысль. Убежденность писателя питается исключительно уверенностью в восприимчивости читателей, и там, где этого условия не существует, литературная деятельность представляет собой не что иное, как беспредельное поле, поросшее волчецом, на обнаженном пространстве которого бесцельно раздается голос, вопиющий в пустыне.

Доказывать эту истину нет ни малейшей надобности; она стоит столь же твердо, как и та, которая гласит, что для человеческого питания потребен хлеб, а не камень. Даже несомненнейшие литературные шуты — и те чувствуют себя неловко, утрачивают бойкость пера, ежели видят, что читатель не помирает со смеху в виду их кривляний. Даже тут, в этой клоаке человеческой мысли, чувствуется потребность поддержки со стороны читателя. И не только ради построчной мзды, но и ради того чувственного возбуждения, при отсутствии которого самое скоморошество делается вялым, бесцветным и назойливым.

Ежели в стране уже образовалась восприимчивая читательская среда, способная не только прислушиваться к трепетаниям человеческой мысли, но и свободно выражать свою восприимчивость,— писатель чувствует себя бодрым и сильным. Но он глубоко несчастлив там, где масса читателей представляет собой бродячее человеческое стадо, мятущееся под игом давлений внешнего свойства. Даже при уверенности, что в этой массе немало найдется сердец, несущихся навстречу писателю, это только усугубляет скорбь последнего. Он вдвое

несчастлив: и за себя, и за те преданные сердца, которым горение их ничего не может дать, кроме сознания темного и безвыходного порабощения.

Поэт, в справедливом сознании светозарности совершаемого им подвига мысли, имел полное право воскликнуть, что он глаголом жжет сердца людей; но при данных условиях слова эти были только отвлеченной истиной, близкой к самообольщению. Когда окрест царит глубокая ночь,— та ночь, которую никакой свет не в силах объять, тогда не может быть места для торжества живого слова. Сердца горят, но огонь их не проницает сквозь густоту мрака; сердца бьются, но биение их не слышно сквозь толщу желез․ До тех пор, пока не установилось прямого общения между читателем и писателем, последний не может считать себя исполнившим свое призвание. Могучий — он бессилен; властитель дум — он раб бездумных бормотаний случайных добровольцев, успевших захватить в свои руки ярмо.

Звуча наудачу, речь писателя превращается в назойливое сотрясание воздуха. Слово утрачивает ясность, внутреннее содержание мысли ограничивается и суживается. Только один вопрос стоит вполне определенно: к чему растрачивается пламя души? Кого оно греет? на кого проливает свой свет?

Повторяю: несчастие в этом случае так глубоко, что никогда не остается бесследным. Я не говорю о себе лично, но думается, что всякий убежденный русский писатель испытал на себе влияние подобной изолированности. Всякий на каждом шагу встречался и с ненавистью, и с бесчестными передержками, и с равнодушием, и с насмешкой; редко кому улыбнулось прямое, осязательное сочувствие. Последнее так далеко затерялось в читательской массе, что лишь предположительно может ободрить писателя. Зато минуты подобного ободрения — самые дорогие в жизни.

Я не претендую здесь подробно и вполне определительно разобраться в читательской среде, но постараюсь характеризовать хотя некоторые ее категории. Мне кажется, что это будет не бесполезно для самого читающего люда. До тех пор, пока не выяснится читатель, литература не приобретет решающего влияния на жизнь. А последнее условие именно и составляет главную задачу ее существования

1. ЧИТАТЕЛЬ-НЕНАВИСТНИК

Начну с читателя-ненавистника.

Ненавидеть дозволяется. Убежденному писателю необходимо знать о существовании этой привилегии, потому что он

встречается с нею с первого же шага на своем трудовом пути. Дозволяется ненавидеть не только убеждения писателя и произведения, в которых он выражает их, но и самую личность его. Распускать о нем невероятные слухи; утверждать, что он не только писатель, но и «деятель»,— разумеется, в известном смысле; предумышленно преувеличивать его влияние на массу читателей; намекать на его участие во всех смутах; ходатайствовать «в особенное одолжение» об его обуздании и даже о принятии против него мер — вот задача, которую неутомимо преследует читатель-ненавистник.

Это читатель самый ревностный и неизменный. Он не просто читает, но и вникает; не только вникает, но и истолковывает каждое слово, пестрит поля страниц вопросительными знаками и заметками, в которых заранее произносит над писателем суд, сообщает о вынесенных из чтения впечатлениях друзьям, жене, детям, брызжет, по поводу их, слюною в департаментах и канцеляриях, наполняет воплями кабинеты и салоны, убеждает, грозит, доказывает существование вулкана, витийствует на тему о потрясении основ и т. д. Словом сказать, всякий новый труд писателя приводит читателя-ненавистника в суматошливое неистовство.

Разновидность эта в особенности размножилась в позднейшее время. И прежде в ней не было недостатка, но она была не вполне уверена в своих собственных впечатлениях и, сверх того, встречала отпор. В самом деле, трудно, почти немыслимо, среди общего мира, утверждать, что общественные основы потрясены, когда они, для всех видимо, стоят неизменными в тех самых формах и с тем содержанием, какие завещаны историческим преданием. Для того, чтобы приблизиться к этому грубому идеалу клеветы, необходимо отождествить его с вопросом об уместности или неуместности общественного развития, а это даже для самых заклятых ненавистников не всегда удобно. Всякий столоначальник против подобной претензии возопиет.

— Помилуйте! — скажет он,— сколько лет я изо дня в день хожу в департамент и никаких потрясений не вижу. Как и всегда, мы встаем с мест при появлении начальника отделения; как и всегда, я исправно и беспрепятственно выполняю свой дневной бюрократический труд. В каком виде представлялось «дело» в прежнее время, в таком же оно представляется и теперь. Что же касается до развития, то вопрос об уместности его искони решен в утвердительном смысле, и ежели в последнее время оживился несколько более, то причина этого явления заключается в том, что накопились и умножились самые запросы жизни. Это не потрясение, не разрыв с

прошлым, а развитие, именно только развитие прошлого. Если бы его не было, если бы оно не существовало *всегда,* то и наша бюрократическая деятельность заглохла бы; незачем было бы в департамент ходить, нечего было бы направлять. Так и директор нашего департамента говорит, и даже радуется.

Отпор такого рода оставлял ненавистника безответным. Он не настаивал, а только как бы мимоходом бросал навстречу:

— Вот увидите! — и до времени умолкал.

Так было еще недавно, на наших глазах. Но даже и в самые благоприятные минуты, которые удалось прожить русскому обществу, ненавистничество никогда не считалось чудовищным и позорным. Чудачество и старозаветность — вот единственные эпитеты, которые более или менее добродушно присвоивались ему. Никому не приходило на мысль, что ненавистник заключает в себе неистощимый источник всевозможных раздоров, смут и переполохов, что речи его вливают яд в сердца, посрамляют общественную совесть и вообще наносят невознаградимый вред тем самым основам, на защиту которых они произносятся. Совсем напротив. Предполагалось, что эти взбесившиеся люди — чудаки, но что, во всяком случае, исходный пункт их бешенства имеет характер благонамеренный. Выслушивать их брюзжание не особенно приятно, но ведь выслушиванье и не обязательно. Пускай по-пустому сотрясают воздух — кого же может потревожить это сотрясание? Кто расположен следовать их уветам? В строгом смысле, их нельзя даже осуждать, потому что их действия и речи свидетельствуют о глубине усердия и ревности. В крайнем случае, на них можно даже надеяться: они не выдадут.

Благодаря таким благодушным суждениям ненавистники имели возможность жить безмятежно и выжидать. По временам они лицемерили: говорили, что они не против жизненного преуспеяния, а исключительно только против потрясения основ, и когда их, так сказать, прижимали к стене и требовали фактических указаний, они хитро подмигивали, говоря:

— Ну, согласитесь, однако ж... немножко-таки есть.

Это была стереотипная фраза, которая прекращала всякий спор. Ежели она ничего не доказывала, то не давала места и возражениям. Она всецело, всей своей глупостью и бессодержательностью, залегала в сердце слушателя-простеца, который, улыбаясь, бессознательно повторял:

— Немножко-таки есть.

Я думаю, что, покуда длилось такое относительно мягкое общественное настроение, ненавистники очень страдали. Но все-таки наверное можно сказать, что они не отчаивались и собирали материалы для будущего похода. Правда, их огор-

чало, что многое из этих материалов со временем выдохнется и потеряет ценность, но жизнь каждый день приносит новость за новостью, и запас все-таки будет достаточный. Но что всего важнее — выжидание не только не охлаждает ненависти, а, напротив, подогревает ее, делая более живою. Явиться в данную минуту во всеоружии и с совершенно свежими силами — это тоже представляет существенную выгоду.

Минуту эту приводят за собой единичные события, источник которых не имеет с литературой ничего общего, но приурочивается к ней с самою позорною непринужденностью. С наступлением ожиданного момента ненавистник-читатель пробуждается. Пробуждение это ужасно не только по намерениям, но и по своей безысходной бессмыслице, по тому изумительному доверию, с которым эта бессмыслица принимается. Слышатся вопросы: дождались? убедились? Приводятся цитаты, делаются соответствующие толкования; атмосфера насыщается сквернословием и клеветою; злоба принимает такие деятельные размеры, что все живое прячется и исчезает. И тот же самый столоначальник, который еще недавно так уверенно и резонно возражал ненавистнику, смотрит на него полуобезумевшими глазами и... соглашается. Искренно ли он убедился в том, что в проклятиях ненавистника заключается истина, и какая именно, абсолютная или истина данной минуты,— разгадать трудно, но, во всяком случае, он настолько ошеломлен, что вызвать его из этого ошеломления сто́ит и времени и усилий.

Успеху ненавистника главным образом способствует то, что он никогда настоящим образом не умолкал, но, как я уже сказал выше, даже в самые льготные эпохи беспрепятственно вел свою пропаганду под более скромною формой чудачества и брюзжания. Его можно было упрекать в назойливости, но никому не приходило в голову обвинять в развращении общественной мысли. Думали, что он несколько преувеличивает значение благонамеренности, но вот теперь на поверку оказывается, что он не только не преувеличивал, а даже был мягок и снисходителен. Он и теперь все тот же, каков был всегда, но только фортуна улыбнулась ему, и благодаря этому злоба его вышла из берегов, и он окрысился. В сущности, он оправдал свое назначение. Всегда была надежда, что в данную минуту он не выдаст; теперь эта минута наступила,— он и не выдает. Он ходит по стогнам города и гремит проклятиями; собственный его организм весь потрясен от переполнения злобой и ненавистью, но он скорее согласится пасть под тяжестью своей разъедающей работы, нежели прекратить ее. Но нет, он выстоит, не сломится. Злоба не действует на его организм разрушающим образом, а, напротив, поддерживает его. Всмотри-

тесь, как он резов и боек, как быстро несут его ноги туда, где чувствуется возможность пролить отраву. Сейчас он едва не задохся, но пришла минута — и он опять во всеоружии. Страшно подумать, какую массу зла он может создать при своей судорожной деятельности.

Он продолжает усердно читать, но теперь уж не собирает своего меда в сот, а прямо несет его на торжище. Вот что напечатано и пропущено — и вот как следует это напечатанное толковать; вот какие мысли благодаря такому-то (имярек) делаются общим достоянием — и вот как следует их понимать. Так лает этот пес, самочинно ставший на страже, и простецы с разинутыми ртами внимают ему. Все в этом лае сумбурно, невнятно и распутно, но простец обладает даром отгадывания. Он сердцем чует, что цитируемый писатель — не его поля ягода, и вместе с ненавистником закипает бессознательною злобою.

Встречаются такие ненавистники, которых даже прочие собраты по ремеслу инстинктивно чуждаются, из опасения не поспеть за ними и быть сопричисленными к разряду неблагонадежных. Особи этого рода действуют в одиночку, капризно и неожиданно; при появлении их всё смолкает. Напротив, большинство ненавистников действует дружно, сообща. Они устраивают сборища, совещания, соглашаются насчет образа действий и вообще ведут противообщественную атаку довольно правильно. По наружности их можно принять за обыкновенных, не особенно умных людей, которые, по недомыслию, чего-то сильно испугались, но которым не чужд обычный процесс человеческого существования. Они дышат, пьют, едят, живут в семьях, имеют детей, посещают публичные места, общество и проч. В сущности, однако ж, эти псевдо-человеки даже опаснее ненавистников-одиночек. Последние прямо внушают к себе отвращение и страх, а первые могут подкупать личиною ревности к общественным интересам. Ненавистник-одиночка, не скрываясь, говорит: я твой враг, и ты ничего, кроме ежовых рукавиц, от меня не жди! Ненавистник обыкновенный, напротив, может даже прикинуться другом. Нередко убежденного писателя обступает целая толпа доброжелателей, которые выпытывают его мысль и, успев в своем предательском предприятии, отдают эту мысль,— разумеется, снабженную своеобразными комментариями,— в жертву поруганию.

Минуты подобного нравственного разложения, минуты, когда в обществе растет запрос на распрю, клевету и предательство, могут быть названы самыми скорбными в жизни убежденного писателя. Не столько ради личного страха, сколько ввиду общей паники, он умолкает, и вместе с ним умолкает и вся убежденная литература. Среди этого молчания раздается

односторонний лай, от которого тоскливо сжимается сердце; из дома в дом переносятся слухи самого чудовищного свойства и принимаются на веру без малейшего анализа. Неясное гудение улицы, смущенные лица друзей, бесцельная сутолока дня, шорохи ночи — все наводит уныние, все сковывает душу бессилием. Деваться некуда от тоски и бездействия.

Ненавистничество не довольствуется, впрочем, улицею, но проникает и в писательскую среду. Ненавистник сам становится в ряды писателей и мало-помалу овладевает литературой всецело. Положение обостряется; припоминается прошлое, истолковывается настоящее, столбцы наполняются инсинуациями и обличениями. Самые скромные идеалы, стремления самые законные, даже описки, опечатки — все служит поводом для угроз. Отпора не допускается на точном основании пословицы: что написано пером, того не вырубишь топором. С обеих сторон вырублено топором: и со стороны обвиняемой, которая и не пытается защищать себя, и со стороны обвинителей, которые не имеют ни малейшей надобности доказывать. Топор так топор.

Деятели, которые бодро выносят на своих плечах бремя подобных общественных настроений, оказывают громадную услугу делу преуспеяния. Благодаря их усилиям хоть частица последнего ускользает от разграбления. Она свято сохранится под спудом, и когда наступит время, явится возможность от ее уцелевших искр возжечь новый светоч. Да и самое слово «литература» никогда не погибнет, как бы ни изнемогала она под игом ненавистнического срама. Коль скоро печатное слово не подверглось окончательному задушению, оно не перестанет стоять живым укором в виду ненавистничества и, подчинившись случайно всесильному действию его торжества, сохранит свои рамки нетронутыми. Надо изгнать из употребления самое слово «литература», заменить его словом «срам», чтоб добиться каких-нибудь существенных результатов в смысле подавления человеческой мысли. Только тогда наступит действительное общественное разложение.

Но покуда большинство «убежденных» все-таки изнемогает и приносится в жертву праздным лаятелям. К счастию, в самом лагере литературных лаятелей уже замечается рознь. Исходя из одних и тех же основных пунктов, члены этого лагеря стараются осыпать друг друга сквернословием, чтобы щегольнуть перед подписчиком. Кроме основных пунктов, существует множество не стоящих ломаного гроша подробностей, которые дают обильную пищу для разногласий и обличений. Газета «Помои» ежедневно препирается с газетой «Приют уединения», и обе не жалеют ни усилий, ни слов, что-

бы укорить друг друга в измене. И та и другая хотят служить делу ненавистничества на свой манер и вовсе не имеют намерения сознаться, что обе равно паскудны.

Впрочем, увлекшись вопросом о ненавистнической литературе, я невольно удалился от характеристики читателя-ненавистника. К удовольствию моему, мне остается сказать о нем лишь несколько слов.

Откуда явился ненавистник-читатель и какие условия породили его? Вышел ли он с сердцем, исполненным праха, из утробы матери, или же его создала таким жизнь?

Nascuntur или fiunt[1] сеятели общественных раздоров? — вот вопрос, который нелишне, в заключение, разъяснить.

Я полагаю, что не nascuntur, а fiunt. Природа, даже в мире физическом, настолько скупа на создание уродливостей, что ублюдки и калеки от рождения встречаются как исключение. Нравственный же мир совершенно недоступен для ее творчества. Нужен целый ряд заражающих примеров, целая растлевающая система воспитания, наконец, продолжительный жизненный процесс, в котором главное содержание составляет праздность, чтобы произвести нравственное чудовище. Но всего более появлению ненавистников способствуют так называемые переходные эпохи, когда ощущается необходимость новых жизненных устоев, а общество настолько не подготовлено, что не может отыскать их. В такие эпохи выбрасывается на улицу громадное множество материально и нравственно оголтелых личностей и находит себе питание в совершающемся брожении. Происходит адский процесс взаимного оплодотворения. Оголтелые люди дают пищу и развитие брожению; брожение, с своей стороны, укрывает и дает питание оголтелым людям.

В рядах ненавистников вы найдете всех, которых внезапно наступившее брожение застигло врасплох. Иных оно лишило лакомого куска, других изобличило в несостоятельности, третьим затворило двери будущего. В особенности встречается великое изобилие «замаранных», которые отдаются ненавистничеству в надежде, что оно поможет им «отчиститься». Я знал даже достаточно жертв старых порядков, выкинутых за борт общественного корабля, вследствие заведомой их зазорности, которые вновь появлялись на арену деятельности и не без успеха выполняли задачу ненавистничества. Некоторые из них, озлобленные, голодные и бесприютные, находили себе не только кусок хлеба и приют, но и настоящую сытость, и приличное общественное положение...

---

[1] Рождаются или создаются.

Так как ненавистничество есть, по преимуществу, плод самого низменного эгоизма и взбудораженного темперамента, то между поборниками этого ремесла очень редко можно встретить личность, способную доказать свои положения. Громадное большинство бродит как опьянелое, изрыгая бессмысленную хулу. Вся задача тут в том состоит, чтобы попасть в тон минуте и извлечь из нее все личные выгоды, которые она может дать. Чтобы убедиться в этом, стоит только обратиться к торжествующей прессе нашего времени. Что она представляет собой, как не случайный сброд задач и задачек, не связанных между собой руководящею мыслью и не допускающих никакой проверки? От первой строки до последней все здесь произвольно, ничем не обусловлено и исполнено противоречий. Сегодняшнее утверждение сменяется завтрашним опровержением без перехода и без малейшего опасения быть изобличенным. Только ненависть к честным и высоким идеалам жизни стоит неизменно и незыблемо, освещая своим распространяющим чад факелом путь распри, умственной смуты и лжи.

2. СОЛИДНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ

Читатель этой категории следует непосредственно за читателем-ненавистником. Они связаны узами общежития, хлебосольства и называют друг друга кумовьями. В нравственном смысле он безразличен — и потому не может идти в сравнение с читателем-ненавистником; но в практическом отношении он почти столь же вреден, как и последний. Это оплот, на который по преимуществу опирается ненавистничество; это всегда готовое и послушное воинство, в котором последнее почерпает свою силу, и притом воинство, прислушивающееся к малейшим общественным шорохам и способное выделить из себя перебежчика.

К чтению солидный читатель не особенно пристрастен и читает не столько вследствие внутренней потребности, сколько вследствие утвердившейся привычки. Притом нельзя же и не знать, что на свете делается: без этого никакое деятельное участие в общественной жизни немыслимо. Поедешь в гости, а там вдруг вопрос: «Слышали, что такой-то налог провалился?», или: «Слышали, какую штуку немцы с Шнебеллэ удрали?.. умора!» Ради одного того, чтобы не разевать рта при подобных вопросах, надо хоть наскоро пробежать насущные новости. Так он и поступает: с пятого на десятое проглядывает за утренним чаем свою газету, останавливаясь преимущественно на телеграммах и распоряжениях. В каких-нибудь десять минут приобретает необходимое, чтобы не ударить лицом в

грязь, познания — и прав на целый день. Не только выслушивать вопросы о Шнебеллэ в состоянии, но и сам предлагать таковые способен.

И даже считает разговоры о новостях дня небесполезными; улучит свободную минутку и покалякает. И время в гостях скорее пройдет, покуда хозяин не скомандует карты подать, да и поучение какое-нибудь из взаимного обмена новостей можно извлечь, не обременяя себя головоломными философствованиями. Потому что и без философствования ясно, что Шнебеллэ сплошал, а немцы — молодцы! И еще яснее: вот так штука! налог-то не прошел!

Тем не менее в эпохи, когда в обществе чувствуется оживление, солидный читатель ощущает потребность вникать. Не ограничивается одними мелкими известиями, но прочитывает передовые статьи и корреспонденции,— в особенности последние. Но так как оживление бывает в том или другом смысле, то и он вникает всяко: и в том и в другом смысле. Тем не менее, приступая к процессу вникания без подготовки, он некоторое время бывает слегка ошеломлен. Все ему кажется новым: и необычность приемов, и содержание читаемого. В льготное время провинциальные корреспонденции приводят его почти в восторженное состояние. Прочитавши в газете письмо из города На-трех-китах-стоящего, что тамошний исправник небрежет исполнением возложенных на него законом обязанностей, он восклицает:

— Вот так ошпарили! До новых веников не забудет! Ай да молодцы!

И непременно расскажет о прочитанном вечером, между двумя карточными сдачами, в доказательство, что и он не чужд гласности.

Но когда в воздухе насчет гласности чувствуется похолоднее, он, прочитавши подобное же обличение, случайно прорвавшееся в газету, уже относится к нему довольно угрюмо:

«Ну, брат, распелся! — обращается он мысленно к неосторожному корреспонденту.— Коли так будешь продолжать, то тут тебе и капут!»

И на другой или на третий день, убедившись, что слова его были вещими («капут» совершился), не преминет похвалиться перед прочими солидными читателями:

— Представьте себе! Я ведь точно чуял. Еще вчера читаю газету и говорю: ну, этому молодцу несдобровать. Так и случилось.

Повторяю: солидный читатель относится к читаемому, не руководясь собственным почином, а соображаясь с настроением минуты. Но не могу не сказать, что хотя превращения

происходят в нем почти без участия воли, но в льготные минуты он все-таки чувствует себя веселее. Потому что даже самая окаменелая солидность инстинктивно чуждается злопыхательства, как нарушающего душевный мир.

— Диковинное это дело,— весело говорит он,— какая нынче свобода дана! читаешь и глазам не веришь! Прежде бы этого самого господина корреспондента за такие его поступки за ушко да на солнышко, а нынче — ничего!.. Начальство только посмеивается. Да ведь оно и вправду: пора господам исправникам честь знать.

Читателя-ненавистника он боится... Последний давит его своею угрюмостью, и необходимость справляться с его мнениями и следовать его указаниям представляет не очень приятную перспективу. Того гляди, кому-нибудь на ушко шепнет или при всех в глаза ляпнет:

— Ну что, господин Попрыгунчиков, допрыгался! «Ах, хорошо, что исправникам от свистунов на орехи достается!» «Ах, хорошо, что и до губернаторов добрались!» Вот тебе и допрыгался! Расхлебывай теперь!

Это он-то, солидный человек, допрыгался!

Или:

— А всё вы, господа Попрыгунчиковы! всё-то вы похваливаете, всё-то подвиливаете! Виляли-виляли хвостами, да и довилялись! А знаете ли, что за это вас, как укрывателей, судить следует? Вместо того чтобы стоять на страже и кому следует доложить — они на-тко что выдумали! Поддакивать свистунам! Срам, сударь!

Это он-то довилялся! Он, который всегда, всем сердцем... куда прочие, туда и он! Но делать нечего, приходится выслушивать. Такой уж настал черед... «ихний»! Вчера была оттепель, а сегодня — мороз. И лошадей на зимние подковы в гололедицу подковывают, не то что людей! Но, главное, оправданий никаких не допускается. Он обязан был стоять на страже, обязан предвидеть — и всё тут. А впрочем, ведь оно и точно, если по правде сказать: был за ним грешок, был!

Он мысленно обращается к прошлому и припоминает. Все тогда так говорили, именно все. Даже директор департамента. Все поднимали на смех ненавистника, и это считалось не подвиливанием, а признанием истинных интересов минуты. Кто же мог знать, что на место «истинных» интересов минуты выступят на сцену еще более истинные? Кто мог предвидеть, что этот самый директор департамента, который так самонадеянно нес голову навстречу громким делам, внезапно понурит ее и весь наполнится бормотанием? Разве солидные люди для того созданы, чтобы предвидеть? Нет; их назначение в том

состоит, чтобы следовать указаниям и не отступать от общего настроения. Куда прочие — туда и он!

За всем тем он понимает, что час ликвидации настал. В былое время он без церемоний сказал бы ненавистнику: пустое, кум, мелешь! А теперь обязывается выслушивать его, стараясь не проронить ни одного слова и даже опасаясь рассердить его двусмысленным выражением в лице. Факты налицо, и какие факты!

Анализировать эти факты, в связи с другими жизненными явлениями, он вообще не способен, но, кроме того, ненавистник, услыхав о такой претензии, пожалуй, так цыркнет, что и ног не унесешь. Нет, лучше уж молча идти за течением, благо ненавистник благодаря кумовству относится к нему благодушно и скорее в шутливом тоне, нежели серьезно, напоминает о недавних проказах.

Поэтому даже в тесном семейном кругу, за домашним обедом, ежели жене или кому-нибудь из детей случится обмолвиться лишним словом, солидный читатель спешит прекратить дальнейшее развитие речи.

— Ах, матушка, пора эти разговоры оставить! — говорит он.— Изба моя с краю — ничего не знаю! Вот правило, которым мы должны руководствоваться, а не то чтобы что...

Однако с течением времени и это скромное правило перестает уж казаться достаточным. Солидный человек все больше и больше сближается с ненавистником, благоговейно выслушивает его и поддакивает. По-видимому, он находит это и небезвыгодным для себя. Наконец, он и за собственный счет начинает раздувать в своем сердце пламя ненавистничества.

— А что вы думаете? — говорит он,— все зло именно в этой пакостной литературе кроется! Я бы вот такого-то... Не говоря худого слова, ой-ой, как бы я с ним поступил! Надо зло с корнем вырвать, а мы мямлим! Пожар уж силу забрал, а мы только пожарные трубы из сараев выкатываем!

— Ну да, ну да! — поощряет его собеседник-ненавистник,— вот именно это самое и есть! Наконец-то ты догадался! Только, брат, надо пожарные трубы всегда наготове держать, а ты, к сожалению, свою только теперь выкатил! Ну, да на этот раз бог простит, а на будущее время будь уж предусмотрительнее. Не глумись над исправниками вместе с свистунами, а помни, что в своем роде это тоже предержащая власть!

Выслушав эту нотацию от одного кума, солидный человек направляет свои стопы к другому куму и от него выслушивает такую же нотацию.

Наслушавшись вдоволь, он выходит на улицу и там встречается с толпой простецов, которые, распахня рот, бегут куда

глаза глядят. Везде раздается паническое бормотание, слышатся несмысленные речи. Семена ненавистничества глубже и глубже пускают корни и наконец приносят плод. Солидный читатель перестает быть просто солидным и потихоньку да полегоньку переходит в лагерь ненавистников.

Я, впрочем, не говорю, что он останется в этом лагере навсегда; но, во всяком случае, не покинет его до тех пор, пока новые и вполне решительные факты не вызовут его из состояния остервенения и не бросят в противоположную сторону.

В столицах и вообще в густонаселенных центрах солидные читатели представляют особь довольно многочисленную и тем более выдающуюся, что они вербуются преимущественно в чиновничьих рядах. Не особенно это крупные чины, а все-таки свою роль сыграть могут. Да и лестница чинов достаточно подвижна; сегодня какой-нибудь мелкотравчатый внизу копошится, а завтра он уж, смотришь, наверх влез. При помощи бесчисленного множества нравственных подспорий, всегда готовых к услугам алчущих, подобные превращения нередки. Недаром спрос на благовонные товары усиливается. Это означает, что народилась целая уйма солидных людей, которые уже не довольствуются скромным казанским мылом, но, ввиду обуявшей их жажды почестей и оживления надежд, начинают ощущать потребность в более тонких мылах, с запахом вроде Violette de Parme или Foin coupé [1].

Эта особенность солидного читателя делает заметным его влияние на общее настроение читательской среды. Подобно своему куму-ненавистнику, он имеет возможность высказываться. И ежели его мнения не так решительны и образны, как мнения ненавистника, то, во всяком случае, безобидны и благонамеренны. А сверх того, они и тем еще удобны, что высказываются во всех направлениях.

Вот почему убежденный писатель, действующий почти исключительно в городских центрах, так часто встречается с резкими превращениями в читательской среде. Почин в этом случае принадлежит ненавистникам, за которыми рабски следует по пятам воинство солидных читателей. Под их давлением впадает в беспамятство читатель-простец и с болью в сердце стушевывается читатель-друг. Складывается совсем особое общественное мнение, до неузнаваемости потрясенное в самых основаниях. Или, говоря более вразумительно, происходит волшебство, которому долгое время отказываются верить глаза.

---

[1] «Пармской фиалки» или «Свежего сена».

Такое положение вещей может продлиться неопределенное время, потому что общественное течение, однажды проложивши себе русло, неохотно его меняет. И опять-таки в этом коснении очень существенную роль играет солидный читатель. Забравшись в мурью (какой бы то ни было окраски), он любит понежиться и потягивается в ней до тех пор, пока блохи и другая нечисть не заставят выскочить. Тогда он с несвойственною ему стремительностью выбегает наверх и высматривает, куда укрыться.

Повторяю: роль солидного читателя приобретает преувеличенное значение благодаря тому, что у нас общественная жизнь со всеми ее веяниями складывается преимущественно в столицах и больших городах, где солидные люди, несмотря на свою сравнительную немногочисленность, стоят на первом плане. Вместе с ненавистниками, они одни имеют возможность возвышать голос, не рискуя вызвать подозрения и улики в измене, и тяготеть над прочими общественными слоями, осужденными на безмолвие и пассивность. А провинциальные захолустья даже совсем не принимаются в расчет. Предполагается, что там царит фаталистическая тьма, которую может разогнать только свет, источающийся из ненавистнических и солидных городских сфер. Этот свет она должна признать для себя обязательным.

Сверх того, успехам солидного человека, его тяготению на общественное настроение немало способствует и низменность его нравственного и умственного уровня. В нравственном смысле он настолько безразличен, что никаких руководящих принципов не признает; в умственном смысле он не развит и в высшей степени невежествен. Но, к удивлению, это-то именно и дает ему право на внимание. Он сыплет афоризмами самого первоначального свойства, цитирует пословицы, в которых преимущественно замыкается мудрость веков, и толпа простецов с доверием внимает ему. Ибо, собственно говоря, только такие вполне бессодержательные речи и доступны ей. А так как простецы составляют главное ядро читательской и вообще действующей массы, то запавшие в ее слух азбучные поучения не пропадают бесследно, но с быстротою молнии разносятся во все концы.

Только сильный наплыв фактов, делающих невозможным упорное следование по пути, намеченному пословицами и азбучными истинами, может положить предел этому печальному недомыслию. Но факты такого рода накопляются медленно, и еще медленнее внедряется доверие к ним. В большинстве случаев бывает так, что факт уже вполне созрел и приобрел все права на бесспорность, а общественное мнение все еще не ре-

шается признать его. Конечно, всякому случалось — и нередко — слышать такие речи:

— Э, батюшка! и мы проживем, и дети наши проживут — для всех будет довольно и того, что есть! На насиженном-то месте живется и теплее и уютнее — чего еще искать! Старик Крылов был прав: помните, как голубь полетел странствовать, а воротился с перешибленным крылом? Так-то вот.

В этих немногих словах высказывается весь кодекс «солидной» житейской мудрости; но так как он единственный, который не требует ни размышлений, ни исканий, то на него существует спрос. И ежели вы возразите, что так называемое «покойное проживание» представляет собой только кажущееся спокойствие, что в нем-то, пожалуй, и скрывается настоящая угроза будущему и что, наконец, басня о голубе есть только басня и не все голуби возвращаются из поисков с перешибленными крыльями, то солидный человек и на это возражение в карман за словом не полезет.

— Э,— скажет он,— пока что́, а мы поживем! — И, высказавшись, умолкнет, вполне уверенный, что истина на его стороне.

Да, мало, чересчур мало нужно, чтобы поселить в солидном человеке уверенность в его непогрешимости и водворить в его душе безмятежие и ясность. Два-три случайно попавших на язык слова — и он, счастливый и довольный, гордо несет их напоказ.

Само собой разумеется, что убежденному писателю с этой стороны не может представиться никаких надежд. Солидный читатель никогда не выкажет ему сочувствия, не подаст руку помощи. В трудную годину он отвернется от писателя и будет запевалой в хоре простецов, кричащих: ату! В годину более льготную отношения эти, быть может, утратят свою суровость, но не сделаются от этого более сознательными.

И в том и в другом случае впереди стоит полное одиночество и назойливо звучащий вопрос: где же тот читатель-друг, от которого можно было бы ожидать не одного платонического и притом секретного сочувствия, но и обороны?

3. ЧИТАТЕЛЬ-ПРОСТЕЦ

Читатель-простец составляет ядро читательской массы; это — главный ее контингент. Он в бесчисленном количестве кишит на улицах, в театрах, кофейнях и прочих публичных местах, изображая собой ту публику, к услугам которой направлена вся производительность страны, и в то же время ради которой существуют на свете городовые и жандармы.

Он — покупатель и потребитель. Все, что таят в себе недра торговых помещений, начиная от блестящего магазина с зеркальными окнами и кончая вонючей мелочной лавочкой, ютящейся в подвальном этаже,— все это он износит, истребит, выпьет и съест. Понятно, что при таком обширном круге деятельности, ежели дать ему волю, то он будет метаться из стороны в сторону, и ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому движения его строго регулируются городовыми, которые наблюдают, чтобы он не попал под вагон и вообще шел в то место, куда следует идти. В последнее время за ним начали зорко следить и газетчики.

Для газетчика простец составляет очень серьезный предмет забот. Он — подписчик и усердный чтец; следовательно, его необходимо уловить, а это дело нелегкое, потому что простец относится к читаемому равнодушно и читает все, что попадет под руку, наблюдая лишь за тем, как бы не попасть в ответ. Газетчик знает это и мотает себе на ус: «надобно устроить так, чтобы простец читал именно мою газету». Он напрягает усилия, чтобы пробудить простеца из равнодушия, взнуздать его и вообще прикрепить к известному стойлу; а для этого нужно, чтобы прежде всего газетная пища легко переваривалась и чтоб направление газеты не возвышалось над обычным низменным уровнем.

До наступления эпохи возрождения читатель вербовался преимущественно в среде «солидных». Журналов было мало, газет почти совсем не существовало; поэтому и солидной среды было достаточно, чтобы выделить из себя сносный контингент подписчиков. К тому же и издательские требования в то время были скромнее. Журнал или газета, которые считали пять тысяч подписчиков, не только удовлетворялись этим, но и ликовали. Что касается до простеца, то он никакого влияния на журнальное и газетное дело не имел; он называл себя темным человеком и вполне доволен был этим званием. Игнорируя чтение, он почерпал необходимые новости на улице. И это было для него тем сподручнее, что самые новости, которые его интересовали, имели совершенно первоначальный характер, вроде слухов о войне, о рекрутском наборе или о том, что в такой-то день высокопреосвященный соборне служил литургию, а затем во всех церквах происходил целодневный звон. Впрочем, надо сказать правду, что и газеты тогдашние немного опережали улицу в достоинстве предлагаемых новостей, так что, в сущности, не было особенного резона платить деньги за то, что в первой же мелочной лавке можно было добыть даром.

Но с наступлением эпохи возрождения народилось, так ска-

зать, *сословие* читателей, и народилось именно благодаря простецам. Последние уже перестали довольствоваться кличкою темных людей и наравне с прочими бросились в деятельный жизненный омут. Происшедшая перемена в общественном настроении затрогивала их даже существеннее, нежели кого-либо, потому что, собственно говоря, она их одних настоящим образом вызвала из щелей на вольный свет. Прочие же охотно удовлетворились бы и прежним «вольным светом» и даже смотрели на новый «свет» двояко: иные со страхом, другие с робкой надеждой, а большинство оставалось при колебаниях. Что касается до простеца, то для него никакого повода колебаться не существовало. Один выход из звания «темного человека» представлял уже выигрыш, так как звание это не только перестало быть украшением, но и приобрело значение довольно обидное.

Прежде простец говорил: «мы люди темные»,— в надежде укрыться под этим знаменем от вменяемости; теперь он стал избегать такого признания, потому что понял, что оно ни от чего его не освобождает, но, напротив, дает право распорядиться с ним по произволению.

— Ты темный человек,— говорили простецу в дореформенное время,— ступай, бог тебя простит!

А в пореформенное время начали говорить уж так:

— Коли ты сам признаешь, что ты темный человек,— стало быть, молчи! А будешь растабарывать — расправа с тобой короткая.

Разница, как всякий согласится, не маленькая.

Ошибочно, впрочем, было бы думать, что современный простец принадлежит исключительно к числу посетителей мелочных лавочек и полпивных; нет, в численном смысле он занимает довольно заметное место и в культурной среде. Это не выходец из недр черни, а только человек, не видящий перед собой особенных перспектив. И ненавистники и солидные ожидают впереди почестей, мест, орденов, а простец ожидает одного: как бы за день его не искалечили.

Ожидание это держит его в страхе и повиновении. Даже почувствовав под ногами более твердую почву, он остается верен воспоминаниям об исконной муштровке и, судя по всем видимостям, вовсе не намерен забыть о них. Он редко обращает свою мысль к голосу собственного рассудка, собственной совести, и, напротив, чутко и беспокойно присматривается и прислушивается к афоризмам, исходящим из солидных сфер. И хотя бы последние представляли собою бессвязное и неосмысленное бормотание, он принимает их к сведению. Вообще это — человек, не знающий самостоятельной жизни, не-

смотря на то, что вся масса основного общественного труда лежит исключительно на его плечах. Этот труд он выполняет с замечательным рвением, но и в этом случае личная его инициатива отсутствует, а руководящим началом служит внешний толчок.

Благодаря внедрившейся в его жизнь дисциплине руководить и распоряжаться его действиями не представляет никакого труда. Не мудрствуя лукаво, он следит за движениями указующего перста, совершенно равнодушный к тому, что́ таится в той дали, куда этот перст направлен. Ввиду этой легкости и сама руководящая (солидная) сторона не считает для себя обязательным обдумывать свои указания, а действует наудачу, как в данную минуту вздумается. Словом сказать, и руководители и руководимые являются достойными друг друга, и вот из этого-то взаимного воздействия, исполненного недомыслий и недомолвок, и создается то общественное мнение, которое подчиняет себе наиболее убежденных людей.

Я уже сказал выше, что читательское сословие народилось в эпоху всероссийского возрождения, благодаря громадному приливу простецов. С тех пор простец множится в изумительной прогрессии, но, размножаясь и наполняя ряды подписчиков, он нимало не изменяет своему безразличному отношению к читаемому. Чтобы убедиться в этом, стоит заглянуть в любую кофейню.

Вот он сидит в углу, обложенный летучими листками. Глаза его пристально следят за строками, но в лице ни один мускул не шевельнется. Изредка он сунет в рот палец — это одно до известной степени свидетельствует о душевном движении. И ежели вам удастся в эту минуту заглянуть в развернутый лист, то вы убедитесь, что движение это произошло исключительно по поводу встреченного в газете знакомого имени. Такой-то чересчур уж быстро подвинулся по лестнице почестей; такой-то, напротив, проворовался и заседает в окружном суде на скамье подсудимых. Конечно, это не может не вызывать на размышления, хотя последние никогда не выходят из разряда самых обыкновенных общих мест.

«Давно ли Павлушкой звали,— думает простец,— а теперь, поди, Павлом Семенычем величают!»

Или:

«Вот, поди-тка! на четырех женах женат! и куда ему такая прорва баб понадобилась! Мне и одной Арины Ивановны предостаточно...»

Ничто другое его не тревожит, хотя он читает сплошь все напечатанное. Газета говорит о новом налоге,— он не знает, какое действие этот налог произведет, на ком он преимуще-

ственно отразится и даже не затронет ли его самого. Газета говорит о новых системах воспитания,— он и тут не знает, в чем заключается ее сущность и не составит ли она несчастие его детей.

Он живет изо дня в день; ничего не провидит, и только практика может вызвать его из оцепенения. Когда наступит время для практических применений, когда к нему принесут окладной лист, или сын его, с заплаканными глазами, прибежит из школы — только тогда он вспомнит, что нечто читал, да не догадался подумать. Но и тут его успокоит соображение: зачем думать? все равно плетью обуха не перешибешь! — «Ступай, Петя, в школу — терпи!» «Готовь, жена, деньги! Новый налог бог послал!»

Затем, помимо личных имен, еще только так называемые «факты» заставляют его сделать движение бровями, но и то потому, что этими «фактами» ему прожужжали уши ненавистники и солидные. Их нельзя игнорировать, потому что слухами об них полна улица, и на каждом шагу раздается:

— Каково? дождались?

Поэтому необходимо запомнить хоть материальное содержание «факта», чтоб дать хоть такого рода ответ:

— Да, это в некотором роде...

Иначе как раз прослывешь тайным сочувствователем.

Убежденного писателя он положительно избегает. Во-первых, идеалы более или менее широкие совершенно чужды его пониманию, а во-вторых, он боится ответственности, которая представляет неминуемый результат знакомства с такого рода литературой. И тут ему прожужжали уши, что «факт» и убежденная литература находятся в неразрывной связи, что первый сам по себе даже ничтожен и не мог бы появиться на свет, если б не существовал толчок извне, который оживляет преступные надежды.

— Читали ли, что в такой-то газете напечатано? каковы герои?

— Нет уж, вашество, я нынче не читаю. Подальше от греха. Сам-то я, конечно, не заражусь, но заваляется как-нибудь книжка, да, пожалуй, и попадет в руки кому-нибудь из домочадцев... ну их совсем!

Тем не менее нельзя отрицать, что и на среду простецов либеральные веяния остаются не без влияния. В такие минуты улица вообще делается веселее и даже как-то смышленее, и простец инстинктивно следует за общим течением. Он видит, что ненавистник понурил голову, что лицо солидного человека расцветилось улыбкой, что газеты, вчера еще решительно указывавшие на «факты», начинают путаться и затем ма-

ло-помалу впадают в благодушный тон,— и сам понемногу выходит из состояния ошеломления. Но такое счастливое настроение не задерживается в нем. Равнодушный и чуждый сознательности, он во все эпохи остается одинаково верен своему призванию — служить готовым орудием в более сильных руках.

В этом последнем смысле среда простецов очень опасна. Хотя сам по себе простец не склонен к самостоятельной ненависти, но и чувство человечности в его сердце не залегло; хотя в нем нет настолько изобретательности, чтобы отравить жизнь того или другого субъекта преднамеренным подвохом, но нет и настолько честности, чтобы подать руку помощи. Все его существование, все помыслы и действия насквозь проникнуты колебаниями, которые придают общению с ним характер полной бесполезности. Не убеждения действуют на него, а внешние давления. В ловких руках он делается свиреп и неумолим. Без сознанного повода, без цели, без разумения он накидывается на намеченную жертву, впивается в нее когтями и грызет. В такую минуту легко даже впасть в ошибку и подумать, что он ненавидит эту жертву, а не грызет ее, выполняя только обряд...

. . . .

В среде простецов необходимо отличить одну особь: простеца-живчика, который, в противоположность сонливости простеца-байбака, поражает юркостью своих движений и чрезмерной подвижностью мысли и чувств.

Живчик, по преимуществу,— любитель посмеяться. Каламбуры, анекдоты, пародии — вот пища, которою он не может достаточно насытиться. Поэтому он почти исключительно ютится около так называемой мелкой прессы, которая бойко торгует анекдотами. В большой прессе,— в сущности, впрочем, столь же мелкой, но издающейся простынями,— он заглядывает только в литературный фельетон да в отдел журнального обозрения. В первом его прельщают шутовство, бойкость пера, скандалы; во втором — передержки, подтасовки, полемика, или, как он ее называет, взаимное «щелканье» газет и журналов.

— Читали? читали фельетон в «Помоях»? — радуется он, перебегая от одного знакомца к другому,— ведь этот «Прохожий наблюдатель» — это ведь вот кто. Ведь он жил три года учителем в семействе С—ских, о котором пишется в фельетоне; кормили его, поили, ласкали — и посмотрите, как он их теперь щелкает! Дочь-невесту, которая два месяца с офицером гражданским браком жила и потом опять домой воротилась,— и ту изобразил! так живьем всю процедуру и описал!

— А! так вот оно что! так это *она?* То-то я давеча читаю,

как будто похоже...— догадывается собеседник, тоже из породы живчиков.

— Еще бы! Марья-то Ивановна, говорят, чуть с ума не сошла; отец и мать глаз никуда показать не смеют... А как они друг друга щелкают, эти газетчики! «Жиды! хамы! безмозглые пролазы!» — так и сыплется! Одна травля «жидов» чего стоит — отдай все, да и мало! Так и ждешь: ну, быть тут кулачной расправе!

— Да и бывает!

И действительно, казусы кулачной расправы нынче нередки. «Критика» даже в такой решительной форме, как «жиды», «пролазы» и т. д., оказывается уже недостаточною в качестве последнего слова. На сцену появляется палка, кулак, но надо сказать правду, что покуда больше всего достается диффаматорам. Скверное это ремесло и по существу и по последствиям, но, несмотря ни на что, ряды диффаматоров не только не редеют, но день ото дня становятся плотнее и плотнее. Стало быть, таково уже знамение времени. Дурные инстинкты взяли такую силу, что диффаматор почти фаталистически глубже и глубже погрязает в пучине. Посвящая всего себя исключительно диффамации и клевете, он далеко не уверен, что занятие это пройдет ему даром, и все-таки идет навстречу побоям. Идет трепетною стопою, оглядываясь по сторонам, но идет. Быть может, он знает, что читатель-живчик назовет его «молодцом», и это поддерживает его в трудном странствии.

Как бы то ни было, но удовольствию живчика нет пределов. Диффамационный период уже считает за собой не один десяток лет (отчего бы и по этому случаю не отпраздновать юбилея?), а живчик в подробности помнит всякий малейший казус, ознаменовавший его существование. Тогда-то изобличили Марью Петровну, тогда-то — Ивана Семеныча; тогда-то к диффаматору ворвались в квартиру, и он, в виду домашних пенатов, подвергнут был исправительному наказанию; тогда-то диффаматора огорошили на улице палкой.

Живчик не только вычитывает, но и разузнает. Он чует диффамацию даже тогда, когда настоящие личности скрыты под вымышленными фамилиями, и до тех пор не успокоится, покуда досконально не дознает, что Анна Ивановна Резвая есть не кто иная, как Серафима Павловна Какурина, которой муж имеет магазин благовонных товаров в Гостином Дворе; что она действительно была такого-то числа в гостинице «Москва», в отдельном нумере, и муж накрыл ее.

Диффамация, гнусная сама по себе, обостряется благодаря принимаемому в ней читателем-живчиком деятельному участию. Он рассевает ее, делает общим достоянием. Разумеется,

он не сознает этого и предается своему распутному ремеслу единственно потому, что оно глубоко залегло в самую его природу.

Легкомыслие и паскудная подвижность застилают перед ним жизнь с ее горестями и радостями, оставляя обнаженными только уродливости и скандалы. К ним исключительно и устремляются все его помыслы, и только окрик власть имеющего лица: «что́ разбегался? добегаешься когда-нибудь!» — может заставить его до поры до времени угомониться.

Понятно, что ни от той, ни от другой разновидности читателя-простеца убежденному писателю ждать нечего. Обе они игнорируют его, а в известных случаях не прочь и погрызть. Что нужды, что они грызут бессознательно, не по собственному почину — факт грызения нимало не смягчается от этого и стои́т так же твердо, как бы он исходил непосредственно из среды самих ненавистников.

4. ЧИТАТЕЛЬ-ДРУГ

Я уже сказал выше, что читатель-друг несомненно существует. Доказательство этому представляет уже то, что органы убежденной литературы не окончательно захудали. Но читатель этот заробел, затерялся в толпе, и дознаться, где именно он находится, довольно трудно. Бывают, однако ж, минуты, когда он внезапно открывается, и непосредственное общение с ним делается возможным. Такие минуты — самые счастливые, которые испытывает убежденный писатель на трудном пути своем.

К этому мне ничего не остается прибавить. Разве одно: подобно убежденному писателю, и читатель-друг подвергается ампутациям со стороны ненавистников, ежели не успевает сохранить свое инкогнито.

Виноват: еще одно слово. В последнее время я довольно часто получаю заявления, в которых выражается упрек за то, что я сомневаюсь в наличности читателя-друга и в его сочувственном отношении к убежденной литературе. По этому поводу считаю долгом оговориться: ни в наличности читателя-друга, ни в его сочувствии я не сомневаюсь, а утверждаю только, что не существует непосредственного общения между читателем и писателем. Покуда мнения читателя-друга не будут приниматься в расчет на весах общественного сознания с тою же обязательностью, как и мнения прочих читательских категорий, до тех пор вопрос об удрученном положении убежденного писателя останется открытым.

IV

ДЕВУШКИ

1. АНГЕЛОЧЕК

Верочка так и родилась ангелочком. Когда ее maman[1], Софья Михайловна Братцева, по окончании урочных шести недель, вышла в гостиную, чтобы принимать поздравления гостей, то Верочка сидела у нее на коленях, и она всем ее показывала, говоря:

— Не правда ли, какой ангелочек!

Гости охотно соглашались, и с тех пор за Верочкой утвердилось это прозвище навсегда.

Софья Михайловна без памяти любила своего ангелочка и была очень довольна, что после дочери у нее не было детей. Приращение семейства заставило бы ее или разделить свою нежность, или быть несправедливою к другим детям, так как она дала себе слово всю себя посвятить Верочке. Еще на руках у мамки ангелочка одевали как куколку, а когда отняли ее от груди, то наняли для нее француженку-бонну. От бонны она получила первые основания религии и нравственности. Уж пяти лет, вставая утром и ложась на ночь, она лепетала: «Dieu tout-puissant! rendez heureuse ma chère mère! veuillez qu'un faible enfant, comme moi, reste toujours digne de son affection, en pratiquant la vertu et la propreté»[2].

— Ишь ведь... et la propreté! — удивился однажды Ардальон Семеныч Братцев, случайно подслушав эту странную молитву,— а обо мне, ангелочек, молиться не нужно?

— Papa,— отвечала Верочка,— je sais que vous étes l'auteur de mes jours, mais c'est surtout ma mère que je chérie[3].

— Ну, ладно! вот ужо я тебя за непочтительность наследства лишу!

---

[1] маменька.

[2] Боже всемогущий! Пошли счастье моей милой маме! Сделай слабого ребенка, как я, достойным ее привязанности и сохрани его в добродетели и чистоте.

[3] Папа, я знаю, что вы виновник моих дней, но я больше всего люблю маму.

Супруги Братцевы жили очень дружно. Оба были молоды, красивы, веселы, здоровы и пользовались хорошими средствами. У обоих живы были родители, которые в изобилии снабжали молодых супругов деньгами. И старики и молодые жили в согласии. В особенности Софья Михайловна старалась угодить свекру и свекрови, и называла их не иначе, как papa и maman. Ардальон Семеныч поступал несколько вольнее и называл тестя «скворушкой» («скворушке каши!» — кричал он, завидев в дверях старика), а тещу — скворешницей, из которой улетели скворцы. Сначала это несколько коробило Софью Михайловну, которая не раз упрекала мужа за его шутки.

— Разве я называю твоего папа́ дятлом? — выговаривала она; но вскоре сама как будто убедилась, что иначе отца ее и нельзя назвать, как скворушкой, и всякие пререкания на этот счет сами собой упали.

Доброму согласию супругов много содействовало то, что у Ардальона Семеныча были такие сочные губы, что, бывало, Софья Михайловна прильнет к ним и оторваться не может. Сверх того, у него были упругие ляжки, на которых она любила присесть. Сама она была вся мягкая. Оба любили оставаться наедине, и она вовсе не была в претензии, когда он, взяв ее на руки, носил по комнатам и потом бросал ее на диван.

— Ардашка... дерзкий! — выговаривала она, но таким тоном, что Ардальон Семеныч слышал в ее словах не предостережение, а поощрение.

Первые проблески какого-то недоразумения появились с рождением Верочки. Софья Михайловна вдруг почувствовала, что она чем-то pénétrée[1], что она сделалась une sainte[2] и что у нее завелись les sentiments d'une mère[3]. Словом сказать, с языка ее посыпался весь лексикон пусторечия, который представляет к услугам каждого французский язык. Она реже захаживала в кабинет мужа, реже присаживалась к нему на колени и целые дни проводила в совещаниях с охранительницами Верочкиной юности. Какое сделать Верочке платьице? какими обшить кружевами ее кофточки? какие купить башмачки? Супружеская любовь бледнела перед les sentiments d'une mère. Даже встречаясь с мужем за завтраком и обедом, она редко обращала к нему речь и не переставая говорила с гувернанткой (когда Верочке минуло шесть лет, то наняли в дом и англичанку, в качестве гувернантки) и бонной. И все об ангелочке.

---

[1] одухотворена.
[2] святой.
[3] материнские чувства.

— Не правда ли, какая она милая? как отлично усвоивает себе языки? и как вкусно молится? Верочка! ведь ты любишь бога?

— Мы все должны любить бога,— отвечала Верочка рассудительно.

— Да, потому что он добр и может нам дать много, много всего. И ангелов его нужно любить, и святых... ведь ты любишь?

— Oh! maman!

На первых порах у Ардальона Семеныча в глазах темнело от этих разговоров. Он судорожно сучил ногами под столом, находил соус неудачным, вино — отвратительным, сердился, сыпал выговорами. Но наконец смирился. Стал реже и реже появляться к обеду и завтраку, предпочитая пропитываться в ресторанах, где, по крайней мере, говорят только о том, о чем действительно говорить надлежит. Верочку он не то чтобы возненавидел, а сделался к ней совершенно равнодушным. Англичанку переносил с трудом, француженку-бонну видеть не мог.

— Черт с вами! — решил он и откровенно объявил жене, что ежели эти порядки будут продолжаться, то он совсем из дома убежит.

Софья Михайловна слегка задумалась, но les sentiments d'une mère превозмогли.

— Как вам угодно,— ответила она холодно, впервые употребляя церемонное «вы»,— не могу же я ради вашего каприза оставить единственное сокровище, которое я получила от бога! Скажите, пожалуйста, за что вы возненавидели вашу дочь?

— Не дочь я возненавидел, а ваши дурацкие разговоры.

— Ничего в наших разговорах дурацкого нет!

— Лошадь одуреет, не то что человек,— вот какие это разговоры!

— Нет, ты докажи!

Но Ардальон Семеныч вместо доказательств взял шляпу и, посвистывая, ушел из дома.

Натянутости явной еще не было, но охлаждение уже существовало.

Ангелочек между тем рос. Верочка свободно говорила по-французски и по-английски, но несколько затруднялась с русским языком. К ней, впрочем, ходила русская учительница (дешевенькая), которая познакомила ее с краткой грамматикой, краткой священной историей и первыми правилами арифметики. Но Софья Михайловна чувствовала, что чего-то недостает, и наконец догадалась, что недостает немки.

— Как это я прежде не вздумала! — сетовала она на себя,— ведь со временем ангелочек, конечно, будет путешество-

вать. В гостиницах, правда, везде говорят по-французски, но на железных дорогах, на улице...

Тут же кстати, к великому своему огорчению, Софья Михайловна сделала очень неприятные открытия. К француженке-бонне ходил мужчина, которого она рекомендовала Братцевой в качестве брата. А так как Софья Михайловна была доброй родственницей, то желала, чтобы и живущие у нее тоже имели хорошие родственные чувства.

— Что же вы не идете к брату? — говорила она бонне,— сегодня воскресенье — идите!

Оказалось, однако ж, что это совсем не брат, а любовник, и — о ужас! — что не раз, с пособием судомойки, он проникал ночью в комнату m-lle Thérèse, рядом с комнатой ангелочка!

Кроме того, около того же времени, у Софьи Михайловны начали пропадать вещи. Сначала мелкие, а потом и покрупнее. Наконец пропал довольно ценный фермуар. Воровкою оказалась англичанка...

— Вот это что называется éducation morale et religieuse! [1] — трунил над женой Ардальон Семеныч.

В дом взяли немку, так как немки (кроме гамбургских) исстари пользуются репутацией добродетельных. Француженка и англичанка (тоже вновь приусловленные) должны были приходить лишь в определенные дни и часы.

Немка была молодая и веселая. Сам Ардальон Семеныч с ее водворением повеселел. По-немецки он знал только две фразы: «Leben Sie wohl, essen Sie Kohl» [2] и «Wie haben Sie geworden gewesen» [3], и этими фразами неизменно каждый день встречал появление немки в столовой. Другой это скоро бы надоело, но фрейлейн Якобсон не только не скучала любезностями Братцева, но постоянно встречала их веселым хохотом.

— Вот твой разговор с немкой так действительно дурацкий! — говорила мужу Софья Михайловна, когда они оставались наедине.

— А ты докажи! — дразнил он ее.

Софья Михайловна, в свою очередь, ничего доказать не могла и только целыми днями дулась. Можно было предвидеть, что немке недолго ужиться у нее, если бы Софья Михайловна не сообразила, что ежели откажет гувернантке, то, чего доброго, Ардальон Семеныч и на стороне ее устроит.

— Теперь она все-таки у меня на глазах, а там... Ведь это

---

[1] нравственное и религиозное воспитание!

[2] «Будьте здоровы, ешьте капусту».

[3] Бессмысленное сочетание глагольных форм. (*Ред.*)

такой бессовестный человек, что он и ангелочка не пожалеет... все состояние на немок спустит!

Все это тем больше беспокоило ее, что не к кому было обратиться за советом. И скворец, и скворешница, и дятел, и жена его — все перемерло, так что Ардальон Семеныч остался полным властелином и состояния, и действий своих.

Наконец Верочка достигла двенадцати лет, и надо было серьезно подумать о воспитании ее. Кто знает, что такое les sentiments d'une mère, тот поймет, как тревожилась Софья Михайловна, думая о будущем своего ангелочка. Et ceci, et cela[1]. И науки, и подарок к дням именин и рождения — обо всем надо было подумать. Увы! ей даже помочь никто не хотел, потому что Ардальон Семеныч продолжал выказывать «адское равнодушие» к своему семейству. И приятельницы у нее были какие-то бесчувственные: у каждой свои ангелочки водились, так что начнет она говорить о Верочке, а ее перебивают рассказами о Лидочке, Сонечке, Зиночке и т. д. Но провидение само указало ей путь. В то время самым модным учебным заведением считался пансион благородных девиц m-lle Тюрбо. Все науки проходились у нее в лучшем виде и в такой полноте, что из курса не исключались даже начатки философии (un tout petit peu, vous savez? — pour faire travailler l'imagination![2]). Учителя были всё отборные: Жасминов, Гелиотропов, Гиацинтов, Резедин, француз Essbouquet[3], немец Кейнгерух[4] (довольно с немца и этого) и проч. Священник Карминов приходил на урок в муаровой рясе. Нравственностью заведовала сама m-lle Тюрбо и ее помощница, m-lle Эперлан.

Заведение существовало уже с давних пор и всегда славилось тем, что выходившие из него девицы отличались доброю нравственностью, приятными манерами и умели говорить un peu de tout[5]. Они знали, что был некогда персидский царь Кир, которого отец назывался Астиагом; что падение Западной Римской империи произошло вследствие изнеженности нравов; что Петр Пустынник ходил во власянице; что город Лион лежит на реке Роне и славится шелковыми и бархатными изделиями, а город Казань лежит при озере Кабане и славится казанским мылом. Юпитер был большой волокита, а Юнона была за ним очень несчастна и обратила Ио в корову. А Свя-

---

[1] И то и се.

[2] совсем немножко, вы понимаете? — надо заставить работать воображение!

[3] Эсбуке. (Наименование духов.— *Ред.*)

[4] Kein Geruch — без запаха.

[5] обо всем понемногу.

тослав сражался с Цимисхием и сказал: «Не посрамим земли русския!» Это он сказал, а совсем не генерал Прокофьев, как утверждают некоторые историки. Словом сказать, все выходило так, что ни одна воспитанница m-lle Тюрбо не ударила в грязь лицом и не уронила репутации заведения.

Основателем пансиона был m-r Тюрбо, отец нынешней содержательницы. Он был вывезен из Франции, в качестве воспитателя, к сыну одного русского вельможи, и когда воспитание кончилось, то ему назначили хорошую пенсию. М-r Тюрбо уже намеревался уехать обратно в родной Карпантра́, как отец его воспитанника сделал ему неожиданное предложение.

— А что, Тюрбо,— сказал он ему,— если бы вы перешли в православную веру?

— С удовольствием,— ответил Тюрбо.

— А я вам помогу устроиться в Петербурге навсегда...

— С у-до-воль-стви-ем! — с чувством повторил Тюрбо, целуя своего покровителя в плечо.

И не дальше как через месяц все семейство Тюрбо познало свет истинной веры, и сам Тюрбо, при материальной помощи русского вельможи, стоял во главе пансиона для благородных девиц, номинальной директрисой которого значилась его жена.

С этих пор заведение Тюрбо сделалось рассадником нравственности, религии и хороших манер. По смерти родителей его приняла в свое заведование дочь, m-lle Caroline Turbot, и, разумеется, продолжала родительские традиции. Плата за воспитание была очень высока, но зато число воспитанниц ограниченное, и в заведение попадали только несомненно родовитые девочки. Интерната не существовало, потому что m-lle Тюрбо дорожила вечерами и посвящала их друзьям, которых у нее было достаточно.

— Днем я принадлежу обязанностям, которые налагает на меня отечество,— говорила она, разумея под отечеством Россию,— но вечер принадлежит мне и моим друзьям. А впрочем, что ж! ведь и вечером мы говорим всё о них, всё о тех же милых сердцу детях!

Когда Софья Михайловна привезла Верочку в пансион, то m-lle Тюрбо сразу назвала ее ангелочком.

— Ах, какой ангелочек! и какая вы счастливая мать! — воскликнула она, любуясь девочкой, которая действительно была очень миловидна.

— Само провидение привело меня к вам, m-lle Caroline! — отвечала Софья Михайловна комплиментом за комплимент и крепко пожала руку директрисе.

Верочка начала ходить в пансион и училась прилежно. Все,

что могли дать ей Жасминов, Гиацинтов и проч., она усвоила очень быстро. Сверх того, научилась танцевать качучу, а манерами решительно превзошла всех своих товарок. Это было нечто до такой степени мягкое, плавное, но в то же время не изъятое и детской непринужденности, что сама Софья Михайловна удивлялась.

— И откуда это у тебя, ангелочек, такие прелестные манеры! — восхищалась она.

— Стараюсь, maman, подражать тем, кого я люблю,— скромно отвечал ангелочек.

— Их вахмистр манерам учит,— совсем некстати вмешивался Ардальон Семеныч.

Но и с ангелочком случались приключения, благодаря которым она становилась в тупик. Однажды Essbouquet задал сочинение на тему: «Que peut dire la couleur bleue?»[1] Верочка пришла домой в большой тревоге.

— Que peut dire la couleur bleue, maman? — спросила она мать за обедом.

— Что такое... la couleur bleue? — удивилась Софья Михайловна.

— Нам француз на эту тему к послезавтраму сочинение задал,— объяснила Верочка.

— Эк вывез! — заметил Ардальон Семеныч.

— Ах, да... понимаю! — догадалась наконец Софья Михайловна,— о чем бы, однако ж, голубой цвет мог говорить? Ну, небо, например, l'azur des cieux...[2] понимаешь! Голубое небо.. Над ним ангелы... les chérubins, les séraphins...[3] все, все голубое!.. Разумеется, это надо распространить, дополнить — тут целая картина! Что бы еще, например?.. Ну, например, невеста... Голубое платье, голубые ботинки, голубая шляпка... вся в голубом! Чистая, невинная... разумеется, и это надо распространить... Что бы еще?..

— Ну, например, голубой жандарм,— подсказал Ардальон Семеныч.

— А что бы ты думал! жандарм! ведь они охранители нашего спокойствия. И этим можно воспользоваться. Ангелочек почивает, а добрый жандарм бодрствует и охраняет ее спокойствие... Ах, спокойствие!.. Это главное в нашей жизни! Если душа у нас спокойна, то и мы сами спокойны. Ежели мы ничего дурного не сделали, то и жандармы за нас спокойны. Вот теперь завелись эти... как их... ну, все равно... Оттого мы и неспокойны... спим, а во сне все-таки тревожимся!

---

[1] «О чем может говорить голубой цвет?»

[2] небесная лазурь...

[3] херувимы, серафимы.

— О! черт побери! — простонал Ардальон Семеныч.

Немка неосторожно хихикнула; Софья Михайловна обвела ее молниеносным взглядом, отодвинула сердито тарелку и весь остаток обеда просидела надутая.

В другой раз Верочка вбежала в квартиру, восторженно крича:

— Мамаша! я оступилась!

— Как оступилась? — встревожилась Софья Михайловна,— садись, покажи ножку!

— Это, maman, нам мосье Жасминов сочинение на тему «Она оступилась» задал.

— «Ah! c'est trop fort!» [1] — подумала Софья Михайловна и решилась немедленно объясниться с m-lle Тюрбо.

Она знала, что слово «оступиться» употребляется в смысле, довольно не подходящем для детской невинности. «Она оступилась, но потом вышла замуж», или: «она оступилась, и за это родители не позволили ей показываться им на глаза» — вот в каком смысле употребляется это слово в «свете». Неужели ангелочек может когда-нибудь оступиться? Неужели нужно наводить его на подобные мысли, заставлять доискиваться их значения? Вот уж этого-то не ожидала она от m-lle Тюрбо! Она скорее склонна была думать, что старая девственница сама не подозревает значения подобных выражений, и вдруг — прошу покорно!

В это утро у m-lle Тюрбо уж перебывало немало встревоженных матерей по этому же поводу, и потому она встретила Софью Михайловну уже подготовленная.

— Ах, chère madame! [2] — объяснила она,— что же в этой теме дурного — решительно не понимаю! Ну, прыгал ваш ангелочек по лестнице... ну, оступился... попортил ножку... разумеется, не сломал — о, сохрани бог! — а только попортил... После этого должен был несколько дней пролежать в постели, манкировать уроки... согласитесь, разве все это не может случиться?

— Да, ежели в этом смысле... но я должна вам сказать, что очень часто это слово употребляется и в другом смысле... Во всяком случае, знаете что? попросите мосье Жасминова — от меня! — не задавать сочинений на темы, которые могут иметь два смысла! У меня живет немка, которая может... о, вы не знаете, как я несчастлива в своей семье! Муж мой.. ох, если б не ангелочек!..

— Не доканчивайте! Я понимаю вас! Желание ваше будет

---

[1] «О! это уже слишком!»

[2] дорогая мадам!

выполнено! — горячо ответила m-lle Тюрбо, пожимая посетительнице руки.— Pauvre ange délaissé! [1]

Наконец (ангелочку уж шел шестнадцатый год), Верочка пожаловалась мамаше, что танцмейстер Тушату хватает ее за коленки. Известие это окончательно взорвало Софью Михайловну. Во-первых, она в первый раз только сообразила, что у ангелочка есть коленки, и, во-вторых — какая дерзость! Неужто какой-нибудь Тушату воображает... mais c'est odieux! [2] Когда она была молоденькая и Ardalion, в первый раз, схватил ее за коленки,— о, она отлично помнит этот момент! Она никогда не забудет, как покойница maman («скворешница!» — мелькнуло у нее в голове) бранила ее за это!

— Твои коленки, как вообще все твое, принадлежат будущему! — выговаривала старая скворешница,— и покуда ты не объявлена невестой, ты не должна расточать...

Она сообщила об этом выговоре Ардаше, и он в тот же вечер поспешил сделать предложение. Ну, после этого, конечно... о! это была целая поэма!

Вследствие этого эпизода Софья Михайловна окончательно поссорилась с m-lle Тюрбо и взяла ангелочка из пансиона. Курс еще не кончен, но Верочке через каких-нибудь два месяца шестнадцать лет — надо же когда-нибудь! Она уж достаточно знает и о том, что может говорить голубой цвет, и о том, что может случиться, если девушка оступится, прыгая по лестнице. И вот ее уж начинают за колени хватать — довольно с нее! К тому же зимний сезон кончился, скоро предстояли сборы в деревню; там Верочка будет гулять, купаться, ездить верхом и вообще наберется здоровья, а потом, в октябре, опять наступит зимний сезон. Они возвратятся в Петербург и сделают для ангелочка первый бал.

За обедом только и было разговору, что о будущих выездах и балах. Будут ли носить талию с такими же глубокими вырезами сзади, как в прошлый сезон? Будут ли сзади под юбку подкладывать подставки? Чем будут обшивать низ платья?

— Soignez vos épaules, mon ange [3],— тревожно наставляла дочь Софья Михайловна,— плечи — это в бальном наряде главное.

Увы! Ардальон Семеныч уже не только не возмущался этими разговорами, но внимал им совершенно послушно. В последнее время он весь отдался во власть мадеры, сделался необыкновенно тих и только изредка сквозь зубы цедил:

---

[1] Бедный покинутый ангелочек!
[2] но это же гнусно!
[3] Береги плечи, ангелочек.

— Черти!

Все именно так и случилось, как предначертала Софья Михайловна. За лето Верочка окрепла и нагуляла плечи, не слишком наливные, но и не скаредные — как раз в меру. В декабре, перед рождеством, Братцевы дали первый бал. Разумеется, Верочка была на нем царицей, и князь Сампантрé смотрел на нее из угла и щелкал языком.

— Maman! это был волшебный сон! — восторженно восклицал ангелочек, вставши на другой день очень поздно.— Ты дашь еще другой такой бал?

— Об этом надо еще подумать, ангелочек: такие балы обходятся слишком дорого. Во всяком случае, на следующей неделе будет бал у Щербиновских, потом у Глазотовых, потом в «Собрании», а может быть, и князь Сампантрé даст бал... для тебя... Кстати, представил его тебе вчера папаша?

— Да, представил... Ах, какой у него смешной нос!

— Не в носу дело,— резонно рассудила мать,— а в том, что, кроме носа, у него... впрочем, это ты в свое время узнаешь!

Сезон промчался незаметно. Визиты, театры, балы — ангелочек с утра до вечера только и делал, что раздевался и одевался. И всякий раз, возвращаясь домой усталая, но вся пылающая от волнения, Верочка кидалась на шею к матери и восклицала:

— Мама! мама! это... волшебный сон!

Наконец, уже перед масленицей, князь Сампантрé дал ожидаемый бал. Он открыл его польским в паре с Софьей Михайловной и первую кадриль танцевал с Верочкой, которая не спускала глаз с его носа, точно хотела выучить его наизусть.

Постом пошли рауты; но Братцевы выезжали не часто, потому что к ним начал ездить князь Сампантрé. Наконец, на святой, он приехал утром, спросил Софью Михайловну и открылся ей. Верочка в это время сидела в своем гнездышке (un vrai nid de colibri [1]), как вдруг maman, вся взволнованная, вбежала к ней.

— Пойдем! он сделал предложение! — сказала она шепотом, точно боясь, чтобы кто-нибудь не услышал и не расстроил счастья ее ангелочка.

Верочка вспомнила про нос и слегка поморщилась. Но потом вспомнила, что у Сампантрé есть кое-что и кроме носа,— и встала.

— Идем же! — торопила ее мать.

Дело кончилось в двух словах. Решено было справить

---

[1] настоящее гнездышко колибри.

свадьбу в имении Сампантре́ в будущем сентябре, в тот самый день, когда ангелочку минет семнадцать лет.

Девическая жизнь ангелочка кончилась. В семнадцать лет она уже успела исчерпать все ее содержание и приготовиться быть доброю женою и доброю матерью.

Теперь она пишет себя на карточках: «княгиня Вера Ардалионовна Сампантре́, рожденная Братцева». Но maman по-прежнему называет ее «ангелочком».

2. ХРИСТОВА НЕВЕСТА[1]

В начале семидесятых годов Ольга Васильевна Ладогина, девятнадцати лет, вышла из института и прямо переселилась в деревню к отцу. В то время, когда более счастливые товарки разъезжались по Москве, чтобы вступить в свет, в самом разгаре сезона, за Ольгой приехала няня, переодела ее в «собственное» платье и увезла на постоялый двор, где она остановилась. На постоялом дворе отобедали деревенской провизией, подкормили лошадей и сели в возок; дело было в начале зимы. Отцовская усадьба стояла от Москвы с лишком в ста верстах, так что на «своих» они приехали только на третий день к обеду.

Василий Федорыч Ладогин был больной старик. Болезнь была хроническая, неизлечимая, так что он редко вставал с кресла и с трудом бродил по комнатам. В шестьдесят лет и без того плохие радости, а тут еще навязался недуг. Никто к нему не ездил, кроме лекаря, который раз в неделю наезжал из города. Лекарь был молодой человек, лет двадцати шести, но уже обремененный семейством. Может быть, вследствие этого он был молчалив, смотрел угнетенно и вообще представлял мало ресурсов. Всегда одинокий, больной и угрюмый, Василий Федорыч считал себя оброшенным и не видел иного выхода из этой оброшенности, кроме смерти.

Детей у него было двое: сын Павел, лет двадцати двух, который служил в полку на Кавказе, и дочь, которая оканчивала воспитание в одном из московских институтов. Сын не особенно радовал; он вел разгульную жизнь, имел неоднократно «истории», был переведен из гвардии в армию и не выказывал ни малейшей привязанности к семье. Дочь была отличная и скромная девушка, но отцу становилось жутко, когда он раздумывался о ней. Ей предстояло коротать жизнь в де-

---

[1] Этим именем на народном языке называются старые девушки, которым не посчастливилось выйти замуж. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

ревне, около него, и только смерть его могла избавить ее от этого серого, безнадежного будущего. Была у него, правда, родная сестра, старая девица, которая скромно жила в Петербурге в небольшом кругу «хороших людей» и тревожилась всевозможными передовыми вопросами. Василий Федорыч думал поселить Ольгу вместе с нею, и Надежда Федоровна охотно соглашалась на это, но Ольга решительно отказалась исполнить желание отца. Ей казалось, что ее место около больного старика, и деревенское заточение не только не пугало ее, но рисовалось в ее воображении в самых заманчивых красках. Большой дом, обширные комнаты, парк с густыми аллеями; летом — воздух пропитан ароматами, парк гремит пением птиц; зимой — деревья задумчиво помавают обнаженными вершинами, деревня утопает в сугробах; во все стороны далеко-далеко видно. И тот и другой пейзаж имеют свою прелесть; первый представляет ликование, жизнь; второй — задумчивое, тихое умирание.

Но, кроме наслаждений, представляемых природой, ей предстоят в деревне и различные обязанности. Она выберет несколько деревенских девочек и будет учить их; она будет посещать бедных крестьян, помогать лечить. Конечно, она совсем не знает медицины, но, с помощью хорошего лечебника и советов уездного лекаря, этот недостаток легко устранить. Сверх того, перед нею раскрывалась широкая область сельскохозяйственной деятельности. Летом — ходить в поля, смотреть, как пашут, жнут; зимою — сводить счеты. Вообще работы предстояло достаточно.

Состояние у Ладогиных было хорошее, так что они могли жить, ни в чем не нуждаясь. С этой стороны будущее детей не пугало Василия Федорыча. Его пугало, что сын вышел неудачный, а дочь останется одинокою. Он с горечью думал о тех счастливых семьях, где много родных и родственные связи упрочились крепко. По крайней мере, для молодых людей есть верный приют, особливо ежели не существует значительной разницы в материальных средствах. Горько являться в качестве бедной родственницы; но, не имея нужды в куске, всегда можно надеяться на радушный прием. Вот если бы Ольга вышла замуж — это было бы отличным исходом и для нее и для брата. И брат мог бы приютиться в семье сестры и сделаться там человеком. Но на замужество Ольги надежда была плохая, особливо с тех пор, как она отказалась поселиться у Надежды Федоровны. Кто ее увидит в деревенской глуши? Кому она здесь нужна, кроме безнадежно больного старика отца?

Сверх того, старик не скрывал от себя, что Ольга была не-

красива (ее и в институте звали дурнушкой), а это тоже имеет влияние на судьбу девушки. Лицо у нее было широкое, расплывчатое, корпус сутулый, приземистый. Не могла она нравиться. Разве тот бы ее полюбил, кто оценил бы ее сердце и ум. Но такие ценители вообще представляют исключение, и уж, разумеется, не в деревне можно было надеяться встретить их.

Едва приехала Ольга Васильевна в деревню, как сразу же погрузилась в беспробудную тишину. Старик отец почти не покидал кресла и угрюмо молчал; в комнатах было пусто и безмолвно. Стук часового маятника, скрип собственных шагов — все с такою гулкостью раздавалось в комнатах, что, по временам, она даже пугалась. Пейзаж, открывавшийся перед окнами, был необыкновенно уныл. Деревья в парке грузно опустили отягченные инеем ветви и едва шевелили ими; речка застыла; изредка вдали показывался проезжий, и тот словно нырял в сугробах, то показываясь на дороге, то исчезая. Белая церковь выступила вперед своей колокольней, точно сбираясь сойти с пригорка и что-то возвестить. Вправо от нее, сквозь обнаженный фруктовый сад, чернел сельский поселок, но издали казалось, что и он словно замер. Прислуга, пользуясь нездоровьем барина, редко показывалась в доме, за исключением старого камердинера, который постоянно дремал в передней. Только на мельнице, в некотором расстоянии от усадьбы, замечалось движение; но туда Ольга идти не решалась: она еще боялась сразу вступать на арену хозяйственной деятельности.

Вечером зажигались огни по всей анфиладе комнат, где проводил свой день старый барин. Старик любил освещенные комнаты; они одни напоминали ему о жизни. Ольга садилась около него и читала; но старик даже от чтения, во время долгой болезни, отвык. Тогда она пересаживалась с книгой к столу и читала про себя, покуда отца не уводили спать. Книг в доме оказалось много, и почти все в них было для нее ново. Это до известной степени наполняло ту вынужденную праздность, на которую она была обречена. Она все чего-то ждала, все думала: вот пройдет месяц, другой, и она войдет в настоящую колею, устроится в новом гнезде так, как мечтала о том, покидая Москву, будет ходить в деревню, наберет учениц и проч. Тогда и деревенская тишь перестанет давить ее своим гнетущим однообразием.

В ожидании минуты, когда настанет деятельность, она читала, бродила по комнатам и думала. Поэтическая сторона деревенской обстановки скоро исчерпалась; гудение внезапно разыгравшейся метели уже не производило впечатления; бес-

конечная белая равнина, с крутящимися по местам, словно дым, столбами снега, прискучила; тишина не успокоивала, а наполняла сердце тоской. Сердце беспокойно билось, голова наполнялась мечтаниями.

Она старалась гнать их от себя, заменять более реальною пищею — воспоминаниями прошлого; но последние были так малосодержательны и притом носили такой ребяческий характер, что останавливаться на них подолгу не представлялось никакого резона. У нее существовал, впрочем, в запасе один ресурс — долг самоотвержения относительно отца, и она охотно отдалась бы ему; но старик думал, что стесняет ее собою, и предпочитал услугу старого камердинера.

— Ужели все так живут? — повторяла она, вперяя взор в бесконечную даль.

Нет, есть другие, которые живут по-иному. Даже у нее под боком шла жизнь, положим, своеобразная и грубая, но все-таки жизнь.

По временам раздавалось то в той, то в другой передней хлопанье дверьми — это означало, что кто-нибудь из прислуги пришел и опять уходит. В этот дом приходили только на минуту и сейчас же спешили из него уйти, точно он был выморочный. Даже старуха нянька — и та постоянно сидела в людской. Там было весело, оживленно; там слышался человеческий голос, человеческий смех; там о чем-то думалось, говорилось. Она одна ничего не слышала, кроме тиканья раскачивающегося маятника, скрипа собственных шагов да каких-то таинственных шепотов, которые по временам врывались в общее безмолвие с такою ясностью, что ей становилось жутко. Хотя бы птицу или собаку ей кто-нибудь подарил — все было бы веселее. Нет, одна, всегда одна. Какую такую поэзию она себе воображала, когда сюда ехала?

Периодический приезд лекаря несколько оживлял ее. Несмотря на угнетенный вид, молчаливость, все же это был человек. Сам он, положим, вопросов не делал, но на посторонние вопросы отвечал. К тому же наружность его была довольно симпатичная: бледное лицо, задумчивые большие глаза, большой лоб, густые черные волосы. Очень возможно, что печать угнетенности легла на него неспроста. Слухи носились, что он женился очень несчастливо, на вдове, которая была гораздо старше его и которая содержала меблированные комнаты, где он жил. Там он с нею и познакомился. Но насколько в этой истории было правды — она не знала, и только видела, что в жизни доктора было что-то загадочное. Случалось ей по временам и разговориться с ним, но разговоры были короткие.

— Вы женаты? — однажды спросила она его во время обеда.

— Женат,— ответил он односложно.

— И семейство есть?

— Четверо детей.

— Скажите, веселятся в городе? бывают собрания, вечера?

— Не знаю; я очень мало имею знакомств и никуда не езжу.

— Что так?

— Жизнь так сложилась. Скучная жизнь.

Она инстинктивно подумала: «Какой молодой и уже связал себя!» — но тут же спохватилась: с чего ей вздумалось жалеть, что он «связан», и краска разлилась по ее лицу.

— Да, нельзя сказать, чтобы весело было жить,— сказала она.

— Скучно, скучно, скучно! — три раза повторил он,— и, главное, бесполезно.

— Не слишком ли резко вы выразились?

— Нет; вы сами на себе это чувство испытываете, а ежели еще не испытываете, то скоро, поверьте мне, оно наполнит все ваше существо. Зачем? почему? — вот единственные вопросы, которые представляются уму. Всю жизнь нести иго зависимости, с утра до вечера ходить около крох, слышать разговор о крохах, сознавать себя подавленным мыслью о крохах...

— Но ведь я о крохах не думаю, а мне тоже скучно.

— Нет, и ваша жизнь переполнена крохами, только вы иначе их называете. Что вы теперь делаете? что предстоит вам в будущем? Наверно, вы мечтаете о деятельности, о возможности быть полезною; но разберите сущность ваших мечтаний, и вы найдете, что там ничего, кроме крох, нет.

— Я еще не приступила ни к чему, а вы уже заранее пугаете меня.

— Извините. Я вообще и неумел и необщителен. Так сказалось, спроста.

Оба замолчали, чувствуя, что дальнейшее развитие подобного разговора между людьми, которые едва знали друг друга, может представить некоторые неудобства. Но когда он после обеда собрался в город, она опять подумала: «Вот если б он не был связан!» — и опять покраснела.

В этот же вечер старик отец, точно чувствуя, что сердце Ольги тревожно, подозвал ее к себе и, взявши за подбородок, долго всматривался ей в глаза.

— Бедная моя! — не то сказал, не то вздохнул он.

— Что так? — спросила она, чуть не плача.

— Бедная! — повторил он, беспомощно опуская голову на грудь, и махнул рукою, чтобы она ушла.

Всю ночь она волновалась. Что-то новое, хотя и неясное, проснулось в ней. Разговор с доктором был загадочный, сожаления отца заключали в себе еще менее ясности, а между тем они точно разбудили ее от сна. В самом деле, что такое жизнь? что значат эти «крохи», о которых говорил доктор?

Ей вспомнилась старая девушка — тетка. Надежда Федоровна не жаловалась собственно на жизнь, а только на известные затруднения, которые тормозили ее деятельность. Но затруднения не исключали представления о жизни; напротив того, борьба с ними оживляла и придавала бодрости. Так, по крайней мере, явствовало из писем тетки, которая всегда оговаривалась, что занята по горло и оттого пишет редко. Зачем она не послушалась отца и не поселилась вместе с теткой? Быть может, теперь у нее нашлось бы уж дело; быть может, она вместе с Надеждой Федоровной волновалась бы настоящею, реальною деятельностью, а не тою вынужденною праздностью, которая наполняла все ее существо тоскою? И усиленная деятельность тетки не представляла ничего другого, кроме «крох», как выразился недавно доктор...

На другой день, утром, она спросила няньку:

— Есть у нас в селе бедные?

— Как бедным не быть.

— И плохо они живут?

— Уж какое бедному человеку житье! Колотятся.

— Что они, например, едят?

— Тюрю, щи пустые. У кого корова есть, так молока для забелки кладут.

— И больные в деревне есть?

— И больных довольно. Плотник Мирон уж два года животом валяется. Взвалил себе в ту пору на плечо бревно, и вдруг у него в нутре оборвалось.

— Неужто и он тоже тюрей питается?

— А то чем же! Чем прочие, тем и он. Хлеб-то задаром не достается. Он и с печки сойти не может — какой он добытчик?

— Доктор у него не был?

— Про нас, сударыня, докторов не припасено,— чуть не с гневом ответила няня.

— Я, няня, пойду к Мирону,— решила Ольга.

— А зачем, позвольте узнать? «Бог милости прислал»? Так это он и без вас давно знает.

— Нет, я спрошу, не нужно ли что.

— Полноте-ка! посмотрите, на дворе мгла какая! Пойдете

в своем разлетайчике, простудитесь еще. Сидите-ка лучше дома — на что еще глядеть собрались?

— Нет, я пойду.

И пошла.

Приходу ее в избе удивились. Но она вошла довольно смело и спросила Мирона. В избе было душно и невыносимо смрадно. Ей указали на печку. Когда она взошла по приступкам наверх, перед ней очутился человеческий остов, из груди которого вылетали стоны.

— Вы больны? — спросила она, не сознавая бесполезности своего вопроса.

Он широко раскрыл глаза и безмолвствовал.

— Третий год пластом лежит,— ответила за него жена,— сначала и день и ночь криком кричал, хоть из избы вон беги, а теперь потише сделался.

— Может быть, ему легче сделалось?

— Не должно бы быть — с чего? Нет, у него, стало быть, силы уж нет кричать.

— Чем же вы его кормите?

— Что сами едим, то и ему даем. Да он и не ест совсем.

— Хотите, я вам бульону для него пришлю? мяса?

— С убоины у него, пожалуй, с души сопрет. Вот супцу... Мирон, а Мирон! барышня с усадьбы пришла, спрашивает, супцу не хочешь ли?

— Не... нужно...

— Нет, я все-таки пришлю. Может быть, и получше ему будет. И с доктором о нем поговорю. Посмотрит, что-нибудь присоветует, скажет, какая у него болезнь.

Визит кончился. Когда она возвращалась домой, ей было несколько стыдно. С чем она шла?.. с «супцем»! Да и «супец» ее был принят как-то сомнительно. Ни одного дельного вопроса она сделать не сумела, никакой помощи предложить. Между тем сердце ее болело, потому что она увидела настоящее страдание, настоящее горе, настоящую нужду, а не тоску по праздности. Тем не менее она сейчас же распорядилась, чтобы Мирону послали миску с бульоном, вареной говядины и белого хлеба.

— Это еще что за выдумки? — удивилась няня.

— Пожалуйста, няня! прошу!

— Стыдитесь, сударыня! у нас у самих говядины в обрез. В город за нею гоняем. А белый хлеб только для господ бережем.

— Исполните приказание Ольги Васильевны! — раздался голос старика Ладогина, до которого через две комнаты донесся этот разговор.

Приказание было исполнено. На другой день Ольга Васильевна повторила свою просьбу, но она уже видела, что ей придется напоминать об одном и том же каждый день и что добровольно никто о Мироне не подумает. Когда приехал доктор, она пошла к больному вместе с ним; но доктор, осмотрев пациента, объявил, что он безнадежен, и таких средств, которые могли бы восстановить здоровье Мирона, у него, доктора, в распоряжении не имеется. Он назвал болезнь по имени, но Ольга не поняла. За всем тем она продолжала напоминать о «супце», но скоро убедилась, что распоряжения ее просто не исполняются. Тогда она умолкла.

Недели через две она обратилась к няньке с новым вопросом:

— Нет ли на селе девочек, которые пожелали бы учиться? Немного: четыре-пять девочек...

— Учить хотите?

— Да.

— Это чтоб они везде следов наследили, нахаркали, все комнаты овчинами насмердили?

— Ах, няня, как это у вас сердце такое черствое!

— Придут в вашу комнату, насорят, нагадят, а я за ними подметай! — продолжала ворчать нянька.

— Другие подметут; наконец, я сама... Пожалуйста! Я знаю, папаше будет приятно, что я хоть чем-нибудь занята.

На этот раз нянька не противоречила, потому что побоялась вмешательства Василия Федоровича. Дня через два пришли три девочки, пугливо остановились в дверях классной комнаты, оглядели ее кругом и наконец уставились глазами в Ольгу. С мороза носы у них были влажны, и одна из пришедших, точно исполняя предсказание няньки, тотчас же высморкалась на пол.

— Подойдите, не бойтесь! — поощряла их Ольга Васильевна.

Началось каждодневное ученье, и так как Ольга действительно сгорала желанием принести пользу, то дело пошло довольно бойко.

Через короткое время Ольга Васильевна, однако ж, заметила, что матушка-попадья имеет на нее какое-то неудовольствие. Оказалось, что так как женской школы на селе не было, то матушка, за крохотное вознаграждение, набирала учениц и учила их у себя на дому. Затея «барышни», разумеется, представляла для нее очень опасную конкуренцию.

— Она семью своим трудом кормит,— говорила по этому случаю нянька,— а вы у нее хлеб отнимаете.

Приходилось по-прежнему бесцельно бродить по комнатам, прислушиваться к бою маятника и скучать, скучать без конца. Изредка она каталась в санях, и это немного оживляло ее; но дорога была так изрыта ухабами, что беспрерывное нырянье в значительной степени отравляло прогулку. Впрочем, она настолько уж опустилась, что ее и не тянуло из дому. Все равно, везде одно и то же, и везде она одна.

Во время рождественских праздников приезжал к отцу один из мировых судей. Он говорил, что в городе веселятся, что квартирующий там батальон доставляет жителям различные удовольствия, что по зимам нанимается зал для собраний и бывают танцевальные вечера. Потом зашел разговор о каких-то пререканиях земства с исправником, о том, что земские недоимки совсем не взыскиваются, что даже жалованье членам управы и мировым судьям платить не из чего.

— Слухи ходят, что скоро и совсем земства похерят,— прибавил он,— да и хорошо сделают. Об умывальниках для больницы да о пароме через речку Воплю и без земства есть кому думать. Вот кабы...

Но Василий Федорович не дал ему докончить и, смеясь, сказал:

— Успокойтесь: ваше жалованье при вас останется. Даже вернее будет уплачиваться, потому что недоимки настоящим образом станут взыскивать.

В заключение судья приглашал Ольгу развлечься и предлагал познакомить ее с своею женой. Действительно, она однажды собралась в город, и жена судьи приняла ее очень дружелюбно. Вместе они поехали в собрание, но там было так людно и шумно, что у Ольги почти в самом начале вечера разболелась голова. Притом же почти все время она просидела одна, потому что, под предлогом незнакомства, ее ангажировали очень редко, тогда как жена судьи была царицей бала и не пропускала ни одного танца. Она искала глазами доктора, но его в зале не было. Взамен ей указали на сухопарую, высокую даму, которая тоже сидела совсем одиноко, и сказали: «Вот наша докторша!»

Через несколько времени сухопарая дама подошла к ней и очень нахально объявила:

— А мой доктор от вас без ума. Только и слов, что Ольга Васильевна да Ольга Васильевна.

— Я всего один раз с ним говорила,— невпопад ответила Ольга, краснея.

— Это зависит от того, как говорить! Иногда и один раз люди поговорят, да так сговорятся, что любо-дорого смотреть!

Ольга встала и пересела на другое место.

— Приедет он теперь к вам... дожидайтесь! — прошипела ей вслед докторша.

После этого эпизода голова у нее разболелась сильнее, и ей сделалось невыносимо скучно среди этой суматохи, называвшей себя весельем.

«Должно быть, и для того, чтобы веселиться, надо привычку иметь»,— думалось ей, когда она возвращалась на постоялый двор, чтобы переодеться и возвратиться домой.

— Ну, вот, слава богу, и повеселились! — встретила ее нянька.

Тем не менее доктор продолжал навещать старика: это была единственная практика во всем уезде, которая представляла какое-нибудь подспорье, так что даже сварливая докторша не решилась настаивать на утрате такого пациента. Но Ольга уже не вступала с доктором в разговор, а он и подавно молчал. Обмениваясь короткими фразами, обедали они вдвоем в урочное время, затем пожимали друг другу руки, и он уезжал. День ото дня перспектива одиночества и какой-то безвыходной тусклости все неизбежнее и неизбежнее обрисовывалась перед ней.

Наконец наступил март, и грудь ее вздохнула свободнее. Стужа еще не прекратилась, но в середине дня солнце уже грело и в воздухе чуялся поворот к весне. Вот и грачи прилетели и наполнили соседнюю рощу шумным карканьем; вот на дорожке, ведущей в парк, в густом снежном слое, ее покрывавшем, показались дырочки; на пруд прибегали деревенские мальчики и проваливались в рыхлом снегу. К концу марта и в комнатах стало веселее, светлее. Лучи солнца играли на полу, отражались в зеркалах; на стенах, неизвестно откуда, появлялись «зайчики». Ольга с удовольствием следила за игрою лучей и чувствовала себя менее угнетенной. Наконец пришел управляющий и объявил, что надо запастись провизией, потому что скоро появятся на дорогах зажоры и в город нельзя будет проехать. В первых числах апреля на речке тронулся лед, и все видимое пространство, и поля, и луга, покрылось водою.

Но в то же время и погода изменилась. На небе с утра до вечера ходили грузные облака; начинавшееся тепло, как бы по мановению волшебства, исчезло; почти ежедневно шел мокрый снег, о котором говорили: молодой снег за старым пришел. Но и эта перемена не огорчила Ольгу, а, напротив, заняла ее. Все-таки дело идет к возрождению; тем или другим процессом, а природа берет свое.

На последней неделе поста Ольга говела. Она всегда горячо и страстно веровала, но на этот раз сердце ее переполни-

лось. На исповеди и на причастии она не могла сдержать слез. Но облегчили ли ее эти слезы, или, напротив, наполнили ее сердце тоскою,— этого она и сама не могла различить. Иногда ей казалось, что она утешена, но через минуту слезы опять закипали в глазах, неудержимой струей текли по щекам, и она бессознательно повторяла слова отца: «Бедная! бедная! бедная!»

В утреню светлого праздника с ней повторилось то же явление, но она, насколько могла, сдержала себя. Воротившись от ранней обедни домой, она похристосовалась с отцом, который, по случаю праздника, надел белый кашемировый халат и, весь в белом, был скорее похож на мертвеца, закутанного в саван, нежели на живого человека. Потом перецеловалась со всею прислугой, разговелась, выслушала славление сельского священника и, усталая, легла отдохнуть. Но сдавленные слезы сами собой полились; сердце заныло, в груди шевельнулись рыдания. «Бедная! бедная! бедная!» — раздавалось у нее в ушах, стучало в голове, разливалось волной по всему телу...

. . . .

В мае Ольга Васильевна начала ходить в поле, где шла пахота и начался посев ярового. Работа заинтересовала ее; она присматривалась, как управляющий распоряжался, ходил по пашне, тыкал палкою в вывороченные сохой комья земли, делал работникам выговоры и проч.; ей хотелось и самой что-нибудь узнать, чему-нибудь научиться. На вопросы ее управляющий отвечал как мог, но при этом лицо его выражало такое недоумение, как будто он хотел сказать: ты-то каким образом сюда попала?

Зато в парке было весело; березы покрылись молодыми бледно-зелеными листьями и семенными сережками; почки липы надувались и трескались; около клумб возился садовник с рабочими; взрыхляли землю, сажали цветы. Некоторые птицы уж вывели птенчиков; гнезда самых мелких пернатых, по большей части, были свиты в дуплах дерев, и иногда так низко, что Ольга могла заглядывать в них. По вечерам весь воздух был напоен душистым паром распустившейся березовой листвы.

В июне к Ладогиным явился с визитом сосед, Николай Михайлыч Семигоров, молодой человек лет тридцати. Старик Ладогин в былое время был очень близок с покойным отцом Семигорова и принял сына очень радушно. Молодой человек постоянно жил в Петербурге, занимал довольно видное место в служебной иерархии и только изредка и на короткое время навещал деревню, отстоявшую в четырех верстах от усадьбы

Ладогина. Средства он имел хорошие, не торопился связывать себя узами, был настолько сведущ и образован, чтобы вести солидную беседу на все вкусы, и в обществе на него смотрели как на приличного и приятного человека. В семействе Ладогиных он вел себя очень предупредительно. С первого же раза повел с Ольгой оживленный разговор, сообщил несколько пикантных подробностей из петербургской жизни, коснулся «вопросов», и, разумеется, по преимуществу тех, которым была посвящена деятельность тетки — Надежды Федоровны. Но при этом объявил, что настоящее время для вопросов очень трудное и что Надежда Федоровна хотя не опускает рук, но очень страдает.

— Всего больше угнетает то,— сказал он,— что надо действовать как будто исподтишка. Казаться веселым, когда чувствуешь в сердце горечь, заискивать у таких личностей, с которыми не хотелось бы даже встречаться, доказывать то, что само по себе ясно как день, следить, как бы не оборвалась внезапно тонкая нитка, на которой чуть держится дело преуспеяния, отстаивать каждый отдельный случай, пугаться и затем просить, просить и просить... согласитесь, что это нелегко!

И когда Ольга отвечала на его слова соболезнованиями — ничего другого и в запасе у нее не было,— то он, поощренный ее вниманием, продолжал:

— Вообще мы, люди добрых намерений, должны держать себя осторожно, чтобы не погубить дела преуспеяния и свободы. Мы обязаны помнить, что каждый переполох прежде всего и больше всего отражается на нас. Поэтому самое лучшее — не дразнить и стараться показывать, что наши мысли совпадают с мыслями влиятельных лиц. Разумеется, не затем, чтобы подчиняться этим лицам, а, напротив, чтобы они, незаметно для самих себя, подчинились нашим воззрениям. Влиятельное лицо всегда не прочь полиберальничать,— к счастию, это вошло уже в привычку,— лишь бы либеральная мысль являлась не в чересчур резкой форме и смягчалась внешними признаками уступок и соглашений. Ежели этот маневр удастся, то дело преуспеяния спасено. И что всего важнее: влиятельное лицо будет убеждено, что инициатива этого спасения идет всецело от него. А при таком убеждении и будущее его содействие может считаться обеспеченным.

— Да, но ведь это игра опасная,— заметила Ольга.

— Коли хотите, она не столько опасна, сколько не вполне нравственна и в высшей мере надоедлива. Совестно лукавить и невыносимо скучно выслушивать пустяки, серьезно изрекаемые в качестве истин. Требователен нынешний влиятельный

человек и даже назойлив. Ни одной уступки вы от него не дождетесь иначе, как ценою целого потока пустопорожних речей. Но что же делать?

— Мне кажется, я бы побоялась. Ведь, слушая постоянно одни и те же, как вы их называете, пустопорожние речи, можно и самому незаметно подчиниться им. Вот я, например, приезжая сюда, тоже мечтала о какой-то деятельности, чем-то вроде светлого луча себя представляла, а в конце концов подчинилась-таки. Я скажу одно слово, а мне — двадцать в ответ. Слова не особенно резонные, но их много, и притом они часто повторяются, все одни и те же. Ну, и подчинилась, или, говоря другими словами, махнула рукой и живу сама по себе.

— И дурно сделали. Вам и подчиняться не нужно, а следует только приказать.

— Да, прикажите! как вы прикажете, когда вам говорят: «теперь недосужно», или: «вот ужо, как уберемся!» и в заключение: «ах, я и забыла!»? Ведь и «недосужно», и «ужо», и «забыла» — все это в порядке вещей, все возможно.

— Пожалуй, что и так. В нашем деле, конечно, есть своего рода опасности, но нельзя же не рисковать. Если из десяти опасностей преодолеть половину,— а на это все-таки можно рассчитывать,— то и тут уж есть выигрыш.

Словом сказать, Ольга провела время приятно и, во всяком случае, сознавала, что в этой беспробудной тиши в первый раз раздалось живое человеческое слово. С своей стороны, и он дал понять, что знакомство с Ольгой Васильевной представляет для него неожиданный и приятный ресурс, и в заключение даже обещал «надоедать».

— Я буду ездить к вам часто,— говорил он, прощаясь,— ежели надоем, то скажите прямо. Но надеюсь, что до этого не дойдет.

— То есть вы поступите со мной, как с тем влиятельным лицом, о котором упоминали: будете подчинять меня себе, приводить на путь истинный! — пошутила Ольга.

— Пожалуй,— ответил он весело,— только на этот раз вполне добровольно и сознательно. А может быть, и вы подчините меня себе.

Семигоров уехал, и Ольга почувствовала с первого же шага, что ей скучно без него. Теория его казалась ей несколько странною, но ведь она так мало жила между людьми, так мало знает, что, может быть, ошибается она, а не он. Во всяком случае, разговор его заинтересовал ее, пробудил в ней охоту к серьезному мышлению. На этот раз, однако ж, мысли ее находились в каком-то хаосе, в котором мешалось и положительное и отрицательное, сменяя одно другое без всякой

винословности. В этом хаосе она путалась до самой минуты, когда, уж довольно поздно, ее позвали к отцу.

Отец собирался спать. Он перекрестил дочь, посмотрел ей пристально в глаза, точно у него опять мелькнуло в голове: бедная! Но на этот раз воздержался и сказал только:

— Ну, Христос с тобой!

Семигоров сдержал слово и посещал Ладогиных ежели не каждый день, то очень часто. Молодые люди сблизились. Николай Михайлыч разъяснил Ольге значение реформ последнего времени, подробно рассказал историю и современное положение высшего женского образования и мало-помалу действительно подчинил ее себе. По временам они вступали на почву высших общечеловеческих интересов, спорили о различных утопиях, которые излагал Семигоров, и, к удивлению, Ольга на этой почве опозналась гораздо быстрее и даже почувствовала себя тверже своего учителя. Во всяком случае, она почувствовала, что в существо ее хлынула жизнь.

Она слушала, волновалась, мыслила, мечтала... Но в эти одинокие мечтания неизменно проникал образ Семигорова, как светлый луч, который пробудил ее от сна, осветил ее душу неведомыми радостями. Наконец сердце не выдержало — и увлеклось.

Она даже забыла о своей непривлекательной внешности и безотчетно, бездумно пошла навстречу охватившему ее чувству.

Заметил ли Семигоров зарождавшуюся страсть — она не отдавала себе в этом отчета. Во всяком случае, он относился к ней сочувственно и дружески тепло. Он крепко сжимал ее руки при свидании и расставании и по временам даже с нежным участием глядел ей в глаза. Отчего было не предположить, что и в его сердце запала искра того самого чувства, которое переполняло ее?

Однажды,— это было перед самым отъездом Семигорова в Петербург,— они сидели в парке и особенно дружески разговорились. Речь шла о положении женщины в русском обществе. Сначала она приводила примеры из крестьянской жизни, но наконец не выдержала и указала на свою собственную судьбу. С горечью, почти с испугом жаловалась она на одиночество, вынужденную праздность, на неудавшуюся, погибшую жизнь. Каким образом эта жизнь так сложилась, что кругом ничего, кроме мрака, нет? неужели у судьбы есть жребии, которые она раздает по произволу, с завязанными глазами? И для чего эти жребии? Для чего одних одарять, других отметать? для чего нужна, каким целям может удовлетворять эта бессмысленная игра? Хоть бы в будущем был просвет — можно было терпеть

и ждать. А в ее жизни царствует полная бессрочность. Она так же томится, как и прикованный к креслу больной отец, который, вставая утром, ждет, скоро ли придет ночь, а ложась спать, ворочается на постели и ждет, скоро ли наступит утро. Так ведь у него уж и сил для жизни нет, он естественным процессам подчинился, тогда как она здорова, сильна, а ее преследует та же нравственная немочь, та же оброшенность.

— Вот наш доктор говорит,— сказала она грустно,— что все мы около крох ходим. Нет, не все. У меня даже крох нет; я и крохе была бы рада.

— Бедная вы! — вымолвил он, взяв ее за руку.

— Да, бедная! — повторила она,— и отец много раз говорил мне: бедная! бедная! Но представьте себе, старуха нянька однажды услышала это и сказала: «Какая же вы бедная! вы — барышня!»

— Бедная! бедная вы моя!

Жалость ли, или другое, более теплое чувство овладело его сердцем, но с ним совершилось внезапное превращение. Он почувствовал потребность любить и ласкать это бедное, оброшенное существо. Кровь не кипела в его жилах, глаза не туманились страстью, но он чувствовал себя как бы умиротворенным, достигшим заветной цели, и в этот миг совершенно искренно желал, чтобы этот сердечный мир, это душевное равновесие остались при нем навсегда. Инстинктивно он обнял ее рукой за талию, инстинктивно привлек к себе и поцеловал.

Из глаз ее брызнули слезы.

— Зачем ты плачешь? — шептал он, незаметно увлекаясь,— теперь уж ты не бедная! ты — моя!

— Я любима? — спросила она, все еще сомневаясь.

— Да, ты любима, ты — моя! — ответил он горячо.

Целый час они провели в взаимных признаниях и в задушевной беседе о предстоящих радостях жизни. Сомнения мало-помалу совсем оставили ее; но он, по мере того как разговор развивался, начинал чувствовать какую-то неловкость, в которой, однако ж, боялся признаться себе. Но все-таки он заметил эту неловкость и, чтобы оправдать себя, приписал ее недостатку страстности, которая лежала в самой природе его. Но зато он честен и, конечно, не изменит однажды вызванному чувству любви, хоть бы это чувство и неожиданно подстерегло его.

Наконец он стал сбираться домой.

— Завтра утром я приеду и перетолкую с твоим отцом,— говорил он,— а вечером — в Петербург. Через месяц возвращусь сюда, и мы будем неразлучны.

Она держала его за руку и не пускала от себя.

— Пойдем к отцу... теперь! — сказала она,— мне хочется показать тебя ему!

— Ну, он и без того знает...

— Нет, он не знает... *тебя, такого, как ты теперь...* не знает! Пойдем.

— Твой отец — человек старозаветный,— уклонился он,— а старозаветные люди и обычаев старозаветных держатся. Нет, оставим до завтра. Приеду, сделаю формальное предложение, а вечером — в Петербург.

Она должна была согласиться, и он уехал. Долго глядела она вслед пролетке, которая увозила его, и всякий раз, как он оборачивался, махала ему платком. Наконец облако пыли скрыло и экипаж и седока. Тогда она пошла к отцу, встала на колени у его ног и заплакала.

— Я счастлива, папа! — слышалось сквозь рыданья, теснившие ей грудь.

Отец взглянул на нее и понял. «Бедная!» — шевельнулось у него в голове, но он подавил жестокое слово и сказал:

— Ну, Христос с тобой! желаю...

Вечером ей стало невыносимо скучно в ожидании завтрашнего дня. Она одиноко сидела в той самой аллее, где произошло признание, и вдруг ей пришло на мысль пойти к Семигорову. Она дошла до самой его усадьбы, но войти не решилась, а только заглянула в окно. Он некоторое время ходил в волнении по комнате, но потом сел к письменному столу и начал писать. Ей сделалось совестно своей нескромности, и она убежала.

На другой день утром, только что она встала, ей подали письмо.

«Простите меня, милая Ольга Васильевна,— писал Семигоров,— я не соразмерил силы охватившего меня чувства с теми последствиями, которые оно должно повлечь за собою. Обдумав происшедшее вчера, я пришел к убеждению, что у меня чересчур холодная и черствая натура для тихих радостей семейной жизни. В ту минуту, когда вы получите это письмо, я уже буду на дороге в Петербург. Простите меня. Надеюсь, что вы и сами не пожалеете обо мне. Не правда ли? Скажите: да, не пожалею. Это меня облегчит».

Она не проронила ни слова жалобы, но побелела как полотно. Затем положила письмо в конверт и спрятала его в шкатулку, где лежали вещи, почему-либо напоминавшие ей сравнительно хорошие минуты жизни. В числе этих минут та, о которой говорилось в этом письме, все-таки была лучшая.

Отец, по-видимому, уже знал, что от Семигорова пришло письмо, и когда она пришла к нему, то он угадал содержание письма и сердито, почти брезгливо крикнул: «Забудь!»

Но она не забыла. Каждый день по нескольку раз она открывала заветную шкатулку, перечитывала деревянное письмо, комментировала каждое слово, усиливаясь что-нибудь выжать. Может быть, он чем-нибудь связан? может быть, эта связь вдруг порвется, и он вернется к ней? ведь он ее любит... иначе зачем же было говорить? Словом сказать, она только этим письмом и жила.

Жизнь становилась все унылее и унылее. Наступила осень, вечера потемнели, полились дожди, парк с каждым днем все более и более обнажался; потом пошел снег, настала зима. Прошлый год обещал повториться в мельчайших подробностях, за исключением той единственной светлой минуты, которая напоила ее сердце радостью...

В полной и на этот раз уже добровольно принятой бездеятельности она бродила по комнатам, не находя для себя удовлетворения даже в чтении. В ушах ее раздавались слова: «Нет, вы не бедная, вы — моя!» Она чувствовала прикосновение его руки к ее талии; поцелуй его горел на ее губах. И вдруг все пропало... куда? почему?

Отец несколько раз предлагал ей ехать в Петербург к тетке, но она настаивала в своем упорстве. Теперь уж не представление о долге приковывало ее к деревне, а какая-то тупая боязнь. Она боялась встретить *его,* боялась за себя, за свое чувство. Наверное, ее ожидает какое-нибудь жестокое разочарование, какая-нибудь новая жестокая игра. Она еще не хотела прямо признать деревянным письмо своего минутного жениха, но внутренний голос уже говорил ей об этом.

Так прошло целых томительных шесть лет. Наконец старик Ладогин умер, и Ольга почувствовала себя уже совсем одинокою.

Через месяц приехал брат и привез с собой «особу».

— Это моя приятельница, Нина Аветовна Шамаидзе,— рекомендовал он ее сестре,— прошу жаловать.

На другой день он спросил сестру, как она намерена располагать собой.

— Я поеду сначала в город,— ответила она,— а потом, когда кончатся дела, уеду к тете Наде в Петербург. У нас уже условлено.

— А где же вы изволите остановиться в городе?

— У мирового судьи Зуброва. Он просил меня. Покойный

отец оставил завещание и назначил Зуброва душеприказчиком.

— Вот как! и завещание есть! А по-моему, вашему сословию достаточно бы пользоваться тем, что вам по закону предоставлено. В недвижимом имении — четырнадцатая, в движимом — осьмая часть. Ну, да ведь шесть лет около старичка сидели — может быть, что-нибудь и высидели.

Рано утром, на следующий же день, Ольги уже не было в отцовской усадьбе. Завещание было вскрыто, и в нем оказалось, что капитал покойного Ладогина был разделен поровну; а о недвижимом имении не упоминалось, так как оно было родовое. Ольга в самое короткое время покончила с наследством: приняла свою долю завещанного капитала, а от четырнадцатой части в недвижимом имении отказалась. В распоряжении ее оказалось около четырех тысяч годового дохода.

Приехала она к тетке в конце ноября, в самый разгар сезона. Надежда Федоровна хотя была значительно моложе брата, но все-таки ей шло уж за пятьдесят. Это была отличная девушка, бодро несшая и бремя лет, и свое одиночество. Она наняла довольно просторную квартиру в четвертом этаже, так что у нее и у Ольги было по две комнаты и общая столовая. Ольга сразу почувствовала себя удобно. Не было бесполезной громады комнат, которая давила ее в деревне; не слышно было таинственных шепотов, которые в деревенском доме ползли из всех щелей. С непривычки ей показалось даже тесновато, но она рада была этому.

Надежда Федоровна тормошилась с утра до вечера. Она была членом множества комитетов, комиссий, субкомиссий и проч., не пропускала ни одного заседания, ездила к влиятельным лицам, ходатайствовала, хлопотала. Усталая, возвращалась домой к обеду, а вечером опять исчезала. Иногда и у нее, в качестве председательницы какой-нибудь субкомиссии, собирались «хорошие люди», толковали, решали вопросы, но, надо сказать правду, большинство этих решений формулировалось словами: нельзя ли как-нибудь найти путь к такому-то лицу? например, к тому-то, через того-то? нельзя ли воспользоваться приездом такого-то и при посредстве такого-то предложить ему принять в «нашем» деле участие?

— Он богат, ему ничего не значит выбросить пять, десять тысяч.

Словом сказать, Ольга поняла, что в России благие начинания, во-первых, живут под страхом и, во-вторых, еле дышат, благодаря благонамеренному вымогательству, без которого никто бы и не подумал явиться в качестве жертвователя. Сама Надежда Федоровна откровенно созналась в этом.

— Ты не поверишь, как нам горько и тяжело,— сказала она.

— Да, я слышала, что вы постоянно боитесь.

— Ты это от Семигорова шесть лет тому назад слышала. Что тогдашние страхи в сравнении с нынешними! нет, ты теперь посмотри! Кстати: Семигоров наведывается о тебе с большим интересом. Часто он бывал у вас?

— Да, бывал.

— Он умный. Но предупреждаю тебя: он не из «наших». Он карьерист, и сердце у него дряблое.

— Вы часто его видите?

— Не особенно. Обращаюсь к нему при случае, как и вообще ко всем, кто может помочь. Ах, мой друг, так нам тяжело, так тяжело! Ты представь себе только это одно: захотят нас простить — мы живы; не захотят — погибли. Одна эта мысль... ах!

Ольга, не без смущения, выслушала аттестацию Семигорова, но когда осталась одна, то опять перечитала заветное письмо и опять напрягла все усилия, чтобы хоть что-нибудь из него выжать. Искру чувства, надежду... что-нибудь!

«Какое оно, однако ж, деревянное!» — в первый раз мелькнуло в ее голове.

Ольга скоро сделалась своею в том тесном кружке, в котором вращалась Надежда Федоровна. Настоящей деятельности она покамест не имела, но прислушивалась к советам опытных руководительниц и помогала, стараясь, чтобы влиятельные лица, по крайней мере, привыкли видеть ее. Она уже считала себя обреченною и не видела перед собой иного будущего, кроме того, которое осуществляла собой Надежда Федоровна.

Однажды, сидя в своей комнате, она услышала знакомый голос. Это был голос Семигорова, который приехал навестить тетку. Ольга встала и твердым шагом пошла туда, где шел разговор. Очевидно, она решила испытать себя и — «кончить».

Семигоров значительно постарел за семь лет. Он потолстел и обрюзг; лицо было по-прежнему бледное, но неприятно одутловатое и совсем деревянное. Говорил он, впрочем, так же плавно и резонно, как и тогда, когда она в первый раз увидела его.

Очевидно, внутри его существовало два течения: одно — старое, с либеральной закваской, другое — новейшее, которое шло навстречу карьере. Первое побуждало его не забывать старых друзей; второе подсказывало, что хотя не забывать и похвально, но сношения следует поддерживать с осторож-

ностью. Он, разумеется, прибавлял при этом, что осторожность необходима не столько ради карьеры, сколько для того, чтобы... «не погубить дела».

— Ольга Васильевна! вы! — воскликнул он, протягивая обе руки — а я хотел, переговоривши с Надеждой Федоровной, и вас, в вашем гнездышке, навестить.

— Все равно, здесь поговорим,— отвечала она сдержанно.

— Так неужто ж нельзя? — перебила их приветствие Надежда Федоровна.

— И нельзя и поздно — дело решенное. Не такое нынче время, чтобы глупости говорить.

— Что же «она» такого сказала?

— По ее мнению — ничего; по мнению других — много, слишком много. Я говорил и повторяю: главное в нашем деле — осторожность.

Далее он начал развивать, почему необходима осторожность. И сама по себе она полезна; в частности же, по отношению к веяниям времени,— составляла conditio sine qua non [1]. Нельзя-с. Он, конечно, понимает, что молодые увлечения должны быть принимаемы в соображение, но, с другой стороны, нельзя упускать из вида, что они приносят положительный вред. От копеечной свечки Москва загорелась — так и тут. Одно неосторожное слово может воспламенить сотни сердец, воспламенить бесплодно и несвоевременно. Допустим, что абсолютно это слово не заключает в себе вреда, но с точки зрения несвоевременности — вопрос представляется совсем в другом виде.

— Нельзя-с,— сказал он решительно,— я и просил, и даже надоедал, и получил в ответ: «Оставьте, мой друг!» Согласитесь сами...

— Нельзя ли? — приставала Надежда Федоровна.

Ольге вдруг сделалось как-то безнадежно скучно. Даже голова у нее заболела от этого переливания из пустого в порожнее. Те самые речи, которые семь лет тому назад увлекли ее, теперь показались ей плоскими, почти бессовестными.

— Я ухожу, тетя! — сказала она.

— А меня так и не примете у себя? — спросил Семигоров.

— Мне нужно идти. В другой раз. Вспомните — зайдете.

Она разом решила, что все «кончено». Зашла в свою комнату, разорвала заветное письмо на клочки и бросила в топившуюся печку; даже не взглянула, как оно запылало.

Прошел год, и ее деятельность была замечена; ей предложили председательское кресло в «Обществе азбуки-копейки».

---

[1] обязательное условие.

Хлопот было по горло, но и страха немало. Пробовала было она не страшиться, но скоро поняла, что это невозможно. Общество издало отличнейшую азбуку с иллюстрациями, но в ней на букву Д нарисована была картинка, изображающая прядущую девушку, а под картинкой было подписано: *Дивчина.* «Критика» заметила это и обвинила азбуку в украинофильстве. На букву П был нарисован человек в кунтуше, а подпись гласила: Пан. И это заметила «критика» и обвинила азбуку в полонофильстве. В отделе кратких исторических и географических сведений тоже замечены были промахи и пропуски, и все такие, которые свидетельствовали о недостаточной теплоте чувств. Ольга Васильевна бегала, оправдывалась и ходатайствовала, не щадя живота.

— Ведь ваша же пресловутая литература вас с головой выдает! — говорили ей.

Ах, эта литература!

Благодаря беготне дело сошло с рук благополучно; но затем предстояли еще и еще дела. Первое издание азбуки разошлось быстро, надо было готовиться к другому — уже без промахов. «Дивчину» заменили старухой и подписали: Домна; «Пана» заменили мужичком с топором за поясом и подписали: Потап-плотник. Но как попасть в мысль и намерения «критики»? Пожалуй, будут сравнивать второе издание с первым и скажут: а! догадались! думаете, что надели маску, так вас под ней и не узнают!

— Дело в том,— объяснил ей Семигоров,— что общество ваше хотя и дозволенное и цели его вполне одобрительны, но пальца ему в рот все-таки не клади.

— Но почему же?

— А потому, что потому. Существуют такие тонкие признаки. Состав общества, его чересчур кипучая деятельность — все это прямо бросается в глаза. Ну, с чего вы, например, Ольга Васильевна Ладогина, вполне обеспеченная девица, так кипятитесь по поводу какой-то жалкой азбуки?

— Как с чего? — во-первых, я русская и вижу в распространении грамотности одно из условий благосостояния родной страны; а во-вторых, это дело доставляет мне удовольствие; я взялась за него, мне его доверили, и я не могу не хлопотать о нем.

— Э, барышня! и без нас с вами все устроится!

— Так вы бы так прямо и говорили. А то прихóдите, уверяете в своем сочувствии...

— Я-то сочувствую, да вот... Нельзя «прать против рожна», Ольга Васильевна!

Но она продолжала «прать», быть может, потому, что не

понимала, в чем собственно заключается рожон, а Семигоров не мог или не хотел объяснить ей сокровенный смысл этого выражения.

Прошел еще год. Надежда Федоровна хлопотала об открытии «Общества для вспоможения чающим движения воды». Старания ее увенчались успехом, но — увы! она изнемогла под бременем ходатайств и суеты. Пришла старость, нужен был покой, а она не хотела и слышать о нем. В самом разгаре деятельности, когда в голове ее созревали все новые и новые планы (Семигоров потихоньку называл их «подвохами»), она умерла, завещавши на смертном одре племяннице свое «дело».

Ольга Васильевна осталась совсем одинокою.

Теперь ей уж за тридцать. Она пошла по следам тетки и всецело отдала себя, свой труд и материальные средства тому скромному делу, которое она вполне искренно называла оздоровляющим. Она состоит деятельным членом всех обществ, где речь идет о помощи, а в некоторых из них председательствует. Устраивает базары, лотереи, танцевальные вечера. Все это требует больших хлопот и преодоления препятствий, но она не унывает. Напротив, привычка в значительной мере умалила ее страхи, а деятельная жизнь способствовала укреплению ее сил и здоровья. Дома ее можно застать очень редко,— все больше в комитетах, комиссиях, субкомиссиях и, разумеется, в канцеляриях. Даже горничная ее совершенно отчетливо произносит названия этих учреждений и на вопрос посетителей отвечает бойко и безошибочно.

По временам она вспоминает слова доктора, который лечил ее отца, о «крохах», и говорит:

— Вот и у меня свои «крохи» нашлись. И не одна, даже не несколько, а целая куча!

3. СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА

Анна Петровна Губина была сельской учительницей. Составляла ли эта профессия ее призвание, или просто так случилось, что деваться было больше некуда,— она и сама не могла бы дать ясно формулированного ответа на этот вопрос. Получила диплом учительницы, потом открылось место на пятнадцать рублей в месяц жалованья, и она приняла его. Осенью, к началу учебного семестра, она приехала в село; ей указали, где помещается школа, и она осталась. К счастию, при школе было помещение для учительницы: комната и при ней крохотная кухня; а то бывает и так, что учительница каж-

дую неделю переходит из одной избы в другую, так что квартира насадительницы знаний представляет для обывателей своеобразную натуральную повинность.

Школа помещалась в просторном флигеле, который при крепостном праве занимал управляющий имением и который бывший помещик пожертвовал миру под училище. Места для учащихся было достаточно, но здание было старое, и крестьяне в продолжение многих лет не ремонтировали его. Печи дымили, потолки протекали, из всех щелей дуло.

Учение было самое первоначальное. Читать, писать, поверхностные сведения из грамматики, первые четыре правила арифметики, краткая священная история — вот и все. Старались, чтобы в год, много в два, ребенок познал всю премудрость. За строгим соблюдением программы, в особенности в смысле ее нерасширения, наблюдал местный священник; попечителем школы состоял сельский староста, а высший надзор был предоставлен помещику, который постоянно жил за границей, но изредка наведывался и в усадьбу. В школу ходили исключительно мальчики.

Дело у Анны Петровны налаживалось не споро. Учительницу не ждали так скоро, и помещение школы было в беспорядке. Прежде нежели собрались ученики, в школу приходили родители и с любопытством рассматривали новую учительницу.

— Вы робят наускоре обучайте; нам ведь только бы читать да писать умели. Да цифири малость. Без чего нельзя, так нельзя, а лишнего для нас не требуется. Нам дети дома нужны. А ежели который стараться не станет, можно такого и попугать. Вон он в углу — веник — стоит. Сделайте милость, постарайтесь.

Исподволь устроилась она, однако ж, и в школе, и у себя в каморке. Вместо мебели ей поставили простой, некрашеный стол и три табуретки; в углу стояла кровать, перешедшая, вместе с домом, от управляющего; в стену вбито было несколько гвоздей, на которые она могла вешать свой гардероб. При школе находился сторож, который топил печи и выметал с вечера классную комнату. Насчет продовольствия она справилась, как жила ее предшественница, и получила ответ, что последняя ходила обедать к священнику за небольшую плату, а дома только чай держала. Священник и ее охотно согласился взять на хлеба.

— Я не из корысти,— сказал он,— а жалеючи вас: кто же вам будет готовить? Здесь вы не только горячей пищи, и хлеба с трудом найдете. Мы за обед с вас пять рублей в месяц положим. Лишнего не подадим, а сыты будете. Станете

ходить каждый день к нам и обзнакомитесь; и вам и нам веселее будет. Ежели какие сомнения встретите, то за обедом общим советом и разрешим. Вкупе да влюбе — вот как по-моему. Ежели вы с любовью придете, то я, как пастырь, и тем паче. Но не скрою от вас: труд вам предстоит не легкий и не всегда беспрепятственный. Народ здесь строптивый, неприветливый, притязательный. Каждый будет к вам требования предъявлять, а иной раз и такие, от которых жутко придется. Людмила Михайловна, предшественница ваша, повздорила с Васильем Дроздом, так насилу отсюда выбралась.

— Кто это Дрозд?

— А здешний воротила, портерную держит, лавочку, весь мир у него под пятой, и начальство привержено. Сын у него в школе, так он подарок Людмиле Михайловне вздумал поднести, а она уперлась. Он, конечно, обиделся, доносы стал писать — ну, и пришлось бежать. Земство так и не оставило ее у себя; живет она теперь в городе в помощницах у одной помещицы, которая вроде пансиона содержит.

— Однако строго-таки у вас.

— И даже очень. Главное, в церковь прилежно ходите. Я и как пастырь вас увещеваю, и как человек предостерегаю. Как пастырь говорю: только церковь может утешить нас в жизненных треволнениях; как человек предваряю, что нет легче и опаснее обвинения, как обвинение в недостатке религиозности. А впрочем, загадывать вперед бесполезно. Приехали — стало быть, дело кончено. Бог да благословит вас.

Священник был старозаветный, добрый; попадья у него была тоже добрая. Дети находились в разброде, так что старики жили совсем одни. Оба были люди деятельные, с утра до вечера хлопотали и довольствовались одной работницей. Батюшка и до сих пор полеводство держал, но больше уже по привычке, без выгоды. К Анне Петровне они отнеслись сочувственно; она напоминала им о детях. Для нее это было хорошее предзнаменование; несмотря на предостережение батюшки, относительно трудности предстоящего ей пути, она все-таки надеялась найти в его доме приют и защиту.

Она рассчитала, что если будет тратить пять рублей на обед да пять рублей на чай и баранки, то у нее все-таки останется из жалованья пять рублей. Этого было, по ее скромным требованиям, достаточно. Квартира была готовая, и она устроилась в ней, как могла, хотя каждый день выгонял ее часа на два из дома угар. Одежды она привезла с собой довольно, так что и по этой статье расходов не предстояло. Скуки она не боялась. Днем будет заниматься с учениками, вечером — готовиться к будущему дню или проводить время в семье

священника, который получал от соседнего управляющего газеты и охотно делился с нею. Ничего, как-нибудь проживет.

Ученье началось. Набралось до сорока мальчиков, которые наполнили школу шумом и гамом. Некоторые были уж на возрасте и довольно нахально смотрели в глаза учительнице. Вообще ее испытывали, прерывали во время объяснений, кричали, подражали зверям. Она старалась делать вид, что не обращает внимания, но это ей стоило немалых усилий. Под конец у нее до того разболелась голова, что она едва дождалась конца двух часов, в продолжение которых шло ученье.

— А я, признаться, посетовала на вас,— сказала она священнику за обедом,— что бы вам стоило на первый раз придти поддержать меня!

— Я именно для того и не пришел,— ответил батюшка,— чтоб вы с первого же раза узнали настоящую суть дела. Если б сегодня вы не узнали ее, все равно пришлось бы узнавать завтра.

На другой день пришел попечитель-староста и осведомился, тихо ли сидят ученики. Она ответила, что сносно и что в будущем дело, конечно, наладится.

— То-то, вы их не жалейте; для того и веник в углу припасен. Выньте розгу и отстегайте! — посоветовал попечитель.

Не прошло, однако ж, и двух недель, как ей пришлось встретиться с «строптивейшим из строптивых», с тем самым Васильем Дроздом, который вытеснил ее предместницу. Дрозд бесцеремонно вошел в ее комнату, принес кулек, положил на стол и сказал:

— У вас наш мальчонко учится, так вот вам. Тут чаю полфунта, сахару, ветчины и гостинцу, кушайте на здоровье. А сверх того, и деньгами два рубля.

Он достал из-за пазухи кошель, вынул две рублевки и положил рядом с кульком.

— Зачем же это? ведь это не дозволено! — вспыхнула она.

— А вы займитесь с мальцом-то, не задерживайте его.

— Я и без того займусь. Не надо, не надо! Уйдите, прошу вас!

Дрозд обиделся; даже губы у него побелели.

— Стало быть, вы и доброхотством нашим гнушаетесь? — спросил он, осматривая ее с ног до головы негодующим взором.

— Не надо! — крикнула она и вдруг спохватилась. Вспомнилась ей Людмила Михайловна; вспомнилось и то, что еще в Петербурге ей говорили, что всего пуще надо бояться ссор с влиятельными лицами; что вот такая-то поссорилась с ста-

ростой, и была вытеснена; такая-то не угодила члену земской управы, и тоже теперь без места.

— Послушайте,— сказала она, присмирев,— я и без того с вашим сыном займусь... даю вам слово! Ежели хотите, пускай он ко мне по вечерам ходит; я буду с ним повторять.

— А приношения нашего не желаете?

— Знаете, вы лучше вот что: печи у нас в школе дымят, потолки протекают, так вы бы помогли.

— Это мир должен. Расход тоже не маленький. Печку-то перебрать что стоит? Нет, уж что тут. Счастливо оставаться.

Он надел тут же, в комнате, шапку, собрал со стола приношение и вышел. Она несколько секунд колебалась, но потом не выдержала и догнала его на улице:

— Пожалуйста, не сердитесь. Нам ведь не велено. Присылайте вашего мальчика по вечерам — я займусь им особенно!

Дрозд взглянул на нее с усмешкой.

— Стало быть, про Людмилу Михайловну вспомнили? — сказал он нагло.— Ну, ладно, буду своего мальца присылать по вечерам, ежели свободно. Спесивы вы не к лицу. Впрочем, денег теперича я и сам не дам, а это — вот вам!

Он скорыми шагами удалился, а Анна Петровна осталась на улице с кульком в руках.

Рассказала она об этом батюшке, который посоветовал «оставить».

— Возьмите,— сказал он,— историю себе наживете. С сильным не борись! и пословица так говорит. Еще скажут, что кобенитесь, а он и невесть чего наплетет. Кушайте на здоровье! Не нами это заведено, не нами и кончится. Увидите, что ежели вы последуете моему совету, то и прочие миряне дружелюбнее к вам будут.

Действительно, к ней начали относиться ласковее. После Дрозда пришел староста, потом еще два-три мужичка из зажиточных — все с кульками.

По вечерам открылись занятия, собиралось до пяти-шести учеников. Ценою непрошеных кульков, напоминавших о подкупе, Анна Петровна совсем лишилась свободного времени. Ни почитать, ни готовиться к занятиям следующего дня — некогда. К довершению ученики оказались тупы, требовали усиленного труда. Зато доносов на нее не было, и Дрозд, имевший частые сношения с городом, каждый месяц исправно привозил ей из управы жалованье. Сам староста, по окончании церковной службы, поздравлял ее с праздником и хвалил.

— Вон Людмила Михайловна редко в церкву ходила,— говорил он,— а вы бога не забываете!

В продолжение целой зимы она прожила в чаду беспре-

рывной сутолоки, не имея возможности придти в себя, дать себе отчет в своем положении. О будущем она, конечно, не думала: ее будущее составляли те ежемесячные пятнадцать рублей, которые не давали ей погибнуть с голода. Но что́ такое с нею делается? Предвидела ли она, даже в самые скорбные минуты своего тусклого существования, что ей придется влачить жизнь, которую нельзя было сравнить ни с чем иным, кроме хронического остолбенения?

Она была сирота, даже не знала, кто были ее родители. Младенцем ее подкинули, и сострадательная хозяйка квартиры, у дверей которой она очутилась в корзинке, сначала поместила ее в воспитательный дом, потом в приют и, наконец, в училище, где она и получила диплом на звание сельской учительницы. Затем сострадательная душа сочла свой долг выполненным и отпустила ее на все четыре стороны, снабдив несколькими платьями и давши на дорогу небольшую сумму денег. После этого Губина очутилась в селе. Надолго ли? — она даже не задавала себе этого вопроса. Она понимала только, что отныне предоставлена самой себе, своим силам, и что, в случае какой-нибудь невзгоды, она должна будет вынести ее на собственных плечах. Обратиться к кому-нибудь за поддержкой она не имела основания; товарки у нее были такие же горькие, как и она сама. Все они рассеялись по лицу земли, все находились в тех же материальных и нравственных условиях, все бились из-за куска хлеба. Она была более нежели одинока. И одинокий человек может устроиться так, чтобы за него «заступились», может оградить себя от случайностей, а до нее решительно никому дела не было. Даже никакому благотворительному учреждению она не была подведома, так что над всею ее судьбою исключительно господствовала случайность, да и та могла оказывать действие только в неблагоприятном для нее смысле.

Она никогда не думала о том, красива она или нет. В действительности, она не могла назваться красивою, но молодость и свежесть восполняли то, чего не давали черты лица. Сам волостной писарь заглядывался на нее; но так как он был женат, то открыто объявлять о своем пламени не решался и от времени до времени присылал стихи, в которых довольно недвусмысленно излагал свои вожделения. Дрозд тоже однажды мимоходом намекнул:

— Ах, барышня, барышня! озолотил бы я вас, кабы...

Женщина еще едва просыпалась в ней. Она не понимала ни стихов, ни намеков, ни того, что за ними кроется злое женское горе. Ее поражали только глупость и бесцеремонность, но она сознавала себя настолько беззащитною, что

мысль о жалобе даже не приходила ей в голову. Все знали, что ее можно «раздавить», и, следовательно, если б она даже просила о защите — хоть бы члена училищного совета, изредка навещавшего школу,— ей бы ответили: «С какими вы все глупостями лезете — какое нам дело!» Оставалось терпеть и крепко держаться за тот кусок, который послала ей судьба. Потому что, если б ее даже выслушали и перевели на другое место, то и там повторилось бы то же самое, пожалуй, даже с прибавкою какой-нибудь злой сплетни, которая, в подобных случаях непременно предшествует перемещению.

Настоящее горе ждало ее не тут, а подстерегало издалека.

В апреле, совсем неожиданно, приехал в свою усадьбу местный землевладелец, он же и главный попечитель школы, Андрей Степаныч Аигин. Прибыл он затем, чтобы продать леса и на вырученные деньги прожить лето за границей. Операция предстояла несложная, но Аигин предположил пробыть в деревне до мая, с тем чтобы, кстати, учесть управителя, возобновить на всякий случай связи с местными властями и посмотреть на школу.

Это был молодой человек лет двадцати семи, легкомысленный и беспечный. Учился он плохо, образование имел самое поверхностное, но за всем тем пользовался образовательным цензом, и так как принадлежал к числу крупных землевладельцев, то попечительство над школою, так сказать, по принципу, досталось ему. Независимо от материальных пожертвований, которые состоятельный человек мог делать в пользу школы, принцип в особенности настаивал на поддержке крупного землевладения и того значения, которое оно должно иметь в уезде. Нужды нет, что крупный землевладелец мог совершенно игнорировать свой уезд; достаточно было его имени, его ежегодных денежных взносов, чтобы напомнить о нем и о той роли, которая по праву ему принадлежала. У него есть на месте доверенное лицо, которое будет сообщать ему о местных делах и нуждах; наконец, нет-нет, да вдруг ему вздумается: «Не съездить ли заглянуть, что-то в нашем захолустье творится?» И съездит.

Именно таким образом поступал Аигин. В продолжение шести лет попечительства (он начал независимую жизнь очень рано) Андрей Степаныч посетил усадьбу всего второй раз, и на самое короткое время. Принимали его, как подобает принимать влиятельное лицо, и очень лестно давали почувствовать, что от него зависит принять деятельное участие во главе уездной сутолоки. Но покуда он еще уклонялся от чести, предоставляя себе принять решение в этом смысле, когда утехи молодости уступят место мечтам честолюбия.

Одного в нем нельзя было отрицать: он был красив, отлично одевался и умел быть любезным. Только чересчур развязные манеры и привычка постоянно носить пенсне, поминутно сбрасывая его и опять надевая, несколько портили общее благоприятное впечатление.

Аигин на первых же порах по приезде посетил школу («это мое детище»,— выражался он). Он явился в сопровождении члена училищного совета, священника и старосты. Похвалив порядки, он так пристально посмотрел на Анну Петровну, что та покраснела. Уходя, он сказал совсем бесцеремонно, что ему очень приятно, что в *его* школе такая хорошенькая учительница. До сих пор он редко ездил в деревню, потому что все учительницы изображали собой какой-нибудь из смертных грехов, а теперь будет ездить чаще. И в заключение прибавил, что Анне Петровне настоящее место не в захолустье, а в столице, и что он похлопочет о ней.

В тот же день у него был обед, на который были приглашены все прикосновенные к школе, а в том числе и Анна Петровна.

После этого он зачастил в школу. Просиживал в продолжение целых уроков и не спускал с учительницы глаз При прощании так крепко сжимал ее руку, что сердце ее беспокойно билось и кровь невольно закипала. Вообще он действовал не вкрадчивостью речей, не раскрытием новых горизонтов, а силою своей красоты и молодости. Оба были молоды, в обоих слышалось трепетание жизни. Он посетил ее даже в ее каморке и похвалил, что она сумела устроиться в таком жалком помещении. Однажды он ей сказал:

— Отчего вы не посетите меня? боитесь?

— Нет, не боюсь,— отвечала она, дрожа всем телом.

— Но, в таком случае...

Он не договорил, но взял ее за руку и поцеловал.

Целое послеобеда после этого она была как в чаду, не знала, что с нею делается. И жутко и сладко ей было в одно и то же время, но ничего ясного. Хаос переполнял все ее существо; она беспокойно ходила по комнате, перебирала платья, вещи, не знала, что делать. Наконец, когда уже смерклось, от него пришел посланный и сказал, что Андрей Степаныч просит ее на чашку чая.

Она подумала: «Ах, как это все скоро!» — и затем почувствовала такую истому в сердце, что открыла окно, чтоб освежить пылающую голову.

Через полчаса она была уже у него.

Роман ее был непродолжителен. Через неделю Аигин собрался так же внезапно, как внезапно приехал. Он не был особенно нежен с нею, ничего не обещал, не говорил о том, что они когда-нибудь встретятся, и только однажды спросил, не нуждается ли она. Разумеется, она ответила отрицательно. Даже собравшись совсем, он не зашел к ней проститься, а только, проезжая в коляске мимо школы, вышел из экипажа и очень тихо постучал указательным пальцем в окно.

— Увидимся! — крикнул он ей.

Она сделала инстинктивное движение, чтобы выйти к нему, но удержалась и только слабо улыбнулась в ответ.

Таким образом, победа обошлась ему очень легко. Он сделал гнусность, по-видимому, даже не подозревая, что это гнусность: что́ она такое, чтобы стеснять ради нее свою совесть? Он предлагал ей денег, она отказалась — это уж ее дело. Не он один, все так делают. А впрочем, все-таки недурно, что обошлось без слез, без упреков. Это доказывает, что она умна.

На селе, однако ж, ее вечерние похождения были уже всем известны. При встречах с нею молодые парни двусмысленно перемигивались, пожилые люди шутили. Бабы заранее ее ненавидели, как будущую сельскую «сахарницу», которая способна отуманить головы мужиков. Волостной писарь однажды прямо спросил: «В какое время, барышня, вы можете меня принять?» — а присутствовавший при этой сцене Дрозд прибавил: «Чего спрашиваешь? приходи, когда вздумается,— и вся недолга!»

Сам батюшка, несмотря на доброту, усомнился и однажды за обедом объявил, что долее содержать ее на хлебах не может.

— Жаль мне вас,— сказал он,— душевно жаль, но мне, как духовному лицу, не приличествует...

Матушка тоже выразила сожаление и выронила две-три слезинки.

Только школьный сторож выказал к ней участие. Когда она, бледная и еле живая, воротилась от священника домой, он сказал:

— Ничего, потерпите; бог терпел и нам велел. И я сумею вам щи сготовить.

К довершению всего она почувствовала себя матерью, и вдруг какая-то страшная бездна разверзлась перед нею. Глаза затуманились, голова наполнилась гулом; ноги и руки дрожали, сердце беспорядочно билось; одна мысль отчетливо представлялась уму: «Теперь я пропала».

К счастию, начались каникулы, и она могла запереться в своей комнате. Но она очень хорошо понимала, что никакая изолированность не спасет ее. «Пропала!» — в этом слове заключалось все ее будущее. Признаки предстоящей гибели уже начали оказываться. В праздничные дни молодые сельские парни гурьбою останавливались против ее окон и кричали:

— С приплодцем!

Конечно, у нее еще был выход: отдать себя под покровительство волостного писаря, Дрозда или другого влиятельного лица, но она с ужасом останавливалась перед этой перспективой и в безвыходном отчаянии металась по комнате, ломала себе руки и билась о стену головой. Этим начинался ее день и этим кончался. Ночью она видела страшные сны.

Летом она надумала отправиться в город к Людмиле Михайловне, с которою, впрочем, была незнакома. Ночью прошла она двадцать верст, все время о чем-то думая и в то же время не сознавая, зачем, собственно, она идет. «Пропала!» — безостановочно звенело у нее в ушах.

Людмила Михайловна приняла ее радушно, но тотчас же заметила, что она виновата.

— Это, голубушка, всего менее прощается,— сказала она, и хотя в словах ее не слышалось жестокости, но Анна Петровна поняла, что помощи ей ждать неоткуда.

— Помогите! — простонала она.

Людмила Михайловна тронулась. Обещала переговорить с содержательницей пансиона, которая в настоящее время жила в деревне, нельзя ли устроить так, чтоб «виноватая» прожила у нее хоть без жалованья, в качестве простой прислуги, те критические месяцы, по окончании которых должна была обнаружиться ее «вина».

— Раньше окончания каникул она вас не возьмет: ей не расчет содержать вас на хлебах, но после, быть может... Во всяком случае, я на днях увижусь с нею и уведомлю вас,— прибавила она.

В то же утро Анна Петровна встретила на улице знакомого члена училищного совета, который нагло улыбнулся ей и сказал:

— О вас доходят до совета неодобрительные отзывы. Ежели вы сознаете их справедливыми, то советую принять меры...

Он не докончил, приподнял шляпу и удалился.

Дни шли за днями, а от Людмилы Михайловны никаких вестей не приходило. Или забыла, или ничего не могла. Из училищного совета тоже никаких слухов не было.

Наконец наступил сентябрь, и опять начались классы. Анна Петровна едва держалась на ногах, но исправно посещала школу. Ученики, однако ж, поняли, что она виновата и ничего им сделать не смеет. Начались беспорядки, шум, гвалт. Некоторые мальчики вполне явственно говорили: «С приплодцем!»; другие уверяли, что у них к будущей масленице будет не одна, а разом две учительницы. Положение день ото дня становилось невыносимее.

В ноябре, когда наступили темные, безлунные ночи, сердце ее до того переполнилось гнетущей тоской, что она не могла уже сдержать себя. Она вышла однажды на улицу и пошла по направлению к мельничной плотинке. Речка бурлила и пенилась; шел сильный дождь; сквозь осыпанные мукой стекла окон брезжил тусклый свет; колесо стучало, но помольцы скрылись. Было пустынно, мрачно, безрассветно. Она дошла до середины мостков, переброшенных через плотину, и бросилась головой вперед на понырный мост.

Жизнь ее порвалась, почти не начавшись. Порвалась бессмысленно, незаслуженно и жестоко.

4. ПОЛКОВНИЦКАЯ ДОЧЬ

Полковник Варнавинцев пал на поле сражения. Когда его, с оторванной рукой и раздробленным плечом, истекающего кровью, несли на перевязочный пункт, он в агонии бормотал: «Лидочка... государь... Лидочка... господи!»

Обратились к его формуляру. Там значилось: «Полковник Варнавинцев из дворян Вологодской губернии, вдов, имеет дочь Лидию; за ним состоит родовое имение в Тотемском уезде, в количестве 14-ти душ, при 500 десятинах земли».

Очевидно, что последнею его мыслью было поручить дочь государю.

Желание полковника было исполнено. Через товарищей разузнали, что Лидочка, вместе с сестрою покойного, живет в деревне, что Варнавинцев недели за две перед сраженьем послал сестре половину своего месячного жалованья и что вообще положение семейства покойного весьма незавидное, ежели даже оно воспользуется небольшою пенсией, следовавшей, по закону, его дочери. Послана была бумага, чтобы удостовериться на месте, как признавалось бы наиболее полезным устроить полковницкую дочь.

Варнавинцевы еще не знали о смерти полковника, когда в их усадьбу приехал исправник. Усадьба эга находилась в за-

холустье Тотемского уезда, в селе, где, кроме них, ютились еще две-три мелкопоместных семьи. Домик у них был крохотный, ветхий, еле живой. Половицы ходуном ходили, потолок протекал, двери завязывались веревочкой, из окон дуло. В мирное время полковник держал дочь при себе, переходя с полком с одних зимних квартир на другие. Имением управляла сестра, девица лет под шестьдесят, которая не выезжала из деревни, перебиваясь кой-как и не имея даже возможности исправить упалый домишко. Но когда открылись военные действия, Лидочку увезли к тетке. Полковник думал, что кампания будет недолгая, а она между тем затянулась и в заключение — послала ему смерть.

Лидочке было двенадцать лет, когда в ее жизни совершился решительный поворот. О крепостной реформе и слухов не было, но крохотная барщина доставляла так мало, что с прекращением помощи со стороны полковника вдвоем просуществовать было невозможно. Земли было, по-видимому, и довольно, но половина ее находилась под зыбучим болотом, а добрый кусок занимали пески; из остального количества, за наделением крестьян, на долю помещика приходилось не больше шестидесяти десятин, но и то весьма сомнительного качества. Собственно говоря, главным подспорьем служил небольшой огород да лужок, дававший достаточно сена, чтобы содержать лошадь и с десяток коров. Прислуга при доме состояла из двух человек: хромоногого бобыля Фоки да пожилой бобылки Филанидушки, которые и справляли все работы около дома.

Но Прасковья Гавриловна (так звали старушку Варнавинцеву) была еще бодра и сильна. Она почти без посторонней помощи сама обработывала огород, убирала комнаты, зимой топила печки, покуда бобылка Филанидушка возилась в стряпущей, ходила за коровами и г. д. Сверх того, она завела у себя нечто вроде сельской школы. Набралось до двенадцати мальчиков и девочек, за обучение которых она деньгами не брала, а предоставляла благодарить ее натурой. Таким образом, у нее был обеспеченный запас муки, пряжи, полотна и другого деревенского добра.

Лидочка горячо любила отца и скоро подружилась с теткой. Когда пришла роковая весть, у обеих сердца застыли. Лидочка испугалась, убежала и спряталась в палисаднике. Прасковью Гавриловну придавила мысль, что рушилось все, что защищало их и указывало на какой-нибудь просвет в будущем. Она с ужасом глядела на Лидочку. Ей представился, рядом с гробом покойного брата, ее собственный гроб, а за этими двумя гробами зияла бездна одино-

чества и беспомощности, которые должны были поглотить Лидочку.

Однако известие, что участь племянницы обратила на себя внимание несколько ободрило Прасковью Гавриловну. Решено было просить о помещении девочки на казенный счет в институт, и просьба эта была уважена. Через три месяца Лидочка была уже в Петербурге, заключенная в четырех стенах одного из лучших институтов. А кроме того, за нею оставлена была и небольшая пенсия, назначенная за заслуги отца. Пенсию эту предполагалось копить из процентов и выдать сироте по выходе из института.

Бедность и сиротство Лидочки, ее характер, скромный и общительный, неблестящие способности, при чрезвычайном прилежании, некрасивая внешность — всё это сразу определяло ее институтское будущее. В нее вольется атмосфера институтского ребячества и малокровия; на нее ляжет та своеобразная печать, от которой не могут отделаться институтки даже долгое время после выпуска. Она будет играть в институте роль интересной сироты, но ее не будут заставлять ни играть на фортепиано, ни танцевать па-де-шаль в присутствии влиятельных посетителей. Скорее всего, она останется принадлежностью института, сначала в качестве воспитанницы, потом в качестве пепиньерки и, наконец, в качестве классной дамы. Классные дамы бывают двух сортов: злые и добрые; но она будет добрая, и все ее будут любить. Маленькие институтки будут ее обожать, большие перед выходом говорить ей «ты» и возьмут с нее слово не забывать их и по выходе из института. Благодаря беспрерывному нахождению среди детей она до глубокой старости сохранит ребяческую душу, ребяческое сердце, ребяческий ум.

Лидочку очень обласкали на первых порах. Посетителям указывали на нее глазами и шепотом говорили:

— Вы знаете... храбрый полковник Варнавинцев... celui, qui... [1] так это его дочь.

С товарками она тоже сошлась; ко всем ласкалась и всегда так отлично знала уроки, что помогала ленивеньким в их занятиях. Сверх того, всех занимало и ее исключительное положение.

— Неужто к тебе никто по воскресеньям ездить не будет? — спрашивали ее.

— Кому же ко мне ездить?.. я сирота! Папаша мой пал на поле сражения, а тетя в деревне живет.

---

[1] тот самый, который.

Она объясняла это так просто, как будто хотела сказать: как же вы не понимаете, что для меня остаются только стены института?

Даже родные институток, приезжавшие в институт в определенные дни, заинтересовались ею. Подзывали ее к себе, потчевали конфектами и пирожками, а княгиня Тараканова до того однажды договорилась, что просила ее кланяться тетке.

Тетка писала ей аккуратно два раза в месяц и подробно уведомляла о деревенском житье. Лидочка знала, что корова Красавка отелилась телочкой, что собака Жучка ослепла, что Фока лежал целый месяц больной и что нынешнее лето совсем огурцов не уродилось. Читая эти письма, девочка то радовалась, то плакала. Ей было приятно, что Красавка принесла телочку, а не бычка, но жаль было Жучку и Фоку, а всего больше жаль тетеньку, которая осталась без огурцов. «Должно быть, в Тотемском уезде климат слишком суров,— писала она к тетке,— потому что все наши девицы говорят, что в их краях никогда не бывало такого изобилия огурцов. Поливаете ли вы их, голубушка? И уродились ли, по крайней мере, рыжечки, которые в некоторых случаях могут вполне заменить огурцы?» Корреспонденция эта была единственным звеном, связывающим ее с живым миром; она одна напоминала сироте, что у нее есть где-то свое гнездо, и в нем своя церковь, в которой старая тетка молится о ней, Лидочке, и с нетерпением ждет часа, когда она появится в свете и — кто знает — быть может, составит блестящую партию... Ведь недаром же храбрый полковник Варнавинцев пал на поле сражения; найдутся люди, которые, ради отца, вспомнят и о дочери...

Из класса в класс Лидочка переходила исправно, но Прасковья Гавриловна не дождалась выхода ее сиротки из института и за год до окончания курса мирно скончалась в своем родовом Васильевском. Об этом Лидочку известил сельский священник, спрашивая, как поступить с господским домом, который совсем разваливается, и с Фокой и с Филанидушкой, которые остались ни при чем. Лидочка несколько дней сряду проплакала, но потом ребяческим своим умом рассудила, что если бог решил отозвать ее тетю, то, стало быть, это ему так угодно, что слезы представляют собой тот же ропот, которым она огорчает бога, и т. д.

— Наконец-то вы успокоились, Лидочка! — говорила ей классная дама.

— Я рассудила, Клеопатра Карловна, что слезами мы ничему помочь не можем, а только гневим своим ропотом бога,

которому, конечно, известно, как лучше с нами поступить,— резонно ответила девушка.

— И всегда так рассуждайте! — похвалила ее дама,— бог будет любить вас за это, а тетенька будет на вас радоваться. На свете всегда так бывает. Иногда мы думаем, что нас постигло несчастье, а это только испытание; а иногда — совсем напротив.

И тут сиротке помогли. Поручили губернатору озаботиться ее интересами и произвести ликвидацию ее дел. Через полгода все было кончено: господский дом продали на снос; землю, которая обрабатывалась в пользу помещика, раскупили по клочкам крестьяне; инвентарь — тоже; Фоку и Филанидушку поместили в богадельни. Вся ликвидация дала около двух тысяч рублей, да крестьяне, сверх того, были посажены на оброк по семи рублей с души.

— Ты, душка, по девяносто восьми рублей в год будешь получать! — поздравляли ее товарки.

— Счастливица!

— Нашли кому завидовать... миллионщицы! — отшучивалась сирота, но в душе совершенно правильно рассудила, что и девяносто восемь рублей на полу не поднимешь; что девяносто восемь рублей да проценты с капитала, вырученного за проданное имущество, около ста двадцати рублей — это уж двести осьмнадцать, да пенсии накопится к ее выходу около тысячи рублей — опять шестьдесят рублей...

Она не была ни жадна, ни мечтательна, но любила процесс сложения и вычитания. Сядет в угол и делает выкладки. Всегда она стояла на твердой почве, предпочитая истины общепризнанные, прочные. Говорила рассудительно, считала верно. Алгебры не понимала, как и вообще никаких отвлечений.

— Зачем мне *a* да *b*,— говорила она,— ежели я могу вместо *a* поставить 1, вместо *b* — 2? 1 + 2 — я понимаю, а *a* + *b*,— воля ваша, даже не вижу надобности понимать. Вот сегодня Леночке прислали десяток яблоков — ведь мы же не говорим, что она получила *c* яблоков?

Даже из басен Крылова она предпочитала «Ворону и Лисицу», «Три мужика» и т. д., а не «Стрекозу и Муравья», «Музыкантов» и проч.

— Стрекоза живет по-стрекозиному, муравей — по-муравьиному. Что же тут странного, что стрекоза «лето целое пропела»? Ведь будущей весной она и опять запела в полях — стало быть, и на зиму устроилась не хуже муравья. А «Музыкантов» я совсем не понимаю. Неужели непременно нужно быть пьяницей, чтобы хорошо играть, например, на скрипке?

Ученье приближалось к концу, а ребяческая рассудительность не оставляла ее.

Тетрадки ее были в порядке; книжки чисты и не запятнаны. У нее была шкатулка, которую подарила ей сама maman (директриса института) и в которой лежали разные сувениры. Сувениров было множество: шерстинки, шелковинки, ленточки, цветные бумажки, и все разложены аккуратно, к каждому привязана бумажка с обозначением, от кого и когда получен.

— Со временем у нее разовьются отличные педагогические способности,— говорили о ней классные дамы,— она аккуратна, точна в исполнении обязанностей, никогда не позволит себе отступить от правил. Вот только чересчур добра... даже рассердиться не умеет!

Она и сама прозревала, что в будущем ей предстоит педагогическая карьера; но иногда ей казалось странным, что ей ставят в упрек ее доброту. Напротив, она думала, что доброта обуздывает гораздо скорее, нежели строгость.

«Вот Клеопатра Карловна добрая,— рассуждала она,— и при ней все девицы ведут себя отлично; а Катерина Петровна строгая — ей все стараются назло сделать. С месяц назад новое платье ей испортили,— так и не догадалась, кто сделал».

Несмотря на приближение 18-ти лет, сердце ее ни разу не дрогнуло. К хорошеньким и богатеньким девицам уже начали перед выпуском приезжать в приемные дни, под именами кузенов и дяденек, молодые люди с хорошенькими усиками и с целыми ворохами конфект. Она не прочь была полюбоваться ими и даже воскликнуть:

— Ах, какой херувим!

Но в этом восклицании не слышалось ничего, кроме обычного институтского жаргона, который так и оставался жаргоном.

— Это князь Бесхвостый,— говорила ей подруга, которую молодой князь удостоивал своим вниманием (разумеется, с разрешения родителей).

— Ах, счастливица!

— Нравится он тебе?

— Божественный! херувим!

Иногда «счастливица» позволяла себе слегка посмеяться над Лидочкой.

— А знаешь ли, душка,— говорила она,— что ты произвела на князя очень большое впечатление?

— Ах, что ты! проказница! Ты посмотри на меня, какая я... Ну, под стать ли я такому херувиму!

Она говорила это без всякой тени досады, просто и откровенно, совершенно уверенная, что праздничная сторона жизни никогда не будет ее уделом.

Наконец наступил день выпуска, и Лидочке предложили остаться при институте в качестве пепиньерки. Разумеется, она согласилась. Счастливые институтки, разодетые по-городскому, плакали, расставаясь с нею.

— Ах, Лидочка, я упрошу maman тебя на лето к нам в деревню взять! — говорила одна.

— Ах, какая ты добрая!

— Ты, Лидочка, к нам по воскресеньям обедать приходи! — говорила другая.

— Милые вы мои!

Кареты с громом отъезжали от подъезда. Лидочка провожала глазами подруг, которые махали ей платками. Наконец уехала последняя карета.

Дверь швейцарской захлопнулась. Лидочка вновь погрузилась в институтскую тишину.

— Лидочка! Вам жаль старых подруг? — спрашивали ее.

— Ах, даже очень, очень жаль!

— Вы завидуете им?

— Я не имею права завидовать. Я всегда понимала, что им предстоит одна дорога, а мне — другая. И могу только благодарить моих покровителей, что они не оставляют меня.

— Но ведь скучно в институте?

— Мне не скучно. Но ежели бы и было скучно, то надо же кому-нибудь и скучать. Притом же я, с позволения maman, буду иногда выходить в город. И я уверена, что подруги свидятся со мной без неудовольствия.

В первое воскресенье она, однако ж, посовестилась тревожить подруг. «Им не до меня,— сказала она себе,— они теперь по родным ездят, подарки получают, покупают наряды!» Но на другое воскресенье отважилась. Надела высокий, высокий корсет, точно кирасу, и с утра отправилась к Настеньке Буровой.

Было уже одиннадцать часов, но Настенька еще нежилась в постели. Разумеется, она была очень рада приходу Лидочки.

— Ты очень хорошо сделала, что пораньше приехала,— сказала она,— а то мы не успели бы наговориться. Представь себе, у меня целый день занят! В два часа — кататься, потом с визитами, обедаем у тети Головковой, вечером — в театр. Ах, ты не можешь себе представить, как уморительно играет в Михайловском театре Верне́!

— Ну, вот и прекрасно, что ты не скучаешь!

— Постой, душечка, я тебе свой trousseau[1] покажу!

И начала раскладывать одно за другим платья, блузы, принадлежности белья и проч. Все было свежо, нарядно, сшито в мастерских лучших портных. Лидочка осматривала каждую вещицу и восхищалась. Восхищалась объективно, без всякого отношения к самой себе. Корсет ровно вздымался на груди ее в то время, как с ее языка срывались: «Ах, душка!», «ах, очарованье!», «ах, херувим!»

— Хочешь, я тебе эту ленту подарю? — вдруг вздумалось Настеньке.

— Подари!

— Впрочем... знаешь ли что? Я лучше в другой раз — прежде у мамаши спрошу!

— И прекрасно сделаешь! Это первый наш долг — спрашиваться у родителей.

В будуар к Настеньке вошла кисло-сладкая дама и пожала Лидочке руку. Это была maman Бурова.

— Любуетесь? — спросила она.

— Прелесть! очарование!

— Да, но и не дешево это стоит.

— Я воображаю!

— Maman! мне хотелось бы Лидочке вот эту ленту подарить! Посмотри, как к ней это идет!

Настенька обернула ленту кругом Лидочкиной талии и сделала спереди бант.

— Charmant![2] — крикнула она в восхищении.

Но maman не ответила ни да, ни нет, а только сказала дочери:

— Какой ты, мой друг, еще ребенок! — И, обратившись к Лидочке, прибавила: — Вы к нам? Ах, как жаль, что у нас сегодня целый день занят! Но в другой раз...

— Ничего, у меня свой дом в институте есть...

— Знаешь ли что,— догадалась Настенька,— поезжай к Верховцевым; я знаю, что они сегодня дома.

— А и то — пойти к ним. Верочка тоже меня приглашала...

— Только вы нас уж, пожалуйста, извините! — повторила maman Бурова.

— Ах, что вы! Разве я не понимаю!

Верховцевы сходили по лестнице, когда Лидочка поднималась к ним. Впрочем, они уезжали не надолго — всего три-четыре визита, и просили Лидочку подождать. Она во-

---

[1] приданое.
[2] Прелестно!

шла в пустынную гостиную и села у стола с альбомами. Пересмотрела все — один за другим, а Верховцевых все нет как нет. Но Лидочка не обижалась; только ей очень хотелось есть, потому что институтский день начинается рано, и она, кроме того, сделала порядочный моцион. Наконец, часов около пяти, Верочка воротилась.

— Как ты отлично сделала, что к нам собралась! — крикнула она, бросаясь на шею к подруге.

— Жаль только, что мы в театр сегодня собрались,— молвила maman Верховцева.

— Maman! возьмем Лидочку с собою! Лидочка! сегодня ведь «L'amour — qu'est qu'c'est qu'ça?» играют! Уморительно!

— С большим удовольствием,— согласилась maman,— но Лидии Степановне придется сесть сзади...

— Так что ж такое! разве я не понимаю!

Дни шли за днями, а подруги не забывали ее. Нередко приезжали в институт, осматривали знакомые комнаты и засаживались на четверть часа в каморке у старой товарки. В среде их уже устраивались свадьбы, и редкая забыла сделать Лидочку участницей своего счастия. Бедная пепиньерка являлась в своей кирасе и в горохового цвета шелковом платье, которое сослужило ей хорошую службу. Потом пошли родины, крестины — сироту всюду звали, а во время девятидневного родильного карантина она почти безвыходно сидела около родильницы — разумеется, с позволения институтской maman.

Однажды Настенька Бурова сообщила, ей, что Верочка Верховцева, только два месяца тому назад вышедшая замуж, уж «дурно ведет себя»; но Лидочка взглянула так удивленно, что Настенька расхохоталась.

— Ах, какая ты уморительная! — смеялась она,— еще Верочка ничего, а на днях Alexandrine Геровская бросила мужа и прямо переехала к своему гусару.

— Неужто начальство это позволяет?

Некоторые из товарок пытались даже расшевелить ее. Давали читать романы, рассказывали соблазнительные истории; но никакой соблазн не проникал сквозь кирасу, покрывавшую ее грудь. Она слишком была занята своими обязанностями, чтобы дать волю воображению. Вставала рано; отправлялась на дежурство и вечером возвращалась в каморку хотя и достаточно бодрая, но без иных мыслей, кроме мысли о сне.

Мало-помалу круг старых подруг сократился. Лидочка все реже и реже отлучалась из института в город и почти все время свое отдавала маленьким институткам, которые ей были

поручены. Вследствие беспрерывного общения с малолетними, в нее все глубже и глубже впивалась складка ребячества. И радости и горести ее были совершенно те же, что и у десяти — двенадцатилетних девочек, которые кишели вокруг нее. Вся разница между нею и ими заключалась в том, что она в течение целого дня не покидала своей кирасы. Посторонние начинали находить, что с нею скучно. Но она радовалась, что пичужки любят ее, что начальство довольно, и все реже и реже пользовалась отпуском в город, хотя гороховое платье еще было как новое.

Она была деятельна и неутомима только при исполнении своих обязанностей; вне этого круга она могла назваться даже ленивою. Ничто не манило ее за стены института. Старые подруги рассеялись, новых выпускных девиц, которых она могла бы назвать своими воспитанницами, еще не было.

Воспитательная репутация ее все росла и росла; ее уже подумывали сделать классной дамой. Однажды приехал в институт вновь назначенный начальник и сказал ей:

— Вся русская армия чтит память покойного вашего батюшки, а батальон, которым он командовал, и поныне считается образцовым. Очень рад слышать, что вы идете по стопам достославного отца своего.

Эта похвала несколько взволновала ее. Она подумала, что и папаша и тетя смотрят на нее в эту минуту с высот небесных и радуются, что она так отлично устроилась. В самом деле, у нее был свой уголок с стоящими на окнах лимонными и апельсинными деревцами, которые она сама вырастила из семечек; у нее был готовый стол; воспитанницы любили ее, начальство ею дорожило — чего еще надо сиротке? К довершению всего, корсет, который она носила, оказался так прочно сшит, что в течение десяти лет не потребовал ни малейшей починки. И деньги у нее водились; а так как ей решительно некуда было тратить их, то, вместе с сбережениями, образовался уж капитал около шести тысяч рублей. Она решилась завещать его на учреждение одной или двух стипендий в том институте, который дал ей приют.

Однажды только она не на шутку взволновалась: ей приснился муж Машеньки Гронмейер, «херувим» с маленькими усиками и в щегольском сюртучке, которого она, еще будучи институткой, видела в приемные дни в числе посетителей. Фамилия его была Копорьев, и Лидочка, по окончании курса, довольно часто посещала старую подругу. Никогда она не давала себе отчета, какого рода чувства возбуждал в ней Копорьев, но, вероятно, у нее вошло в привычку называть его

«херувимом», потому что это название не оставляло его даже тогда, когда «херувим» однажды предстал перед нею в вицмундире и с Анной на шее. В этом же виде он и приснился ей. Разумеется, она ни на минуту не поколебалась. Отперла заветную шкатулку, вынула оттуда старую перчатку Копорьева и бросила ее в топившуюся печку. С тех пор все как рукой сняло.

Никогда она не думала о выходе в замужество, никогда. Даже мимолетом не залетала эта мысль в ее голову, словно этот важнейший шаг женской жизни вовсе не касался ее.

Чем более погружалась она в институтскую мглу, тем своеобразнее становилось ее представление о мужчине. Когда-то ей везде виделись «херувимы»; теперь это было нечто вроде стада статских советников (и выше), из которых каждый имел надзор по своей части. Одни по хозяйственной, другие — по полицейской, третьи — по финансовой и т. д. А полковники и генералы стоят кругом в виде живой изгороди и наблюдают за тем, чтобы статским советникам не препятствовали огород городить.

Когда ей было уже за тридцать, ей предложили место классной дамы. Разумеется, она приняла с благодарностью и дала себе слово сделаться достойною оказанного ей отличия. Даже старалась быть строгою, как это ей рекомендовали, но никак не могла. Сама заводила в рекреационные часы игры с девицами, бегала и кружилась с ними, несмотря на то, что тугой и высокий корсет очень мешал ей. Начальство, видя это, покачивало головой, но наконец махнуло рукой, убедясь, что никаких беспорядков из этого не выходило.

Из класса в класс переходила она с «своими» девицами и радовалась, что наконец и у нее будет свой собственный выпуск, как у Клеопатры Карловны. Перед выпуском опять стали наезжать в приемные дни «херувимы»; но разница в ее прежних и нынешних воззрениях на них была громадная. Во дни оны она чувствовала себя точно причастною этому названию; теперь она употребляла это выражение совершенно машинально, чтоб сказать что-нибудь приятное девице, которую навещал «херувим».

Наконец день первого *ее* выпуска наступил. Красивейшая из девиц с необыкновенною грацией протанцевала па-де-шаль; другая с чувством прочла стихотворение Лермонтова «Спор»; на двух роялях исполнили в восемь рук увертюру из «Фрейшютц»; некрасивые и малоталантливые девицы исполнили хор из «Руслана и Людмилы». Родители прослезились и обнимали детей.

Наконец наступил час расставания. Как и при собственном выходе из института, Лидия Степановна стояла в швейцарской и провожала уезжавших.

— Прощайте божественная! небожительница! — кричали ей девицы, усаживаясь в кареты,— не забудьте! приезжайте!

— Непременно! непременно! — отвечала она им вслед.

Она махала платком, и ей махали платками из карет.

Вместе с нею стояла в швейцарской выпущенная институтка и плакала. Она тоже кончила курс, но была сирота, и ей предложили остаться при институте пепиньеркой.

— Вот и вы, Любочка, обрели тихое пристанище,— молвила плачущей Лидия Степановна.

Затем взяла ее под руку, и обе стали взбираться вверх по лестнице.

— Вы не плачьте,— утешала старшая сирота младшую,— здесь тихо... спокойно... точно в колыбели качаешься... Вам отведут комнату, и вы можете сидеть в ней и думать. Я тоже сидела и думала, но скоро успокоилась, и вам то же советую. Что мы такое? Мы — предназначенные судьбою вечные институтки. Институт наложил на нас свою печать, и эта печать будет лежать на нас до старости. Это хорошо, потому что иначе нельзя было бы жить. Вот придет весна, распустятся аллеи в институтском саду; мы будем вместе с вами ходить в сад во время классов, станем разговаривать, сообщать друг другу свои секреты... Право, судьба еще не так жестока, как кажется!

Около этого времени ее постигло горькое испытание: умерла старая директриса института. Горе едва не подавило ее, но она, как и по случаю смерти тетки, вступила с ним в борьбу и вышла из нее с честью.

— Бог знает, что́ делает,— сказала она себе,— он отозвал к себе нашу добрую maman — стало быть, она нужна была *там*. А начальство, без сомнения, пришлет нам новую maman, которая со временем вознаградит нас за горькую утрату.

И действительно, через месяц явилась новая maman, и Лидия Степановна полюбила ее, как старую.

. . . .

Теперь ей уж за сорок, и скоро собираются праздновать ее юбилей. В парадные дни и во время официальных приемов, когда показывают институт влиятельным лицам, она следует за директрисой, в качестве старшей классной дамы, и всегда очень резонно отвечает на обращаемые к ней вопросы. В будущем она никаких изменений не предвидит, да и никому из на-

чальствующих не приходит на мысль, что она может быть чем-нибудь иным, кроме образцовой классной дамы.

Корсет она, однако ж, переменила. Прежде всего старый обветшал, а наконец, она сама потучнела, и тело сделалось у нее грубое, словно хрящеватое. Но и тут она отказалась следовать моде и сделала себе корсет такой же высокий и жесткий, как кираса.

— Довольны вы? — спрашивал я ее на днях, встретивши ее у одной из ее питомок, молоденькой дамы, которая очень недавно связала себя узами гименея.

— И даже очень,— ответила она мне,— вспомните, ведь я сирота, и институт дал мне приют... Разве я этого не понимаю?

V

В СФЕРЕ СЕЯНИЯ

1. ГАЗЕТЧИК

Чем развитее общество, тем резче обозначаются в нем разнообразные умственные и политические течения, которые увлекают в свой круговорот массы людей. Так, например, во Франции существуют республиканцы различных оттенков и подразделений, монархисты вообще и. в частности, бонапартисты, легитимисты и орлеанисты; наконец, социалисты вообще и, в частности, социал-демократы, коллективисты и т. д. Приблизительно то же самое встречается и в других странах Западной Европы. Течения эти полагают начало политическим партиям; они же лежат и в основе журналистики. Правильна или неправильна идея, полезно или вредно направление, которому служит данный журнал (по-нашему, «газета»), это — вопрос особый; но несомненно, что и идея и направление — существуют, что они высказываются в каждой строке журнала, не смешиваясь ни с какими другими идеями и направлениями. Издатель знает, что он издает; подписчик знает, на что он подписывается.

Торжество той или другой идеи производит известные изменения в политических сферах и в то же время представляет собой торжество журналистики соответствующего оттенка. Журналистика не стоит в стороне от жизни страны, считая подписчиков и рассчитывая лишь на то, чтобы журнальные воротилы были сыты, а принимает действительное участие в жизни. Стоит вспомнить июльскую монархию и ее представителя, Луи-Филиппа, чтобы убедиться в этом.

Но бывает и так, что журнальною деятельностью руководят не общественные и политические интересы, а побуждения совсем иного (низменно-морального) свойства. Или, говоря другими словами, бывает и так, что газеты, лишенные публицистической подкладки, подразделяются, по своему характеру, на ликующие и трепещущие. Содержание для первых представляют веселая диффамация и всех сортов балагурство (иногда, впрочем, заменяемые благонамеренным бешенством);

содержанием для последних служит агонизирующая тоска, ввиду завтрашнего дня, и ежедневная разработка шкурного вопроса.

Каким образом балагурство для балагурства, бешенство для бешенства, тоска для тоски могут удовлетворять читающие массы — это секрет той степени развития, на которой может находиться в каждую данную минуту каждое данное общество. Ежели умственные и политические интересы не возбуждают внимания общества, то и журналистика неизбежно принимает соответствующий низменный характер. Единственная расценка, которая при этом допускается,— это подразделение газетных деятелей, как я сказал выше, на две группы: ликующих и трепещущих. О первых говорится: «Нахалы, но — молодцы!» О последних: «Ах, бедные!»

Сделавши эту оговорку, приступаю к рассказу.

Первое место — газетчику ликующему, так как эта разновидность наиболее распространенная и притом благоденствующая.

Откуда он появляется на арену публичной деятельности? грек ли он таганрогский, расторговавшийся на халве и губках, еврей ли бердичевский, бывший ли сыщик или просто питомец воспитательного дома?

Каким образом приобрел он вкус к письменам?

Как очутился он во главе большой и распространенной газеты, претендующей на руководящее значение?

На все эти вопросы он может ответить только невнятным бормотанием.

Он даже избегает такого рода собеседований, как будто чувствует за собою вину. Он боится, что если обнаружится тайна осиявшего его ореола, то его станут дразнить. Он сам в основу своей литературно-публицистической деятельности всегда полагал дразнение и потому не без основания опасается, что та же система будет применена и к нему. Мелкодушный и легкомысленный, он только от мелкодушных и легкомысленных ждет возмездия и обуздания.

Фактов, которые, в выгодном для него смысле, подтверждали бы его права на руководительство общественным мнением, не существует. Те факты, которые известны, свидетельствуют лишь о том, что он, до своего теперешнего возвеличения, пописывал фельетонцы, разрабатывал вопросцы и вообще занимался мелкосошным журнальным делом.

В фельетонцах он утверждал, что катанье на тройках есть признак наступления зимы; что есть блины с икрой — все

равно, что в море купаться; что открытие «Аркадии» и «Ливадии» знаменует наступление весны. Вопросцы он разрабатывал крохотные, но дразнящие, оставляя, однако ж, в запасе лазейку, которая давала бы возможность отпереться. Вообще принял себе за правило писать бойко и хлестко; ненавидел принципы и убеждения и о писателях этой категории отзывался, что они напускают на публику уныние и скучищу.

Ввиду тумана, окутывающего его прошлое, его обыкновенно называют Иваном Непомнящим (имя собирательное). Этим же именем буду называть его здесь и я.

Газета Ивана Непомнящего возникла точно так же нечаянно, как и он сам. Он не верил глазам, когда ему принесли из типографии первый, пробный нумер. Удивление его тем более было законно, что в этом нумере он не узнавал самого себя. Ему посоветовали, для начала, прикинуться серьезным, и он смекнул, что это совет недурной. Большинство знавших его прежнюю бесшабашную деятельность ожидало, что он сейчас же начнет кувыркаться, и было приятно изумлено, услышав, что этот кувыркающийся человек может, между прочим, изрекать и солидные словеса. «Кувырканье от нас не уйдет,— говорили читатели,— но нужно и разнообразить газету». Притом же существуют факты, которые газета не имеет права игнорировать и по поводу которых сразу начать кувыркаться даже неудобно. Нужно до известной степени подготовить публику, приручить читателя, образовать его вкусы в известном направлении, а потом уж и начать звонить вовсю. Когда эта задача будет выполнена, никто не удивится, если и самые серьезные жизненные явления предстанут пропитанными кувырканьем.

Итак, на первых порах Непомнящий ведет свое предприятие довольно скромно. Прошедшее его имело слегка либеральный характер. Один Непомнящий (имя собирательное) дразнился в фельетонцах, другой — в статьях публицистического характера, третий — тиснул какую-то брошюру, и сам не помнит — о чем. Словом сказать, и тот, и другой, и третий — наследили-таки следов, покуда балагурили за чужой счет. Теперь, сделавшись обладателями сокровища, они понимают, что надо эти следы замести хвостом. И вот один Непомнящий объявляет, что, в сущности, он никогда не дразнился, а просто балагурил; другой, что если он язвил в одну сторону, то может, по требованию, язвить и в другую; третий — что он и сам не знает, что делал, но вперед «не будет». И тут же представляют образцы будущего хорошего поведения. Вероломство и подвохи украшают столбцы вперемежку с лестью и курением фимиамов. Один Непомнящий науськивает весело и

бойко; другой — производит то же самое с шипением и пеною у рта; третий — не знает, как ему поспеть за двумя первыми.

Спросите Непомнящего, что он хочет, какие цели преследует его газета? — и ежели в нем еще сохранилась хоть капля искренности, то вы услышите ответ: хочу подписчика! Да и чего другого ему хотеть? Он до тонкости постиг суть своего времени и очень хорошо знает, что древняя поговорка: «scripta manent»[1] — до его ремесла не относится. Ему достоверно известно, что его «простыня» годна только сегодня, а завтра она исчезнет — куда? О господи, спаси и помилуй! О каких же тут целях может идти речь, кроме уловления подписчика? «Scripta» исчезают бесследно, не оставляя в памяти ничего, кроме мути; но подписчик остается (вон он, слоняется по улице! — где у тебя портмоне?.. дур-рак!), и запах его имеет одуряющие свойства. Надо изловить его; а чтобы достигнуть этого, необходимо давать ему именно ту умственную пищу, которая ему по вкусу. Поэтому Непомнящий напрягает все усилия преимущественно в начале года и к концу его. В средине он может даже игнорировать собственную газету, потому что это время глухое и никаких существенных перемен в материальном смысле не представляет. Но с октября Непомнящий стоит уж на страже и начинает подсчитывать. И не только он сам, но и ближайшие сотрудники его как будто чувствуют, что наступает час генеральной битвы, и удвоивают усилия. Никогда не бывает таких забубенных, ликующих фельетонцев, никогда «вопросцам» не уделяется так много места, никогда столбцы не уснащаются такою массою подсиживаний. Читатель в изумлении ждет, что будет дальше,— и подписывается.

Подписчик драгоценен еще и в том смысле, что он приводит за собою объявителя. Никакая кухарка, ни один дворник не пойдут объявлять о себе в газету, которая считает подписчиков единичными тысячами. И вот из скромных дворнических лепт образуется ассигнационная груда. Найдут ли алчущие кухарки искомое место — это еще вопрос; но газетчик свое дело сделал; он спустил кухаркину лепту в общую пропасть, и затем ему и в голову не придет, что эта лепта составляет один из элементов его благосостояния.

Одним словом, под фирмой газеты Непомнящий приобрел себе сокровище. Понятно, что он бережет ее, как зеницу ока, от всяких случайностей. Ввиду упрочения ее будущего, не должно быть речи ни об идеях, ни о целях, ни об убеждениях, ни о чем, кроме наивернейших способов удержать за собою

[1] «Письмена остаются».

сокровище. Он употребляет все усилия, чтобы проникнуть в мысль и вкусы влиятельной среды, справляется у приспешников, угадывает смысл улыбок и телодвижений, напоминает о своей неизменной готовности, а иногда даже удостоивается собеседований. Язвит он исключительно безоружных, тех, которые на его науськиванье не могут дать прямого отпора. Такой образ действия и до сих пор у нас известен под именем полемики. Изречет ликующий доброволец какую-нибудь бесспорную «истину», вроде, например, обвинения в неблагонадежности, и торжествует, зная заранее, что ответ на такое обвинение немыслим. Почему немыслим? — а потому, милостивые государи, что, во-первых, в обвинении подобного рода, говоря языком юристов, нет состава вины, а во-вторых, и потому, что самый спор об известных предметах может завести в такую трущобу, из которой и не вылезешь.

Благодаря прочно организованной системе приспешничества газета Непомнящего получает возможность ежедневно снабжать читателя целой массой новостей и слухов. Читатель жадно ловит эти слухи, прежде всего потому, что он сам иной здоровой пищи не знает, а наконец, и потому, что всякая новость передается в газете бойко, весело, облитая соответствующим пикантным соусом. Завтра девять десятых этих слухов окажутся лишенными основания, но зато они заменятся таким же количеством других слухов, которые окажутся ложными послезавтра. По части слухов, кроме системы приспешничества, много способствует и дар выдумки. Существует целая армия сотрудников, репортеров, странствующих витязей, которых назначение заключается единственно в том, чтобы оживлять столбцы и занимать читателя целым ворохом небывальщины. Запасшись этим ворохом, читатель на целый день обеспечен. Он ходит по улице, навещает знакомых и целый день лжет на основании данных, почерпнутых им из газеты Непомнящего 1-го. Знакомые его, получающие газету Непомнящего 2-го, в свою очередь, лгут. Происходит обмен сумбурных мыслей, которые, впрочем, имеют за собой то преимущество, что не дают жизни окончательно замереть. Ибо этот-то именно сумбур и называется жизнию.

Обилие сплетен приводит за собой обилие подписчика; обилие подписчика приносит обилие денег. Сначала Непомнящий как бы робеет перед сыплющеюся на него манною, относится к ней слегка иронически и даже ведет приблизительно тот же образ жизни, к которому привык с молодых ногтей. Но по мере того, как растет толпа объявителей-дворников и объявительниц-кухарок, сердце его все шире и шире раскрывается для сибаритства. Непомнящий забывает прошлое, привередни-

чает, бросает деньги направо и налево. Прежде всего он устраивает себе обширный кабинет с изобилием письменных столов, с тяжелою мебелью, тяжелыми портьерами и гардинами, стараясь придать помещению такой вид, чтобы случайный посетитель знал, что именно в этой храмине производится та таинственная стряпня, по поводу которой сложилась поговорка, что печать есть шестая великая держава. Около часу дня в кабинет начинает приливать набранное в типографии для завтрашнего нумера лганье.

Под масть кабинету устраивается и остальное помещение. Обширная столовая со шкафами, уставленными серебром (непременно в русском стиле), приемная, два салона. Только комнаты, отведенные для сотрудников и для семьи (ежели таковая есть), несколько напоминают трактир средней руки. Первые плохо вентилируются, редко выметаются, всегда наполнены табачным дымом и тою неопрятностью, которая сопровождает беспрерывное питье чая и неумеренное потребление бутербродов (угощение от редакции). Последние представляют собой склад всякого рода покупок, которые ворохами приливают с утра до вечера и разбрасываются по столам, стульям, постелям — где попало.

Непомнящий назначает журфиксы и устраивает обеды. И на тех и на других фигурируют преимущественно сотрудники и ведется откровенная беседа о том, что хотя подписчик и наклевывается, но следует и еще «поддать жару», чтобы он продолжал приливать. Сверх того, в штате Непомнящего непременно состоят три лица: льстец, рассказчик сцен и разорившийся жуир. Первый называет хозяина «амфитрионом», провозглашает за него тосты и передает патрону подслушанные разговоры; второй — оживляет застольную беседу; последний распоряжается кулинарною частию, сервировкой и обучает хозяина приличным манерам. Изредка в эту богато убранную клоаку заходят актеры, актрисы и канцелярские лазутчики, доставляющие материал для новостей дня. Особенным торжеством для себя считает Непомнящий, когда его посетит заезжая знаменитость. «Иностранцы,— говорит он,— начинают уже понимать, что в России печать — сила».

Повар Непомнящего отличный; обед тонкий — такой, о котором и во сне не снилось объявляющимся в его газете кухаркам. Лакеи во фраках и белых галстуках бесшумно обходят гостей, под зорким наблюдением старого жуира, который лишь на минутку садится за стол и почти все время дежурит около входной двери, щелкая языком, когда мимо него проносят лакомые блюда, и тревожно произнося: «psst!» — когда в сервировке замечается промах. Льстец тоже следит за серви-

ровкой, но не по обязанности, а из усердия. Только рассказчик сцен делает вид, что он здесь — дома, и наполняет залу звукоподражаниями. Гости сидят скромно и потихоньку переговариваются между собою.

Но Непомнящему уже все надоело. Он едва притрогивается к великолепному шо-фруа, почти с презрением отламывает клешню рака à la bordelaise,— пососет и бросит. В воображении его проносится какое-то диковинное блюдо, в котором рядом фигурируют и шоколад, и мармелад, и икра с маслом, и стерлядь, и говяжий сычуг. Все это он едал отдельно, а теперь хотелось бы разом свалить все ингредиенты в кастрюлю, полить уксусом, яичным желтком и дать упреть. Но увы! — это только мечта! Не раз он сообщал эту мечту своему повару, но последний только улыбался, слушая его. Известно, богатому человеку и бред наяву к лицу.

Иногда, проглатывая куски сочного ростбифа, он уносится мыслию в далекое прошлое, припоминается Сундучный ряд в Москве — какая там продавалась с лотков ветчина! какие были квасы! А потом Московский трактир, куда он изредка захаживал полакомиться селянкой! Чего в этой селянке не было: и капуста, и обрывки телятины, дичины, ветчины, и маслины — почти то самое волшебное блюдо, о котором он мечтает теперь в апогее своего величия!

— А помнишь, Маня,— обращается он через стол к жене,— как мы с тобой в Москве в Сундучный ряд бегали? Купим, бывало, сайку да по ломтю ветчины (вот какие тогда ломти резали! — показывает он рукой) — и сыты на весь день!

Маню точно кто сзади в шею укусил. Лицо ее пламенеет, и она быстро ныряет им в тарелку, храня глубокое молчание. Но на него нашел добрый стих, и он продолжает благодушествовать.

— А что, господа! — обращается он к гостям,— ведь это лучшенькое из всего, что мы испытали в жизни, и я всегда с благодарностью вспоминаю об этом времени. Что такое я теперь? — «Я знаю, что я ничего не знаю»,— вот все, что я могу сказать о себе. Все мне прискучило, все мной испытано — и на дне всего оказалось — ничто! Nichts! А в то золотое время земля под ногами горела, кровь кипела в жилах... Придешь в Московский трактир: «Гаврило! селянки!» — Ах, что это за селянка была! Маня, помнишь?

Маню опять нечто кусает в затылок, и она вновь молча ныряет лицом в тарелку.

— Вот она этих воспоминаний не любит,— кобенится Непомнящий,— а я ничего дороже их не знаю. Поверьте, что когда-нибудь я устрою себе праздник по своему вкусу. Брошу

все, уеду в Москву и спрячусь куда-нибудь на Плющиху... непременно на Плющиху!

— Плющиха — улица первый сорт! — откликается рассказчик сцен — тут и Смоленский рынок близко — весь воздух протухлой рыбой провонял. Позвольте, я по этому самому случаю сцену из народного быта расскажу!

И рассказывает. Гости грохочут; даже лакеи позволяют себе слегка ухмыльнуться. Сервировка обеда несколько замедляется, к великому огорчению жуира, который исповедует то мнение, что за обед садятся затем, чтобы есть, а не затем, чтобы разговаривать.

К счастью, в это время лакей подает на серебряном подносе записку. Это рапортичка из конторы газеты; в ней значится: «Сего 11-го декабря прибыло на газету годовых подписчиков: городских 63, с почты — 467, итого 530. Затем, полугодовых, месячных» и т. д.

Непомнящий громко прочитывает записку; гости рукоплещут; жуир неистово произносит: «psst!»; льстец и рассказчик сцен откупоривают бутылки с шампанским и разливают вино по стаканам.

— Господа! — провозглашает Непомнящий, уже совсем забыв о недавней московской идиллии,— ежели так продолжится до 1-го января, то победа будет обеспечена. Не забудем, что после 1-го января перед нами еще целый год, в продолжение которого *подписка принимается;* наконец, весьма важный ресурс представляет розничная продажа... Повторяю: это — победа! Но она досталась нам нелегко. Припомним недавние годы, когда даже декабрьская подписка не достигала и трети теперешнего количества пренумерантов,— сколько потрачено усилий, тревог, волнений, чтобы выйти из состояния посредственности и довести дело до того блестящего положения, в котором оно в настоящее время находится! Положением этим я обязан не столько своим личным скромным силам,— «я знаю, что я ничего не знаю», только и всего,— сколько труду моих дорогих сотрудников (льстец закатывает глаза и мотает головой; сотрудники протестуют; раздаются возгласы: «Нет, вы даете тон газете! вам она обязана своим успехом! вам!»)... Благодарю вас, господа! Вы чересчур добры, но я совершенно искренно говорю: вы на ваших плечах вынесли мою газету; без вашего содействия она не достигла бы и малой доли теперешнего процветания! Что касается лично до меня, то единственная моя заслуга состоит в том, что я не унывал. Я сказал себе раз навсегда, что газету следует вести бойко, весело («так! так!»), что нужно давать читателю ежедневный материал для светского разговора («совершенно справедливо!

совершенно справедливо!») — и неуклонно следовал этому принципу. Сверх того, я сказал себе: никогда не прать против рожна («никогда! никогда!»), потому, во-первых, что самое слово «рожон», в сущности, не имеет смысла, и, во-вторых, потому, что мы живем в такое время, когда не прать нужно, а содействовать. Вы поняли мою мысль, вы даже косвенно не «прали» и этим обеспечили будущее моей газеты. Исполать вам, господа! Поднимаю бокал и пью за здоровье моих дорогих друзей и сотрудников... ура!

— Нет! нет! за ваше здоровье! за ваше! об нас после... сначала вы!

— За здоровье радушного хозяина! — провозглашает льстец. Все встают из-за стола и гурьбою направляются к радушному амфитриону. Раздаются поцелуи.

Устраивая обеды и вечера, Непомнящий, как я уже сказал выше, прикидывается пресыщенным. Он чаще и чаще повторяет, что все на свете сем превратно, все на свете коловратно; что философия, науки, искусство — все исчерпывается словом: nichts! Посмотрит на пук ассигнаций, принесенный из конторы, и скажет: nichts! прочитает корректуру газеты и опять скажет: nichts! Если бы был под рукою Мефистофель, он приказал бы ему потопить корабль с грузом шоколада.

— Сходите в мелочную лавку и принесите колбасы! — восклицает он.

Он рассматривает принесенную колбасу в микроскоп и видит шевелящихся трихин. Какая прекрасная мысль для фельетона! Бедняк заходит в лавочку, покупает, для поддержания жизни, на гривенник колбасы и обретает смерть! С другой стороны, пресыщенный богач, под внушением внезапной прихоти... опять колбаса — и опять смерть! Какое горькое сопоставление! Однако есть ли принесенную из лавки колбасу или не есть? Собственно говоря, жизнь так надоела, что всего естественнее было бы съесть колбасу и умереть. Но, с другой стороны, он — не просто Непомнящий, но прежде всего гражданин страны и патриот своего отечества. У него на руках целая масса сотрудников, корректоров, факторов, наборщиков. Наконец, публика, которую тоже нельзя оставить без руководительства. Нет, лучше не есть!

Не зная, как освободиться от массы денег и от гнета бездельничества, он начинает коллекционировать. Ходит по Апраксину двору, отыскивает подлинных Рубенсов и Теньеров и мимоходом находит чашу, из которой пил Олег, прибивая щит к вратам Константинополя. Запасшись десятком-другим апраксинских Рубенсов, украсив свой кабинет дорогими эльзевирами, он вновь начинает томиться бездельничеством. Лежит

по целым часам на диване, посвистывает и наконец нападает на мысль устроить еще два кабинета: китайский и японский. Он посещает базары и аукционы, знакомится с путешественниками, дает им поручения и в уме проектирует четыре зала: один под Рубенсов и Теньеров, другой — под старинные братины, кубки и прочую утварь; третий зал будет китайский, четвертый — японский. Квартиру придется переменить.

А газета между тем идет все ходчее и ходчее. Подписчик так и валит; от кухарок, дворников, кучеров отбою нет. У Непомнящего голова с каждым днем делается менее и менее способною выдумать что-нибудь путное для помещения денег.

Некоторое время его соблазняет мысль: не съездить ли в Италию, где продается за́мок Лампопо́ с принадлежащим к нему княжеским титулом? Сверх того, у него на правой лядвее вскочил прыщ, так уж и его, кстати, омыть в волнах Средиземного моря. Находятся, однако ж, настолько честные люди, которые доказывают, что затея его требует, по малой мере, в двадцать раз большего капитала, нежели тот, которым он обладает. С горечью покидает он свою мечту и жалуется, что ничто ему не удается. Nichts! Он ропщет на себя за то, что до сих пор так безрасчетно расходовал дворницкие лепты, и жестко отказывает сотрудникам в выдаче денег в счет будущих заработков.

На другой день, однако ж, Непомнящий, по обыкновению, забыл о вчерашнем. И мечты и намерения сменяются в нем быстро, без всякой резонной причины. Вчера он мечтал о покупке за̀мка в Италии, сегодня — порешил сделаться крупным землевладельцем в своем отечестве. Ему нужно много-много земли, много-много леса и пропасть воды. Для обработки земли он выпишет из Франции нормандских жеребцов и скупит все сельскохозяйственные машины, какие существуют на свете. В лес он напустит всевозможных птиц и зверей и будет устраивать охоты. В водах будет производить опыты рыбоводства: скрестит леща с налимом, стерлядь с судаком. Но, главным образом, ему необходима старинная барская усадьба, такая, в которой каждое уединенное место свидетельствовало бы о временном пребывании в нем Добрыни, или Осляби, или Яна Усмовича. Эти места он слегка реставрирует, но непременно в том же духе и стиле, в каком они были при их приснопамятных посетителях. И, говорят, такая усадьба уже наклевывается, и именно «на верху крутой горы», где, по свидетельству «Аскольдовой могилы», «знаменитый жил боярин, по прозванью Карачун».

Газету свою он начинает ненавидеть.

— Помилуйте! каждый день, каждый день, словно червь неусыпающий, появляется на столе эта ненавистная простыня! Ах, когда же, когда?!

Но внутренний голос отвечает: никогда! Он даже переменить одну бесцельную глупость на другую не может, потому что одна требует массу денег, другая — дает их.

На сотрудников он смотрит как на илотов; сотрудники, в свою очередь, направо и налево сыплют анекдотами из жизни своих бесшабашных патронов.

— Вчера,— рассказывает один,— наш бесшабашный о Шекспире со мной разговаривал. Вот, говорит, человек, которого я понимаю! Вот кабы что-нибудь в этом роде пиcну́ть!

— И со мной разговор был,— подхватывает другой,— слышал я, говорит, что у одного из гарсонов ресторана Маньи, в Париже, локон волос Жорж-Занда сохранился, так я хочу для своих коллекций приобресть. Только дорого, каналья, заломил — пять тысяч франков!

Тем не менее газетная машина, однажды пущенная в ход, работает все бойчее и бойчее. Без идеи, без убеждения, без ясного понятия о добре и зле, Непомнящий стоит на страже руководительства, не веря ни во что, кроме тех пятнадцати рублей, которые приносит подписчик, и тех грошей, которые один за другим вытаскивает из кошеля кухарка. Он даже щеголяет отсутствием убеждений, называя последние абракадаброю и во всеуслышание объявляя, что ни завтра, ни послезавтра он не намерен стеснять себя никакими узами.

Чем же отвечает на эту бесшабашность общее течение жизни? Отворачивается ли оно от нее или идет ей навстречу? На этот вопрос я не могу дать вполне определенного ответа. Думаю, однако ж, что современная жизнь настолько заражена тлением всякого рода крох, что одно лишнее зловоние не составляет счета. Мелочи до такой степени переполнили ее и перепутались между собою, что критическое отношение к ним сделалось трудным. Приходится принимать их — только и всего.

Но спрашивается: ужели это действительность, а не безобразное сновидение?

Рядом с Непомнящим прозябает газетчик Ахбедный. Но, говоря о нем, я буду краток.

Ежели Непомнящий не может ответить на вопрос, откуда и зачем он появился на арену газетной деятельности, то он очень хорошо знает, в силу чего существование и процветание его вполне обеспечены. В отношении к Ахбедному та же задача представляется как раз наоборот: он знает, откуда и

зачем он пришел, и не может ответить на вопрос, насколько обеспечено его существование в будущем.

Это двоегласие служит источником бесконечных трепетов.

Для него вполне ясно серьезное значение такого могущественного органа гласности, как газета, и он считал своим торжеством тот день, когда благодаря случайно сложившимся обстоятельствам стал в ряды убежденных руководителей общественного мнения. Но, выступая на арену деятельности, он не сообразил двух вещей: во-первых, что деятельность эта не имеет впереди ничего благоприятствующего, кроме таинственных веяний, которые могут быть и не быть и рассчитывать на которые во всяком случае рискованно; и, во-вторых, что общественное мнение, которое он имел в виду, построено на песке.

И действительно, счастливая случайность, которая встретила первые шаги Ахбедного, вдруг оборвалась. То, что вчера считалось белым, сегодня сделалось черным, и наоборот. Он думал пробить себе стезю особо от Непомнящего и с горечью увидел, что те же самые вопросцы и мелкие дрязги, которые с таким успехом разрабатывал Непомнящий, сделались и его уделом.

Правда, он сохранил за собой нравственную опрятность. Он не лжет, не обдает бешеной слюною; но оставьте в стороне зверообразные формы, составляющие принадлежность ликующей публицистики,— и вы очутитесь перед тем же отсутствием общей руководящей идеи, перед тою же бессвязностью, с тем лишь различием, что здесь уверенность заменяется бессилием, а ясность речей — недоговоренностью. Допустим, что личность Ахбедного внутренно непричастна этой бессвязности, но она прикована к ней теми наваждениями, которыми переполнен его жизненный путь, тем страхом завтрашнего дня, который он тщетно усиливается победить.

Казалось бы, что деятельность Ахбедного представляется во всем противоположною деятельности Непомнящего. Бремя ответственности, которое Непомнящим переносится до такой степени легко, что он даже забыл о нем,— составляет для Ахбедного ежедневную злобу дня; трепеты, которые Непомнящий испытал только в начале своей деятельности, становятся для Ахбедного с каждым днем более и более обязательными. Тем не менее, вглядываясь в свой ежедневный труд, он убеждается, что труд этот роковым образом осужден лишь на разработку случайно выступающих мелочей. И что всего обиднее: по поводу одних и тех же пустяков Непомнящий заливается ликующим смехом, а он, Ахбедный, обязывается унывать. «Не правда ли, что это уж несправедливость?» — жалуется он чуть не вслух. Судите его, ежели он виноват,— он слова не скажет:

виноват так виноват! Но ежели он виноват наравне с прочими, то и его судите тою же мерою, как и прочих. Господи помилуй! он ли не ведет неустанную борьбу с самим собой! он ли не побеждает себя! И что ж! вместо поощрения ему говорят: «Это вы маску, государь мой, надели; но притворство ваше не облегчает вины, а, напротив, усугубляет ее... да-с!»

Таким образом, чем больше он старается, тем больше усугубляется его вина. Наконец за плечами у него вырастает целый короб, до того переполненный прегрешениями, что, того гляди, и помещать новые прегрешения будет некуда. А у него в портфеле редакции целый ворох таких прегрешений. Вот, например, корреспонденция о некоем П. Корреспондент — человек надежный, ему верить можно. Он пишет, что П., член уездного по крестьянским делам присутствия, берет взятки, и приводит примеры взяточничества. Но кто таков этот П.? Не приходится ли он дядей, племянником или внучатным братом какому-нибудь влиятельному лицу? Не представляет ли он собой новую вину, которая лезет в коробку, и без того оттягивающую его плечи? Печатать статью или не печатать? — Или, например, корреспонденция о К.: К.— заведомый хлыщ и наглец, который мечется из угла в угол, сам не зная зачем, смущает умы, распускает ложные слухи... Все это так, но, быть может, по обстоятельствам, сутолока, олицетворяемая К., представляется в данную минуту небесполезною? Что такое сама по себе эта «данная минута»? Быть может, она-то именно и осуществляет ту «вину», которая долженствует переполнить коробку? Печатать или не печатать? Или, например, такой-то вопросец? В обыкновенное время присел бы за стол и в одно мгновение его разрешил. Но в данную минуту, но теперь...

Каждый новый шаг грозит, что коробка оборвется и осыплет его преступлениями. Хотя в столичных захолустьях существует множество ворожей, которые на гуще и на бобах всякую штуку развести могут, но такой ворожеи, которая наперед угадала бы: пройдет или не пройдет? — еще не народилось. Поэтому Ахбедный старается угадать сам. Работа изнурительная, жестокая. Напуганное воображение говорит без обиняков: «Не пройдет!» — но в сердце в это же время закипает робкая надежда: «А вдруг... пройдет!»

Весы колеблются, склоняются то на ту, то на другую сторону. В большинстве случаев дело решается под влиянием бессознательного наития. Придет знакомец и скажет, что в данную минуту нет никакой надежды на сочувствие общественного мнения; придет другой знакомец и скажет, что теперь самое время провозглашать истину в науке, истину в литературе, истину в искусстве и что общество только того и ждет,

чтобы проникнуться истинами. Какое из этих двух мнений возьмет верх? К чести Ахбедного, я должен сказать, что в большинстве случаев одерживает победу последнее мнение. Жажда «дерзнуть» так велика, что заставляет с новым вниманием перечитать инкриминированный литературный вклад, и именно с целью хоть с грехом пополам напечатать его. Да нельзя ему иначе и поступить. Характер газеты, несмотря на оговорки, настолько определился, что и сотрудники могут писать только в известном тоне. Все точно сговорились: сообщают о растратах, воровствах, проявлениях дикого произвола и т. п. Из чего же тут выбирать? Словом сказать, статья перечитывается вновь, карандаш работает неутомимо; на помощь являются и фигура умолчания, и фигура иносказания; переменяются инициалы, ставятся многоточия... Готово!

— Кажется, в этом виде можно? — рассуждает сам с собой Ахбедный и, чтобы не дать сомнениям овладеть им, звонит и передает статью для отсылки в типографию. На другой день статья появляется, урезанная, умягченная, обезличенная, но все еще с душком. Ахбедный, прогуливаясь по улице, думает: «Что-то скажет про мои урезки корреспондент?» Но встречающиеся на пути знакомцы отвлекают его мысли от корреспондента.

— Эге! да вы еще живы! — восклицает один.

— Как только земля вас носит! — приветствует другой.

— Ну, батюшка, теперь ждите! — прорицает третий.

Такие приветствия и прорицания известны под именем общественного чутья. Произнося их, читатель как бы заявляет о своей проницательности и своими изумлениями указывает на ту действительность, осуществление которой ни для кого не покажется неожиданностью.

За всем тем Ахбедный продолжает корпеть и изнывать над газетою.

Что приковывает его к ней? — Это его тайна, за раскрытие которой я не берусь. Быть может, он пытается спасти какое-то «дело» или хоть крохи его,— но, может быть, в самой профессии его заключается нечто втягивающее, роковое. Сегодня одна кроха, завтра — другая.

В заключение позволяю себе обратить читателя к тому краткому вступлению, которое я предпослал настоящему этюду. При помощи сопоставлений он поймет, каким образом дело вполне реальное и содержательное может благодаря обстоятельствам обратиться в кучу бессвязных и не согретых внутренним смыслом мелочей.

2. АДВОКАТ

Когда Перебоев выступил в 1866 году на адвокатское поприще, он говорил: «Значение нашего сословия в будущем не подлежит никакому сомнению. Ежели в настоящее время оно еще не для всех ясно, то стоит обратить взоры на Запад, чтобы убедиться», и т. д. Теперь, спустя двадцать лет, он говорит: «Задача, предстоящая нашему сословию, скромна, но в высшей степени плодотворна. Западные образцы непригодны для нас. Не мечтания и утопии должны руководить нашими действиями, а то специально скромное дело, к которому мы призваны. Его вполне достаточно, чтобы ощутить под ногами твердую почву, без которой никакая человеческая деятельность немыслима. Всякая мысль о критике и разномыслии должна быть изгнана из нашей среды, ибо ведет к недовольству и развлекает внимание. Итак, будем бодры, милостивые государи», и т. д.

И когда ему указывают, что он сам себе явно противоречит, то он отвечает, что ежели в его словах и существует противоречие, то оно доказывает только, что он в течение двадцати лет развивался.

— Хорош бы я был,— говорит он,— если бы остановился на одной точке, не принимая в расчет ни изменившихся обстоятельств, ни нарождающихся потребностей времени.

Такова руководящая аксиома, до которой он додумался в течение своей двадцатилетней практики и которая дала характеристическую окраску всей его жизнедеятельности.

Когда судебная реформа была объявлена, он был еще молод, но уже воинствовал в рядах дореформенной магистратуры. Ему предложили место товарища прокурора, с перспективой на скорое возвышение. Он прикинулся обиженным, но, в сущности, рассчитал по пальцам, какое положение для него выгоднее. Преимущество оказалось за адвокатурой. Тут тысяча... там тысяча... тысяча, тысяча, тысяча... А кроме того, «обратим взоры на Запад»... Кто может угадать, что случится... га!

Но на первых порах тысячи приходили туго, так как в идею о добыче впадала идея об адвокатской репутации. Время было искрометное, возбуждающее. И судебный персонал, и присяжные, и адвокаты — все находились под влиянием той общечеловеческой Правды, которая предполагалась в основе «убеждения». Прокуроры, краснея, усиливались выдвинуть вопрос о правде реальной, но успеха не имели и выражали свое негодование тем, что, выходя из суда, сквозь зубы произносили: «Это черт знает что!» — а вечером, за картами, рассказывали

анекдоты из судебной практики. Получить оправдание было легко, добиться «смягчающих обстоятельств» почти ничего не стоило. Несомненно одержимые ретроградным бешенством газеты — и те, ввиду общего настроения, безмолвствовали, приберегая свой яд до более благоприятного времени, когда можно будет бить лежачего. Даже в гражданском процессе первенствовал вопрос не о том, соблюден ли срок или не соблюден, а о том: честно или нечестно? Вопросы же о давности, о сроках, о правах единоутробных и единокровных всецело отданы были на драку немногим дореформенным ябедникам, которые хотя проникли в адвокатскую корпорацию, но терпели горькую участь. Они упорно держались на реальной почве, но это доказывало их недальновидность и алчность (были, впрочем, и замечательные, в смысле успеха, исключения), так как если б они не польстились на гроши, то вскоре бы убедились, что вопрос о том, честно или нечестно, вовсе не так привязчив, чтобы нельзя было от него отделаться, в особенности ежели «репутация» уже составлена.

Выигравши несколько блестящих процессов, доказав, с одной стороны, что преступление есть продукт удручающих жизненных условий и, с другой стороны, что пропуск срока не составляет существенной принадлежности Правды, Перебоев мало-помалу начал, однако же, пристальнее вглядываться в свое положение. И вдруг в голове у него блеснуло: «Хотя общечеловеческая Правда бесспорно хороша, тем не менее для чего-нибудь существует же кодекс? Чему-нибудь учит же нас юридическая наука? Когда я являюсь на уголовный процесс, то, стоя на почве общечеловеческой Правды, почти не чувствую надобности ни в какой подготовке. Пришел, стал на место — слова так и полились. Ежели у меня есть в запасе цитата из Шекспира, цитата из Беккарии — с меня довольно. Я знаю наперед, что приговор будет вынесен в пользу моего клиента. Казалось бы, чего лучше? Но отчего же, за всем тем, когда я слушаю прокурора, мне становится не совсем ловко? И точно такую же неловкость я чувствую, слушая в гражданском процессе моего противника, старого сутягу. Не оттого ли это происходит, что и прокурор и сутяга чувствуют под собой реальную почву; я же хотя и побеждаю их, но труд мой можно уподобить тем карточным домикам, на которые стоит только дунуть, чтобы они разлетелись во все стороны? Вдруг некто подойдет и дунет — куда я тогда поспел со всею моею репутацией?»

Волнуемый этими предчувствиями, Перебоев обращал взоры на Запад и убеждался, что и там адвокат представляет собой два существа: одно, которое парит в эмпиреях, и другое,

которое упорно придерживается земли. Судятся, например, два заведомых вора: А.— доказывает, что Б. его обокрал; Б. утверждает, что не только не он обокрал А., но, напротив, А., при помощи целого ряда мошенничеств, довел его до разорения. А. защищает адвокат Вантрдебишь, Б.— адвокат Вантрсенгри. Оба они — люди передовые, провидящие в недалеком будущем золотой век; оба законодательствуют, громят консерваторов и их козни. Но ни тот, ни другой не отказываются от добычи, составляющей результат процесса А. и Б.; ни тот, ни другой не ставят себе вопроса: честно или нечестно? «Думаю я,— говорят они своим клиентам,— что вот по статье такой-то можно вас обелить». И в этой надежде выходят на суд, заручившись предварительно задатком собственно за «выход».

Практика, установившаяся на Западе и не отказывающаяся ни от эмпиреев, ни от низменностей, положила конец колебаниям Перебоева. Он сказал себе: «Ежели так поступают на Западе, где адвокатура имеет за собой исторический опыт, ежели там общее не мешает частному, то тем более подобный образ действий может быть применен к нам. У западных адвокатов золотой век недалеко впереди виднеется, а они и его не боятся; а у нас и этой узды, слава богу, нет. С богом! — только и всего».

Тут же, кстати, и в самом содержании судебных процессов произошла ощутительная перемена. В уголовной сфере, вместо прежних театральных воров, начали появляться воры заправские, к которым уж никак нельзя было применить кличку жертв общественного темперамента. Обворовывали земство, банки, растрачивали общественные капиталы, и расхитителями оказывались люди вполне обеспеченные, руководившиеся только инстинктами безотносительной алчности и полного нравственного растления. Общечеловеческой Правде не было до них никакого дела, следовательно, и цитаты из Шекспира приводить не приходилось; а между тем выйти на суд, в качестве защитника блестящего вора, представлялось и интересным, и небезвыгодным. В свою очередь, блестящие воры и адвокатов желали блестящих же, таких, которые «составили себе репутацию», а не сутяг, которые гнались за грошами, не помышляя о репутации. Но ежели нельзя было выступить на защиту, имея в запасе одну общечеловеческую Правду, то, очевидно, предстояло в ином месте отыскивать такую мякоть, которая в данном случае была бы как раз в меру. Словом сказать, понадобился кодекс или, по крайней мере, такое смешение его с цитатами из Шекспира, Беккарии и проч., которое нельзя было бы прямо назвать оторванностью от реальной почвы, а можно было бы только причислить к особенностям

адвокатского ремесла. И хотя оправдательные вердикты, при такой системе, произносились реже, нежели во время торжества общечеловеческой Правды, но смягчающие обстоятельства все-таки давались довольно охотно. И — что всего важнее — они давались не под влиянием цитат из Шекспира, но под влиянием статьи кодекса, которая гласит: «но буде», и т. д. Это «буде» легло в основание второй адвокатской манеры и сослужило адвокатам такую же службу, как и общечеловеческая Правда.

В это же самое время неведомо куда исчезли и политические процессы. В судах сделалось темно, глухо, тоскливо. Судебные пристава вяло произносили перед пустой залой: «Суд идет!» — и уверенно дремали, зная наперед, что их вмешательство не потребуется. Стало быть, и здесь шансы на составление адвокатской репутации уменьшились.

Оставался гражданский процесс; но и тут совершился полный переворот! Крупные дела, которые на первых порах появились, как наследие дореформенного суда, все реже и реже выступали на очередь.

Тяжущиеся стороны проявляли наклонность к экономии и предпочитали мириться на более дешевых основаниях, то есть не прибегая к суду или же предлагая за защиту своих интересов такое вознаграждение, о котором адвокат первоначальной формации и слышать бы не хотел.

Притом же и адвокатов развелось множество, и всякому хотелось что-нибудь заполучить. Носились даже слухи, что скоро нечего будет «жрать». Вопрос: честно или нечестно? — звучал как-то дико; приходилось брать всякие дела, ссылаясь на Шедестанжа и Жюля Фавра, которые-де тоже всякие дела берут. Характер адвокатуры настолько изменился, что в основание судоговорения всецело лег кодекс, вооруженный давностями, апелляционными и кассационными сроками и прочею волокитою.

Речь шла уже не о том, чтобы громить противника, и даже не о том, чтобы бороться с ним, а только о том, чтобы его подсидеть. Отъевшиеся адвокаты, успевшие с самого начала снять пенку, почти бросили свое ремесло и брались только за те немногие дела, которые выходили из ряда обыкновенных. Но и тут руководителями являлись не морального свойства поводы, а сумма иска. Ежели на сцену судоговорения являлся миллион, то дело было стоящее; ежели являлась какая-нибудь тысяча, то ищущему заявлялось прямо: «Я адвокатурой не занимаюсь».

Перебоев не принадлежал к числу «отъевшихся». Он был достаточно талантлив, чтобы покорять наивные сердца при-

сяжных, но не настолько, чтобы действовать подавляющим образом на судебный персонал. Поэтому он не много имел гражданских процессов и недостаточно обеспечил себя, чтобы сказать: «Я не нуждаюсь в практике! уеду в Ниццу и буду плевать в Средиземное море!..» Когда-то он сказал самонадеянно, положив в сердце своем: «Скоплю четыреста тысяч — и шабаш!..» Но это ему не удалось... Теперь, быть может, он удовольствовался бы и ме́ньшим, чтобы только покончить с этою канителью, да черт дернул жениться: пошли дети... Так на двухстах тысячах он и застыл... пхе! Приходилось продолжать профессию и остепениться,— да-с, на одном благородстве души нынче не выедешь. Другие времена, другие веяния, другие песни.

Процесс остепенения совершился в нем постепенно, и начало его крылось не столько в недрах адвокатской профессии, сколько в тех веяниях, которые приходили извне, обуздывали ретивость и незаметно произвели в нем коренной внутренний переворот. Сначала вырвалось восклицание: «Однако!» — потом: «Чудеса!» — потом: «Это уж ни на что не похоже!» — и наконец: «Неужто же этой комедии не будет положен предел?» И с каждым восклицанием почва общечеловеческой Правды, вместе с теорией жертв общественного темперамента, все больше и больше погружалась в волны забвения. Даже цитаты из Шекспира и Беккарии позабылись. Износила ли башмаки Гертруда или не износила,— разве это не безразлично? Призраки растаяли; на их месте явился кодекс и всецело овладел нравственными и умственными силами Перебоева.

Утром, часов около десяти, Перебоев уже одет, кончил свой первый завтрак и садится к письменному столу. Он смотрит на вывешенную на стене табличку и бормочет: «В 2 часа в коммерческом суде дело по спору о подлинности векселя в две тысячи рублей... гм!.. В $3^1/_2$ часа дело в окружном суде о краже со взломом рубля семидесяти копеек... Защита — по назначению от суда... Немного! Придется ли, нет ли, за первое дело получить двести рублей...» Затем он отворил ящик и пересчитал выручку предыдущих дней — нашлось около полутораста рублей, только и всего... О, черт возьми! Этак и с голоду, пожалуй, подохнешь! Если б Перебоев не запасся местом консультанта в двух-трех акционерных обществах, с определенным жалованьем, пришлось бы зубы на полку класть. Клиент нынче мелкий, безобразный. Начнет излагать дело, так душу выворотит. А потом заключишь с ним условие, выиграешь дело, а он денег не платит. В два года двести-то рубликов из него не вытеребишь. Нет, надо пост-

роже... по крайней мере, чтобы половину на стол, остальное — заруки. Вот, по-настоящему, как надо. К счастию, вечером у него консультация, за которую он получит наличными двести рублей... Пакетик и в нем две радужных — святое дело.

Он быстро распечатывает накопившиеся за утро письма, повестки и наконец вскакивает как ужаленный: перед ним билет на бал в пользу «Общества распространения благонамеренности»; цена 10 руб., а более — что пожалуете.

— О, черт возьми! — восклицает он,— и без того везде провоняло благонамеренностью... А делать нечего, отдать десять рублей все-таки придется. Эй! Прохор! давно этот билет принесли?

— С час назад. Пришел лакей, оставил, а сейчас опять воротился. Вот и книга; извольте расписаться.

Перебоев берет книгу и расписывается: билет получил и деньги уплатил.

— Возьми,— говорит он Прохору,— но ежели вперед с такими билетами будут приходить, говори, что барин в Москву уехал.

— Десять рублей да десять рублей,— ворчит он,— каждый день раскошеливайся! Деньги так и жрут, а благонамеренность все-таки за хвост поймать не могут. Именно только вонь от нее.

Входит жена.

— Ты сегодня возьмешь экипаж?

— Бери, матушка, пользуйся!

— Ты совсем о нас забываешь. Наташе платьице нужно; мне тоже давно обещал. Право, срам! у всех жены прилично одеты, я одна отрепанная хожу.

— Мало у тебя платьев!

— Есть платья, да не такие. Не могу же я в прошлогодних платьях в обществе показаться! Зачем же ты женился, если не в состоянии жену одевать?

Перебоев раздражительно выдвигает ящик из письменного стола и показывает его жене.

— На, смотри! много денег?

К счастью, в передней раздается звонок, потом другой, третий.

— Что же? — настаивает жена,— дашь денег?

— Ну, на! ну, на! ешь! глотай! — выбрасывает он одну за другой некрупные ассигнации, рассыпавшиеся по дну ящика.

— Так я поеду,— хладнокровно отвечает жена, собирая деньги.

— И поезжай! и бросай деньги! и бросай!

Звонки возвещают клиентов. Бьет одиннадцать. Это — час приема; Перебоев заглядывает в клиентскую, где ожидает дама, в сопровождении шестилетнего сына, и двое мужчин.

— Пожалуйте! — приглашает Перебоев даму.

Дама входит в кабинет, держа за руку сына, и начинает жеманиться.

— Мой муж больной, никуда не выезжает,— начинает она чуть слышно.

— Прошу вас, сударыня, объясняться громче.

— Мой муж больной,— повторяет дама,— а меня ни за что не хотел к вам пускать. Вот я ему и говорю: «Сам ты не можешь ехать, меня не пускаешь — кто же, душенька, по нашему делу будет хлопотать?»

— Ну-с, в чем же дело?

— Позвольте мне досказать... Наконец он решился: «Возьми, говорит, с собою Сережу и поезжай к господину адвокату». И вот...

Дама растерянно оглядывает стены кабинета и произносит:

— Ах, сколько у вас книг! Неужто это всё законы?

— Позвольте узнать, в чем заключается ваше дело? — настаивает Перебоев.

— Ах, нас ужасно обидели, господин адвокат! Муж мой, надо вам сказать, купец, в Зеркальном ряду торгует... Впрочем, ведь это прежде считалось, что купцом быть стыдно, а нынче совсем никакого стыда нет... Не правда ли, господин адвокат?

— Конечно, конечно... Но к делу, сударыня, к делу!

— И вот у меня есть сестра, которая тоже за купцом выдана, он бакалейным товаром торгует... И вот моему мужу необходимо было одолжиться... К кому же обратиться, как не к сродственникам?.. И вот Аггей Семеныч — это муж моей сестры — отсчитал две тысячи и сказал: «Для милого дружка и сережка из ушка»...

— Сударыня! — стонет Перебоев.

— Нет, уж позвольте мне, господин адвокат, по порядку, потому что я собьюсь. И вот муж мой выдал Аггею Семенычу вексель, потому что хоть мы люди свои, а деньги все-таки счет любят. И вот, накануне самого Покрова, приходит срок. Является Аггей Семеныч и говорит: «Деньги!» А у мужа на ту пору не случилось. И вот он говорит: «Покажите, братец, вексель»... Ну, Аггей Семеныч, по-родственному: «Извольте, братец!» И уж как это у них случилось, только муж мой этот самый вексель проглотил...

— Однако! — изумляется Перебоев.

— Только об этом не надо на суде говорить, господин адвокат... вы ради бога!.. И вот вчера муж получил от господина судебного следователя повестку... Ах, господин адвокат, помогите!

Совершенно неожиданно дама становится на колени. Перебоев бросается к ней и строго говорит:

— Встаньте! я — не бог!

— Но позвольте вам, однако, сказать,— продолжает дама, вставая,— где же доказательства? Аггей Семеныч говорит, что муж занял у него две тысячи, а муж говорит: «Никогда я, братец, ваших денег и не нюхал». Аггей Семеныч говорит: «Был вексель!», а муж отвечает: «Где он? покажи!»

— Однако ж вы сами сейчас сказали...

— Мало ли что я сама... Может быть, я не в своем разуме? Может быть, я всё солгала... Нет, это еще как суд посудит! Можно всякую напраслину взвести...

Дама вынимает платок и начинает сморкаться. На глазах у нее показываются крошечные-крошечные слезинки.

— Вероятно, у вас есть с собою записка? — нетерпеливо спрашивает Перебоев.

— Никакой записки у меня нет. Муж даже сказывать о деле не велел — это уж я сама.

— Ну, так вот что: когда окончится следствие, тогда и приходите. Может быть, по следствию окажется, что ваш муж прав; тогда и дело само собою кончится. А теперь я ничего не могу.

— Нет, господин адвокат, уж вы помогите!

Дама делает движение, как будто опять хочет встать на колени.

— Говорю вам, сударыня, что до конца следствия мои услуги бесполезны,— раздражительно говорит Перебоев, бросаясь, чтобы остановить ее.

— Так вы скажите, по крайней мере, как нам быть. Муж от всего отпереться хочет: знать не знаю, ведать не ведаю... Только как бы за это нам хуже не было? Аггей Семеныч следователя-то, поди, уж задарил.

— Какие вы глупости говорите! Повторяю вам: теперь я ничего не могу, а вот когда вашего мужа к суду позовут, тогда пусть он придет ко мне.

Дама вновь начинает жеманиться и никак не хочет уйти. Перебоев в отчаянии отворяет дверь в клиентскую и кричит:

— Господа, кто прежде пришел, пожалуйте!

— Помогите, господин адвокат! — стонет дама.

— Всенепременно-с. Но теперь прошу вас оставить меня, потому что мне время дорого.

Перебоев не отходит от открытой настежь двери, в которую уже вошел новый клиент, и наконец делает вид, что позовет дворника, ежели дама не уйдет. Дама, ухватив за руку сына, с негодованием удаляется.

Продолжается дефилирование клиентов. Их набралось в клиентской уже пять человек. Первый начинает с того, что говорит:

— Знаю я, что моя просьба не дельная, однако...

— Позвольте вас попросить оставить меня,— решительно произносит Перебоев, не давая даже докончить клиенту.

Клиент удивленно смотрит на него; но видя, что господин адвокат не шутит, поспешно обращается вспять, нагнув голову и как бы уклоняясь от удара.

Следующий клиент принес купчую на дом в Чекушах и просит совершить ввод во владение. В перспективе — полтораста рублей.

— Я этими делами...— начинает Перебоев, но сейчас же спохватывается и говорит: — Извольте, с удовольствием, только условие на такую ничтожную сумму, как полтораста рублей, писать, я полагаю, бесполезно...

На этот раз клиент оказывается чивый; он выкладывает на стол условленную сумму и говорит:

— Только знаете, чтобы верно. А после ввода — милости просим закусить. Давненько мы с женой подумывали...

Перебоев не слушает его, берет документ и деньги и пишет расписку.

Зато третий клиент сразу приводит Перебоева в восхищение.

— В городе Бостоне,— говорит он,— Федор Сергеич Ковригин умер и оставил после себя полтора миллиона долларов. Теперь по газетам разыскивают наследников.

— Ну-с?

— Мы — тоже Ковригины...

Воображение Перебоева, быстро нарисовавшее ему картину путешествия в Америку, совещания с местными адвокатами и, наконец, целую кучу блестящих долларов, из которых, наверное, добрая треть перейдет к нему (ведь в подобных случаях и половины не жалеют), начинает столь же быстро потухать.

— Однофамильцы Ковригина или родственники? — терпеливо спрашивает он.

— То-то, что... Мы уж и в посольстве побывали, и поколенную роспись видели... и у него Анна Ивановна, и у нас Анна Ивановна...

— Я не понимаю. Объяснитесь, пожалуйста.

— И ему Анна Ивановна внучатной сестрой приходится, и нам Анна Ивановна тоже приходится внучатной сестрой.

— Одна и та же Анна Ивановна?

— То-то, что... Не потрудитесь ли посмотреть?

— Да вы слыхали когда-нибудь об умершем Ковригине?

— То-то что...

— Жива эта Анна Ивановна?

— Наша-то давно померла, а евоная — Христос ее знает.

— Вы у кого-нибудь из адвокатов были, кроме меня?

— Как же, у пятерых уж были.

— Что же они вам сказали?

— Да что! Смеются — только и всего.

— Так зачем же вы ко мне пришли? — уже раздраженно кричит Перебоев,— вы думаете, что у меня праздного времени много?

— То-то, что мы думали: и у него Анна Ивановна, и у нас Анна Ивановна... Может быть, господин адвокат разберет... Денег-то уж очень много, господин адвокат!

— Позвольте вас попросить оставить меня!

— С удовольствием. Мы, признаться сказать, и то думали: незачем, мол, ходить, да так, между делом... Делов ноне мало, публика больше в долг норовит взять... Вот и думаем: не *наш* ли, мол, это Ковригин?

— Да говорите же толком: какой еще *ваш* Ковригин? — опять начинает волновать Перебоева надежда.

— Да Иван Афанасьич. Он доподлинно нам сродственником приходился, и тоже лет сорок назад без вести пропал.

— Ну-с?

— Только этот, умерший-то, Федором Сергеичем прозывается...

— Позвольте мне просить вас оставить меня.

Клиент удаляется. Перебоев опять высовывается в дверь и провозглашает:

— Господа! кто на очереди? пожалуйте!

Но клиентская пуста. Сейчас в ней ожидало еще два человека, и вдруг — нет никого.

— Прохор! — в исступлении кричит Перебоев,— где клиенты?

— Ушли-с. Сказали: долго уж очень ждать приходится — и ушли.

— И ты не мог удержать? — хорош гусь! не мог сказать, что я сейчас...

— Да что же, коли они ушли.

— Ушли! Свинья ты — вот что! Вели завтракать подавать.

Перебоев задумывается. Целых два часа он употребил на пустяки, а между тем два клиента словно сквозь землю провалились. Может быть, в них-то и есть вся суть; может быть, на них-то и удалось бы заработать... Всегда с ним так... Третьего дня тоже какая-то дурища задержала, а серьезный клиент ждал, ждал и ушел. Полтораста рубликов — хорош заработок! Вчера — ничего, третьего дня — ничего, сегодня — полторы сотни.

— Прохор! — кричит он,— на будущее время, ежели барыни шляться будут, говори, что дома нет. Ах, юродивые!

Он наскоро завтракает и отправляется в суд. Спор о подлинности векселя он мгновенно проигрывает, зато процесс о краже со взломом выигрывает блестящим образом.

— Всегда так со мной! Как только по назначению суда защищаю — непременно выиграю,— ропщет он вполголоса, почти с ненавистью взирая на подошедшего к нему оправданного клиента.

— Скажите по совести: украли? — спрашивает он.

— Украл-с,— шепотом отвечает оправданный.

— Ну, идите и воруйте. Только мне на зубок не попадайтесь. Я... вас...

В половине седьмого Перебоев возвращается домой — изнуренный. Жена встречает его словами:

— А мы платье купили Наташе — модель из Парижа; мне Изомбар через неделю сшить обещала. Только будет стоить около трехсот рублей.

— На какие же ты деньги рассчитываешь?

— Обыкновенно... Принесут счет, ты и заплатишь!

— Дожидайся!

Он выскакивает из-за стола и, не докончив обеда, убегает в кабинет. Там он выкуривает папироску за папироской и высчитывает в уме, сколько остается работать, чтобы составился капитал в четыреста тысяч.

Оказывается, что не хватает около ста девяносто четырех тысяч. Правда, что у него имеется в виду процесс, который сразу может дать ему сто тысяч, но это еще вопрос, достанется ли он ему. Около этого процесса целая стая адвокатов похаживает: «Позвольте хоть документики просмотреть...» К счастью, он уж успел заручиться, видел документы и убедился, что действительно четыре миллиона у казны украдены. Но он так ловко успел выяснить ответчику суть дела, что сам вор убедился, что он ничего не украл и даже, пожалуй, кой-что своего приложил.

— Итак, вы сами видите, как легко оклеветать человека! — сказал он, с чувством пожимая Перебоеву руки.

— Еще бы! тут и возразить нечего! — ответил Перебоев горячо,— на основании такой-то статьи такого-то тома...

— Совершенно с вами согласен; но только вот что: как бы защитник противной стороны...

— И он ничего возразить не может. Дело ясное, правое... святое!

— Именно... святое!

На вопрос о гонораре Перебоев объявил прямо цифру — сто тысяч рублей, на что клиент-вор несколько сомнительно ответил:

— Помогите, голубчик!

С тех пор прошло два месяца. В течение этого времени вор аккуратно уведомлял Перебоева, что дело все еще находится в том ведомстве, в котором возник начет, что на днях оно из одной канцелярии перешло в другую, что оно округляется, и т. д.

Перебоев, в свою очередь, убеждал вора, что напрасно он сам беспокоится следить за делом, что он, как адвокат, может и в административных учреждениях иметь хождение; но вор, вместо ясного ответа, закатывал глаза и повторял:

— Помогите, голубчик!

А в обществе между тем ходили самые разнообразные слухи. Одни рассказывали, что вор пошел на соглашение: возвратить половину суммы в течение бесконечного числа лет без процентов; другие говорили, что начет и вовсе сложен.

«Странно, однако ж! — размышлял Перебоев,— ведь все это и я мог бы для него устроить!»

Вот и теперь, по поводу заказанного женою платья, он вспомнил об этом процессе и решился завтра же ехать к вору и окончательно выяснить вопрос, поручает ли он ему свое дело или не поручает. Ежели поручает, то не угодно ли пожаловать к нотариусу для заключения условия; если не поручает, то...

Он даже вздрогнул при этой мысли. И тут же, кстати, вспомнил об утреннем посещении Ковригина. Зачем, с какой стати он его прогнал? Может быть, это тот самый Ковригин и есть? Иван Афанасьич, Федор Сергеич — разве это не все равно? Здесь был Иван Афанасьич, приехал в Америку — Федором Сергеичем назвался... разве этого не бывает? И Анна Ивановна к тому же... и тут Анна Ивановна, и там Анна Ивановна... А он погорячился, прогнал и даже адреса не спросил,— ищи теперь, лови его!

— Эй, Прохор! давеча здесь господин Ковригин был — спросил ты, где он живет?

— Не спрашивал-с.

— Ну, так и есть! Фофан ты, братец! — укоряет Перебоев Прохора и, оставшись один, продолжает мечтать.

«Со мной всегда так. Погорячусь, прогоню, а потом раскаиваюсь. Полтора миллиона долларов! Сколько на этом процессе деньжищ заработать бы можно — страсть! На этом да еще на том... на четырехмиллионном... Сразу бы в норму вошел — и шабаш! Нет, господа, довольно с меня! Лучше скромненько где-нибудь в Баден-Бадене жить, нежели по Петербургу рыскать да петербургскую сырость глотать! Разумеется, от времени до времени,— отчего ж?.. Например, ежели процесс вроде ковригинского... можно семейство в Баден-Бадене оставить, а самому на время в Петербург приехать...»

Мечтания эти прерывает мерный бой столовых часов. Уж половина девятого — пора и на консультацию. И полтораста рублей на полу не поднимешь. Перебоев поспешно одевается, берет, по привычке, портфель под мышку и уезжает.

Консультация задлилась довольно поздно. Предстояло судиться двум ворам: первый вор украл сто тысяч, а второй переукрал их у него. К несчастию, первый вор погорячился и пожаловался на второго. Тогда первого вора спросили: «А сам ты где сто тысяч взял?» Он смешался и просил позволения подумать. Возник вопрос: которому из двух взять грех на себя? — вот об этом и должна была рассудить консультация. Очевидность говорила против первого вора.

— Вы сами себя выдали,— убеждал его второй вор,— вместо того чтобы жаловаться, вам следовало бы просто сказать мне: поделимся, друг! — мы бы и поделились.

Но первый вор упорствовал.

— А вы зачем у меня украли? — возражал он,— воровали бы в другом месте, я и слова бы не сказал... Нет, батюшка, это не порядки! Любишь кататься, люби и саночки возить!

Консультация подала мнение в пользу второго вора, основываясь на том соображении, что все равно — первому вору суда не миновать; но в то же время нашла справедливым, чтобы второй вор уплатил первому хоть десять тысяч рублей на обзаведение в не столь отдаленных местах.

— Вы пойдете к следователю,— формулировали свое мнение консультанты, обращаясь к первому вору,— и откажетесь от первого показания; скажите: он не украл у меня, я сам ему деньги на сохранение отдал, а он и не знал, откуда они ко мне пришли...

— Разумеется! почем же я мог знать! — прервал второй вор.

— Да-с, а потом ваш коллега вам десять тысяч отсчитает...

— С удовольствием! — вскричал второй вор.— Хоть украденные деньги у меня уж отняли, но я готов и из своих...

— Но ведь меня к чертовой матери сошлют! — стонал первый вор.

— Ничего. Сошлют, а потом начнут постепенно приближать. И не увидите, как время пройдет.

Консультация происходила на квартире у второго вора. Когда она кончилась, консультантам роздали пакетики с вознаграждением — святое дело! — и пригласили отужинать.

Перебоев возвратился домой часа в два ночи, в подпитии. Бросая в ящик письменного стола деньги, он, однако ж, сосчитал, что сегодня заработано триста рублей. Затем поспешно разделся и бросился в постель, бормоча:

— Если бы каждый день по триста рублей, это составило бы в месяц... в год... Господа! обратимте наши взоры на Запад!..

3. ЗЕМСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ

В губернском городе N издавна существовало две дворянских партии: живоглотовская и красновская. То Живоглотовых выбирали в предводители, то Красновых. Натурально, и те и другие относились друг к другу враждебно. Не только представители партий, но и их клиенты не вели взаимного хлебосольства, играли в клубе в карты особняком, не целовались, а только, в крайнем случае, сухо раскланивались между собой. Ежели у Живоглотова назначались обеды по воскресеньям, то и Краснов по тем же дням устраивал и у себя обеды. При этом и тот и другой старались приманить к себе кого-нибудь из крупных представителей местной администрации или заезжего человека. Но торжеством партии считалось, когда на этих тенденциозных обедах появлялся перебежчик из противоположного лагеря. Тогда трубили победу, сажали перебежчика на видное место и поздравляли его.

По понедельникам партии считались.

— Живоглотов до пяти часов обедать не садился,— говорили красновцы,— а собралось всего сам-пятнадцать человек.

Или:

— Красновы вчера губернатора ждали. Думали: два воскресенья сряду не был,— наверное в третье приедет; а он и вчера у Живоглотова обедал, и т. д.

С приближением выборов борьба партий усиливалась, но так как время было патриархальное и никаких «вопросов» не полагалось, то и борьба исключительно велась на почве обедов, балов и других увеселений. Посылались в Москву на-

рочные за винами, закусками и фруктами; закупались вперед живые осетры, стерляди и проч.; в усадьбах откармливалась птица, отпаивались телята. Съехавшийся со всех концов губернии дворянский люд с утра до ночи толпился в квартирах, занимаемых Живоглотовым и Красновым, пил и ел, и, в конце концов, наедал столько, что сами радушные амфитрионы приходили в изумление. Надо, впрочем, сказать, что Живоглотовы почти всегда побеждали; Красновы же попадали в предводители редко и по большей части ограничивались только оппозицией, настолько грозной, что с нею нельзя было не считаться.

Живоглотовы были проще, но вальяжнее. Представители этого старинного рода дослуживались до хороших чинов и уже под старость приезжали на родину, чтобы послужить господам дворянам. Один был даже генерал-лейтенант и сряду пять трехлетий прослужил в предводителях. Красновы были умственнее, но крупных чинов не имели. Всё больше титулярные советники и коллежские секретари. Они следили за политикой и могли объяснить, почему в 1848 году Луи-Филипп пал. Один из Красновых завел в своем имении травосеяние, о чем Живоглотовым и во сне не снилось. Другой Краснов хлопотал об учреждении в родном городе общества сельского хозяйства и был деятельным членом местного статистического комитета. Словом сказать, Красновы имели все права, чтобы стоять во главе местной интеллигенции, однако ж, и за всем тем, Живоглотовы почти всегда побеждали.

Но в половине пятидесятых годов повеяло новым духом. Послышались выражения: «либерализм, либералы, либеральная партия». Красновы поняли, а Живоглотовы не поняли. Когда, ввиду предстоящей крестьянской реформы, состоялись дворянские выборы, то Николаю Николаичу Краснову без труда удалось одержать блестящую победу над бывшим предводителем из рода Живоглотовых. Николай Николаич сумел объяснить суть дела, не скрыл, что дворянству предстоит умаление, но в то же время указал, как следует поступать, чтобы довести угрожающую опасность до минимума. Между прочим, он подал совет постепенно очищать помещичьи имения от грубиянов, переселять крестьян на новые места, записывать их в дворовые, и т. д. Напротив того, Живоглотов, растерянный и бесхитростный, ничего не умел объяснить, а только твердил одно: «Как будет угодно богу, так и станется-с; а я, с своей стороны, готов-с».

— Эк вывез! — роптали даже такие дворяне, которые совсем очумели от страха, и целыми партиями переходили на сторону Краснова.

Краснов провел дело блестяще. Он, во главе большинства комитета, написал проект, в каждой строке которого сквозила тонкая политика. Безусловно соглашаясь с мыслью о необходимости упразднения крепостного права, он предлагал устроить это дело так, чтоб крестьяне сразу почувствовали, а помещики ничего не ощутили. Самые заскорузлые крепостники ничего не имели сказать против этого; нашлись только два радикала, которые подшучивали над дилеммой, поставленной Красновым, и подали свой проект. Справедливость требует, однако ж, сказать, что оба радикала были из глухого уезда, изобиловавшего песками и болотами, что и давало их проекту совсем не то значение, па которое они рассчитывали.

— Я не радикал,— гордо говорил Краснов,— я либерал-с. У меня ни одной пяди песку нет; я наделяю крестьян настоящей, заправской землей, и потому на выкуп не согласен-с.

При Краснове же совершилось и самое освобождение. Условия, в которых оно произошло, были не совсем те, которые значились в его проекте, но это уже зависело не от него. Всем было известно, что, участвуя в работах редакционных комиссий, он отстаивал свою мысль, сколько мог, и, следовательно, явил себя вполне достойным доверия, которым его облекли. Он откровенно давал отчет всякому помещику о своих действиях, подавал благие советы и вместе с прочими негодовал на неудачный выбор мировых посредников, из которых многие, как он уверял, состояли в сношениях с заграничными агитаторами. Но так как они в то же время были и местные землевладельцы, то он полагал, что предстоящие выборы представят очень удобный случай остепенить их.

Когда наступили новые выборы, он, к общему удивлению, отказался от баллотировки, ссылаясь на усталость и предлагая обратиться к одному из Живоглотовых. Затем он придал собранию исключительно полемический характер. Посредников призывали «к столу», требовали отчета, уличали и вообще производили веселую травлю. Посредники отчасти ежились и благоразумно удалялись из зала собрания, но большинство выслушивало обвинения в гордом молчании. Травля оказывалась бессильною, но в то же время забавною и популярною. Сам Живоглотов подал Краснову руку в знак примирения и сказал: «Милости просим откушать!»

Несколько дней сряду обедал Краснов у своего бывшего противника, и каждый раз в пользу его закалали тельца упитанна. Никто не мог проникнуть в сущность политики Краснова, и все удивлялись его великодушию.

Но Краснов вовсе не великодушничал, а просто рассчитывал на себя и в то же время приподнимал завесу будущего.

Во-первых, затраты, которые он сделал в поисках за предводительством, отозвались очень чувствительно на его общем благосостоянии; во-вторых, проживши несколько месяцев в Петербурге и потолкавшись между «людьми», он на самое предводительство начал смотреть совсем иными глазами. Он просто не верил, что звание это может иметь будущность.

По обыкновению всех русских, он слишком дал волю воображению, так что перед глазами его уже мелькала заря какой-то новой эры. Он говорил себе, что такой решительный шаг, какой представляла собой отмена крепостного права, не может остаться без дальнейших последствий; что разделение на сословия не удержится, несмотря ни на какие искусственные меры; что на место отдельных сословных групп явится нечто всесословное и, наконец, выступит на сцену «земля». Одним словом, в его уме уже сформировалось представление о чем-то вроде земских учреждений, которые действительно и не замедлили.

Вот где настоящее его место. Не на страже мелких частных интересов, а па страже «земли». К тому же идея о всесословности совершенно естественно связывалась с идеей о служебном вознаграждении. Почет и вознаграждение подавали друг другу руку, а это было далеко не лишнее при тех ущербах, которые привела за собой крестьянская реформа,— ущербах, оказавшихся очень серьезными, несмотря на то, что идеал реформы формулировался словами: «Чтобы помещик не ощутил...»

Он даже пенял на себя за то, что поступил несколько неосмотрительно, призывая к ответу тех чересчур бойких мировых посредников, которые слишком рьяно приступили к осуществлению освободительной задачи. Но ему необходимо было это для того, чтобы заранее заручиться избирательным большинством, и он достиг этого. Что касается до обиженных посредников, то, по размышлении, он сказал себе: «Перемелется — мука будет»,— и успокоился. Большинство их, конечно, и само невдолге поймет тщету своих потуг; другие убедятся, что иметь дело с Красновым все-таки удобнее, нежели с каким-нибудь живоглотовским партизаном; наконец, третьи, наиболее убежденные, утомятся систематическим противодействием и отчужденностью. А он возьмет в руки знамя и будет твердо держать его на страже интересов «земли».

Когда, спустя лет пять после крестьянской реформы, обнародованы были земские учреждения, сам Живоглотов согласился, что для этого дела не сыщется в губернии более подходящего руководителя, как Краснов. В первом же губернском земском собрании Николая Николаича выбрали громадным

большинством в председатели губернской управы, с ежегодным жалованьем в четыре тысячи рублей. Разумеется, он начал с того, что отказывался от жалованья, говоря, что готов послужить земле безвозмездно, что честь, которую ему делают... понятие о долге... наконец, обязанность... Но ему так настоятельно гаркнули в ответ: «Просим! просим!» — что он вынужден был согласиться. В тот же день у Живоглотова был обед в честь вновь избранных деятелей земства.

— Теперь уж не я хозяин в губернии, а наш почтеннейший Николай Николаич,— скромно произнес хозяин и, подняв бокал, крикнул: «Урррa!»

— Нет, не я хозяин, а вы, многоуважаемый Полиевкт Семеныч! — еще скромнее возразил Краснов,— вы всегда были излюбленным человеком нашей губернии, вы остаетесь им и теперь. Вы, так сказать, прирожденный председатель земского собрания; от вашей просвещенной опытности будет зависеть направление его решений; я же — ничего больше, как скромный исполнитель указаний собрания и ваших.

После обеда гости были настолько навеселе, что потребовали у Краснова спича. И он, как vir bonus, dicendi peritus [1], не заставил себя долго просить.

— Россия,— сказал он,— была издревле страною по преимуществу земскою. Искони в ней собирались, у подножия престола, земские чины и рассуждали о нуждах страны. «Земские чины приговорили, а царь приказал» — такова была установившаяся формула. Земство и царь составляли одно нераздельное целое, на единодушии которого созидалось благополучие всей русской земли. К сожалению, назад тому более полутора веков, земство без всякого повода исчезло с арены деятельности. Не стало ни целовальников, ни ярыжек (в среде присутствующих — сдержанный смех: «ярыжек!»). Их место заняла сухая, беспочвенная бюрократия (смех усиливается). И что же вышло?! Благодаря земству нам некогда был открыт широкий путь в Константинополь; великий князь Олег прибил свой щит к вратам древней Византии; Россия вела обширный торг медом, воском, пушным товаром. Это не я говорю, а летописец. Благодаря бюрократии — мы до своих усадеб осенью едва добраться можем («браво! браво!»). Мосты в разрушении, перевозов не существует, дороги представляют собой канавы, в грязи которых тонут наши некогда породистые, а ныне выродившиеся лошади. Наша земля кипела медом и млеком; наши казначейства были переполнены золотом и серебром — куда все это девалось? Остались ассигнации, надпись на кото-

---

[1] муж разумный, в красноречии опытный.

рых тщетно свидетельствует о надежде получить равное количество металлических рублей. Такова неутешительная картина недавнего прошлого. Но всякой безурядице бывает предел, и просвещенное правительство убедилось, что дальнейшее владычество бюрократии может привести только к общему расстройству. Теперь перед нами занялась заря лучшего будущего. Я допускаю, что это только заря, но в то же время верю, что она предвещает близкий восход солнца. Но не будем самонадеянны, милостивые государи. Мы так отучились ходить на собственных ногах, что должны посвятить немало времени, чтобы окрепнуть и возмужать. Вооружимтесь терпением и удовольствуемся на первых порах тою небольшою ролью, которая нам предоставлена. Перед нами дорожная повинность, подводная повинность, мосты, перевозы, больницы, школы — все это задачи скромные, но в высшей степени плодотворные. Удовлетворимся ими, но в то же время не будем коснеть и в бездействии. Так шло дело везде, даже в классической стране самоуправления — в Северной Америке. Сначала явились мосты и перевозы, но постепенно дело самоуправления развивалось и усложнялось. Наконец наступила новая эра, которую я не считаю нужным назвать здесь по имени, но которую всякий из нас назовет в своем сердце. Наравне с другими народами, и мы доживем до этой эры, и мы будем вправе назвать себя совершеннолетними. Мы достигнем этого благодаря земским учреждениям, скромное возникновение которых мы в настоящую минуту приветствуем. Поднимаю бокал и пью за процветание нашего молодого института. Я сказал, господа!

— У-р-р-раа! — раздалось по зале, и все бросились целовать Краснова. И исцеловали его до такой степени, что он некоторое время чувствовал, как будто щеки его покрылись ссадинами.

Членов управы выбрали самых подходящих. У Саввы Берсенева был лучший рысистый жеребец в целой губернии — ему поручили надзор за коневодством, да, кстати, прикинули и рогатый скот. Евграф Вилков был знаток по части болезней — ему поручили больницы. Семен Глотов имел склонность к судоходству — в его ведение отвели воды и все, что в водах и над водою, то есть мосты и перевозы. Любиму Торцову поручили наблюсти за кабаками и народною нравственностью; а так как Василий Перервин ни к чему, кроме земского ящика, склонности не выказывал, то его сделали казначеем. Сам Краснов взял на себя общий надзор за ходом дела и специально — земские школы.

Тем не менее, когда он на другой день проснулся и, одеваясь, чтобы представиться во главе вновь избранных земцев

губернатору, вспомнил свою вчерашнюю речь, то несколько смутился.

— Что такое я там насчет бюрократии наплел! — ворчал он, завязывая галстук,— ведь этак, пожалуй, на первых же порах...

Но губернатор был добрый и отнесся к первой шалости Краснова снисходительно. Он намекнул, что ему не безызвестно о вчерашней выходке, но не обиделся ею.

— Николай Николаич! — обратился он к Краснову перед собравшимися земцами,— я очень рад, что вижу вас моим сослуживцем, и уверен, что вы вполне готовы содействовать мне. И мы, бюрократы, и вы, земцы, служим одной и той же державе и стоим на одной и той же почве, хотя и ходят слухи о каких-то воинственных замыслах...

— Ваше-ство! неужели земство позволит себе без причины...

— Ни без причины, ни по причине-с. Но позвольте мне высказаться. Итак, я говорю, что хотя и ходят слухи насчет воинственных замыслов, но я полагаю, что они преувеличены. Во всяком случае, я заранее убежден, что хоть я и не стратегик, но все сражения, которые замышляют мечтательные головы, будут выиграны мною от первого до последнего. Поговаривают также о какой-то занимающейся заре, предшественнице солнца,— и на этот счет я могу привести в свидетельство свой личный опыт. На заре человеку спится крепче, а сильные солнечные лучи ослепляют — вот и все. Поэтому я предпочитаю сумерки, да и вам, господа, советую. В заключение предлагаю вам устроиться так: подробности пусть останутся за вами, главное руководительство — за мною. Затем называйте меня почвенным или беспочвенным — это безразлично. Я сам могу определить ближе характер моей деятельности и моих отношений к вам. Почва, на которой я стою,— это ответственность перед начальством; отношения же мои к вам таковы: я укажу вам на мосток — вы его исправите; я сообщу вам, что в больнице посуда дурно вылужена,— вы вылудите. Задачи скромные, но единственные, для выполнения которых мне необходимо ваше содействие. Во всем прочем я надеюсь на собственные силы и на указания начальства. Итак, не будемте парить в эмпиреях, ибо рискуем попасть пальцем в небо; но не будем и чересчур принижаться, ибо рискуем попасть в лужу. Надеюсь, что мы поймем друг друга.

Сказавши это, губернатор пожал земцам руки и удалился.

Земцы принялись за дело бойко и весело; губернатор, с своей стороны, тоже не унывал.

В Главной больнице, бывшей до того времени в ведении приказа общественного призрения, умывальники горели как жар. Краснов, по очереди с специалистом Вилковым, ежедневно посещали больницу, пробовали пищу, принимали старое белье, строили новое, пополняли аптеку и проч. Губернатор, узнав о такой неутомимой их деятельности, призвал их и похвалил.

— Позаймитесь, пожалуйста, картами,— сказал он при этом,— признаться, в приказе эта часть была в некотором запущении; карты хранились в кладовой казначейства и были всегда сыры. Между тем потребность в них, как вам известно, не оскудевает.

В конце февраля губернатор пригласил к себе члена управы Глотова и напомнил, что, ввиду наступающей весны, необходимо заняться мостами и перевозами.

Это было очень обидно, потому что сама управа предвидела наступление весны и уже сделала распоряжение, чтобы Глотов, как только появятся на дороге зажоры, немедленно ехал, куда глаза глядят.

Узнав, что Любим Торцов разъезжает по селениям, где заведены кабаки, сам пьет, а крестьян уговаривает не давать приговоров на открытие питейных заведений, губернатор призвал Краснова и сказал ему, что хотя заботы об уменьшении пьянства весьма похвальны, но не следует забывать, что вино представляет одну из существеннейших статей государственного бюджета.

— Но народная нравственность...— заикнулся было Краснов.

— Народную нравственность я вполне вам предоставляю,— прервал его губернатор,— утверждайте народ в правилах благочестия и преданности, искореняйте из народной среды вредные обычаи, даже от пьянства воздерживайте... Но последнее не принадлежит к вашим прямым обязанностям, и потому вы можете действовать в этом случае, как и всякий частный человек. Существует, как вам известно, целое акцизное ведомство, которое следит за правильностью открытия питейных домов и производства в них торговли; наконец, существует полиция, которая, в случае надобности, приглашается составлять протоколы, и проч. Каждое ведомство имеет свои прерогативы, наступать на которые законом не разрешается. Да-с.

Наконец, узнав, что член управы Берсенев, с наступлением марта, стал водить своего жеребца по всем трактам, в видах улучшения конских пород, губернатор похвалил его за таковое усердие и выразил надежду, что упавшее в губернии коневодство снова процветет.

— Поверьте мне, Савва Семеныч,— сказал он при этом,— что я совсем не противник тех мер, которые принимаются земством на пользу краю. Напротив, я всегда говорил и говорю: «Что полезно, то полезно». И исправникам то же самое предписал говорить.

Словом сказать, через несколько времени земские деятели почувствовали себя как бы в тисках. Никакого новшества они не могли предпринять, в котором губернатор заранее не заявил бы себя инициатором. Не успеет Краснов во сне увидеть, что для больных новые халаты нужны, как губернатор уже озаботился, шлет за Вилковым и дает ему соответствующие инструкции. Не успеет Краснов задуматься, что Перервин как будто поигрывать в карты шибко начал, как губернатор уже шлет за ним и предостерегает. И что всего обиднее — никогда сам не приедет: «Любезный, мол, друг Николай Николаич! — так-то и так-то! — нельзя ли мирком да ладком?» — а непременно шлет гонца: «Извольте явиться!» Тем не менее явных пререканий не было, и ожидания тех, которые по поводу выбора Краснова говорили: «Вот будет потеха!» — не сбылись. Краснов чувствовал, что популярность его с каждым днем падает; Живоглотов забыл о недавних объятиях, которые он простирал «почтеннейшему» Николаю Николаичу, и почти ежедневно заезжал к губернатору «пошушукаться».

Однако всему есть мера; есть мера и губернаторской снисходительности. Губернатор прилаживался к делу плотнее и плотнее и наконец проник в самую суть его.

— Женщина-врач, которую вы определили в Х-скую больницу, оказывается неблагонадежною,— объявляет он однажды Краснову.

— Но почему же, ваше-ство?

— Говорит праздные речи, не имеет надлежащей теплоты чувств... Все это мне известно из вполне достоверных источников.

Женщине-врачу посылают приглашение прибыть в управу.

— Что вы там путаете? — обращается к ней Краснов.

— Я?.. ничего!

— Губернатор говорит, что вы неблагонадежны, не выказываете теплоты чувств и что ему известно это из достоверных источников.

— Помилуйте! — я даже никого в городе не знаю...

— В том-то и дело, что нельзя «никого не знать-с». Нужно всех знать-с. Вспомните: не бываете ли вы у кого-нибудь... неблагонадежного?

— Я бываю только в семье одного сельского учителя... он живет в трех верстах от города...

— Вот видите! — в городе ни у кого не бываете, а по учителям разъезжаете.

— Да почему же?..

— А потому что потому. Впрочем, я свое дело сделал, предупредил вас, а дальше уж сами как знаете.

— Господи! что же я буду делать?

Женщина-врач плачет.

— Не плачьте, а бросьте ваши фанаберии — вот и все. Поезжайте к исправнику, постарайтесь сойтись с его женой, выражайтесь сдержаннее, теплее; словом сказать...

Краснов махает рукой и с словами: «Ну, теперь началась белиберда!» — отпускает женщину-врача.

Но через месяц губернатор опять шлет за ним.

— Девица Петропавловская, о которой я уж говорил вам,— объясняет он Краснову,— продолжает являть себя неблагонадежною. Вчера я получил о ней сведения, которые не оставляют ни малейшего в том сомнения.

— Как прикажете, ваше-ство...

— Приказывать — не мое дело. Я могу принять меры — и больше ничего. Всему злу корень — учитель Воскресенский, насчет которого я уже распорядился... Ах, Николай Николаич! Неужели вы думаете, что мне самому не жаль этой заблуждающейся молодой девицы? Поверьте мне, иногда сидишь вот в этом самом кресле и думаешь: за что только гибнут наши молодые силы?

— Но как же в этом случае поступить? Быть может, что с удалением учителя Воскресенского, как причины зла, девица Петропавловская...

— Увы! подобные перерождения слишком редки. Раз человека коснулась гангрена вольномыслия, она вливается в него навсегда; поэтому надо спешить вырвать не только корень зла, но и его отпрыски. На вашем месте я поступил бы так: призвал бы девицу Петропавловскую и попросил бы ее оставить губернию. Поверьте, в ее же интересах говорю. Теперь, покуда дело не получило огласки, она может похлопотать о себе в другой губернии и там получить место, тогда как...

— Но ведь ежели она вредна здесь, то, конечно, будет не меньше вредна и в другом месте.

— Ежели так, то ведь и там ей предложат оставить место. И таким образом...

Словом сказать, учитель Воскресенский и девица Петропавловская исчезли, как будто бы их и не бывало в губернии.

Когда управа приступила к открытию училищ, дело осложнилось еще более. В среде учителей и учительниц уже сплошь появлялись нераскаянные сердца, которые, в высшей мере,

озабочивали администрацию. Приглашения следовали за приглашениями, исчезновения за исчезновениями. По-видимому, программа была начертана заранее и приводилась в исполнение неукоснительно.

Общество города N притихло. Земцы, которые на первых порах разыгрывали в губернских салонах роль гвардейцев и даже на дам производили впечатление умными разговорами, сделались предметом отчуждения. Как будто они были солидарны со всеми этими нераскаянными сердцами, которые наводнили губернию и обеспокоили местную интеллигенцию. Слышались беспрерывные жалобы, что лохматые гномы заполонили деревни; слово «умники» сделалось прямо бранным. Девицы, проходя в собрании мимо Краснова, прищуривались,— точно у него в кармане была спрятана бомба. Только Берсенева выбирали, по временам, в мазурке, как бы смутно понимая, что его путешествующий жеребец никакого отношения к внутренней политике не имеет. Одним словом, ежели общество еще не совсем упало духом, то благодаря только тому, что ему известно было, что на страже этого кавардака стоит человек, который в обиду не выдаст.

К величайшему удивлению, Краснов, который только по недоразумению заявил себя либералом, чем более осложнялось положение вещей, тем более погрязал в бездне либерализма. Превращение это совершилось в нем бессознательно, в силу естественного закона противоречия. Он уже позволил себе высказать губернатору лично, что считает беспрерывное вмешательство его в дела земства чересчур назойливым, и даже написал ему несколько пикантных бумаг в этом смысле, а в обществе отзывался об нем с такою бесцеремонностью, что даже лучшие его друзья делали вид, что они ничего не слышат.

Нередко видали его сидящим у окна и как будто чего-то поджидающим. Вероятно, он поджидал зарю, о которой когда-то мечтал и без которой немыслимо появление солнца. Но заря не занималась, и ему невольно припомнились вещие слова: «В сумерках лучше!»

— Да, сумерки, сумерки, сумерки! И «до» и «по» — всегда сумерки! — говорил он себе, вперяя взор в улицу, которая с самого утра как бы заснула под влиянием недостатка света.

К довершению всего земские сборы поступали туго. Были ли они действительно чересчур обременительны, или существовал тут какой-нибудь фортель — во всяком случае ресурсы управы с каждым днем оскудевали. Школьное и врачебное дела замялись, потому что ни педагоги, ни врачи не получали жалованья; сами члены управы нередко затруднялись относительно уплаты собственного вознаграждения, хотя в большей

части случаев все-таки выходили из затруднений с честью. Мосты приходили в разрушение, дороги сделались непроездными; на белье в больницах было больно смотреть. Это уже были совершенно конкретные доказательства беспечности, не то что какая-нибудь народная нравственность, о которой можно судить и так и иначе. Губернатор, поехавши в губернию по ревизии, вынужден был на одном перевозе прождать целых два часа, а через один мост переходить пешком, покуда экипаж переезжал вброд: это уж не заря, не солнце, а факт. Вся живоглотовская партия ахнула, узнавши об этом.

Возвратившись в город, губернатор немедленно пригласил управу в полном составе и «распушил» ее.

— Вы совсем не о том думаете, господа,— сказал он,— мост есть мост, а не конституция-с!

Фраза эта облетела всю губернию. Вся живоглотовская партия, купно с исправниками, восхищалась ею. Один Краснов имел дерзость сослаться на то, что полиция не принимает никаких мер для успешного поступления сборов и что вследствие этого управа действительно поставлена в затруднение.

Наконец незадолго перед началом земской сессии Краснов не выдержал и собрался в Петербург.

Губерния решила, что он едет жаловаться, и притаила дыхание. Но губернатор оставался равнодушен и только распорядился содержать в готовности «факты».

В Петербурге, однако ж, Краснову не посчастливилось. Его встретили не то чтобы враждебно, а совершенно хладнокровно, как будто о земском кавардаке никому ничего не было известно.

— Вы, господа, слишком преувеличиваете,— говорили ему.— Если бы вам удалось взглянуть на ваши дела несколько издалека, вот как мы смотрим, то вы убедились бы, что они не заключают в себе и десятой доли той важности, которую вы им приписываете.

— Не можем же мы, однако, смотреть издалека на вещи, с которыми постоянно находимся лицом к лицу,— убеждал Краснов.

— Но и мы, с своей стороны, не можем изменить нашу точку зрения. Не слишком ли высоко вы ставите те задачи, которые предстоят земству? Не думаете ли вы, что с введением земских учреждений что-нибудь изменилось? — Ежели это так, то вы заблуждаетесь; задачи ваши очень скромны: содержание в исправности губернских путей сообщения, устройство врачебной части, открытие школ... Все это и без шума можно сделать. Но, разумеется, ежели земство будет представлять собой убежище для злонамеренных людей, ежели сами предста-

вители земства будут думать о каких-то новых эрах, то администрация не может не вступиться. Общественная безопасность прежде всего.

— Но из чего же видно...

— Покуда определенных фактов в виду еще нет, но есть разговор — это уже само по себе представляет очень существенный признак. О вашем губернаторе никто не говорит, что он мечтает о новой эре... почему? А потому просто, что этого нет на деле и быть не может. А об земстве по всей России такой слух идет, хотя, разумеется, большую часть этих слухов следует отнести на долю болтливости.

Такие предики приходилось Краснову выслушивать чуть не каждый день. Но он все-таки прожил в Петербурге целый месяц и на каждом шагу, и в публичных местах, и у общих знакомых, сталкивался с земскими деятелями других губерний. Отовсюду слышались одинаковые вести. Везде шла какая-то нелепая борьба, неведомо из-за каких интересов; везде земство мало-помалу освобождалось от мечтаний и все-таки не удовлетворяло своею уступчивостью. Прямого недовольства не высказывалось, но вопрос об общественной безопасности ярче и ярче выступал вперед и заслонял собой все.

Краснову показалось, что он и сам как будто отрезвел. Когда он обменивался мыслями с сотоварищами по деятельности, ему невольно думалось: «Какие, однако ж, все это мелочи, и стоит ли ради них сохнуть и препираться? Ворочусь домой, буду «ездить» в управу — вот и все. Пускай губернатор, с термометром в руках, измеряет теплоту чувств у сельских учителей и у женщин-врачей; с какой стати я буду вступаться? Ежели школьное дело пойдет худо — у меня оправдание налицо. Наконец, возьмите школы себе, оставьте земству только паромы и мосты — и до этого мне дела нет! Но только хорошо будет земство! да и вообще дела пойдут хорошо! Ведь что же нибудь заставило подумать об участии земства в делах местного управления? была же, вероятно, какая-нибудь прореха в старых порядках, если потребовалось вызвать земство к жизни? Ведь ни я, ни Вилков, ни Торцов не выходили с оружием в руках, чтобы создать земство,— и вдруг оказывается, что теперь-то именно и выступила вперед общественная опасность!»

Словом сказать, Краснов махнул рукой, посвятил остальное время петербургского пребывания на общественные удовольствия, на истребление бакалеи, на покупку нарядов для семьи и, нагруженный целым ворохом всякой всячины, возвратился восвояси.

Годы шли; губернаторы сменялись, а Краснов все оставался во главе земства. Он слыл уже образцовым председателем управы и остепенился настолько, что сам отыскивал корни и нити. Сами губернаторы согласились, что за таким председателем они могут жить как за каменною стеною.

Одно Краснову было не по нутру — это однообразие, на которое он был, по-видимому, осужден. Покуда в глазах металась какая-то «заря», все же жилось веселее и было кой о чем поговорить. Теперь даже в мозгу словно закупорка какая произошла. И во сне виделся только длинный-длинный мост, через который проходит губернатор, а мостовины так и пляшут под ним.

— Да это просто злоумышление! — обращается губернатор к Алексею Харлампьичу Бережкову, который сменил Глотова.

А кроме того, Краснова мучило и отсутствие всяких перспектив. Предположив сгоряча, что предводительское звание лишено будущности, он горько ошибся. Правда, старый Живоглотов умер, не вкусив от плода; но выбранный на его место Живоглотов-сын не прослужил и трехлетия, как получил уже высшее назначение. Затем приехал Живоглотов-внук, повернулся и тоже исчез, осиянный ореолом и полный надежд.

Если бы Краснов не поторопился в то время — кто знает, чьи судьбы были бы теперь у него в руках?!

— У нас ничего нельзя вперед угадать,— ворчал он себе под нос,— сегодня ты тут, а завтра неведомая сила толкнула тебя бог весть куда! Область предвидений так обширна, что ничего столь не естественно, как запутаться в ней. Случилось так, но могло случиться и иначе. Что, если бы, в самом деле, заря занялась, а за нею вдруг солнце?.. И везде дело начиналось с мостов и перевозов, а потом, потихоньку да помаленьку, глядь — новая эра. Это хоть в Америке спросите. Что такое были эти Чикаго, эти Сан-Франциско? — простые, бедные деревни, и больше ничего! А нынче?

То-то вот оно и есть. И не довернешься — бьют, и перевернешься — бьют. Делай как хочешь. Близок локоть — да не укусишь. В то время, когда он из редакционных комиссий воротился, его сгоряча всеми шарами бы выбрали, а он, вместо того, за «эрами» погнался. Черта с два... Эрррра!

А теперь? что такое он собой представляет? — нечто вроде сторожа при земских переправах... да! Но, кроме того, и лохматые эти... того гляди, накуролесят! Откуда взялась девица Петропавловская? что на уме у учителя Воскресенского? Вглядывайся в их лохмы! читай у них в мыслях! Сейчас у «него» на уме одно, а через минуту — другое!

О, господи! спаси и помилуй!

4. ПРАЗДНОШАТАЮЩИЙСЯ

Покуда кругом все бездействует и безмолвствует, Афанасью Аркадьичу Бодрецову и дела по горло, и наговориться он досыта не может. Весь город ему знаком, с утра до вечера он бегает. То нырнет куда-то, то опять вынырнет. Пока другие корпят за работой в канцеляриях и конторах, он собирает материалы для ходячей газеты, которая, в его лице, появляется в определенные часы дня на Невском и бесплатно сообщает новости дня.

Бодрецов — перипатетик по природе. Правда, что он на улицах останавливается беспрестанно, но на четверть, на полминуты, не больше. Залучить его на более продолжительное время — большая редкость. Не успевши высказать всего запаса новостей встреченному знакомому, он спешит дальше, чтобы поймать другого знакомого, которого завидел издалека, и на ходу уже усматривает третьего знакомца, с которым тоже нужно поделиться. Все интересуются Афанасьем Аркадьичем: все знают, что у него имеется в запасе что-нибудь свеженькое. Газеты лгут, в салонах лгут, а знать, что на белом свете деется, хочется. И Афанасий Аркадьич лжет, но он лжет днем раньше, нежели другие, и в этом его преимущество. В мире сумерек, где не существует ни одного состоятельного шага, где всякая последующая минута опровергает предыдущую, очень лестно поймать «первую» ложь и похвастаться перед знакомым: «А знаете ли, кто назначается... да нет, вы не поверите...»

Но все верят. Некто X. делается на несколько часов предметом толков и разговоров. Афанасий Аркадьич одному сказал просто: «туда-то назначается X.»; другому прибавил, что X. принял назначение на таких-то условиях, третьему — что X. уже изложил свой план действий; и т. д. На другой день все эти перемены, перемещения, условия и планы появляются, в виде слухов, в газетах. На третий день оказывается, что X. никуда не назначается, а Z. остается по-прежнему, на месте. Z., узнавши, что ему грозит опасность, отправился к графине Y., заключил с нею союз; графиня, с своей стороны...

Таким образом все объясняется. Никому не приходит в голову назвать Бодрецова лжецом; напротив, большинство думает: «А ведь и в самом деле, у нас всегда так; сию минуту верно, через пять минут неверно, а через четверть часа — опять верно». Не может же, в самом деле, Афанасий Аркадьич каждые пять минут знать истинное положение вещей. Будет с него и того, что он хоть на десять минут сумел заинтересовать общественное мнение и наполнить досуг праздных людей.

Иногда Бодрецову вздумается уделить побольше времени кому-нибудь из наиболее близких или нужных знакомых. Тогда этот последний испытывает сущую пытку. Афанасий Аркадьич идет с ним под руку, но на каждом шагу останавливается и с словами: «сейчас, сейчас!» — отскакивает вперед, догоняет, перегоняет, шепнет на ухо пару слов, потом опять возвращается, возобновляет прерванный разговор, но никогда не доведет его до конца.

— Охота вам так тиранить себя! — ну, куда вы убежали? — упрекнет его знакомец.

— Нельзя, голубчик; человечек такой встретился. Понадобится вперед.

— Кто же такой?

— Негодяй! да неужто вы его не знаете? Помилуйте! ежели таких мерзавцев не знать наперечет, так жить небезопасно. Всегда наготове нужно камень за пазухой держать. Вы знаете ли, что́ он с своей родной сестрой сделал?..

И пойдет, и пойдет. Осквернит слух такими возмутительными подробностями, что поневоле скажешь себе: действительно, таких людей надобно хоть по наружности знать, чтобы, в случае встречи, принимать меры.

— Да зачем же вы с ним якшаетесь? Знать — знайте, а зачем в приятельские отношения входить?

— Ах, какой вы странный! Он везде принят, везде бывает. Слышит и то и другое, а иногда и из достоверных источников. Кому какое дело, что он сестру ограбил или в свою пользу духовное завещание написал? Процесс-то ведь выиграл он, а не она. Да и мало ли он мерзостей делал прямо на глазах у всех — и все привыкли, все говорят: «Он уж такой от роду». Однажды он у князя Матюкова золотую табакерку украл, а князь и увидел. И что ж! только тем и ограничился, что сказал: «Ах, братец, клептомания, что ли, это у тебя?» А он в ответ: «Точно так, ваше сиятельство!» Так и до сих пор к князю в дом вхож, хотя если бы хорошенько пересчитать столовый княжеский сервиз, то, я уверен, очень достаточного количества ложек не досчитались бы.

Рассказав это быстро, одним духом, он отскакивает в сторону, как бы спеша возместить потерянное время. И мотается взад и вперед, как маятник, то отбегая, то возвращаясь. И при новой мгновенной встрече непременно шепнет:

— А этот, с которым теперь иду... знаете вы его? О, я вам когда-нибудь расскажу...

В особенности интересен он в трактирах и ресторанах, которые посещает охотно, хотя довольно редко, по причине частых приглашений в семейные дома. Во-первых, в ресторане всегда

встретишь кучу знакомых, от которых можно тоже позаимствоваться новостями дня, а во-вторых, Бодрецов любит поесть хорошо, в особенности на чужой счет.

И потчуют его всегда с удовольствием, потому что под говор его естся как-то спорее. Точно на парадном обеде под музыку: господа внизу ложками гремят, а на хорах музыканты в дуды дудят.

Да и вольготнее в трактире: тут, на просторе, газета по порядку все новости расскажет; не перервется на слове, не убежит. Потому что, коль ты ешь на мой счет, так рассказывай!

Одна Болгария какую громадную популярность ему создала! Он первый предсказал, что Баттенберга будут возить. Сначала увезут, потом привезут, а потом и опять увезут — уж окончательно.

— Ну, уж это ты, братец, солгал! — говорили ему.

— Вот увидите!

И что ж, оказалось, что так точь-в-точь по его и случилось. Увезли, привезли и опять увезли.

Потом пошли кандидаты на болгарский престол. Каждый день — новый кандидат, и всё какие-то необыкновенные. Ходит Афанасий Аркадьич по Невскому и возвещает: «принц Вильманстрандский! принц Меделанский! князь Сампантрé!» — Никто верить ушам не хочет, а между тем стороной узнают, что действительно речь об меделанском принце была — и даже очень серьезно.

Даже иностранные кабинеты встревожились деятельностью Бодрецова; спрашивают: «Да откуда ты, братец, все знаешь?» — «Угадайте!» — говорит. А ларчик просто открывался: вел Афанасий Аркадьич дружбу с камердинером князя Откровенного: из этого-то источника все и узнавал.

Так и всегда нужно поступать. Когда никто ничего не знает, когда все разевают рты, чтобы сказать: «моя изба с краю» — непременно нужно обращаться к камердинерам. Они за целковый-рубль все иностранные кабинеты в изумление приведут.

Происхождения Бодрецов не важного, и унаследованные им от родителей материальные средства очень ограниченны. Но он служит в двух ведомствах, в обоих ничего не делает и в обоих получает хорошее жалованье. За всем тем он всегда имеет вид нуждающегося человека, живет в нумерах, одевается более, нежели скромно, и ест исключительно на чужой счет. Но все к этому до такой степени привыкли, что даже очень влиятельные лица, без малейшей брезгливости, встречают его потертый пиджак в своих кабинетах и салонах. Кроме

запаса новостей, составляющего, так сказать, базис всех его связей, у него имеется еще большой запас услужливости, которая тоже в значительной мере увеличивает ценность его знакомства. Он и справочку умеет достать, и похлопотать, и разузнать, и съездить, по поручению какой-нибудь дамочки, в модный магазин, в кондитерскую, на рынок.

Во всем он знаток, везде умеет выбрать. Знает, где продается лучшая баранина, где прежде всего можно получить свежего тюрбо, омара, у кого из торговцев появилась свежая икра, балыки и проч. Выбирает он всегда добросовестно и не только ничего не берет за комиссию, но даже торгуется в пользу патрона.

Страсть к кочевой жизни пришла к нему очень рано. Уже в детстве он переменил чуть не три гимназии, покуда наконец попал в кадетский корпус, но и там кончил неважно и был выпущен, по слабости здоровья, для определения к штатским делам.

Это частое перекочевывание дало ему массу знакомств, которые он тщательно поддерживал, не теряя из вида даже тех товарищей, которые мелькнули мимо него почти на мгновение. Острая память помогала ему припоминать, а чрезвычайная повадливость давала возможность возобновлять такие знакомства, которых начало, так сказать, терялось во мраке времен. Достаточно было одной черты, одного смутного воспоминания («а помните, как мы в форточку курили?»), чтобы восстановить целую картину прошлого.

— Да, куривали! — отвечает обретенный товарищ, вглядываясь в черты лица обревшего,— а помнишь, как раз нас сам инспектор на месте преступления изловил?

— Помню! помню! Еще бы забыть!

— Ну, до свидания, стало быть. Возобновим старину. Я, любезный друг, уж женат. Живем мы скромно, но для друзей всегда за столом место найдется. Милости просим когда-нибудь запросто...

Благодаря таким находкам круг знакомств Бодрецова очень быстро расширился. Мест, в которых он мог, не разбирая дней, придти пообедать, развелось такое множество, что встречающиеся на улицах бессемейные друзья с трудом успевают залучить его в трактир.

Служба доставила ему связей еще больше. Где он ни служил — это только одному богу известно. Сначала поехал в родной губернский город, и сразу сделался наперсником губернатора. Губернаторша тоже не чаяла в нем души, потому что он был мастер устраивать балы, пикники и отлично танцевал мазурку. В собравшемся обществе без него было скучно; с при-

ходом его все оживлялось и расцветало. Уже на первых шагах он обнаружил особенную наклонность к выуживанию новостей, и хотя ремесло это в провинции небезопасно, однако он сумел так ловко проскальзывать между Сциллой и Харибдой, что ни с кем серьезно не поссорился.

Когда губернатора перевели в другую губернию, то и он перешел вместе с ним. Тут уже он явился вполне своим человеком у хозяина губернии, так что не он должен был подлаживаться к обществу, но общество к нему. Само собой разумеется, обе стороны скоро применились друг к другу. Пошли пикники, загородные поездки, вечеринки; Бодрецов и здесь, как в первом месте служения, сделался душою общества. Но не успел он прослужить здесь и двух лет, как через город случилось проезжать начальнику какого-то отдаленного края. Особа сделала честь принять обед у губернатора и встретила там Бодрецова. Афанасий Аркадьич сразу понравился. Он сумел так устроить, что особа сама вызвала его на разговор и совершенно правильно заключила, что если бы не молодой чиновник особых поручений, то ему, мужу совета, пришлось бы очень скучно за чопорным губернаторским обедом. Проходя мимо, особа шепнула Бодрецову на ухо:

— Не зайдете ли вечерком ко мне? Я в ночь уезжаю.

Разумеется, Бодрецов не преминул. Особа между тем сообразила, что в захолустье, которым она правила, молодых людей мало, а мазуристов и совсем нет; что жена особы скучает и что Бодрецов будет для нее большою находкой.

— Не желаете ли вы перейти ко мне на службу? — предложила особа.

Бодрецов, который уже, так сказать, предвкушал это предложение, смутился, однако ж, при цифре восемь тысяч верст, которые предлежало проехать. Но раздумывать было некогда, и выгоды перемещения были слишком явны, чтобы не воспользоваться ими. Особа пользовалась большим весом в бюрократической иерархии и имела в виду еще более веское будущее.

Служить под покровительством такого человека представлялось и лестным и выгодным.

Согласие было изъявлено, а через полгода Афанасий Аркадьич был уже на новом месте, где тоже служили люди, но где, главным образом, нуждались в молодых чиновниках, которые умели бы развлечь и оживить общество.

Здесь он прослужил около пяти лет, как покровитель его внезапно умер. Приехал новый начальник края и взглянул на дело несколько иными глазами, нежели его предшественник. Фортуна Бодрецова слегка затуманилась. Но и тут ему все-

таки посчастливилось. Один из местных генералов был назначен начальником в другой отдаленный край и тоже набирал молодых людей.

Хотя Бодрецову было в то время уже за тридцать, но как-то никому не приходило в голову, что он перестал быть молодым человеком. Новый баловень фортуны вспомнил об Афанасье Аркадьиче, которого он видел на балах у бывшего начальника края, и пригласил его.

После того Бодрецов служил и в Новороссийском крае, и на Кавказе, и в Западном крае, и в Варшаве, нередко занимал ответственные должности, но по большей части предпочитал возлежать на персях. Всюду оставил он по себе самые отрадные воспоминания, последствием которых были связи, пригодившиеся ему в будущем.

Когда он очутился вновь в Петербурге, ему было уже за пятьдесят лет, и он с честью носил чин штатского генерала. Важного поста он в виду не имел и только жаждал прожить легко и беспечально. И когда он осмотрелся и вынул из чемодана целую кипу рекомендательных писем, то душою его овладела твердая уверенность, что скромные его мечты могут быть осуществлены вполне беспрепятственно.

В течение месяца он успел объездить всех знакомых, которых сумел накопить во время своих кочеваний. Некоторые из этих знакомых уже достигли высоких постов; другие нажили хорошие состояния и жили в свое удовольствие; третьим, наконец, не посчастливилось. Но Бодрецов не забыл никого. К первым он был почтителен, со вторыми явил себя веселым собеседником, к третьим отнесся дружески, сочувственно. Только с очень немногими, уже вполне отпетыми, встретился не вполне дружелюбно, но и то с крайнею осторожностью.

Путь, который ему предлежал, начертан был всею совокупностью его способностей. Это был путь человека, в котором услужливость и досуг являли полное, гармоническое сочетание. Но поприще, начатое еще в провинции, значительным образом усложнилось. В провинции, где жизнь совершается почти при открытых дверях, новость сама собой плыла в уши; в Петербурге требовался известный труд, чтобы добыть ее. Притом же, чтобы не переврать петербургскую новость, надо стоять на высоте ее, знать отношения, управляющие людьми и делами, уметь не приписать известному лицу того, что ему несвойственно, одним словом, обработать уличный слух в таком виде, чтобы он не поражал своим неправдоподобием. Поэтому Бодрецов не сразу пустился во все тяжкие, но приспособлялся к своему ремеслу исподволь. Прежде всего он обес-

печил себя с материальной стороны, устроившись по службе; потом начал прислушиваться, стараясь уловить игру партий, их относительную силу, а также характер тех неожиданностей, которые имеют свойство — всякие расчеты и даже самую несомненную уверенность в одно мгновение обращать в прах. Последнее, впрочем, в значительной мере упрощало его задачу, ибо ежели есть в запасе такой твердый оплот, как неожиданность, то ложь перестает быть ложью и находит для себя полное оправдание в словах: «Помилуйте! — два часа тому назад я сам собственными ушами слышал!»

Во всяком случае, благодаря хорошей подготовке Афанасий Аркадьич стал на избранном пути быстро и прочно. Будучи обласкан амфитрионами, он не пренебрегал домочадцами и челядинцами. Для всякого у него находилось доброе слово, для детей — бомбошка, для гувернантки — пожатие руки и удивление перед свежестью ее лица, для камердинера — небольшая денежная подачка в праздник, скромность которой в значительной мере смягчалась простотою обращения.

— Ну что, голубчик, как сегодня... владыка-то? — спросит Афанасий Аркадьич, остановившись на минутку, чтобы побеседовать с alter ego [1] владыки.

— Ничего — как будто. Встали утром даже сверх ожидания... чаю накушались, доклад от Ивана Иваныча приняли; теперь — завтракать сейчас будут.

— Ну, а насчет слухов как?

— Да ни то ни се... Кажется, как будто... Вчера с вечера, как почивать ложились, наказывали мне: «Смотри, Семен, ежели ночью от князя курьер — сейчас же меня разбуди!» И нынче, как встали, первым делом: «Приезжал курьер?» — «Никак нет, ваше-ство!» — «Ах, чтоб вас!..»

— И больше ничего?

— Нынче они очень смирны сделались. Прежде, бывало, действительно, чуть что — и пошел дым коромыслом. А в последнее время так сократили себя, так сократили, что даже на удивление. Только и слов: «В нас, брат Семен, не нуждаются; пошли в ход выродки да выходцы — ну, как-то они справятся, увидим». А впрочем, к часу карету приказали, чтобы готова была...

— Может быть, и сладится... Однако в столовой ножами гремят; пойду-ка я...

— Пожалуйте! — генерал очень рады будут.

Афанасий Аркадьич сначала просовывает голову в дверь столовой и при восклицаниях: «Милости просим! милости про-

---

[1] вторым я.

сим!» — проникает и всем туловищем в святилище завтраков и обедов.

— Ну, что? — кого назначили? — знаешь? — говори! — накидывается на него генерал.

Он еще бодр и свеж; волосы с проседью, щеки румяные, усы нафабрены, сюртук нараспашку, белая жилетка.

— Да покуда еще не решено,— беззастенчиво лжет Бодрецов,— поговаривают, будто твое превосходительство побеспокоить хотят, но с другой стороны графиня Погуляева через барона фон-Фиша хлопочет...

— Это за «мартышку»-то?.. Нашли сокровище!

— И то никто в городе верить не хочет. Ну, да бог милостив, как-нибудь дело сладится, и ты...

— Что ж, я готов. Призовут ли, не призовут ли — на все воля божья. Одно обидно — темнота эта. Шушукаются по углам, то на тебя взглянут, то на «мартышку» — ничего не поймешь... Эй, человек! — подтвердить там, чтобы через час непременно карета была готова!

Как нарочно, обстоятельства так сложились для Бодрецова, что приезд его в Петербург совпал с тем памятным временем, когда северная Пальмира как бы замутилась. Шли розыски; воздух был насыщен таинственными шепотами. Положение было серьезное, но людей, по обыкновению, не оказывалось. Или, лучше сказать, их было даже чересчур много, но всё такие, у которых было на уме одно: урвать и ради этого бессознательно бежать, куда глаза глядят. Во всяком случае, для слухов самых разнообразных и неправдоподобных нельзя было придумать более подходящего времени.

Бодрецов воспользовался этим чрезвычайно ловко. Не принимая лично участия в общем угаре, он благодаря старым связям везде имел руку и сделался как бы средоточием и историографом господствовавшей паники. С утра он уж был начинен самыми свежими новостями. Там-то открыли то-то; там нашли список имен; там, наконец... Иногда он многозначительно умолкал, как бы заявляя, что знает и еще кой-что, но дальше рассказывать несвоевременно...

— Увидите, и не то еще будет! — прибавлял он в заключение.

— Но что же такое? — допрашивали его.

— Не могу, голубчик! но только вспомните мое слово!

— Надеюсь, однако ж, что сумеют с этим покончить!

— Ах, не скоро! ах, не скоро! Нужно очень-очень твердую руку, а наш генерал уж слаб и стар. Сердце-то у него попрежнему горит, да рука уж не та... Благодарение богу, общество как будто просыпается...

— Хоть бы к обществу обратились, что ли!

— Имеется это в виду, имеется. Вчера об этом серьезный разговор был, и...

— Решено?

— Как будто похоже на это... Сегодня, впрочем, опять совещание будет, и надо думать... Мне уж обещали: тотчас же после совещания я к одному человечку ужинать приглашен...

И т. д., и т. д.

Наконец Петербург понемногу затих, но шепоты не успели еще прекратиться, как начались военные действия в Сербии, затем «болгарские неистовства», а в конце концов и война за независимость Болгарии. Сан-стефанский договор, потом берлинский трактат — все это доставило обильнейшую пищу для деятельности Бодрецова. В то же время, как газеты силились чем-то поделиться с читателями или, по крайней мере, на что-нибудь намекнуть, Афанасий Аркадьич стрелою несся по Невскому и нашептывал направо и налево сокровеннейшие тайны дипломатии. И так как он почерпал эти тайны в самых разнообразных источниках, то и чепуха выходила разнообразнейшая. Однако ж этой чепухе верили, так как настоящих фактов под руками не было, а между тем всем хотелось заранее угадать, какою неожиданностью подарит мир европейский концерт.

— Нам — ни клокá! все австрияк заграбил! — шептал он сегодня,— так прогулялись, задаром!

— Гм... это все штуки Бисмарка!

— И Бисмарк, да и прочие... Один француз был за нас!

— Ах, этот француз! И помочь-то он нынче никому не может!

Но на другой день Афанасий Аркадьич являлся с торжествующей физиономией.

— Все наше,— возвещал он,— и Болгария — наша, и Молдавия — наша. Сербия — сама по себе, а Боснию и Герцеговину австрияку отдали. Только насчет Восточной Румелии согласиться не могут, да вот англичанин к острову Криту подбирается.

— Да верно ли?

— Я у князя Котильона вчера обедал (мы с ним в Варшаве вместе служили) — вдруг шифрованную депешу принесли. Читал он ее, читал,— вижу, однако, улыбается. «Поздравьте, говорит, меня, друг мой! Молдавия и Болгария — наши!» Сейчас потребовал шампанского: ураaa! А тут, пока все поздравляли друг друга, разъяснилось и все прочее.

— Вот только Боснию и Герцеговину жалко!

— Я уж и сам говорил Котильону: как это вы козла в ого-

род пустили? «Нельзя, говорит, я и сам, мой друг, понимаю, но... делать нечего!»

— Да и насчет Восточной Румелии...

— Ну, это пустяки! Ежели даже и посадят туда какого-нибудь Кадык-пашу, так он, в виду соседа, руки по швам держать будет!

— Да верно ли?

— Чего еще вернее! От Котильона я отправился к одному приятелю — в контроле старшим ревизором служит. «У нас, говорит, сегодня экстренное заседание: хотят в Болгарии единство касс вводить». Оттуда — к начальнику отделения, в министерстве внутренних дел служит. Он тоже: «Не знаете ли вы, говорит, человечка такого, которого можно было бы в Журжево исправником послать?»

— Фу-ты!!

Вообще, как я уже сказал выше, Болгария доставила ему неистощимый родник новостей. И до сих пор он занимается ею с особенной любовью: подыскивает кандидатов на болгарский престол, разузнает, будет ли оккупация и как смотрит на этот вопрос австрияк, распространяет вернейшие сведения о путешествии болгарской депутации по Европе, о свиданиях Стоилова с Баттенбергом, и проч., и проч.

Но болгарский вопрос видимо истощается, и Бодрецов уже начинает поговаривать о близости нового конфликта между Германией и Францией.

— Вы думаете, Франция даром войска на восточной границе стягивает? — говорит он,— нет, теперь уж все ее приготовления подробно известны!

Или:

— Вы думаете, что Германия даром войска на западной границе стягивает? Нет, батюшка, напрасно она полагает, что в наше время можно втихомолку войско в пятьсот тысяч человек в один пункт бросить!

И ежели война грянет, то Афанасий Аркадьич будет за два дня до опубликования в газетах сыпать по тротуарам самые достоверные известия.

— Осада Парижа! — будут выкрикивать мальчишки — продавцы газет.

— Держи карман! — опровергнет их Бодрецов, — это вчера немцы под Париж подошли, а нынче сами в Мец спрятались. Нет, батюшка, нынче Франция уж не та. Генерал Буланже, ежели только он выдержит — большая ему будущность предстоит!

В настоящее время Афанасию Аркадьичу уже за пятьдесят, но любо посмотреть, как он бегает. Фигура у него сухая, ноги

легкие — любого скорохода опередит. Газеты терпят от него серьезную конкуренцию, потому что сведения, получаемые из первых рук, от Бодрецова, и полнее и свежее.

Однако и с ним бывают прорухи. На днях встречаю я его на Морской; идет, понуривши голову, и, к величайшему удивлению... молчит! А это большая в нем редкость, потому что он так полон разговора, что ежели нет встречного знакомого, то он сам себе сообщает новости.

— Что задумались, Афанасий Аркадьич? — спрашиваю я.

— У своего генерала сейчас был,— сообщил он мне шепотом,— головомойку мне задал. «С чего, говорит, вы взяли распространять слух, что как только француз немца в лоб, так мы сейчас австрияка во фланг?» — А чего «с чего», когда я сам собственными ушами слышал!

— Что же вы?

— Покаялся. Виноват, говорю, ваше-ство, впредь буду осмотрительнее... И что же вы думаете! Сам же он мне потом открылся: «Положим, говорит, что вы правы; но есть вещи, которые до времени открывать не следует». Так вот вы теперь и рассудите. Упрекают меня, что я иногда говорю, да не договариваю; а могу ли я?

Таким образом проходит день за днем жизнь Бодрецова, представляя собой самое широкое олицетворение публичности. Сознает ли он это? — наверное сказать не могу, но думаю, что сознает... бессознательно. По крайней мере, когда я слышу, как он взваливает все беды настоящего времени на публичность, то мне кажется, что он так и говорит: для чего нам публичность, коль скоро существует на свете Афанасий Аркадьич Бодрецов?

VI

ПОРТНОЙ ГРИШКА

Так, по крайней мере, все его в нашем городе звали, и он не только не оставался безответен, но стремглав бежал по направлению зова. На вывеске, прибитой к разваленному домишке, в котором он жил, было слепыми и размытыми дождем буквами написано: «Портной Григорий Авениров — военный и партикулярный с Москвы».

Происхождением был он из дворовых людей и отдан с десятилетнего возраста в учение к славившимся тогда московским портным Шиллингу и Тёпферу. Здесь он долгое время присматривался: таскал утюги, бегал в трактир за кипятком для настоящих портных, терпел потасовки, учился скверным словам, пил потихоньку вино и т. д. Словом сказать, проделал всю школу ученика. Пятнадцати лет ему дали иглу в руки, и он, глядя на других, учился шить на лоскутках. Сшивал, распарывал и опять сшивал, покуда наконец не дали ему подметывать. А через год — посадили на верстак, и из него образовался уже настоящий портной. Только кроить он не умел (это делали сами хозяева фирмы) и лишь впоследствии самоучкой отчасти дошел до усвоения этого искусства.

Наружность, признаться сказать, он имел неблаговидную. Громадная не по росту, курчавая голова с едва прорезанными, беспокойно бегающими глазами, с мягким носом, который всякий считал долгом покомкать; затем, приземистое тело на коротких ногах, которые от постоянного сиденья на верстаке были выгнуты колесом, мозолистые руки — все это, вместе взятое, делало его фигуру похожею на клубок, усеянный узлами. Когда этот клубок катился по улицам (Гришка постоянно отыскивал работишки), то цеплялся за встречных и терпел от них немало колотушек. Ежели прибавить к этому замечательную неопрятность и вечно присущий запах перегорелой сивухи, которым, казалось, было пропитано все его тело, то не покажется удивительным, что прекрасный пол сторонился от Гришки.

В нашем городе, где он устроился тотчас после крестьянского освобождения, он был лучший портной. Но город наш — бедный, и обыватели его только починивались, редко прибегая к заказам нового платья. Один исправник неизменно заказывал каждый год новую пару, но и тут исправничиха сама покупала сукно и весь приклад, призывала Гришку и приказывала кроить при себе.

— И хоть бы она на минутку отвернулась или вышла из комнаты,— горько жаловался Гришка,— все бы я хоть на картуз себе лоскуток выгадал. А то глаз не спустит, всякий обрезок оберет. Да и за работу выбросят тебе зелененькую — тут и в пир, и в мир, и на пропой, и за квартиру плати; а ведь коли пьешь, так и закусить тоже надо.Неделю за ней, за этой парой, просидишь, из-за трех-то целковых!

Один только раз ему посчастливилось: приехавший в город на ревизию губернатор зацепился за гвоздь и оторвал по целому месту фалду мундира. Гришка, разумеется, так затачал, что лучше новой разорванная фалда вышла, и получил пять целковых.

— Вот какой это господин! — рассказывал он потом,— слова не сказал, вынул бумажник, вытащил за ушко вот эту самую синенькую — «вот тебе, братец, за труд!» Где у нас таких господ сыщешь!

Я зазнал Гришку в самый момент разрешения крестьянского вопроса. У меня было подгородное оброчное имение, и так как в нем не существовало господской усадьбы, то я поневоле поселился на довольно продолжительное время в городе на постоялом дворе, где и устраивал сделки с крестьянами. Жил я, впрочем, не сплошь, а в течение двух лет, покуда длилось мое дело, то уезжал, то возвращался. В новой одежде я не нуждался, но «починиваться», от времени до времени, все-таки приходилось, и Гришка довольно часто навещал меня и по делу и без дела.

Жил он со своими стариками, отцом и матерью, которых и содержал на свой скудный заработок. Старики были пьяненькие и частенько-таки его поколачивали. Вообще он очень жаловался на битье, которое составляло главное содержание и язву его жизни. Колотили его и дома, и вне дома; а ежели не колотили, то грозили поколотить. Он торопливо перебегал на другую сторону улицы, встречая городничего, который считал как бы долгом погрозить ему пальцем и промолвить: «Погоди! не убежишь! вот ужо!» Исправник — тот не грозился, а прямо приступал к делу, приговаривая: «Вот тебе! вот тебе!» — и даже не объясняя законных оснований. Даже купец Поваляев, имевший в городе каменные хоромы,— и тот подводил его к

зеркалу, говоря: «Ну, посмотри ты на себя! как тебя не бить!»

И затем ухватывал жирными пальцами его за нос и комкал.

— И кабы я в чем-нибудь был причинен! — негодовал Гришка,— ну, тогда точно... ну, стою того, так стою... А то, поверите ли, всякий мальчишка-клоп, и тот норовит дать тебе мимоходом туза! Спросите: за что?!

Как я уже сказал выше, ко мне он ходил часто. Сначала посидит в стряпущей с прислугой, а потом незаметно проберется в мою комнату и стоит, притаившись, в дверях, пока я сам не заговорю.

— Ну, что новенького? — спросишь его.

— Да вот, работишки бы...

— Рад бы, да нет.

— Я и сам думал, что нет. Прислали бы, кабы была. А как бы я живо! Да что, сударь, я пожаловаться вам хочу...

И начнет, и начнет. И почти всегда битье составляло главную тему его россказней. Таким образом, помаленьку, урывками, рассказал он мне свое горевое житье с самых младенческих лет.

— Вы как думаете, кто был мой отец? — говорил он,— старшим садовником он был у господина Елпатьева. Кабы вина не пил, так озолотил бы его — вот какой это был человек! Какие у нас ранжереи были! сколько фруктов, цветов! И все он причиной. Бывало, призовет его барин: «Чтоб были у меня, Дементьич, на Ивана-крестителя — он 24-го июня именины праздновал — персики!» И были-с. Большая, сударь, тут наука нужна. Раньше ставни в ранжерее открыть, раньше протапливать начать, да чтобы не засушить или не залить — вот тогда и будут ранние персики! А потом барыня Наталья Кирилловна призовет: «Чтоб были у меня 26-го августа вишни!» И были-с! У других об вишнях уж и забыли, а у нас Дементьич в конце августа, бывало, подаст столько, что господа съедутся да только ахают. Отца-то моего у господина Елпатьева князь один торговал, тысячу рублей посулил да поваренка в придачу,— так барин даже на такие деньги не польстился. А теперь вот и даром пришлось отпустить...

— Так отчего же бы старику не остаться у прежнего помещика?

— И сами теперь об этом тужим, да тогда, вишь, мода такая была: все вдруг с места снялись, всей гурьбой пошли к мировому. И что тогда только было — страсть! И не кормит-то барин, и бьет-то! Всю, то есть, подноготную разом высказали. Пастух у нас жил, вроде как без рассудка. Болона́ у него на

лбу выросла, так он на нее все указывал: болит! А господин Елпатьев на разборку-то не явился. Ну, посредник и выдал всем разом увольнительные свидетельства.

— А били-таки вас?

— Это так точно-с. Да ведь и теперь, вашескородие, управа-то на нашего брата одна... По крайности, как были крепостные, так знали, что *свой* господин бьет, а нынче всякий, кому даже не к лицу, и тот тебе скулу своротить норовит. А сверх того, и голодом донимают: питаться нужно, а работы нет. Ушел бы в Москву, да куда я со стариками, с своей слабостью, там поспел! Мы уж и сами потом хватились, что не про всех местов припасено,— да поздно. Шибко рассердился тогда Иван Савич на нас; кои потом и прощенья просили, так не простил: «Сгиньте, говорит, с глаз моих долой!» И что ж бы вы думали? какие были «заведения» — и ранжереи, и теплицы, и грунтовые сараи — все собственной рукой сжег! «Не доставайся, говорит, ни черту, ни дьяволу!» А наконец велел заложить коляску, забрал семейство — только его и видели!

— Вы-то сами где жили, когда объявили волю?

— Я в Москве по оброку ходил. Да что моя, сударь, за жизнь — только слава! С малых лет все в колотушках да в битье. Должно быть, несуразный я отроду вышел, что даже отец родной — и тот меня не жалел. Матушка еще поначалу сколько-нибудь снисходила, а потом и она — видит, что все бьют,— и она стала бить. Оттого и росту у меня настоящего нет. Сколько раз меня господин Елпатьев в рекруты ставил — не принимают, да и шабаш! Приказчик у нас был,— так тот, бывало, позеленеет весь, как меня из рекрутского присутствия обратно привезут, и первым долгом — колотить.— За что ж, мол, вы, Ефим Семеныч, меня бьете? Разве я причинен? Я даже с радостью в солдатах послужить готов! — «Тебя-то, говорит, не бить! да тебя, как клопа, раздавить нужно!»

Высказавши все это, он на минуту закручинится и опять начнет:

— А я все-таки барскую ласку помню. Понадобится, бывало, барину новая пара или барчукам мундирчики новые — сейчас: выписать из Москвы Гришку! И шью, бывало, месяц и два, и три, спины не разгибаю, покуда весь дом не обошью. Со всяким лоскутком всё ко мне: даже барыня: «Сшей, Гришка, мне кальсоны!» — и не стыдилась, при моих глазах примеривала. «Ты говорит, Гришка, и не человек совсем; при тебе и стыдиться нельзя...» Такая, сударь, у нас барыня была — бедовая! верхом по-мужски на лошади ездила! Кончу свое дело, зачтут что следует в оброк, полтинник в зубы на дорогу и ступай на все четыре стороны. А в Москве между тем место

твое уже занято. Шляешься неделю-другую, насилу устроишься!

— В чем же тут ласка была?

— Как же, сударь, возможно! все-таки... Знал я, по крайней мере, что «свое место» у меня есть. Непозадачится в Москве — опять к барину: режьте меня на куски, а я оброка добыть не могу! И не что́ поделают. «Ах ты, расподлая твоя душа! выпороть его!» — только и всего. А теперь я к кому явлюсь? Тогда у меня хоть церква своя, спас-преображенья, была — пойду в воскресенье и помолюсь.

— Все-таки, по-моему, на воле вам лучше живется!

— Известно, как же возможно сравнить! Раб или вольный! Только, доложу вам, что и воля воле рознь. Теперича я что хочу, то и делаю; хочу — лежу, хочу — хожу, хочу — и так посижу. Даже задавиться, коли захочу,— и то могу. Встанешь этта утром, смотришь в окошко и думаешь! теперь шалишь, Ефим Семенов, рукой меня не достанешь! теперь я сам себе господин. А ну-тко ступай, «сам себе господин», побегай по городу, не найдется ли где дыра, чтобы заплату поставить, да хоть двугривенничек на еду заполучить!

— Неужто до того дошло?

— А как бы вы, сударь, думали? Мудреное это дело — воля! Кабы дали мне волю, да при сем капитал — и я бы распорядиться сумел! А то вышли мы в те поры, дворовые, на улицу; и направо, и налево глядим, а что такое случилось — понять не можем. Снялись со старого места, идем вперед, а впереди-то все не наше, ни до чего коснуться нельзя. Вам, сударь, и денька прожить не приводилось, чтобы в свое время вы не позавтракали, не пообедали, чайку не накушались,— а мы целый месяц Христовым именем колотились, покуда наконец кой-как да коё-как не пристроились.

— Да ведь в таком большом деле и всегда так. Не вы одни терпели, а и крестьяне и помещики...

— Это что говорить! Знаю я и помещиков, которые... Позвольте вам доложить, есть у нас здесь в околотке барин, Федор Семеныч Заозерцев прозывается, так тот еще когда радоваться-то начал! Еще только слухи об воле пошли, а он уже радовался! «Теперь, говорит, вольный труд будет, а при вольном труде земля сам-десят родить станет». И что же, например, случилось: вольный-то труд пришел, а земля и совсем родить перестала — разом он в каких-нибудь полгода прогорел!

— Так вот видите ли! Я и говорю, что не вы одни...

— Только он, не будь прост, сейчас же в Петербург уехал, к тетеньке, да к дяденьке, да к сестрицам — те ему живо место

оборудовали. Жалованье хорошее, а впереди ждет еще лучше — живет да посвистывает. Эх, кабы мне кто-нибудь жалованье положил — кажется, я бы по смерть тому человеку половину отдавал...

Вдоволь нажаловавшись, он уходил, с тем чтобы через короткое время опять воротиться и опять начать целую серию жалоб. Видимо, это облегчало его, наполняя праздное время и давая пищу праздному уму. Когда обида составляет единственное содержание жизни, когда она преследует человека, не давая ни минуты отдыха, тогда она, без всякой с его стороны преднамеренности, проникает во все закоулки сердца, наполняет все помыслы. Язык не может произносить иных слов, кроме жалобы, как будто самое формулирование этой жалобы уже представляет облегчение.

— А вот позвольте мне рассказать, как меня в мальчиках били,— говаривал он мне,— поступил я с десяти лет в ученье и с первой же, можно сказать, минуты начал терпеть. Видеть меня никто не мог, чтоб не надругаться надо мной. С утра до вечера все в работе находишься: утюги таскаешь, воду носишь; за пять верст с ящиками да с корзинками бегаешь — и все угодить не можешь. Хозяева ременною плетью бьют; мастера всякие тиранства выдумывают. Бывало, позовет мастер: «Давно я у тебя, Гришка, масла не ковырял!» — поймает это за волосы и начнет ногтем большого пальца в голове ковырять! Голова, уши, нос — завсегда в болячках были... Даже теперь голову ломит и в ушах звон стоит, коли к погоде... И все-таки жив-с!

— Ну, что об этом вспоминать... ведь зажило!

— Нет-с, не зажило, и не может зажить... Ах, кабы мне... вот хоть бы чуточку мне засилия... кажется бы, я...

Он не досказывал своей мысли и умолкал.

— Ничего бы вы не поделали, да и поделать не можете. Вот кабы вы пить перестали — это было бы дельнее.

— И этому я еще в учениках научился. Принесешь, бывало, мастерам полштоф, первым делом: «Цóпнем, Гришка!» И хоть отказывайся, хоть нет, разожмут зубы и вольют, сколько им на потеху надобно. А со временем и сам своей охотой начал потихоньку цопать. Цопал-цопал, да и дошел до сих мест, что и пересилить себя не могу.

— А вы пересильте; скажите себе: с нынешнего дня не буду пить — и баста!

— Говорить-то по-пустому все можно. Сколько раз я себе говорил: надо, брат Гришка, с колокольни спрыгнуть, чтобы

звания, значит, от тебя не осталось. Так вот не прыгается, да и все тут!

— Зачем с колокольни прыгать! Мы жизнью своею распоряжаться не вольны. Это, любезный друг, и в законах предусмотрено!

— А что же со мной закон сделает, коли от меня только клочья останутся? Мо́чи моей, сударь, нет; казнят меня на каждом шагу — пожалуй, ежели в пьяном виде, так и взаправду спрыгнешь... Да вот что я давно собираюсь спросить вас: большое это господам удовольствие доставляет, ежели они, например, бьют?..

— То есть как же это «бьют»?

— Да вот, например, как при крепостном праве бывало. Призовет господин Елпатьев приказчика: «Кто у тебя целую ночь песни орал?» И сейчас его в ухо, в другое... А приказчик, примерно, меня позовет. «Ты, черт несуразный, песни ночью орал?» И, не дождавшись ответа, тоже — в ухо, в другое... Сладость, что ли, какая в этом битье есть?

— Не думаю. Битье вообще не удовольствие; это движение гнева, выраженное в грубой и отвратительной форме,— и только. Но почему же вы именно о «господах» спрашиваете? ведь не одни господа дерутся; полагаю, что и вы не без греха в этом отношении...

— Известно, промежду себя... Да ведь одно дело — драться, другое — бить. Например, господин бьет приказчика, приказчик — меня... Мне-то кого же бить?

— Зачем же вам бить? вообще это скверно... И что это вам вдруг вздумалось завести этот разговор?

— Да так-с. Признаться сказать, вступит иногда этакая глупость в голову: все, мол, кого-нибудь бьют, точно лестница такая устроена... Только тот и не бьет, который на последней ступеньке стоит... Он-то и есть настоящий горюн. А впрочем, и то сказать: с чего мне вдруг взбрелось... Так, значит, починиться не желаете?

— Нечего чинить-то.

— Ну, на нет и суда нет. А я вот еще что хочу вас спросить: может ли меня городничий без причины колотить? Есть у него право такое?

— Ни без причины, ни с причиной колотить не дозволяется. Городничий может под суд отдать, а там как уж суд посудит.

— Стало быть, и с причиной бить нельзя? Ну, ладно, это я у себя в трубе помелом запишу. А то, призывает меня намеднись: «Ты, говорит, у купца Бархатникова жилетку украл?» — Нет, говорю, я отроду не воровал. «Ах! так ты еще запираться!» И начал он меня чесать. Причесывал-причесывал,

инда слезы у меня градом полились. Только, на мое счастье, в это самое время старший городовой человека привел: «Вот он — вор, говорит, и жилетку в кабаке сбыть хотел...» Так вот каким нашего брата судом судят!

— Ну, и что же потом?

— Помилуйте! даже извинился-с! «Извини, говорит, голубчик, за другой раз зачту!» Вот он добрый какой! Так меня это обидело, так обидело! Иду от него и думаю: непременно жаловаться на него надо — только куда?

— Как куда? Купите лист гербовой бумаги, да и пошлите губернатору просьбу.

— Вот оно как: гербовый лист купить надо, а где купило-то взял? да кто мне и просьбу-то напишет... вот кабы вы, сударь!

— Нет, мне неловко. Я ведь бываю у городничего, в карты иногда вместе играем... Да и вообще... На «писателей»-то, знаете, не очень дружелюбно посматривают, а я здесь человек приезжий. Кончу дело и уеду отсюда.

— Это так точно-с. Кончите и уедете. И к городничему в гости, между прочим, ездите — это тоже... На днях он именинник будет — целый день по этому случаю пированье у него пойдет. А мне вот что на ум приходит: где же правду искать? неужто только на гербовом листе она написана?

— Гербовый лист — сам по себе, а правда — сама по себе. Гербовый лист — это пошлина. Не на правду пошлина, а чтобы казне доход был. Кабы пошлины не было, со всякими бы пустяками начальство утруждали, а вот как теперь шесть гривенок надо за лист заплатить — ну, иной и задумается.

— Шесть гривен! где эко место денег взять! А все-таки правду хотелось бы сыскать. Намеднись господин Поваляев мял-мял мне нос, а я ему и говорю: «Вот вы мне нос мнете, а я от вас гривенника никогда не видал — где же, мол, правда, Василий Васильевич?» А он в ответ: «Так, вот оно ты об чем, бубновый валет, разговаривать стал! Правды захотелось... ах! Да знаешь ли ты, что тебя за такой разговор в тартарары сослать надо!» — да пуще, да пуще! Мы, вашескородие, когда не хмельны, так соберемся иногда — старики мои, я да вот хозяин наш — и всё об правде говорим. Была же она когда-нибудь на свете, коли слово такое есть. Хоть при сотворении мира, да была. Должно быть, и теперь есть, только чиновники ее в шкап заперли. Отдай шесть гривен — шкап приотворят,— смотришь, а там пусто!

— Не говорите так. Неравно услышат — нехорошо будет.

— Чего мне худого ждать! Я уж так худ, так худ, что теперь со мной что хочешь делай, я и не почувствую. В самую, значит, центру попал. Однажды мне городничий

говорит: «В Сибирь, говорит, тебя, подлеца, надо!» А что, говорю, и ссылайте, коли ваша власть; мне же лучше: новые страны увижу. Пропонтирую пешком отселе до Иркутска — и чего-чего не увижу. Сколько раз в бегах набегаюсь! Изловят — вздуют: «влепить ему!» — все равно как здесь.

— Однако вы таки отчаянный!

— Не отчаянный, а до настоящей точки дошел. Идти дальше некуда, все равно, где ни быть. Начальство бьет, родители бьют, красные девушки глядеть не хотят. А ведь я, сударь, худ-худ, а к девушкам большое пристрастие имею. Кабы полюбила меня эта самая Феклинья, хозяина нашего дочь,— ну, кажется бы, я... И пить бы перестал, и все бы у меня по-хорошему пошло, и заведеньице бы открыл... Только ничего от нее я другого не слышу, окромя: «Уйди ты, лохматый черт, с моих глаз долой!..» А впрочем, надоел я, должно быть, вам своей болтовней?..

— Ничего. Только мне идти надо.

— К городничему-с? Счастливо оставаться, сударь! дай бог любовь да совет! в карточки сыграете — с выигрышем поздравить приду!..

Однажды он прибежал ко мне в величайшем волнении.

— Хочу я вас спросить, сударь,— сказал он,— есть такие права, чтобы взрослого человека розгами наказывать?

— Говорил уж я вам, что таких прав давно не существует.

— А меня, между прочим, даже сегодня наказали. Мне об рождестве тридцать пять лет будет, а меня высекли.

— Кто же? за что?

— Родитель высек. Привел меня — а сам пьяный-распьяный — к городничему: «Я, говорит, родительскою властью желаю, чтоб вы его высекли!» — «Можно,— говорит городничий: — эй, вахтер! розог!» — Я было туда-сюда: за что, мол? «А за неповиновение,— объясняется отец,— за то, что он нас, своих родителей, на старости лет не кормит». И сколь я ни говорил, даже кричал — разложили и высекли! Есть, вашескородие, в законе об этом?

— Не знаю, право. Человек вы какой-то особенный; только с вами такие дела и случаются. Никакой закон не подходит к вам.

— И то особенный я человек, а я что же говорю! Бьют меня — вся моя особенность тут! Побежал я от городничего в кабак, снял штаны: «Православные! засвидетельствуйте!» — а кабатчик меня и оттоле в шею вытолкал. Побежал домой — не пущают!

— И домой не пускают?

— Да, и домой. Сидят почтенные родители у окна и водку пьют: «Проваливай! чтоб ноги твоей у нас не было!» А квартира, между прочим,— моя, вывеска на доме — моя; за все я собственные деньги платил. Могут ли они теперича в чужой квартире дебоширствовать?

Я решительно недоумевал. Может ли городничий выпороть совершеннолетнего сына по просьбе отца? Может ли отец выгнать сына из его собственной квартиры? — все это представлялось для меня необыкновенным, почти похожим на сказку.— Конечно, ничего подобного не должно быть, говорил здравый смысл, а внутреннее чувство между тем подсказывало: отчего же и не быть, ежели в натуре оно есть?..

— И добро бы я не знал, на какие деньги они пьют! — продолжал волноваться Гришка,— есть у старика деньги, есть! Еще когда мы крепостными были, он припрятывал. Бывало, нарвет фруктов, да ночью и снесет к соседям, у кого ранжерей своих нет. Кто гривенничек, кто двугривенничек пожертвует... Разве я не помню! Помню я, даже очень помню, как он гривенники обирал, и когда-нибудь все на свежую воду выведу! Ах, сделай милость! Сами пьют, а мне не только не поднесут, даже в собственную мою квартиру не пущают!

Гришка с каждой минутой все больше и больше свирепел. Как на грех, в это время совсем неожиданно посетил меня городничий. У Гришки даже кровью глаза налились при его появлении.

— Вот и господин говорит,— бросился он к нему,— что вы не только без причины, а и с причиной драться не смеете! А вы, между прочим, высекли меня! ах!

И вдруг он, к моему ужасу, начал наскакивать на городничего. Прыгает кругом, словно совсем и страха лишился, так что добрый старик даже сконфузился.

— Вон! — крикнул он, потрясая палкой, на которую опирался по причине раны в ноге, — м-м-мерзавец!

— Нет, я не «вон» и не «мерзавец», а вы вот при господине объясните, какое такое право имели вы меня высечь?

— Отец высек,— не я. Отец все над тобой сделать может: в Сибирь сослать, в солдаты отдать, в монастырь заточить... Ты его не кормишь, расподлая твоя душа!

— Так то̀ по суду! в суд он должен подать на меня, в суд! Что присудит суд, то и должен я восполнить — вот и господин это самое говорит. В Сибирь так в Сибирь; на каторгу так на каторгу — по суду мне везде хорошо! А то, вишь, ведь какие права нашли! заманили на съезжую, разложили и выпороли! Нет, нынче уж и мы... нынче и у нас спина... не всякий тоже... Отец!.. ишь ведь какие права нашлись! так что ж

что отец! Он меня сотворил — это так! но чтобы... Вот, ей-богу, сейчас пойду, лист гербовой бумаги куплю! не пожалею шести гривен — прямо к губернатору!

Положение мое было критическое. Старик городничий судорожно сжимал левый кулак, и я со страхом ожидал, что он не выдержит, и в присутствии моем произойдет односторонний маневр. Я должен, однако ж, сознаться, что колебался недолго; и на этот раз, как всегда, я решился выйти из затруднения, разрубив узел, а не развязывая его. Или, короче сказать, пожертвовал Гришкой в пользу своего собрата, с которым вел хлебосольство и играл в карты...

— Да не бейте вы его, ради Христа! — обратился я к городничему, когда Гришка исчез.

— Его-то? — изумился старик.

— Да, его. У него ведь свои права...

— У него-то... права!

— Права. Хоть маленькие, но права.

— Да ведь я его по желанию отца высек...

— И от отца вы не вправе были принимать таких заявлений, а обязаны были обратить его к суду.

— Стало быть, и родительская власть...— Позвольте, я вам что расскажу. Я сам — вот как видите — я сам в молодости такой прожженный негодяй был, что днем с огнем поискать. И карты, и пьянство, и дебош — всего было! Бился-бился отец, вызвал меня из полка в отпуск, и не успел я еще в родительский дом путем войти, как окружили меня в лакейской, спустили штаны, да три пучка розог и обломали об мое поручичье тело... С тех пор — как с гуся вода! В карты — по маленькой; водки — только перед обедом рюмка... баста! Так вот оно что значит родительская-то власть! Помилуйте! да ежели бы я Гришку не учил, так он и город-то у меня давно бы спалил!

Это воспоминание прошлого совершенно успокоило моего гостя. Я заикнулся было возразить ему, но язык не поворотился перед такою невозмутимостью. Навстречу всем возражениям шла самая обыкновенная оговорка: сила вещей. Нигде она не написана, никем не утверждена, не заклеймена, а идет себе напролом и все на пути своем побеждает. Один расскажет, как его секли, другой расскажет, как с него шкуру спустили,— и все убедятся, что иначе не может и быть. Каждый пороется у себя в памяти и непременно какое-нибудь сеченье да найдет... Тут и родители, и заступающие их место, и попечители, и начальники — словом сказать, все, которые и сами были сечены, которых праотцы были сечены и которые ни за что не поверят, услыхав, что сыновья и внуки их не пожелают быть сеченными. До такой степени не поверят,

что хоть внезапно, крадучись, а все-таки или себя позволят, на старости лет, высечь, или сами кого-нибудь высекут... И не по злобе, а так, ради выполнения освященного веками педагогического принципа.

В другой раз Гришка прибежал еще более взволнованный.

— А у меня сегодня палатский чиновник был! — объявил он мне.

— Неужели опять про битье будете рассказывать?

— Нет, этот не бил, а пришел и говорит: «Я прислан здешние торги проверить; вывеска эта ваша?» — Моя, говорю.— «Вы один занимаетесь мастерством? без учеников?» — Один.— «А имеется у вас свидетельство на мещанские промыслы?» — Какое свидетельство? — «А вот, смотрите!» — вынул из портфеля лист, а на нем написано: цена 2 р. 50 к.— «Уплатите, говорит, деньги и возьмите свидетельство; на первый раз я вас не штрафую!» — Я так и ахнул! — Помилуйте! где же я эко место денег возьму? — «А это, говорит, меня не касается; я закон выполнить должен, а вы как знаете».— А ежели я да не возьму свидетельства? — «Тогда я инструмент ваш запечатаю...» Позвольте у вас спросить, сударь: может он так со мной поступить?

— Не знаю, может быть, закон такой есть. Много нынче новых законов пишут — и не уследишь за всеми! Стало быть, вы теперь с обновкой?

— Помилуйте! где я эстолько денег возьму? Постоял-постоял этот самый чиновник: «Так не берете?» — говорит.— Денег у меня и в заводе столько нет.— «Ну, так я приступлю...» Взял, что на глаза попалось: кирпич истыканный, ниток клубок, иголок пачку, положил все в ящик под верстаком, продел через стол веревку, запечатал и уехал. «Вы, говорит, до завтра подумайте, а ежели и завтра свидетельство не возьмете, то я протокол составлю, и тогда уж вдвойне заплатите!» Вот, сударь, коммерция у меня какова!

— Что ж, делать нечего; приходится взять.

— И я вижу, что приходится, да денег нет. По его, значит, я руки склавши сидеть должен... Где это слыхано! человек работает, а ему говорят: не смей работать, ступай в кабак! Потому что куда ж мне теперь, окромя кабака, идти?

— Да, но согласитесь сами, что и государство с своей стороны... У государства есть потребности: войско, громадная орава чиновников — нужно все это оплатить! Вот оно и изыскивает предметы... И предметы сии называются предметами обложения. Пора бы вам, кажется, знать.

— И то пора. Только, вот, как ни живешь, а все завтрашнего предмета не угадаешь. Сегодня десять предметов — ду-

маешь: будет! — ан завтра — одиннадцатый! И всё по затылку да по затылку — хлобысь! А мы бы, вашескородие, и без предметов хорошохонько прожили бы.

— Верю вам, что без предметов удобнее, да нельзя этого, любезный. Во-первых, как я уже сказал, казне деньги нужны; а во-вторых, наука такая есть, которая только тем и занимается, что предметы отыскивает. Сначала по наружности человека осмотрит — одни предметы отыщет, потом и во внутренности заглянет, а там тоже предметы сидят. Разыщет наука, что следует, а чиновники на ус между тем мотают, да, как наступит пора, и начнут по городам разъезжать. И как только заприметят полезный предмет — сейчас протокол!

— И сколько с нас этих сборов сходит — страсть! И на думу, и на мирское управление, и на повинности, а потом пойдут портомойные, банные, мостовые, училищные, больничные. Да нынче еще мода на монаменты пошла... Месяца не пройдет, чтоб мещанский староста не объявил, что копейки тричетыре в год нового схода не прибавилось. Платишь-платишь — и вдруг: отдай два с полтиной!

— И отдадите.

— Беспременно это купец Бархатников на меня чиновника натравил. Недаром он намеднись смеялся: «Вот ты работаешь, Гришка, а правов себе не выправил». Я, признаться, тогда не понял: это вам, брюхачам, говорю, права нужны, а мы и без правов проживем! А теперь вот оно что оказалось! Беспременно это его дело! Так, стало быть, завтра в протокол меня запишут, а потом прямой дорогой в кабак!

Однако ж на другой день он навестил меня уже с обновкой. Купец Поваляев дал ему, один за другим, сто щелчков в нос и за это внес требуемую пошлину.

И тут, стало быть, дело не обошлось без битья.

Один только раз Гришка пришел ко мне благодушный, как будто умиротворенный и совсем трезвый. Он только что воротился из «своего места», куда ходил на престольный праздник Спаса преображения.

— Ушли мы отсюда накануне праздника, чуть свет,— рассказывал он мне,— косушку вина взяли, калачей, колбасы. Отойдем версты три — отдохнем и закусим. Сорок-то верст отвалять — не поле перейти. У Троицы на половине дороги соснули, опять косушку купили. Только к вечеру уж, часам к семи, видим: наш Спас преображенья из-за лесу выглянул! Стоит на горке, ровно как на картинке, весь в солнышке. Слышим — и ко всенощной уж благовестят. Ну, мы сняли с себя

одежу, почистились, умылись в канаве и пошли. Отошла всенощная — уж темно. Пошли к тетеньке Афимье Егоровне — накормила нас, в сарайчике спать уложила. А в сарайчике-то сено новое — таково ли пахнет! И что ж, сударь, устал я с дороги, а никак не усну! Ворочаюсь с боку на бок и все думаю: скоро ли свет? И чуть только побелело, я из сарая вон! Вышел, смотрю: господи ты боже мой! благодать! И солнышко-то там не по-здешнему встает! Здесь встанешь утром, посмотришь в окошко — солнце как солнце! А там словно змейками огненными сначала брызнет и начнет потом дальше да пуще разливаться... Дохну́ть боишься, покуда оно, значит, солнце-то, одним краешком словно из воды выплывать начнет! А кругом — тишина, ни одна веточка, ни один лист не шелохнется — точно и деревья-то заснули, ждут, пока солнышко не пригреет. Стоял я таким манером один, а там, слышу, уж и по деревне зашевелились. Бабы печи затоплять стали, стадо в поле погнали, к заутрене зазвонили. Отстояли мы заутреню, потом обедню. Приход у нас хоть маленький, а все же для праздника дьякона соседнего пригласили. После обедни, даже не закусил путем,— прямо на барский двор побежал... ах, хорошо! Дом-то, правда, с заколоченными ставнями стоит, зато в саду — и не вышел бы! кусты, кусты, кусты — так и обступили со всех сторон... И на дорожках, и на клумбах — везде все в один большущий куст сплелось! И сирень тут, и вишенья, и акация, и тополь! И весь этот куст большущий поет и стрекочет! А кругом саду — березы, липы, тополи — и глазом до верхушки не достанешь. Давно ли, кажется, я каждое дерево наперечет знал, а тут, как сад-то зарос, и я запутался. Стоят, сердечные, и шапками покачивают, словно отпеванье кругом идет. Ходил-ходил я один-одинехонек, да и думаю: хорошо, что надумал один идти, а то беспременно бы мне помешали. Нагулявшись досыта, пошел в другой сад, где у старого барина фруктовое заведение было,— и там все спуталось и сплелося. Ягодные кусты одичали; где гряды с клубникой были — мелкая поросль березовая словно щетка стоит; где ранжерея и теплица были — там и сейчас головешки не убраны. Только яблони еще целы, да и у тех ветки, ради Преображеньева дня, деревенские мальчишки, вместе с яблоками, обломали. Смотрю: и родитель мой, уж выпивши, около ранжереи стоит. «Вот, говорит, ходил-ходил, кровь-пот проливал, а что осталось!»

. . . .

Наконец, уж почти перед самым моим отъездом из города, Гришка пришел ко мне и как-то таинственно, словно боялся, что его услышат, объявил, что он женится на хозяйской до-

чери, Феклинье, той самой, о которой он упоминал не раз и в прежних собеседованиях со мною.

— Ах, хороша девица! — хвалил он свою невесту,— и из себя хороша, и скромница, и стирать белье умеет. Я буду портняжничать, она — по господам стирать станет ходить. А квартира у нас будет своя, бесплатная. Проживем, да и как еще проживем! И стариков прокормим. Вино-то я уж давно собираюсь бросить, а теперь — и ни боже мой!

— Стало быть, она согласилась?

— Да с какою еще радостью! Только и спросила: «Ситцевые платья будете дарить?» С превеликим, говорю, моим удовольствием! «Ну, хорошо, а то папаша меня все в затрапезе водит — перед товарками стыдно!» — Ах, да и горевое же, сударь, ихнее житье! Отец — старик, работать не может, да и зашибается; матери нет. Одна она и заработает что-нибудь. Да вот мы за квартиру три рубля в месяц отдадим — как тут разживешься! с хлеба на квас — только и всего.

— Смотрите же, сдержите ваше слово, бросьте пить!

— И ни-ни! Вчера последнюю косушку выпил. Сегодня с утра мутит, да авось перемогусь. Нельзя мне, сударь, пить, никоим манером нельзя. Жена, старики, а там, благослови господи, дети пойдут. Всем пропитанье я достать должен, да и Феклиньюшку свою поберечь. Стирка да стирка... руки у нее — кабы вы видели!.. даже ладони все в мозолях! Ну, да отдохнет и она за мужниным хребтом! И как мне теперь весело, кабы вы знали — точно нутро мое всё переменили! Только вот старики на радостях шибко горланят, да небось устанут же когда-нибудь!

— Ну, дай вам бог счастливо начать новую жизнь...

Затем я скоро совсем уехал и с тех пор не видал Гришки. Однако ж кое-что случайно слышал о нем, и это слышанное решаюсь передать читателю уже не в качестве действующего лица, а в качестве повествователя.

Свадьба состоялась на славу. Начать с того, что глядеть на жениха и невесту сбежался в церковь весь город; всем было любопытно видеть, каков будет Гришка под венцом. Затем, на дворе лил сентябрьский проливной дождь — это значило, что молодым предстоит жить богато. Наконец, за свадебным пиром все перепились, а это значило, что молодые будут жить весело.

Гришка был совсем трезв и смотрел почти прилично. За две недели до свадьбы он перестал пить, а купец Поваляев сжалился над ним и за многие прежние претерпения дал двадца-

типятирублевую на свадьбу. Были и другие пожертвования, да отец заглянул в кубышку, так что собралось рублей пятьдесят. А чего недостало, то в долг взяли, так как Гришка продолжал питать радужные мечты насчет собственного заведения, а также и насчет того, что Феклинья будет ходить по господам и стирать белье.

Но на другой же день он уже ходил угрюмый. Когда он вышел утром за ворота, то увидел, что последние вымазаны дегтем. Значит, по городу уже ходила «слава», так что если бы он и хотел скрыть свое «бесчестье», то это был бы только напрасный труд. Поэтому он приколотил жену, потом тестя и, пошатываясь как пьяный, полез на верстак. Но от кабака все-таки воздержался.

Феклинья была шустрая мещаночка лет двадцати трех, давно известная всем местным купеческим сынкам. Особенной красотой она не обладала, но была востроглаза, бела, но не расплывчива, хотя уже слегка расположена к дебелости. Это последнее качество, сопряженное с молодою задорливостью, в особенности нравилось. И ходила она как-то задорно, и глазами подмигивала, точно невесть что сулила! В целом городе один Гришка, по наивности и одичалости своей, не знал, что у нее уже сложилась прочная и очень некрасивая репутация.

В углу на столе кипел самовар; домашние всей семьей собрались около него и пили чай. Феклинья с заплаканными глазами щелкала кусок сахару; тесть дул в блюдечко и громко ругался. Гришка сидел неподвижно на верстаке и без всякой мысли смотрел в окошко.

— Садись пить чай,— звала его мать,— все равно не поправишь. А я ужó пойду, нагрею воды да отмою деготь.

Но Гришка не позволил отмывать.

— Не тронь! пускай все знают, в каком я интересе нахожусь! — зловеще прорычал он,— нынче смоешь, завтра опять вымажут.

— И поймать озорников можно. Уж так бы я отколошматила, кабы попался!

— Сто́ит из-за нее беспокойство принимать... паскуда! У меня своя вывеска, у нее — своя. Уйду в Москву; пускай она вас своими трудами кормит!

Так он и не притронулся к чаю. Просидел с час на верстаке и пошел на улицу. Сначала смотрел встречным в глаза довольно нахально, но потом вдруг застыдился, точно он гнусное дело сделал, за которое на нем должно лечь несмываемое пятно,— точно не его кровно обидели, а он всем, и знакомым и незнакомым, нанес тяжкое оскорбление.

— С праздником! — крикнул с балкона купец Поваляев, завидев его.

— С семейным счастьем! дай бог совет да радость! — подхватил с другого балкона купец Бархатников.

Он шел, не поднимая головы, покуда не добрался до конца города. Перед ним расстилалось неоглядное поле, а у дороги, близ самой городской межи, притаилась небольшая рощица. Деревья уныло качали разбухшими от дождя ветками; земля была усеяна намокшим желтым листом; из середки рощи слышалось слабое гуденье. Гришка вошел в рощу, лег на мокрую землю и, может быть, в первый раз в жизни серьезно задумался.

«Всю жизнь провел в битье, и теперь срам настал,— думалось ему,— куда деваться? Остаться здесь невозможно — не выдержишь! С утра до вечера эта паскуда будет перед глазами мыкаться. А ежели ей волю дать — глаз никуда показать нельзя будет. Без работы, без хлеба насидишься, а она все-таки на шее висеть будет. Колотить ежели, так жаловаться станет, заступку найдет. Да и обтерпится, пожалуй, так что самому надоест... Ах, мочи нет, тяжко!»

Мысль бежать в Москву неотступно представлялась его уму. Бежать теперь же, не возвращаясь домой,— кстати, у него в кармане лежала зелененькая бумажка. В Москве он найдет место; только вот с паспортом как быть? Тайком его не получишь, а узнают отец с матерью — не пустят. Разве без паспорта уйти?

«В Москве и без пачпорта примут, или чистый добудут,— говорил он себе,— только на заработке прижмут. Ну, да одна голова не бедна! И как это я, дурак, не догадался, что она гулящая? один в целом городе не знал... именно несуразный!»

Пролежал он таким образом, покуда не почувствовал, что пальто на нем промокло. И все время, не переставая, мучительно спрашивал себя: «Что я теперь делать буду? как глаза в люди покажу?» В сущности, ведь он и не любил Феклиньи, а только, наравне с другими, чувствовал себя неловко, когда она, проходя мимо, выступала задорною поступью, поводила глазами и сквозь зубы (острые, как у белки) цедила: «Ишь, черт лохматый, пялы-то выпучил!»

Вставши с земли, он зашел в подгородную деревню и там поел. «В Москву! в Москву!» — вертелось у него в голове. Однако на этот раз он окончательного решения не принял, но и домой не пошел, а когда настали сумерки, вышел из крестьянской избы и колеблющимися шагами направился в «свое место». Всю ночь он шел, терзаемый сознанием безвыходности своего положения, и только к заутрене (кстати был праздник)

достиг цели и прямо зашел в церковь. Церковь была совсем пуста. Громко раздавались под сводами возгласы священника и унылое пение тенориста-пономаря. Ожесточение в Гришке мало-помалу утихло; усталость и церковный мир сделали свое дело. Он встал на колени и начал молиться; полились слезы. Он чувствовал, что его начинают душить рыдания, что сердце в нем пухнет, разорваться хочет, и выбежал из церкви к тетке Афимье. Там он прямо объявил о своем «бесчестье» и жадно съел большой ломоть хлеба. Час-другой побурлил, но в конце концов как будто остепенился.

— Мне бы, тетенька, денька три отдохнуть, а потом я и опять...— сказал он.— Что ж такое! в нашем звании почти все так живут. В нашем звании как? — скажет тебе паскуда: «Я полы мыть нанялась»,— дойдет до угла — и след простыл. Где была, как и что? — лучше и не допытывайся! Вечером принесет двугривенный — это, дескать, поденщина — и бери. Жениться не следовало — это так; но если уж грех попутал, так ничего не поделаешь; не пойдешь к попу: «Развенчайте, мол, батюшка!»

Старуха охала, но соглашалась, что теперь ничего не поделаешь. Жить надо — только и всего. А стыд — не дым, глаза не выест.

— Кабы ты что дурное сделал — тогда точно... перед людьми нехорошо! — говорила она резонно.— Поучи ее как следует — небось по струнке станет ходить!

Он прожил в деревне три дня, бродя по окрестностям и преимущественно по господскому саду. С наступлением осени сад как будто поредел и казался еще унылее. Дорожки совсем заросли и покрылись толстым слоем листа, так что даже собственных шагов не было слышно. Громадные березы тоскливо раскачивали вершины из стороны в сторону; в сирени, которою были обсажены куртины, в акациях и в вишенье раздавался неумолкаемый шелест; столетняя липа, посаженная сбоку дома, скрипела от старости. Все намокло, разбухло, оголилось, точно иззябло. Кое-где виднелись поломанные скамейки; посредине круга, обсаженного липами, уцелели остатки беседки; тын из толстых, заостренных кольев, окружавший сад, почти повсеместно обвалился. Запустение было полное, но Гришке именно это и было нужно.

Он сам как будто опустел. Садился на мокрую скамейку, и думал, и думал. Как ни резонно решили они с теткой Афимьей, что в их звании завсегда так бывает, но срам до того был осязателен, что давил ему горло. Временами он доходил почти до бешенства, но не на самый срам, а на то, что мысль о нем неотступно преследует его.

— Забыть я о нем не могу! — жаловался он тетке,— ну, срам так срам — что же такое? а вот ходит он за мной по пятам, не дает забыться — и шабаш! Есть сяду — срам; спать лягу — срам; проснусь — срам. Известно, потом буду жить, как и прочие, да теперь — мочи моей нет. Мое дело рабочее: целый день или на верстаке, или в беготне. Куда ни придешь — везде срам. Придет время, когда и прямо рога показывать будут — и то ничего. Да, видно, еще не пришло оно. И прежде срамная моя жизнь была — не привыкать бы стать! — и теперь срамная, только срам-то новый, сердце еще не переболело от него.

— Ничего, переболит! — утешала Афимья.

— Ворочусь домой и прямо пойду к Бархатникову шутки шутить. Комедию сломаю — он двугривенничек даст. К веселому рабочему и давальцы ласковее. Иному и починиваться не нужно, а он, за «представление», старую жилетку отыщет: «На, брат, почини!»

Действительно, он через три дня ушел от тетки, воротился домой.

— Где, лохматый черт, шлялся? С голоду, что ли, мы подохнуть должны? — встретил его старик отец.

Жена заревела и бросилась ему в ноги.

— Что, паскуда, ревешь? — крикнул он на нее,— иди, не мотайся у меня на глазах!

И, обратившись к прочим членам нетерпеливо ожидавшей его семьи, сказал:

— Теперь я шутки шутить буду. Смотрите! Коли не полегчит мне, такую я с вами шутку сыграю, что не поздоровится!

Пошел он к купцу Поваляеву и сразу начал шутки шутить.

— Что ж, ваше степенство, не проздравляете? — спросил он,— ведь я с орденом!

И, сделав рукой рога, обратил их по направлению к своей голове.

— Ворота-то вымыли? — спросил Поваляев.

— Вымыли, да я опять вымазать хочу... пущай все проздравляют!

— Ишь ты, веселый какой! Стало быть, и вправду Феклинья сладка? который день тебя на улице не видать — все с молодой женой колобродите?

— Уж так-то сладка, так-то сладка... персик! Или вот, как в старину пирожники в Москве выкрикивали: «С лучком, с перцем, с собачьим с сердцем! Возьмешь пирог в рот — сам собой в горло проскочит».

— Э! да ты, парень, веселый! Выпьем?

— Сегодня я зарок выполняю. А завтрашний день что́ покажет.

— Выпьем — пустяки! Я сам сколько раз зарок давал, да, видно, это не нашего ума дело. Водка для нашего брата пользительна, от нее мокроту гонит. И сколько ей одних названий: и соколик, и пташечка, и канареечка, и маленькая, и на дорожку, и с дорожки, и посошо́к, и сиволдай, и сиводрало... Стало быть, разлюбезное дело эта рюмочка, коли всякий ее по-своему приголубливает!

— В Москве один господин «опрокидонтом» ее называл.

— «Опрокидонт»!.. ха-ха! По-каковски же это?

— На бостанжогловском, говорит, языке.

— Отлично! «опрокинул» — и прав! выпьем!

— Зарок дал, не могу. Я лучше вам про Феклинью свою расскажу.

И рассказал. За это Поваляев пирогом его угостил, да двугривенный на чай дал, да две жилетки разом починить отдал, три двугривенных посулил.

— За что ласкаете, ваше степенство? — благодарил Гришка.

— За то, что ты веселый! Люблю я веселых! А то куксится человек — сам не знает, с чего! У него жена гуляет, а он куксится!

— Вот я на нее хомут надену, да по улице...— начал было Гришка, но вдруг, ни с того ни с сего, поперхнулся — точно сдавило ему горло — и убежал.

— Эй, ты! — крикнул ему Поваляев,— к завтрему чтобы были готовы жилетки, да и зарок чтобы снять. В настоящем виде чтобы...

Таким образом прожил он месяц, переходя от Поваляева к Бархатникову, от Бархатникова к Падчерицыну и т. д. Его уже не били, а видели в нем только развеселого малого, с которым, пожалуй, и театров не надо. Даже городничий с исправником — и те шутили, спрашивали, сладка ли Феклинья, часто ли она дома сидит, много ли с поденщины денег носит. Двугривенные так и сыпались на него и за работу, и за повадливость. Появились даже крупные заказы, так что он и шил, и кроил, и шутил — на все находил время. Даже деньги завелись.

— Скоро, пожалуй, и настоящее заведенье откроешь, ученика возьмешь,— поощрял его Поваляев,— нашему брату и в Москву обшиваться ездить не придется — свой портной будет! А все-таки, друг любезный, елей и вино разрешить нужно — тогда во всей форме мастеровой сделаешься!

Однако он продолжал упорствовать в трезвости. Надеялся, что «шутка» и без помощи вина поможет ему «угореть». Шутит да шутит,— смотришь, под конец так исшутится, что и совсем не человеком сделается. Тогда и легче будет. И теперь мальчишки при его проходе рога показывают; но он уж не тот, что прежде: ухватит первого попавшегося озорника за волосья и так отколошматит, что любо. И старики не претендуют, а хвалят его за это.

Вообще ему стало житься легче с тех пор, как он решился шутить. Жену он с утра прибьет, а потом целый день ее не видит и не интересуется знать, где она была. Старикам и в ус не дует; сам поест, как и где попало, а им денег не дает. Ходил отец к городничему, опять просил сына высечь, но времена уж не те. Городничий — и тот полюбил Гришку.

Тем не менее Гришка понимал, что одним шутовством, без вина, ему не обойтись. Правда, он уже чувствовал, что все глубже и глубже опускается в пропасть и что, быть может, недалеко время, когда он нащупает самое дно. Человеческий образ всегда был у него в умалении, но мало-помалу он и вовсе утратил его. Прежде он отдавал на общее поругание свой нос, свое лицо, свое тело; теперь поругание проникло в самое его нутро. Дома был ад, на улице — ад, куда ни придет — везде ад. Таким образом дойдешь, пожалуй, до того, что на работу руки подниматься перестанут. «Паскуда» прямо смеется над ним; он ее за косу ухватить хочет, а она убежит. Станет он спрашивать: «Где была?» — а она в ответ: «Где была, там меня уж нет». И так нахально скалит при этом свои острые беличьи зубы, что он всем нутром застонет и ляжет плашмя на верстак. Но все-таки до конца «угореть» ему не удалось; все-таки он что-то еще понимает, чем-то мучится. Надо какой-нибудь решительный толчок, чтоб окончательно «угореть», не понимать и не мучиться. Не выпить ли?

Надежда, что со временем он обтерпится, что ему не будет «стыдно», оправдалась лишь настолько, насколько он сам напускал на себя бесстыжесть. Сам он, пожалуй, и позабыл бы, но посторонние так бесцеремонно прикасались к его язве, что не было возможности не страдать. «Ах, эта паскуда!» — рычал он внутренно, издали завидев на улице, как Феклинья, нарумяненная и набеленная, шумя крахмальными юбками и шевеля бедрами, стремится в пространство.

— Ишь, жена-то от тебя улепетывает! — хохотал ему в лицо Поваляев,— это она к бархатниковскому приказчику поспешает! Совсем опутала молодца. Прежде честный и тверёзый был, а теперь и попивать и поворовывать начал.

— Ах! не говорите мне, ради Христа! — стонал Гришка в такие минуты, когда шутовство на время покидало его.

— Чего не говорить! Вас, шельмов, из города выслать надо. Только народ мутите. Деньги-то она тебе, что ли, отдает?

«Начну-ка опять пить... или нет, еще погожу! — твердил себе Гришка, колеблясь между двумя альтернативами,— ин, лучше в Москву убегу!»

— Дайте вы мне пачпорт на все на четыре стороны! — настаивал он у стариков,— я и повинности заплачу, и вам высылать на прожиток буду.

— Уйдешь, и следа от тебя не останется — ищи тогда! Добро, и дома посидишь!

— Чего мне дома сидеть, скоро ведь и работать я совсем не буду. Да и несдобровать мне. Убью я когда-нибудь эту паскуду, убью!

Однажды, поздно ночью, Феклинья пришла домой пьяная. Гришка еще не спал и до того рассвирепел, что на этот раз она струсила.

— Где была? — кричал он на всю улицу, сверкая налитыми кровью глазами и поднося к ее лицу сжатые кулаки.

Она созналась, что была у самого Поваляева.

Он выбежал стремглав на улицу и помчался по направлению к дому Поваляева. Добежавши, схватил камень и пустил его в окно. Стекло разбилось вдребезги; в доме поднялась суматоха; но Гришка, в свою очередь, струсил и спасся бегством.

Дома рассказал о своем подвиге, умолял не разглашать о нем и кстати сделал новое открытие.

— Что́ ты натворил, черт лохматый! — упрекали его старики,— разве она в первый раз? Каждую ночь ворочается пьяная. Смотри, как бы она на тебя доказывать не стала, как будут завтра разыскивать.

Феклинья, полуобнаженная, спала в это время на лавке и тяжко металась.

— Убью я ее! убью! — злобно шептал Гришка...— Отпустите вы меня, ради Христа! Видите, что мне здесь не жить! Убью я... лопни моя утроба, ежели не убью!

— Врешь, проживешь и здесь! И не убьешь — и это ты соврал. Все в нашем званье так живут, и ты живи. Ишь, убиватель нашелся!

На другой день начались розыски. Феклинья действительно явилась доказчицей.

— Некому, окромя его! — говорила она, всхлипывая,— он и в меня, черт лохматый, не однажды камнем бросал — как только бог спас!

— Не знаем, может, и он! — на́двое свидетельствовали родители.

Гришку выдержали неделю в кутузке, и Поваляев окончательно рассердился. Теперь, с этой стороны, и на заработок, и на шутовство надежда была плохая.

Жить становилось невыносимо; и шутовство пропало, не лезло в голову. Уж теперь не он бил жену, а она не однажды замахивалась, чтоб дать ему раза. И старики начали держать ее сторону, потому что она содержала дом и кормила всех.— «В нашем званье все так живут,— говорили они,— а он корячится... вельможа нашелся!»

Мысль о побеге не оставляла его. Несколько раз он пытался ее осуществить и дня на два, на три скрывался из дома. Но исчезновений его не замечали, а только не давали разрешенья настоящим образом оставить дом. Старик отец заявил, что сын у него непутный, а он, при старости, отвечать за исправную уплату повинностей не может. Разумеется, если б Гришка не был «несуразный», то мог бы настоять на своем; но жалобы «несуразного» разве есть резон выслушивать? В кутузку его — вот и решенье готово.

Однако в одно прекрасное утро Гришка исчез.

Дорогой в Москву ему посчастливилось. На ночлеге кто-то поменялся с ним пальто. У него пальто было неказисто, а досталось ему совсем куцое и рваное; но зато в кармане пальто он нашарил паспорт. Предъявитель был дмитровский мещанин, и звали его тоже Григорьем, по отчеству Петровым; приметы были схожие: росту среднего, нос средний, рот умеренный, волосы черные, глаза серые, особых примет не имеется.

— Вот и славно! — говорил себе Гришка,— пальто на толкучке другое куплю, а паспорт готов. Не забыть бы только, что я не Авениров, а Петров, дмитровский мещанин.

Москва оживила его. Еще верст за шесть, подходя к ней по Дмитровке и обоняя тот особый запах, который присущ подмосковной окрестности, он почувствовал неудержимый восторг.

— Иван-то великий! Иван-то великий! Ах, боже ты мой! — восклицал он,— и малый Иван тут же притулился... Спас-то, спас-то! так и горит куполом на солнышке! Ах, Москва — золотые маковки! Слава те, господи! привел бог!

Он истово перекрестился на все четыре стороны и инстинктивно прибавил шагу.

Переночевавши на постоялом дворе у Бутырской заставы, он вместе с зарею побежал прямо в город полюбоваться на

Москву. За три-четыре года, которые он прожил в своем городе, Москва порядочно изменилась. Вместе с началом реформ произошел толчок и во внешности первопрестольного города. Москва стала люднее, оживленнее; появились, хоть и наперечет, громадные дома; кирпичные тротуары остались достоянием переулков и захолустий, а на больших улицах уже сплошь уложены были нешироким плитняком; местами, в виде заплат, выступал и асфальт. Тверская улица как будто присмирела, Кузнецкий мост — тоже, но зато в «Городе», на Ильинке, на Никольской, с раннего утра была труба нетолченая от возов. Дома на этих улицах стояли сплошной стеной и были испещрены блестящими вывесками. В довершение всего старые, знаменитые фирмы портных или исчезли, или скромно стушевывались, уступив место новым знаменитостям, долженствующим внести кургузость и шик в старозаветную московскую солидность. Тем не менее, экипировавшись заново на толкучке, Гришка разыскал кой-кого из хозяев, у которых он прежде живал. К одному из них он явился.

Хозяин был не из важных. Нашествие вестников шика значительно на него подействовало. Он постарел, растерял давальцев, сократил наполовину число мастеров и учеников, добрую часть квартиры отдавал внаймы под мастерскую женских мод, но никак не соглашался переменить вывеску, на которой значилось: «Иван Деев, военный и партикулярный портной», и по-французски: «Jean Déiéff, tailleur militaire et particulier».

— А! Авениров! видно, по Москве стосковался! — воскликнул он, увидев Гришку.

— Петров-с,— не сморгнув, отвечал Гришка.

— Помнится, Авенировым тебя величали, а впрочем... паспорт есть?

— Так точно-с.

Деев взглянул на паспорт. Оказалось: Петров, нос средний, рот умеренный, волосы черные, курчавые, глаза серые...

— Ничего, место найдется. Кстати, сегодня я одному подлецу расчет дал. С завтрашнего же дня — с богом! только ведь ты, помнится, пить не дурак.

— Зарок дал-с.

— И прекрасно. У меня, впрочем, расправа короткая. Первый раз пьян — прощаю; второй раз — скулу сворочу; в третий раз — паспорт в зубы и аллё машир. А за прогул — по три рубля в сутки штрафу, это само собой. Так?

— Обнаковенно. Как прочие, так и я.

На другой день возобновилось для Гришки старинное московское житье. Он был счастлив; работа немногим достается

так легко и скоро. Через месяц он уже вполне втянулся в прежнюю бездомовую жизнь, с трактирами, портерными и тою кажущеюся сытостью, которую дает скудный хозяйский харч. Гришка, впрочем, не выдержал и, по слову Поваляева, дал себе разрешение на вино и елей. Вино восполняло недостаток питания. Он уже неоднократно делал прогулы, являлся в мастерскую пьяный, и хозяин не раз «поправлял» ему то одну, то другую скулу, но выгонять не решался, потому что руки у Гришки были золотые. Во всяком случае, в конце месяца, при расчете, в распоряжении его оставалась самая малость.

Представить себе жизнь мастерового в Москве — очень нелегкое дело. Это не жизнь, а что-то недостойное имени, недоступное для определения. Тут и полное отсутствие опрятности, и отвратительное питание, и загул, и спанье на голом верстаке. Все это перемежается какой-то судорожной, угорелой работой. Последняя сама по себе была бы неизнурительна, но, в совокупности с непрерывной сутолокой, она представляет своего рода каторгу. Нужно именно поступиться доброй половиной человеческого образа, чтоб не сознавать тех нравственных терзаний, которые должно влечь за собой такого рода существование, чтобы раз навсегда проникнуться мыслью, что это не последняя степень падения, а просто «такая жизнь». Если б луч сознания хоть на мгновение осветил этот мрак, он принес бы с собою громадное несчастие. Он изгнал бы улыбку из этого темного царства, положил бы запрет на самую речь человеческую. Но, к счастью или к несчастью, этого луча нет, и мастерские кипят веселостью, говором и смехом. Правда, веселость вымученная, говор и смех — циничные, но все-таки их достаточно, чтоб не дать вконец замереть этим придавленным людям. Замазанный, тощий, чуть живой ученик, распевая, скачет на одной ножке по тротуару и уже позабыл о только что вытерпенной трепке. Он бежит за кипятком в трактир, за косушкой в кабак; он радуется, что ему можно проскакать на одной ножке известное пространство, задеть прохожего, выругаться, пропеть циническую песню. Когда он приходит в возраст и садится на верстак, наравне с мастеровыми, он уже кончил всю школу. Мальчиком он был получеловек, и вступил в возраст получеловеком же. В каком качестве он умрет?

Такая жизнь не была для Гришки новостью, и он вполне подчинялся ей. Он боялся только одного: чтоб не открылся его паспортный подлог. Не раз случалось ему встречаться в трактирах с земляками, и он предпочитал говорить им, что живет совсем без паспорта, не может найти места и шатается по ночлежным домам. Но родные, по-видимому, уже знали, что

он в Москве, и даже наказывали через земляков воротиться домой. С часу на час он ожидал розыска, и решился чаще переменять места. Один месяц его видели на Тверской, другой — на Арбате, третий — у Никитских ворот. Это дало ему репутацию непоседливого человека и повредило заработку. В конце концов, он уже с трудом находил себе места и действительно целыми неделями шатался по ночлежным домам, содержа себя случайною поденною работою.

Между тем дело о розыске портного Григория Авенирова уже назревало. Несколько месяцев оно находилось в участке и постепенно округлялось. Разыскивали неутомимо; посылали запросы в прочие участки, прибегали к помощи телеграфа. Когда, наконец, переписка достаточно округлилась и уже намеревались писать ответ, что портного Авенирова в Москве не обретается, кто-то из земляков случайно узнал о розыске и донес, что Авениров живет в мастеровых на Плющихе у портного Ухабина, к которому, без замедления, и направил свои стопы околоточный.

— Кто здесь мастер Григорий Авениров? — кликнул он, входя.

Гришка понял, что дело его не выгорело, дрогнул слегка, но назвал себя.

— Паспорт? Ага! Каким же образом ты значишься в нем Петровым? Э, голубчик, да тут пахнет кражей и подлогом.

Хозяин, разумеется, выдал Гришку с головой.

Гришка высидел шесть месяцев в предварительном заключении и потом судился (судебная реформа только что была введена). Он уверял на суде, что не украл, а нашел паспорт в кармане вымененного пальто, и при этом откровенно рассказал свою мученическую жизнь. Но прокурор не верил ему, доказывал, что иначе дело не могло произойти, как с участием кражи, а подлог был ясен сам собой. Что же касается до россказней подсудимого о жизненных неудачах, то это — обычная уловка негодяев, употребляемая с целью смягчения присяжных. Назначенный судом защитник сказал всего несколько слов вяло, не́хотя, словно во сне веревки вил. Присяжные обвинили Гришку только в том, что он воспользовался чужим паспортом, и при этом дали ему снисхождение. Суд приговорил его на двухмесячную высидку.

Вся эта процедура, вместе с шатаньем по Москве, длилась с лишком год, так что, когда, после высидки, препроводили Гришку по этапу в родной город, настала уже глубокая осень.

Феклинья бросила и отца и дом. Она выстроила на выезде просторную избу и поселилась там с двумя другими «девушками». В избе целые ночи напролет светились огни и шло пи-

рованье. Старуха, Гришкина мать, умерла, но старики, отец и тесть, были еще живы и перебивались Христовым именем.

Вошел Гришка в родной дом и растянулся плашмя на верстаке. Ни отца, ни тестя не было в это время дома; двери стояли отпертые, потому что и украсть было нечего. В неметенной и нетопленной комнате отдавало сыростью и прелью; вместо домашней утвари стояли два деревянных чурбана, так что и жилого вида комната не имела; даже нищенской рвани не валялось на полу. Гришка лежал неподвижно, обессилевший, снедаемый недугом, приобретенным во время скитаний. Голова его горела под тяжестью мучительных дум. На работу рассчитывать, разумеется, было нельзя; но предстояло «жить», и эта мысль рвала ему сердце.

Осень приближалась к концу; грязь на улицах застыла; местами, где было мало езды, виднелись уже полосы снега. Над городом навис темный октябрьский вечер.

Гришка крадется по главной улице, по направлению к собору. Предчувствия его относительно работы сбылись. В течение недели он обегал своих прежних давальцев, но везде встретил суровый отказ, а купец Поваляев даже пообещал спустить на него собак, ежели он в другой раз явится. К тому же, в его отсутствие, в городе появился другой портной, Федор Купидонов, уже прямо из «Петербурха», и совсем веселый. Гришка ни разу порядком не поел, а питался обшарпанными, черствыми объедками, которые приносил домой отец. Ежели удавалось старикам набрать несколько медных пятаков, то покупали водки и сообща пили.

Приходилось и самому протягивать руку, но покуда горе настолько еще укрепляло его нравственные силы, что мысль о милостыне пугала его. Вот когда и горе пройдет, когда он окончательно обтерпится, тогда, вероятно, и решимость явится. Она придет сама собой. Будет он ходить, приплясывая, по улицам, будет петь скверные песни, коверкаться, представлять юродивого — и на него посыплются гроши. Старики и милостыни просить не умеют: стоят, как истуканы, на перекрестке, с протянутыми руками,— оттого им и подают одни объедки. А он сумеет; он еще в портных выучился юродствовать и приплясывать. Чего доброго, вещим человеком между купчихами прослывет; станут чаем его поить, гривенниками оделять, тайного смысла в его бормотанье доискиваться: «Скажи, батюшко, скажи!» Конечно, не миновать ему и кутузки за эти проделки, но в кутузке все-таки теплее, чем дома, да и щей дают. Пожалуй, кутузка-то еще за «претерпение» ему сочтется: «Истязают те-

бя, касатик, замучить хотят!» — будут в один голос говорить купчихи.

К несчастью, горе до того впилось в него, что отдаляло перспективу юродства на неопределенное время. Он мучился день и ночь, сам не сознавая — отчего. Вероятно, в этой форме сказывались общие результаты жизни. О Феклинье он и не вспоминал, даже все прошлое почти позабыл и уже не возвращался к его подробностям, а сидел дома, положив голову на верстак, и стонал. Именно результаты прошлого сказывались разом, скопились они и переполнили сердце тоскою. Деваться некуда от тоски,— точно она одна и осталась. Тоска беспредметная, сама себя питающая, почти осязаемая...

Он дошел до собора; там служили всенощную, и третий звон еще не отошел. Когда он вошел в церковь, читали Евангелие и загудели колокола. Он стал в темном углу, начал вслушиваться, но ничего не понимал. Он был как бы в забытьи и трясся всем телом. Простоявши минут десять, вышел на паперть и начал колеблющимися шагами взбираться на колокольню. Взбирался инстинктивно, не сознавая, что там, наверху, ожидает его разрешение загадки жизни. Никаких определенных намерений в его голове не шевелилось, никакого предвидения: все это заменилось непреодолимой силою рока. Тянет, влечет — только и всего.

Наконец он дошел до самого верха, над колоколами, и оглянулся. Город лежал окутанный мглою; огней сквозь осенний туман не было видно. Решетка в этом ярусе была такая низенькая, что опереться на нее было нельзя, а ограниченность пространства не допускала разбега. Однако кончить все-таки было нужно, кончить теперь же, сейчас, потому что завтра, упаси бог, он и впрямь юродствовать начнет.

Он невольно перекрестился и поклонился на все стороны.

Никто ничего не слыхал. Но минут через десять, когда служба кончилась, дьячок, выходя из церкви, встретил на пути своем препятствие.

— На человека наткнулся! — крикнул он,— ишь, пьяница, растянулся!

Стали тормошить «пьяницу» — не встает. Принесли фонари — и опознали Гришку.

— Ах, расподлая твоя душа! — крикнул кто-то в собравшейся толпе.

VII

СЧАСТЛИВЕЦ

Этюд

В мое время последние месяцы в закрытых учебных заведениях бывали очень оживлены. Казенная служба (на определенный срок) была обязательна, и потому вопрос о том, кто куда пристроится, стоял на первом плане; затем выдвигался вопрос о том, что будут давать родители на прожиток, и, наконец, вопрос об экипировке. Во всех углах интерната раздавалось:

— Ты куда?

— Разумеется, в министерство иностранных дел.

— Нас, брат, там не совсем-то долюбливают...

— У меня дядя там; он похлопочет... Ах, кабы через годик... attaché...[1] в Париж!! А ты куда?

— Я... в департамент полиции исполнительной...— запинается собеседник и как-то стыдливо краснеет.

— Чудак!

— У меня там тоже дядя... обещал место помощника столоначальника... Тысячу двести рублей (тогда рубль еще был ассигнационный) на полу не поднимешь, а я...

Или:

— Тебе сколько родители на житье назначают?

— Мне... две тысячи,— краснея, отвечает товарищ, прибавляя целую половину или, по малой мере, четверть против скромной действительности.

— А мне пятнадцать! Maman уж приискала квартиру и меблирует ее... un vrai nid d'oiseau![2] Пару лошадей в деревне нарочно для меня выездили, на днях приведут... О! я...

Наконец:

— Ты у кого платье заказываешь?

— У Сарра́, а белье — у Лепре́тра. А ты?

— Я — у Клеменца... это ведь тоже хороший портной... Белье — дома маменька шьет...

---

[1] причисленным к посольству.
[2] настоящее птичье гнездышко!

— Ах!

Повторяю: так было в мое время. Теперь, как я слышал, между воспитанниками интернатов уже существуют более серьезные взгляды на предстоящее будущее, но в сороковых годах разговоры вроде приведенного выше стояли на первом плане и были единственными, возбуждавшими общий интерес, и, несомненно, они не оставались без влияния на будущее. Питомец, поступавший на службу в департамент полиции исполнительной, живший на каких-нибудь злосчастных тысячу рублей и заказывавший платье у Клеменца, мог иметь очень мало общего с блестящим питомцем, одевавшимся у Сарра́, мчавшимся по Невскому на вороном рысаке и имевшим виды быть в непродолжительном времени attaché при посольстве в Париже. Первое время по выходе из заведения товарищи еще виделись, но жизнь неумолимо вступала в свои права и еще неумолимее стирала всякие следы пяти-шестилетнего сожительства. Молодые люди, не встречаясь в обществе, легко забывали старое однокашничество, и хотя пожимали друг другу руки в театре, на улице и т. д., но эти пожатия были чисто формальные. Уже в самых стенах интерната образовывалось два лагеря, из которых один был не чужд зависти, другой — пренебрежения. Но что всего замечательнее, даже в одном и том же лагере дружеские связи очень редко завязывались прочно: до такой степени, с выходом на волю, жизненные пути разветвлялись, спутывались и всё более и более уклонялись в даль, в самое короткое время.

Лично я не мог похвалиться тесными дружескими связями, но все-таки ближе других был связан с Валерушкой Крутицыным. Я был, так сказать, средний воспитанник; из ученья имел баллы не блестящие, из поведения — и того меньше. Мои виды на будущее были более чем посредственные; отсутствие всякой протекции и довольно скудное «положение» от родных отдавали меня на жертву служебной случайности и осуждали на скитание по скромным квартирам с «черным ходом» и на продовольствие в кухмистерских. Даже последнее было не всегда доступно, потому что молодость требовала дорогих развлечений, и иногда, ради билета в театр, я вынуждался заменять скромный кухмистерский обед десятикопеечной колбасой с булкой. Старый дядька, который жил при мне, и тот имел в мелочной лавке пищу более сытную и здоровую.

Напротив того, Крутицын, как оказалось из моих расспросов, был молодой человек вполне обеспеченный. Лошадей он, правда, не будет держать, но квартирку устроит комфортабельно и чистенько и обедать будет не иначе, как «настоящим образом» и в хорошем ресторане. Франтовства особенного не

дозволит себе, а станет одеваться красиво и безукоризненно. На службе изнемогать он тоже не располагал (он называл чиновников «хамами»), а отбудет свой срок и затем выйдет на все четыре стороны. Он любит читать (не одни романы, но и серьезные книжки), охотник до театра и не имеет ни малейшей склонности к кутежам. Все это дает право надеяться, что жизнь его устроится разумно, независимо и свободно.

Но главная его претензия — это быть джентльменом. Когда наступит время, он уедет из Петербурга в «свое место» и будет служить по выборам. Ибо только таким образом истинный джентльмен может оправдать свое призвание; только там, среди «своих», он самым делом покажет, что значит высоко держать «свое» знамя.

— У нас, mon cher [1], насчет этого самые незрелые, почти младенческие понятия,— говаривал он мне.— Дворянство, за исключением немногих уездов, представляющих собой как бы оазисы, совершенно забыло о своем значении в государстве и обратилось в массу приживальцев на хлебах у казны. Какой-нибудь департаментский штатский генерал с высоты величия, почти с пренебрежением, смотрит на бедного дворянина, приезжающего в Петербург ходатайствовать по своим делам. В провинции, конечно, дело идет несколько иначе, но едва ли лучше. Там, наоборот, дворяне тесно стоят друг за друга, но не в смысле джентльменства, а в самых вопиющих злоупотреблениях. Само собой разумеется, что таким образом действий они производят в массах глухое раздражение. Крепостное право совсем не так худо, как о нем рассказывают, и если бы дворяне относились друг к другу строже, то бог знает, когда еще этот вопрос поступил бы на очередь. А теперь, пожалуй...

Это говорилось еще задолго до слухов об эмансипации, и я положительно не понимал, откуда мог набраться Валерушка таких несвойственных казенному заведению «принципов». Вероятно, они циркулировали в его семействе, которое безвыездно жило в деревне и играло в «своем месте» значительную роль. С своей стороны, помнится, я относился к этим заявлениям довольно равнодушно, тем более что мысль о возможности упразднения крепостного права в то время даже мельком не заходила мне в голову.

Важнее всего было то, что у Крутицына, при самом выходе со школьной скамьи, существовала уже задача, довольно, правда, отдаленная и смутная, но все-таки, до известной степени, определявшая его внутренний мир.

---

[1] мой дорогой.

Он не изменит данному слову, потому что он — джентльмен; он не позволит себе сомнительного поступка, потому что он — джентльмен; он не ударит в лицо своего слугу, не заставит повара съесть попавшего в суп таракана, не возьмет в наложницы крепостную девицу, потому что он — джентльмен; он приветливо примет бедного помещика-соседа, который явится с просьбой по делу, потому что он — джентльмен. Вообще он не «замарает» себя... нет, никогда! Даже наедине сам с собой он будет мыслить и чувствовать как джентльмен.

Первые шесть лет, которые Крутицын прожил в Петербурге, покуда не кончился срок обязательной службы, наши дружеские связи продолжали поддерживаться, хотя я должен сознаться, что это стоило мне лично некоторых усилий. Впрочем, не я один, а и другие товарищи его охотно посещали, и он всех принимал радушно. Ни про кого из сверстников, я не слыхал от него паскудной клички: «ami-cochon» [1], которую направо и налево рассыпали граф Б., граф О. и другие баловни фортуны. Напротив того, он даже искусственной предупредительности не выказывал, как бы боясь оскорбить ею, а оставался все тем же простым, участливым и добрым малым, каким был на школьной скамье. Правда, что некоторое время по выходе из школы у него почти совсем не было «посторонних» знакомств, и потому со стороны не представлялось случая для сравнений и выводов. Среда, в которой ему предстояло вращаться в будущем, еще не определилась, и товарищи составляли пока единственный ресурс.

Я знал, что у него живет в Петербурге сестра, замужем за князем X., что дом этой сестры — один из самых блестящих и что там собирается так называемое высшее общество. Валерушка бывал у сестры часто, и хотя это представлялось вполне естественным, но я как-то страдал всякий раз, когда на мой вопрос: «Дома ли Валериан Сергеич?» мне отвечали: «К сестрице уехали». Мне казалось, что тут уже кроется зародыш двойственности. Нередко, когда я сидел у Крутицына, подъезжала в щегольской коляске к дому, в котором он жил, красивая женщина и делала движение, чтобы выйти из экипажа; но всякий раз навстречу ей торопливо выбегал камердинер Крутицына и что-то объяснял, после чего сестра опять усаживалась в коляску и оставалась ждать брата. Крутицын, с своей стороны, извинялся предо мной и, поспешно надевши пальто, выходил из дома. Однажды даже так случилось, что красавица полюбопытствовала и вышла из экипажа, и хотя Валериан крикнул ей в переднюю:

[1] «свинтус».

— Je ne suis pas seul...[1]

Но она не послушалась предостережения и вошла в кабинет.

— Надеюсь, что вы позволите «вашему другу» уехать со мной? — сказала она, обращаясь ко мне.

Слов было немного, но в тоне, которым были произнесены слова: «ваш друг», заключалась целая поэма. Во всяком случае, в эту минуту в первый раз, но все еще смутно, мелькнула мне мысль, что в «принципах» известной окраски, если даже они залегли в общее миросозерцание в тех чуждых надменности формах, в каких их воспринял Валерушка, может существовать своего рода трещина, сквозь которую просачивается исключительность и относительно «своих», но менее фаворизированных фортуною.

В наличности этой трещины еще более убедили меня дальнейшие сношения с Крутицыным. С течением времени в квартире его начали появляться «посторонние» личности. И хотя он очень предупредительно представлял нас друг другу, но я всегда чувствовал при этом невольную неловкость. Или придешь так, что «посторонняя» личность уже тут, и тогда она немедленно снимается с места и — со словами: «Итак, в таком-то часу...» — удаляется восвояси.

Или же «посторонняя» личность появлялась, когда я сидел у Крутицына.

Заглянув в кабинет и увидав меня, она восклицала:

— А! ты занят делами! Pardon![2] Я через час зайду...

И делала движение, чтоб удалиться...

— О, нет! о, нет! — удерживал приятеля Валерушка,— останься! ты не помешаешь!

Но, разумеется, я, в свою очередь, понимал, что я лишний, и спешил удалиться.

Тем не менее я упорствовал. Хотя существование трещины делалось более и более несомненным, но я уверял себя, что она засела не в убеждениях самого Валерушки, а в той атмосфере, в которой ему, волей-неволей, приходилось вращаться. Сам он — говорил я себе — противник этой худо скрываемой надменности и, конечно, не лжет, говоря, что в ней заключается одна из причин сословной захудалости. Но не виноват же он, что рождение фаталистически кинуло его в такую среду, от которой он отречься не может. Не отказываться же ему, в самом деле, от людей, которых он беспрерывно встречает в обществе и из которых многие связаны с ним узами крови...

---

[1] Я не один.

[2] Извини!

Нет, сам по себе, он безупречно верен своим убеждениям и, конечно, в «своем месте» докажет на деле, какое его знамя и как нужно держать его.

Вообще Крутицын был мне симпатичен, несмотря на то, что, по убеждениям, мы принадлежали, так сказать, к совершенно различным приходам. Я имел слегка социалистическую окраску; он был экономист pur sang [1], штудировал Сэ и Бастиá, о социалистах же пренебрежительно выражался, qu'ils cherchent midi à quatorze heures [2]. Затем он был приверженец замкнутой сословности, я же склонялся на сторону самой широкой бессословности, доходя чуть не до suffrage universel [3], мысль о котором тогда уже начинала волновать Западную Европу. Но мне, при том небольшом круге знакомых, какой я имел, дорог был в Крутицыне рассуждающий сверстник, с которым можно было спорить. Положим, эти споры были довольно первоначального свойства и оставляли нас при своих убеждениях, но все-таки тут было упражнение, которое в юношеские годы ценится очень дорого.

— Mon cher,— говаривал Крутицын,— разделите сегодня все поровну, а завтра неравенство все-таки вступит в свои права.

— Я знаю это возражение,— отвечал я,— все столоначальники опираются на него, как на каменную стену; но ведь дело совсем не так просто, как ты его рисуешь. Тут целая система со множеством подробностей, со сложной обстановкой...

Однако он не убеждался моими возражениями и продолжал:

— Или эти anti-lions, anti-réquins! [4] Эти заботы насчет вывозки нечистот при помощи самоотверженных когорт... Бедный Фурье! он не предвидел ни ватерклозетов, ни нынешних парижских катакомб!

— И это суждение чисто столоначальнического свойства! Фурье не об одних anti-lions писал, но и...

И т. д.

Вообще, как я уже сказал выше, он охотно читал, но вычитывал в книгах именно то, что не только не нарушало хорошего расположения духа, но, напротив, содействовало поддержанию его.

Он был счастлив. Проводил время без тревог, испытывал доступные юноше удовольствия и едва ли когда-нибудь чув-

---

[1] чистейшей воды.
[2] что они ищут вчерашнего дня.
[3] всеобщего голосования.
[4] антильвы, антиакулы!

ствовал себя огорченным. Мне казалось в то время, что вот это-то и есть самое настоящее равновесие души. Он принимал жизнь, как она есть, и брал от нее, что мог.

— Я ничего особенного от жизни не требую,— говорил он нередко,— и нахожу, что она дает совершенно достаточно, чтобы удовлетворить меня. Никакой борьбы я не ищу и не буду искать, не потому, чтобы трусил, а потому, что борьба — не в моих принципах. Только то прочно, что приходит в свое время; насильственно же взятое или искусственно привитое, рано или поздно, погибает, и даже скорее рано, чем поздно. Кто действует мечом, тот от меча погибнет. Верь мне. Конечно, в людях, среди которых мне приходится жить, есть многое, что мне не по сердцу, но, вероятно, и во мне есть койчто, что не нравится другим. Поэтому я или покоряюсь факту, принимаю его, как он есть, или же, если это удобно, вступаю в спор, в надежде убедить. Но без раздражения, разумно, с полным сознанием права, которое имеет противник отстаивать свое убеждение.

— Но ведь иногда это совсем не убеждение, а просто раздражение прихотливого или развращенного темперамента,— возразил я.

— В таком случае спор напрасен. Надо отойти — и больше ничего.

Он любил женское общество и имел у женщин успех; но бывал ли когда-нибудь влюблен — сомневаюсь. Мне кажется, настоящая, страстная любовь нарушила бы его душевную ясность, и если б даже запала случайно в его сердце, то он, ради спокойствия своего, употребил бы все усилия, чтоб подавить ее.

Он любил быть «счастливым» — вот и все. Однажды прошел было слух, что он безнадежно влюбился в известную в то время лоретку (так назывались тогдашние кокотки), обладание которой оказалось ему не по средствам, но на мой вопрос об этом он очень резонно ответил:

— Помилуй! неужели ты мог поверить, что я положу на одни весы мое личное спокойствие и вопрос о какой-то лоретке? Лоретка может занять меня на одну минуту, не больше... Их так много, так много, что предложение почти превышает спрос. Притом же, я совсем не там ищу, и не того мне надо. Многие из моих приятелей постоянно проводят время в обществе этих девиц; я и сам иногда не прочь пробыть несколько часов в их компании, но, в конце концов, это скучно. Говорят они глупо, поют пошлые песни, даже движения у них не красивы, а только циничны. Если тела их и действуют возбуждающим образом на физику, то это возбуждение мимолет-

ное. Ведь и тут все-таки необходима хоть искра ума или, по крайней мере, выдержки.

Таким образом, он и с этой стороны остался неуязвим. Сам выдержанный, он и везде искал такой же выдержки. Нашедши ее, чувствовал себя хорошо и удобно, не нашедши — не добивался и проходил мимо своею дорогою.

Мне кажется, что и у женщин Крутицын имел успех именно благодаря этой выдержке. Он был нежен, а не страстен, и притом безусловно приличен и скромен. Можно было с уверенностью сказать себе, что он не только словом, но и выражением глаз, лица не выдаст тайны, а это в интимных отношениях главное. Тихое наслаждение, без порывов и даже без назойливости, наслаждение настолько, насколько оно обусловливается обстоятельствами, обстановкой,— вот идеал, который он воспитал в себе. Даже разговора о сношениях с женщинами он не допускал, потому что и тут случайно могла прозвучать нотка, сказаться слово, которое выдало бы его.

— Женщина для меня святыня,— однажды сказал он мне,— я боюсь коснуться этой святыни, чтобы каким-нибудь неосторожным выражением не оскорбить ее. И потому храню молчание.

Между тем круг «посторонних» друзей все больше и больше теснился около него. Из старых товарищей только я один его посещал, но и мне приходилось видеться очень редко. Это было тем более досадно, что он, по-видимому, не замечал ослабления дружеских уз. По-прежнему он был со мною приветлив и ровен, но, очевидно, большой цены частым свиданиям не придавал. Я уже начинал склоняться к мысли, что во всем этом кроется глубокий эгоизм, но, обдумавши, пришел к убеждению, что это — не более как довольство самим собою, своим положением, довольство, при котором не чувствуется даже потребности в анализе. Жизнь течет обычным порядком; обстановка кругом или изменяется, или остается неизменною — все равно «принципы» остаются нетронутыми, так что ни с какой стороны нет места для тревог... Вот и достаточно.

Только обязательная служба до известной степени выводила его из счастливого безмятежия. К ней он продолжал относиться с величайшим нетерпением и, отбывая повинность, выражался, что и он каждый день приносит свою долю вреда. Думаю, впрочем, что и это он говорил, не анализируя своих слов. Фраза эта, очевидно, была, так сказать, семейным преданием и запала в его душу с детства в родном доме, где все, начиная с отца и кончая деревенскими кузенами, кичились какою-то воображаемою независимостью.

Понять значение этой независимости было очень трудно, а доказать ее конкретным делом еще труднее. Кажется, она в том, по преимуществу, состояла, что «независимые» удалялись от коронной службы (были целые губернии, называвшиеся «корнетскими», потому что почти сплошь все помещики были отставные корнеты и вообще малочиновные люди, но зато обладавшие хорошими материальными средствами). Отставные корнеты поселялись в своих родовых гнездах, служили по выборам и фрондировали, а по тогдашнему выражению — «фыркали». В образе жизни они старались подражать псевдоанглийским порядкам. Домашняя прислуга ходила в ливрейных фраках и бесшумно мелькала по комнатам, исполняя свои обязанности; глава семейства выходил к обеду во фраке и в белом галстуке; в доме царствовала строгая и совершенно определенная вымуштрованность, нарушения которой не могла вызвать даже самая настоятельная необходимость, и, наконец, ни один местный чиновник, служивший не по выборам от дворянства, не допускался за порог барских хором. В то время это считалось вольнодумством, и на людей, дозволявших себе поступать таким образом, смотрели косо, как на строптивых. Так что, в сумме, вся независимость сводилась к тому, что люди жили нелепою, чуть ли не юродивою жизнью, неведомо с какого повода бравируя косые взгляды, которые метала на них центральная власть, и называя это «держанием знамени».

На такую именно жизнь осужден был и Крутицын, но так как семена ее залегли в нем еще с детства, то он не только не чувствовал нелепых ее сторон, но, по примеру старших, видел в ней «знамя».

Наконец шестилетний срок обязательной службы истек, и Валерушка поспешил воспользоваться свободою. За два месяца перед окончанием срока он уже взял отпуск и собрался в «свое место», с тем чтобы оттуда прислать просьбу об отставке. В то время ему минуло двадцать семь лет.

В день отъезда я один приехал проводить его на дебаркадер мальпостов (железная дорога до Москвы еще не существовала). Время было глухое, июнь в конце; «посторонние» друзья разъехались по деревням и за границу. Не могу сказать, чтобы сердце мое особенно сжималось в виду предстоявшей разлуки, но все-таки чувствовалось некоторое томление. Я говорил себе, что разлука будет полная, что о переписке нечего и думать, потому что вся сущность наших отношений замыкалась в личных свиданиях, и переписываться было не о чем; что ежели и мелькнет Крутицын на короткое время опять в Петербурге, то не иначе, как по делам «знамени», и

вряд ли вспомнит обо мне, и что вообще вряд ли мы не в последний раз видим друг друга.

Нечего и говорить, что ничего подобного в мыслях Крутицына не было. Он просто уезжал, хотя, впрочем, искренно и крепко жал мне руки, благодаря за то, что я не забыл проводить его. Я помню, что в последние минуты мне пришла в голову довольно несообразная мысль. Нет, думалось мне, надо наконец поставить вопрос прямо. Нам обоим по двадцати семи лет, мы шесть лет уже пользуемся свободой, а какие результаты дала нам эта свобода? Можем ли мы указать на какое-нибудь дело или хоть на подготовку к нему? Имеем ли мы данные, с помощью которых можно было бы определить характер предстоящего нам будущего? или нам еще долго-долго придется плыть по житейскому морю без ветрила, просто в качестве «молодых людей»?

Мысль эту я не преминул сообщить на прощанье Крутицыну:

— Вот нам уже под тридцать,— сказал я,— живем мы шесть лет вне школьных стен, а случалось ли тебе когда-нибудь задаться вопросом: что дали тебе эти годы? сделал ли ты какое-нибудь дело? наконец, приготовился ли к чему-нибудь? Вообще можешь ли ты дать себе отчет в проведенном времени?

Он взглянул на меня удивленными глазами, точно впервые и с неудовольствием угадал во мне какой-то совершенно чуждый ему «беспокойный» элемент.

— О чем ты говоришь — не понимаю! — ответил он,— какие отчеты, какое «дело»? какая подготовка? Я жил — вот и все!

И, подумав с минуту, прибавил:

— А «дело», которое мне предстоит, и без подготовки — всегда налицо. Я с благоговением приму его в свое время из рук отца и останусь верен ему до последнего вздоха! Прощай.

Я угадал совершенно верно: в переписке потребности не оказалось. К тому же я сам вскоре, вслед за Крутицыным, вынужден был оставить Петербург и удалиться в глубь провинции. Валерушка, конечно, и не подозревал, что я исчез и куда.

Ежели вообще даже внешняя перемена в обычной жизненной обстановке неудобно отражается на человеческом существовании, то тем тяжелее действует утрата отношений, имеющих дружеский характер, особенно если одною из сторон эта утрата принимается равнодушно. Есть даже что-то оскорбительное в подобном равнодушии, какая-то приниженность чув-

ствуется. Так было и со мною. Я называл навязчивостью те усилия, которые делались мною с целью сохранить еле державшуюся связь с Крутицыным; я даже негодовал на себя, что продолжаю думать об этой связи.

Впрочем, поездка в отдаленный край оказалась в этом случае пользительною. Связи с прежней жизнью разом порвались: редко кто обо мне вспомнил, да я и сам не чувствовал потребности возвращаться к прошедшему. Новая жизнь со всех сторон обступила меня; сначала это было похоже на полное одиночество (тоже своего рода существование), но впоследствии и люди нашлись... Ведь везде живут люди, как справедливо гласит пословица.

О Крутицыне я не имел никаких слухов. Взял ли он в руки «знамя» и высоко ли его держал — никому до этого дела в то время не было, и ни в каких газетах о том не возвещалось. Тихо было тогда, безмолвно; человек мог держать «знамя» и даже в одиночку обедать во фраке и в белом галстуке — никто и не заметит. И во фраке обедай, и в халате — как хочешь, последствия все одни и те же. Даже умываться или не умываться предоставлялось личному произволению.

Я не сомневался, однако ж, что Валерушка устроился хорошо и не утратил душевного равновесия. Вероятно, он предводительствует в «своем месте», думалось мне, когда воспоминание об нем случайно западало мне в голову. А предводительство, по его мнению, само по себе уже есть «дело», которому стоит посвятить жизнь. Мало ли у предводителя обязанностей? И ходатайствовать, и настаивать, и отстаивать, и, наконец, «фыркать». С утра до вечера — сущая толчея. Так что когда наступит ночь и случайно вздумаешь дать себе отчет в прожитом дне, то не успеешь и перечислить всего совершённого, как благодетельный сон уже спешит смежить глаза, чтоб вознаградить усталый организм за претерпенную дневную сутолоку.

Целых восемь лет я вел скитальческую жизнь в глухом краю. И возлежал на лоне у начальника края, и был отметаем от оного; был и украшением общества, и заразою его; и удачи, и невзгоды — все испытал, что можно испытать на страже обязательной службы, среди не особенно брезгливых по служебной части коллег. Конца этому положению я не предвидел. Сначала делал некоторые попытки, чтобы высвободиться, но чем дальше шел вглубь, тем более и более обживался. Даже солонину и огурцы солил впрок и вообще зажил своим домом, хотя был совсем одинок. И теперь вспоминаю об этом времени с каким-то сомнением, действительно ли оно было.

Наконец искус кончился. Конец пришел так же случайно, как случайно пришло и начало. Я оставил далекий город точно в забытьи. В то время там еще ничего не было слышно о новых веяниях, а тем более о каких-то ломках и реформах. Достоверно было только, что чиновникам предоставлено, вместо прежних мундиров и вицмундиров, носить мундирные кафтаны и вице-кафтаны. Несколько суток я ехал, не отдавая себе отчета, что со мной случилось и что ждет меня впереди. Но, добравшись до Москвы, я сразу нюхнул свежего воздуха. Несмотря на то, что у меня совсем не было там знакомых, или же предстояло разыскивать их, я понял, что Москва уже не прежняя. На Никольской появилось Чижовское подворье, на Софийке — ломакинский дом с зеркальными окнами. По Ильинке, Варварке и вообще в Китай-городе проезду от ломовых извозчиков не было — всё благовонные товары везли: стало быть, потребность явилась.

Еще не так давно так называемые «машины» (орга́ны) были изгнаны из трактиров; теперь Московский трактир щеголял двумя машинами, Новотроицкий — чуть не тремя. Отобедавши раза три в общих залах, я наслушался того, что ушам не верил. Говорили, что вопрос о разрешении курить на улицах уже «прошел» и что затем на очереди поставлен будет вопрос о снятии запрещения носить бороду и усы. Говорили смело, решительно, не опасаясь, что за такие речи пригласят к генерал-губернатору. В заключение, железный путь от Москвы до Петербурга был уже открыт.

Хорошее это было время, гульливое, веселое. Денег было много, а ежели у кого и оказывалась недостача, то это значило: перед деньгами. Приятели, на радостях, охотно давали взаймы, в трактирах — охотно верили в долг. И, притом, много ли нужно человеку, особливо московскому? — рюмка, две рюмки, три рюмки — вот он и пьян! Потому что у него внутри уж гнездо заведено. А на закуску — кусочек хлеба с крошечным ломтиком ветчины. И этого достаточно, потому что водка сама по себе насыщает. Даже половые встрепенулись и летали по залам трактиров с сияющими лицами, довольные и счастливые, что наконец узы разорваны и наступило время настоящей «вольной» работы. И они высоко держали своего рода «знамя».

Прибавьте ко всему этому прибаутки Кокорева, его возню с севастопольскими героями, угощения, увеселительные поездки по Николаевской железной дороге, кутежи в Ушаках — и согласитесь, что бедному провинциалу было от чего угореть.

Когда я добрался до Петербурга, то там куренье на улицах было уже в полном разгаре, а бороды и усы стали носить даже

прежде, нежели вопрос об этом «прошел». Но всего более занимал здесь вопрос о прессе. Несмотря на то, что цензура не была еще упразднена, печать уж повысила тон. В особенности провинциальная юродивость всплыла наружу, так что городничие, исправники и даже начальники края не на шутку задумались. Затевались новые периодические издания, и в особенности обращал на себя внимание возникавший «Русский вестник». При этом Петербург завидовал Москве, в которой существовал совершенно либеральный цензор, тогда как в Петербурге цензора́ всё еще словно не верили превращению, которое в их глазах совершалось. Что касается устности, то она была просто беспримерная. Высказывались такие суждения, говорились такие речи, что хоть бы в Париже, в Бельвилле. Словом сказать, пробуждение было полное, и, разумеется, одно из первых украшений его составлял тогдашний premier amoureux[1], В. А. Кокорев, который на своем образном языке называл его «постукиваньем».

Петербург был переполнен наезжими провинциалами. Все, у кого водилась лишняя деньга, или кто имел возможность занять,— все устремлялись в Петербург, к источнику. Одни приезжали из любопытства, другие — потому, что уж очень забавными казались «благие начинания», о которых чуть не ежедневно возвещала печать; третьи, наконец,— в смутном предвидении какой-то угрозы. Крутицын был тоже в числе приезжих, и однажды, в театре, я услыхал сзади знакомый голос:

— А! Мельмот-скиталец! Наконец!..

Мы встретились радушно и просто, как будто расстались только вчера. Крутицын по-прежнему глядел счастливо, так что сразу было видно, что он вполне доволен своим положением. На щеках его играл румянец, в волосах — ни признака седины или другого ущерба; походка такая же легкая, с приятным перевальцем, как восемь лет тому назад; нигде ни малейшей обрюзглости или отяжелелости; одет без франтовства, но безукоризненно. Вообще он не только не постарел, а как будто даже помолодел. Напротив того, я, судя по его словам, и похудел, и обрюзг, и постарел.

— Видно, на окраинах-то живется не совсем припеваючи! — молвил он, осматривая меня.

— Что же ты не прибавляешь: сам виноват? — пошутил я в ответ.

— Я, голубчик, держусь того правила, что каждый сам лучше может оценивать собственные поступки. Ты знаешь, я ни-

---

[1] первый любовник.

когда не считал себя судьей чужих действий,— при этом же убеждении остался я и теперь.

Я узнал, что он приехал на короткое время и остановился в гостинице. Не столько дела привлекли его, сколько любопытство. Какие могли быть у него дела с бюрократией? — конечно, никаких! Но для любознательности поводов было достаточно, и он не отрицал, что в обществе проснулось нечто вроде самочувствия. Не лишнее было принять это явление в соображение, ввиду «знамени», которое он держал, и, быть может, даже воспользоваться им на вящее преуспеяние излюбленных интересов.

— Здесь очень забавно,— выразился он чуть-чуть иронически,— курят на улицах так, что, того гляди, свод небесный закоптят. И бороды отпустили — узнать мудрено. Один Кокорев, с своими «героями», чего стоит! заглядеться можно!

— А пресса-то, пресса! — подстрекнул я.

— Ну, да, и пресса недурна. Что же! пускай бюрократы побеспокоятся. Вообще любопытное время. Немножко, как будто, сумбуром отзывается, но... ничего! Я, по крайней мере, не разделяю тех опасений, которые высказываются некоторыми из людей одного со мною лагеря. Нигде в Европе нет такой свободы, как в Англии, и между тем нигде не существует такого правильного течения жизни. Стало быть, и мы можем ждать, что когда-нибудь внезапно смешавшиеся элементы жизни разместятся по своим местам.

Кроме того, я узнал, что он женился. И теперь, в Петербурге, он с женой, но она уехала на вечер к сестре, а он предпочел театр.

— Хорошая у меня жена, умница! — прибавил он с видимым удовольствием.

— Итак, ты счастлив?

— То есть доволен, хочешь ты сказать? Выражений, вроде: «счастье», «несчастье», я не совсем могу взять в толк. Думается, что это что-то пришедшее извне, взятое с бою. А довольство естественным образом залегает внутри. Его, собственно говоря, не чувствуешь, оно само собой разливается по существу и делает жизнь удобною и приятною.

Сказавши это, он пожал мне руку и удалился, причем не спросил, где я живу, да и сам не пригласил меня к себе. Очевидно, довольство настолько овладело им, что он утратил даже представление о каком-либо ином обществе, кроме общества «своих».

Тем не менее я не утерпел и на другой же день, довольно рано, уже был у него.

Крутицын весь сиял счастьем — это с первого взгляда бросалось в глаза. Было часов около одиннадцати, но и он, и жена его уже держали свое «знамя». Она, прелестная, свежая, благоухающая, сидела у круглого стола и разливала чай. Крутицын правду сказал: по всем ее движениям, неторопливым и плавным, видно было, что она «умница». И ела, и пила она настоящим образом, не жеманилась, не играла ложкой, не стыдилась, как бы говоря: это я случайно пью чай и булку с маслом ем, а обыкновенно я питаюсь эфиром! И ела, и пила, как все смертные, и даже мне, без предварительных расспросов, налила чашку,— все как следует умнице. Что касается до него, то он, в утреннем негляжè (tout-à-fait correct[1]), помещался сбоку стола. Разумеется, меня не ждали и как будто даже удивились, что я так поспешил.

— Мне вчера еще Valérien говорил о вас,— сказала она, когда Крутицын отрекомендовал меня,—и я очень рада познакомиться с вами. Друзья моего мужа — мои друзья.

Я вспомнил подобную же сцену с сестрою Крутицына, и мне показалось, что в словах: «друзья моего мужа — мои друзья» — сказалась такая же поэма. Только это одно несколько умалило хорошее впечатление в ущерб «умнице», но, вероятно, тут уже был своего рода фатум, от которого никакая выдержка не могла спасти.

Через четверть часа «умница» скрылась в соседнюю комнату, и мы остались одни. Я некоторое время так пристально вглядывался в Валерушку, что он, смеясь, заметил:

— Ты что на меня так странно смотришь? Что-нибудь необыкновенное приметил?

— Нет, я просто угадать хочу.

— Что ж угадывать? Во мне все так просто и в жизни моей так мало осложнений, что и без угадываний можно обойтись. Я даже рассказать тебе о себе ничего особенного не могу. Лучше ты расскажи. Давно уж мы не видались, с той самой минуты, как я высвободился из Петербурга,— помнишь, ты меня проводил? Ну же, рассказывай: как ты прожил восемь лет? Что предвидишь впереди?..

Я рассказал, что мог, но запас у меня был не особенно обильный. В десять — пятнадцать минут все было кончено.

В самом деле, что я оставил позади за те восемь лет, в продолжение которых мы не видались? — воспоминание о какой-то бесконечно длинной и бессодержательной процедуре, до того однообразной, что она напоминала собой сказку о белом бычке. Настолько была общеизвестна эта процедура, настоль-

[1] в высшей степени приличном.

ко всем надоела, что, как только наступила благоприятная минута, все взапуски спешили отделаться от нее, как от кошмара. Что же касается до эпизодов и подробностей, которые оттеняли один день от другого, то они отзывались уже чересчур узкою специальностью и положительно никого не могли интересовать. Сегодня — следствие о вымогательстве, завтра — о сокрытии, послезавтра — о превышении или бездействии, и т. д. Хвалиться, после долгих лет разлуки, перед приятелем, сколько стоило труда и искусства, чтобы поймать, уличить и вообще довести, с грехом пополам, какого-нибудь воришку-станового до вожделенного 3-го пункта,— право, не стоило. С другой стороны, и беседовать о дешевизне съестных припасов было неинтересно. Какое дело Крутицыну до того, что в городе Глазове пара рябчиков стоит семь копеек серебром? Все, что он может сказать по поводу таких россказней,— это:

— Дешевизна так неимоверна, что рябчики непременно должны быть давленые, а не стреляные. Во всяком случае, ни один порядочный повар не согласится подать давленую дичь на стол.

— Нет, лучше о тебе будем говорить,— сказал я, истощив свой запас.

— Что ж я могу рассказать тебе? Как видишь: женат, счастлив; восемь лет прошли как сон.

— Голубчик! ведь восемь лет немало времени; положим, для меня, с фактической стороны, они прошли почти бесследно. Существование мое было однообразное, подневольное и шло изо дня в день в совершенно чуждой среде. Но и тут я убежден, что еще не успел разобраться в недавнем прошлом и что впоследствии оно все-таки откликнется. Выступят наружу личности, характеристики, осветятся факты, подробности, а за ними появится целая свита ошибок. Сколько окажется поводов для самобичевания, для укоров! Какие потрясающие драмы могут выплыть на поверхность из омута мелочей, которые настолько переполняют жизненную обыденность, что ни сердце, ни ум, в минуту совершения, не трогаются ими! Нет, перемена, происшедшая в моем существовании, так еще свежа,— всего несколько месяцев,— что я не успел еще присмотреться к прошлому и не могу дать себе отчета, чем оно чревато, укорами или поощрениями. Напротив, ты...

— Мне кажется, что ты уж чересчур трагически смотришь на вещи...

— Ну, будет; действительно, я что-то некстати развитийствовался. Рассказывай же, рассказывай о себе: как жил, что делал?

— Как жил? — ну, жил, и больше ничего. Признаюсь, я даже не понимаю этого вопроса, и мне кажется, что, гоняясь за разрешением его, tu cherches midi à quatorze heures [1]. Смутно помнится, что мы уже однажды имели подобный разговор, и я объяснился с тобою. Но ты, по-видимому, неисправим. Итак, повторяю: я жил и не имею причины быть недовольным моим прошлым. Быть может, что это происходит оттого, что я ничего особенного не требую, или оттого, что сама судьба меня приголубливает,— во всяком случае, я не жалуюсь и сознаю себя вполне удовлетворенным. Однажды только я испытал серьезное горе — это когда умер отец, которого я страстно любил. Но время сгладило и это горькое впечатление; у меня осталась мать, к которой я также страстно привязан, и мы втроем живем душа в душу: maman, жена и я. Жаль только, что с сестрой приходится видеться редко, но тут уж ничего не поделаешь. Словом сказать, я живу семейно и согласно, а ежели в доме царствует согласие, то и жизнь не может не радовать. Достаточно этого для тебя?

— Но ведь у тебя было дело? доволен ли ты им?

— И дело было, и надеюсь, что и вперед ему буду служить. И скажу без хвастовства, что сознательно против однажды усвоенной règle de conduite [2] не поступал. Держать вверенное знамя совсем не легкая задача, и я исполнял ее по мере моих сил. Я не кичился моими преимуществами, не пользовался ими в ущерб моим доверителям, не был назойлив, с полною готовностью являлся посредником там, где чувствовалась в этом нужда, входил в положение тех, которые обращались ко мне, отстаивал интересы сословия вообще и интересы достойных членов этого сословия в частности,— вот мое дело! Быть может, оно не блестяще, но удовлетворяет меня вполне. И несмотря на кажущуюся простоту, оно порядочно-таки сложно, так что облениться или опуститься мне не было времени. Ведь не только одна тишь да гладь царствовали, а были и шероховатости. Вспомни, что в мою компетенцию входили не одни дворяне, но и крестьяне. Сверх того, и все служащие по выборам... Покойный отец сделал многое, чтобы наш уезд в административном смысле был безупречен, и я шел по стопам его. Неужели всего этого недостаточно?

— Помилуй! как недостаточно? напротив!

— Ты иронизируешь? находишь, что все это мелочи? Но что же делать, если ничего более крупного в жизни не видится?

---

[1] ты ищешь вчерашний день.

[2] линия поведения.

— То-то вот и есть... отчего одни только мелочи? отчего положение вещей остается на одной точке и ни на какой осязательный результат указать нельзя?

— Pardon! Выражение: «мелочи» — сорвалось у меня с языка. В сущности, я отнюдь не считаю своего «дела» мелочью. Напротив. Очень жалею, что ты затеял весь этот разговор, и даже не хочу верить, чтобы он мог серьезно тебя интересовать. Будем каждый делать свое дело, как умеем,— вот и все, что нужно. А теперь поговорим о другом.

Мы поговорили еще минут десять о вчерашнем спектакле и расстались.

Прошло целых тридцать лет, наполненных какою-то пестротою, в которой трудно было отыскать руководящую нить. Эпоха «постукиванья» миновала быстро; наступило суровое, беспощадное отрезвление, умеряемое случайными и не всегда мотивированными возвратами к лучшим временам. В воздухе чуть не каждый день оттепель сменялась жгучим холодом, и наоборот; но настоящие теплые дни перепадали редко. Эти перемены заставляли себя чувствовать тем болеее мучительно, что наступали внезапно и вследствие чисто внешних, случайных причин. Явления, имевшие совершенно частный характер, обобщались и угнетающим образом отражались на целом жизненном строе. Жилось сомнительно, без уверенности в завтрашнем дне, без удовлетворения днем настоящим. Знамена, которые всякий спешил выкинуть в дни «возрождения», вдруг попрятались; самое представление о возрождении стушевалось и сменилось убеждением, что ожидание дальнейших развитий было бы ребячеством. Умы воротились к старинной, излюбленной теме: как бы выйти неповрежденным из сутолоки насущного дня. В прессе, рядом с «рабьим языком», народился язык холопский, претендовавший на смелость, но, в сущности, представлявший смесь наглости, лести и лжи. «Улица» притихла.

В течение всего этого времени я был почти исключительно поглощен литературными занятиями. Скорбных минут было немало, но, по крайней мере, поддерживалось горение мысли — и за то спасибо. Всего мучительнее было то, что писатель не мог определительно указать на своего читателя, так что голос его раздавался, так сказать, наудачу. Но, во всяком случае, литературный труд сам по себе представляет достаточно утешений. Допустим, что на особенно плодотворные результаты рассчитывать нечего, но все-таки думается, что хоть что-нибудь, хоть штрих один, хоть слабый звук — дойдет по адресу.

Гудит и снует безымянная толпа, совсем не подозревая, что к ней обращено горячее писательское слово,— и вдруг выискивается адресат, который ловит это слово на лету... Это большое счастье, но в то же время, надо сказать правду, и большая редкость, потому что адресат робок и обнаруживать свои чувства не всегда считает полезным.

Повторяю: результаты моей деятельности были сомнительны, но существовал самый процесс излюбленного литературного труда, и это до известной степени удовлетворяло. Настоящее слово выговаривалось с трудом, но попытки сказать его все-таки существовали. Еще не утрачена была возможность полемизировать, и творцы холопского языка чувствовали хоть какую-нибудь узду. С течением времени и эта возможность исчезла, и холопский язык получил возможность всесильно раздаваться из края в край, заражая атмосферу тлением и посрамляя человеческие мозги.

С своей стороны, Крутицын крепче, нежели когда-нибудь, держал свое знамя. Он понимал, что плошать не следует, потому что в пестрое время на первом плане стоит значение минуты и возможность ее уловить. В первый раз пришлось ему постичь истинный смысл слова «борьба», но, однажды сознав необходимость участия этого элемента в человеческой деятельности, он уже не остановился перед ним, хотя, по обычаю всех ищущих душевного мира людей, принял его под другим наименованием. Он называл борьбу отстаиваньем освященных веками интересов и с гордостью говорил, что его нельзя смешивать с толпою беспокойных, которая занималась отыскиванием каких-то новых общественных идеалов и форм. Он, по преимуществу, действовал на местные правящие сферы: убеждал, приглашал оставить опасный путь и идти об руку по стезе благонамеренности. Но если это не удавалось, то, выждав «минуту», ехал в Петербург и настаивал на своем. И так как выбранная минута была всегда такая, когда в известных сферах было насчет благонамеренности «твердо», то жертв этой настойчивости оказывалось немало.

Словом сказать, Крутицын был доволен и среди «своих» пользовался не только популярностью, но и любовью. Несмотря на почти непреодолимые трудности, он создал из своего уезда действительный оазис, в котором, после эманципации, ни один помещик не продал ни пяди занадельной земли, в котором господствовал преимущественно сиротский надел и уже зародились серьезные задатки крупного землевладения. Даже мелкие сошки куда-то исчезли; остались только настоящие столпы, кровные деревенские джентльмены, которые обедали в своих семьях во фраках и белых галстуках.

Хотя в Петербург он приезжал довольно часто, но со мной уже не видался. По-видимому, деятельность моя была ему не по нраву, и хотя он не выражал по этому поводу своих мнений с обычною в таких случаях ненавистью (все-таки старый товарищ!), но в глубине души, наверное, причислял меня к разряду неблагонадежных элементов.

От времени до времени мы виделись, но исключительно в публичных местах, вполне случайно, и без разговоров расходились, пожав друг другу руки. Впрочем, о целях его наездов в столицу я почти всегда знал. Фамилия Крутицына приобрела уже значительную известность и встречалась в газетах наравне с фамилиями самых горячих защитников интересов консервативной партии. Помнится, что он даже кой-что пописывал, хотя без особенного успеха. Он значительно изменил свои прежние убеждения относительно бюрократов и соглашался, что, при известных условиях, между интересами бюрократическими и сословными не только не существует ни малейшей розни, но, напротив, первые споспешествуют вторым, а вторые оплодотворяют первые. Поэтому он относится с доверием даже к департаментским столоначальникам. Он ходатайствовал, подавал записки, добивался участия в разнообразных комитетах и комиссиях и уже не стоял исключительно на сословной почве, но выказывал намерение перейти на почву общегосударственную. Сословная обеспеченность может быть достигнута только при соответствующем устройстве всего государственного уклада,— настаивал он, и слова его, будучи, в сущности, самым ординарным общим местом, считались мудрыми. Ему неоднократно предлагали место губернатора и даже выше, но он наотрез отказывался. В этом отношении он остался верен отцовским «принципам» и находил, что сословная честь требует неизменной преданности исключительно сословному знамени.

Раза два-три я встречался с ним за границей, преимущественно в Эмсе, куда он от времени до времени ездил (всегда в сопровождении жены), чтобы подлечить какую-то неисправность в легких. Здесь, благодаря полному досугу, он был менее сдержан и охотно возвращался к дружеским собеседованиям. Разговоры наши, впрочем, не касались «знамени», ни вообще внутренней политики, а вращались исключительно около кулинарных интересов. Где лучше обедать: в Hôtel «Vierjahreszeiten» или в кургаузе? А, может быть, еще лучше — с утра разузнавать по известным отелям, в котором из них предполагается наиболее подходящий обед? Крутицын отзывался о немецкой кухне не только без презрения, как это делает большинство русских гастрономов, но даже хвалил ее.

И она, с своей стороны, способствовала душевной ясности, перевариваясь легко, без желудочных переполохов.

— Во всяком обеде найдешь два-три блюда очень приличных,— говорил он,— и притом таких, от которых не чувствуется в желудке никакой тяжести. Все здесь так устроено, чтобы питание, без ущерба в гастрономическом смысле, не вредило лечению, но, напротив, содействовало.

— Да, голубчик, ограждение интересов желудка — это в своем роде знамя,— поддакивал я ему.

— У нас, где-нибудь во Владикавказе, непременно свининой отпотчуют или солониной накормят, а здесь даже menus [1] в табльдотах составляется не иначе, как под наблюдением водяного комитета.

— Да, но ведь и свинина вкусна!..

— Вкусна — не спорю! но в гигиеническом смысле...

Стало быть, и в кулинарном отношении он был счастлив: желудок в исправности! — Многие этого блага с детских лет добиваются, да так и сходят в могилу с желудочным засорением.

Сверх того, он был горячий поклонник Бисмарка и выражался о нем:

— Это человек!

И в этом я ему не препятствовал, хотя, в сущности, держался совсем другого мнения о хитросплетенной деятельности этого своеобразного гения, запутавшего всю Европу в какие-то невылазные тенета. Но свобода мнений — прежде всего, и мне не без основания думалось: ведь оттого не будет ни хуже, ни лучше, что два русских досужих человека начнут препираться о качествах человека, который простер свои длани на восток и на запад,— так пускай себе...

Повторяю: наши собеседования были легкие, гигиенические, и Крутицын был, по-видимому, благодарен, что я не переношу их на другую почву.

Однажды, однако ж, я не вытерпел и спросил его:

— Правда ли, что ты считаешь меня неблагонадежным элементом?

— Mais puisque tu demandes cent milles têtes à couper! [2]

— Фу-ты!

Ответ его был несколько придурковат, но так как он, видимо, был счастлив, выказав нечто похожее на остроумие, то я не возражал дальше. Счастье так счастье! — пусть выпивает чашу ликования до дна!

---

[1] меню.

[2] Но ведь ты требуешь отрубить сто тысяч голов!

Несколько раз я порывался спросить его, что он делает в «своем месте» и подвинулось ли хоть на вершок что-нибудь вследствие его настояний, отстаиваний, ходатайств и вообще вследствие той сутолоки, которой он неустанно предается ради излюбленного «знамени»; но, предвидя тот же стереотипный ответ, который и прежде слыхал от него, воздержался.

Впрочем, и за границей всегда так случалось, что постепенно наезжали на воды люди, связанные с Крутицыным более интимным образом, нежели я, и тогда он незаметно исчезал для меня в толпе «своих».

Гораздо позднее я узнал, что счастье его усугубилось: он познал свет истины. Молодость уже миновала (Крутицыну было под шестьдесят), да кстати подрос и сын,— у него их было двое, но младший не особенно радовал,— которому он и передал из рук в руки дорогое знамя, в твердой уверенности, что молодой человек будет держать его так же высоко и крепко, как держали отец и дед. Сам же Валерьян Сергеич бесповоротно заключился в своем château[1] и исключительно предался осенившему его душевному обновлению. Сначала он отдался спиритизму, потом сделался ревностным редстокистом, а наконец и сам начал кой-что придумывать. Сложится у него в голове какой-нибудь произвольный афоризм — он и исповедует его, не останавливаясь перед самыми крайними выводами. Рассказывали, что по вечерам в обширном зале его château собирались домочадцы, начиная от жены, детей, гувернанток и бонн и кончая низшей прислугой. Ставился аналой; Крутицын надевал черную ряску, выбирал главу из Евангелия и толковал ее, разумеется, в смысле излюбленного афоризма. Толкования эти продолжались час и два; слушатели, конечно, не прекословили, а только вздыхали. И он был счастлив безмерно.

В эпохи нравственного и умственного умаления, когда реальное дело выпадает из рук, подобные фантасмагории совершаются нередко. Не находя удовлетворений в действительной жизни, общество мечется наудачу и в изобилии выделяет из себя людей, которые с жадностью бросаются на призрачные выдумки и в них обретают душевный мир. Ни споры, ни возражения тут не помогают, потому что, повторяю, в самой основе новоявленных вероучений лежит не сознательность, а призрачность. Нужен душевный мир — и только.

Нельзя даже с уверенностью сказать, как относятся сами выдумщики афоризмов к своим выдумкам: сознают ли они себя способными поддержать их, или последние приходят к ним случайно и принимаются исключительно на веру. Скорее

[1] замке.

всего, в этих случаях наиболее решительным образом влияет бесприютность жизни, умственная расшатанность и полное отсутствие реальных интересов. Нельзя же, в самом деле, бессрочно удовлетворяться культом какого-то «знамени», которое и само по себе есть не что иное, как призрак, и продолжительное обращение с которым может служить только в смысле подготовки к другим призракам. Поэтому переход от «знамени» к спиритизму, редстокизму и к исповеданию таких истин, как «уши выше лба не растут» или «терпение все преодолевает», вовсе не так неестествен, как это кажется с первого взгляда...

В последний раз я виделся с Крутицыным недавно. Я был уже во власти неизлечимого и тяжкого недуга, как он совершенно неожиданно навестил меня.

Приехал он в Петербург по крайнему случаю. В первый раз в жизни он испытал страшное горе: у него застрелился младший сын, прекрасный и многообещавший юноша, которому едва минуло осьмнадцать лет.

Молодой человек не успел еще сойти со школьной скамьи, а в существование его уже закралась двойственность. По-видимому, он не так легко, как отец и старший брат, принимал на веру россказни о свойствах «знамени», и та обязательность, с которою последние принимались в родной семье, сильно смущала его. Сам ли он дошел до каких-то неясных сомнений, или был наведен на них посторонним влиянием,— во всяком случае, в нем совершился внезапный и резкий перелом. Он рано начал анализировать свою жизнь, рано стал вглядываться в ожидавшее его будущее, так что в ту цветущую пору, когда испытываются одни радования жизни, он был уже угрюм и нелюдим. За несколько дней до катастрофы он окончательно задумался и затосковал. Приходя по праздникам к сестре, он невпопад отвечал на делаемые ему вопросы, забивался в угол и молчал. Страшно подумать, что в осьмнадцать лет жизнь может опостылеть и привести юношу исключительно к тому, что он думает только о том, как бы поскорее покончить расчеты с нею. Но в наше время господства призраков и этот беспощадный призрак перестает казаться противоестественным. Скука и душевное утомление так велики, что даже возможность иных, более радужных перспектив в будущем искушает очень слабо. Левушка Крутицын был мальчик нервный и впечатлительный; он не выдержал перед мыслью о предстоящей семейной разноголосице и поспешил произнести суд над укоренившимися в семье преданиями, послав себе вольную смерть.

Старик Крутицын глубоко изменился, и я полагаю, что перемена эта произошла в нем именно вследствие постигшего его горя. Он погнулся, волочил ногами и часто вздрагивал; лицо осунулось, глаза впали и были мутны; волосы в беспорядке торчали во все стороны; нижняя губа слегка обвисла и дрожала.

— Здоровья тебе принес! — сказал он мне, стараясь приободриться,— еще не все для тебя кончено.

Он сел против меня, взял мои руки и, не выпуская их, долго и пристально смотрел мне в глаза. И я уверен, что в эти минуты прошлое всецело пронеслось перед ним, и он любил меня искренно, горячо.

Мы оба молчали. На этот раз, впрочем, молчание было содержательнее, нежели самый содержательный разговор.

Наконец, вдоволь насмотревшись, он встал и произнес:

— Ты, помнится, в былое время спрашивал меня о результатах, каких я достиг. Результаты — вот они! Дряхлая развалина и погибший сын!

С этими словами он безнадежно-тоскливо покачал головой и, пошатываясь, пошел из комнаты.

Больше мы не видались.

VIII
ИМЯРЕК

О, поле, поле, кто тебя
Усеял мертвыми костями?..

Конец жизненного пути приближается... Он уже явственно мелькает впереди, подобно тому, как перед глазами путника, вышедшего из лесной чащи, мелькает сквозь редколесье деревенское кладбище, охваченное реяньем смерти.

Имярек умирает.

Прародитель, лежа в проказе на гноище, у ворот города, который видел его могущество, богатство и силу, наверное, не страдал так сильно, как страдал Имярек, прикованный недугом к покойному креслу, перед письменным столом, в теплом кабинете. Другие времена, другие нравы, другие песни.

Во-первых, гноище в то время совсем не представлялось так страшным, как мы его живописуем. Вероятно, это было нечто вроде больницы. Заболеет кто-нибудь проказой (тогда и болезней других не было, кроме проказы): «Ах, несите его поскорее на гноище!» — Снесут и предоставляют выздоравливать или умирать — как знаешь. Напротив того, нынче даже в Калинкинскую больницу умирать не всякий идет. Гноищем сделалась собственная квартира умирающего, со всеми удобствами и приспособлениями и даже с сестрой милосердия для ухода. И за всем тем это новое удобное гноище представляется нам еще более нестерпимым, нежели представлялось прародителям их старое гноище.

Во-вторых, не от одного развития вкусов и требований зависит увеличение суммы страданий, но и от того, что сами страдающие организмы существенно изменились.

Прародитель имел организм первоначальный, непочатой; он не знал, что такое нервы, какие бывают болезни сердца, катары легких и т. п. Стало быть, физические боли были легче переносимы, нежели теперь. Но в особенности было для него выгодно отсутствие болей нравственных, от которых его спасал присущий древнему миросозерцанию закон предопределения. Напротив того,— Имярек весь состоял из нервов; болезнь его заключалась в нервном потрясении всего организма, ослож-

ненном и болезнью сердца, и катаром легких, и проч. Словом сказать, целая энциклопедия самых жгучих болей поселилась в нем, держала скованным и неотвязчиво сопровождала изо дня в день. Прародитель мог отлежаться на гноище; придут городские псы, залижут его раны — вот он и опять на ногах. Опять родной город делается свидетелем его могущества, богатства и силы — до новой проказы. Имярек ничего подобного в будущем не провидел, потому что и псов таких ныне нет, которые могли бы зализать те раны, которыми он страдал. Правда, лампада его жизни еще не угасла, но она и не горела, а только чадила. Долго ли будет она продолжать чадить — этого он определить не мог; но, по размышлении, оказывалось, что гораздо было бы лучше, если бы процесс этот кончился как можно скорее.

В-третьих, прародитель верил в свою невинность и мог утешать себя этим. «Меня, по крайней мере, то облегчает,— говорил он себе,— что я невинен!» Имярек вообще не признавал ни виновности, ни невиновности, а видел только известным образом сложившееся положение вещей. Это положение было результатом целой хитросплетенной сети фактов, крупных и мелких, разобраться в которых было очень трудно. Многие из этих фактов прошли незамеченными, многие позабылись, и, наконец, большинство хотя и было на виду, но спряталось так далеко и в таких извилинах, что восстановить их в строгой логической последовательности даже свободному от недугов человеку было нелегко. Чтобы изменить одну йоту в этом положении вещей, надобно было употребить громадную массу усилий, а кроме того, требовалась и масса времени. Целую такую же жизнь нужно было мысленно пережить, да и то, собственно говоря, существенного результата едва ли бы можно было достигнуть. Нанесенное, в минуту грубой запальчивости, физическое оскорбление так и осталось бы физическим оскорблением; сделанный в незапамятные времена пошлый поступок так и остался бы пошлым поступком. Просто ряд обусловленных фактов. А для прародителя даже фактов не существовало: до такой степени все в его жизни было естественно, цельно, плавно и невинно.

В-четвертых, прародитель надеялся, что явится в свое время «вихрь» и разнесет все недоразумения, жертвою которых он пал. Он сам не раз был свидетелем появления подобных вихрей, видал их собственными глазами. Имярек, воспитанный в идеях современного вольномыслия (не он один, а *все* в этих идеях воспитаны), относился к «вихрям» равнодушно, не помнил, чтобы когда-нибудь видел их, а потому и надеяться на их появление не мог. Он знал, что в условленный час придет док-

тор и что-нибудь пропишет. Настоящим образом это прописанное не избавит его от страданий, но сделает последние менее жгучими, даст возможность дождаться следующего дня. На следующий день Имярек получит другое средствице, которое поможет дождаться еще следующего дня, и т. д. Вечером, ложась спать, он будет думать: «Через семь часов опять утро, опять удручающий кашель, опять лекарство — хоть бы семь-то часов спокойно проспать!» Утром, вставая с постели, будет думать: «Вот и утро наступило! Ах, если бы поскорее оно прошло!» Затем — целый день одиночества, уныния, тоски и, наконец, опять ночь. Зачем все эти утра, дни и ночи сменяют друг друга? Что дальше? Все это такие вопросы, которые прародителю и во сне не снились. А между тем в них-то именно и замыкается все мучение потухающей жизни.

Имярек мало-помалу вступил в тот фазис болезненного существования, когда людям здорового мира представляется возможным и даже естественным оказывать человеку всякого рода пренебрежение. Можно помнить о нем, но можно и забыть; можно интересоваться его положением, но можно и не интересоваться; можно навестить его, но можно и не навестить. Сам по себе человек утрачивает всякую цену или сохраняет ее лишь в той мере, в какой это удобно для того или другого лица. Идет мимо старый знакомый, гуляет: «А что, не зайти ли?» — и зайдет.

— А вы как будто похудели?

— Еще бы! Сколько времени не видались!

— Представьте себе, а мне кажется, точно вчера я вас видел! Но при этом я должен сказать, что бывал бы у вас чаще, да боюсь беспокоить!

— Ну, что уж...

— Да, похудели-таки вы. А все-таки, сравнительно с прошлым годом — помните? — большой и даже очень большой успех! Ну, прощайте, я тороплюсь!

Возьмет шляпу и уйдет. Но иногда и воротится.

— Да, чуть не забыл вам рассказать, что у нас в сферах делается... Умора!

— Не интересует это меня.

— Не интересует? Напрасно! Это вас развлекало бы, дало бы пищу для вашей наблюдательности. Ну, так прощайте. Я, в самом деле, тороплюсь.

Метеор промелькнул и исчез. Только очень немногие продолжают видеть в Имяреке человека, более нежели когда-либо нуждающегося в сочувствии. Но и у этих немногих — дела. Дела загромоздили весь досуг; не осталось ни одной свободной минуты. Он один, Имярек, совсем свободен; для него одно-

го предоставлен бесконечный досуг, формулируемый словами: забвенье, скука, тоска.

На дворе конец ноября, но зимы еще нет. День продолжается всего четыре часа, да и то мутный, наводящий уныние. В третьем часу зажигают огни, а вместе с ними обостряется и тоска. Все боли чувствуются вдвойне; несмотря на безусловный покой, организм поражен усталостью. Пробуждается память прошлого, припоминаются недавние связи, недавняя возможность передвижения, участия в жизни. Встают обиды, подозрительность, опасения... В сущности, положение и без того безнадежно, но окажется, что завтра ему предстоит сделаться еще более безнадежным. До каких пор дойдет это ухудшение? Ужели до гноища?

В бесконечные зимние вечера, когда белесоватые сумерки дня сменяются черною мглою ночи, Имярек невольно отдается осаждающим его думам. Одиночество, или, точнее сказать, оброшенность, на которую он обречен, заставляет его обратиться к прошлому, к тем явлениям, которые кружились около него и давили его своею массою. Что там такое было? К чему стремились люди, которые проходили перед его глазами, чего они достигали?

В ответ на эти вопросы, куда он ни обращал свои взоры, всюду видел мелочи, мелочи и мелочи... Сколько ни припоминал существований, везде навстречу ему зияло бессмысленное слово: «вотще», которое рассевало окрест омертвение. Жизнь стремилась вдаль без намеченной цели, принося за собой не осязательные результаты, а утомление и измученность. Словом сказать, это была не жизнь, а особого рода косность, наполненная призрачною суетою, которой, только ради установившегося обычая, присвоивалось наименование жизни.

Портретная галерея, выступавшая вперед, по поводу этих припоминаний, была далеко не полна, но дальше идти и надобности не предстояло. Сколько бы обликов ни выплыло из пучины прошлого, все они были бы на одно лицо, и разницу представили бы лишь подписи. Не в том сущность вопроса, что одна разновидность изнемогает по-своему, а другая по-своему, а в том, что все они одинаково только изнемогают и одинаково тратят свои силы около крох и мелочей.

Старцы и юноши, люди свободных профессий и люди ярма, люди белой кости и чернь — все кружится в одном и том же омуте мелочей, не зная, что, собственно, находится в конце этой неусыпающей суеты и какое значение она имеет в экономии общечеловеческого прогресса.

Такова была среда, которая охватывала Имярека с молодых ногтей. Живя среди массы людей, из которых каждый

устраивался по-своему, он и сам подчинялся общему закону разрозненности. Вместе с другими останавливался в недоумении перед задачами жизни и не без уныния спрашивал себя: ужели дело жизни в том и состоит, что оно для всех одинаково отсутствует?

Да, именно только в этом. Разрозненность и отсутствие живого дела, как содержание жизни; одиночество и оброшенность — как венец ее.

Где же найти основы для общежития? Откуда взяться элементам для жизненных результатов, для прогресса?

Гнетомый этими мыслями, Имярек ближе и ближе всматривался в свое личное прошлое и спрашивал себя: что такое «друг» и «дружба» (этот вопрос занимал его очень живо — и как элемент общежития, и в особенности потому, что он слишком близко был связан с его настоящим одиночеством)? Что такое представляет его собственная, личная жизнь? в чем состояли идеалы, которыми он руководился в прошлом? и т. д.

Были ли когда-нибудь у него друзья? Кажется, что-то вроде этого было. По крайней мере, он помнит себя в кругу живых людей, связанных с ним общим трудом, общими жизненными волнениями. Даже теперь, в том безусловном затишье, которое охватило его со всех сторон, перед ним вставали картины веселых собеседований и прочих упражнений, неразлучных с дружеством. Но этого мало: по временам прорывались и другие, более тонкие, признаки дружества: выражение сочувствия к его деятельности, образу мыслей, требование совета, постановка тревожащих совесть вопросов... Ужели этого недостаточно, чтобы наполнить самое широкое определение дружества?

Но, постепенно погружаясь в болезненный мрак, он мало-помалу стал разбираться в хаосе понятий, бо́льшая часть которых принимается и усвоивается почти без всякой критики. Прежде всего он отделил выражения нравственного и умственного сочувствия и решил, что это явление совсем другого порядка, очень редко соединяющееся с понятием о дружбе в том смысле, в каком оно установилось для среднего уровня человеческой жизни. Выражения сочувствия могут радовать (а впрочем, иногда и растравлять открытые раны напоминанием о бессилии), но они ни в каком случае не помогут тому интимному успокоению, благодаря которому, покончивши и с деятельностью, и с задачами дня, можешь сказать: «Ну, слава богу! я покончил свой день в мире!» Такую помощь может оказать только «дружба», с ее предупредительным вниманием, с обильным запасом общих воспоминаний из далекого и близкого прошлого; одним словом, с тем несложным арсеналом теплого

участия, который не дает обильной духовной пищи, но несомненно действует ублажающим образом. Но что же, в сущности, означают выражения: «друг», «дружба»?

Обращаясь к фактам, Имярек пришел к убеждению, что у нас, по крайней мере, дружба имеет подкладку по преимуществу материального свойства. Друзья должны быть прежде всего здоровы, веселы, хлебосольны. А тонкий вкус в еде и в винах, уменье рассказывать анекдоты, оживлять общество легкой беседой — скрепляют дружбу и сообщают ей оттенок присутствия некоторого подобия мысли. Еще более скрепляют дружбу взаимные одолжения. Н. помог Т. проникнуть в такое-то учреждение; взамен того, Т. помог Н. купить по случаю пару лошадей. С. сбегал для Ф. за справкой в управу благочиния; Ф. за такой же справкой сбегал для С. в коммерческий суд. Никакого «образа мыслей» тут не нужно; напротив, «образ мыслей» только мешает, производит раскол, раздор, смуту.

Обыкновенно «дружба» начинается так. Встречаются X. и Z. в первый раз у случайного знакомого,— положим, хотя за обедом. X. в этот день особенно в ударе. Он сыплет остроумием, рассказывает анекдоты, из которых иные даже совсем новые. Хозяйка дома млеет от ликования; Z. превратился весь в слух, даже рот разинул. Никогда время не шло так быстро, никогда обед не был так оживлен. Хозяин мысленно говорит про X.: «Вот настоящий друг!» Z. дает себе слово сойтись с X. и залучить его на свои субботние обеды. На этих обедах тоже весело, даже «сцены из народного быта» рассказывают,— но все-таки не то, что нынче. И вот, улучив после обеда минуту, Z. подходит к X.

— Очень приятно было бы поближе познакомиться,— говорит он.

— Что ж, познакомимся.

— У меня по субботам обедцы бывают, так вот... Впрочем, я надеюсь на днях лично быть у вас. Надеюсь, что и жены наши...

— Что ж, и жен одной веревочкой свяжем!— шутит X., уже провидя в Z. будущего друга.

Обменялись визитами, сперва сами, потом жены, а накануне одной из ближайших суббот X. получает от Z. записку:

«Не приедете ли завтра откушать запросто? Будут: тайный советник Стрекоза, сенатор Чистописцев, наш общий друг Сермягин и Иван Федорович Горбунов. Дам не будет, кроме жены, которая никого не стеснит. Обедаем в $6^1/_2$ часов».

Уже с самой закуски начинается «дружба». Закуска великолепная. Свежая икра, янтарный балык, страсбургский паштет,

сыры, сельди, грибы, рыжички... Но недостает... семги! X. всего отведывает, а некоторого даже по два раза, но чувствует, что чего-то недостает. И, сознавая себя уже «другом», без церемонии обращается к хозяину:

— Прекрасная у вас икра, да и вообще вся закуска... Но кабы ваша милость была сёмужкой попотчевать...

— Семги! — восклицает встревоженный хозяин и с немым укором смотрит на жену,— Эй, Родивон! живо!

Отдается приказание, бегут сломя голову в ближайшую бакалейную лавку — и через пять минут семга уже на столе. Сочная, розовая, тающая... масло! Словом сказать, сразу приобретается для дружбы такой фундамент, которого никакие ураганы не разрушат!

Таковы начальные основания истинной «дружбы».

Были ли у Имярека такие друзья? Был ли он сам таким другом? Конечно, был, но чего-то как будто недоставало. Быть может, именно сёмужки. Он был когда-то здоров, но никогда настолько, чтобы быть настоящим другом. Он бывал и весел, но опять не настолько, сколько требуется от «друга». Анекдотов он совсем не знал, гастрономом не был, в винах понимал очень мало. Жил как-то особняком, имел «образ мыслей» и даже в манерах сохранял нечто резкое, несовместное с дружелюбием.

Ясно, что если бы и могли, при таких условиях, образоваться зачатки дружбы, то они не долго бы устояли ввиду такого испытания, как тяжелая, безнадежная болезнь.

«Ну-с, прощайте! тороплюсь!» — повторял он мысленно обычный посетительский припев, и это было самое большее, на что он мог в настоящее время рассчитывать, с точки зрения дружества.

Говорят, будто и умственный интерес может служить связующим центром дружества; но, вероятно, это водится где-нибудь инде, на «теплых водах». Там существует общее дело, а стало быть, есть и присущий ему общий умственный интерес. У нас все это в зачаточном виде. У нас умственный интерес, лишенный интереса бакалейного, представляется символом угрюмости, беспокойного нрава и отчужденности. Понятно, что и дружелюбие наше не может иметь иного характера, кроме бакалейного.

Затем Имярек подвергал анализу самую жизнь свою. Была ли эта жизнь такова, чтобы притягивать к себе людей даже в годину испытания? В чем состояло ее содержание?

Какие она дала результаты?

Увы, на все эти вопросы он мог дать ответы очень и очень сомнительного свойства...

Жизнь его была заурядная, серая жизнь человека, отдавшего себя известной специальности. Он был писатель по природе (с самых юных лет он тяготел к литературе), но ничего выдающегося не произвел и не «жег глаголом сердца людей». Правда, что в каждой строке, им написанной, звучало убеждение,— так, по крайней мере, ему казалось,— но убеждение это, привлекая к нему симпатии одних, в то же время возбуждало ненависть в других. Симпатии утопали в глубинах читательских масс, не подавая о себе голоса, а ненависть металась воочию, громко провозглашая о себе и посылая навстречу угрозы. Около ненависти группировалась и обычная апатия среднего человека, который не умеет ни любить, ни ненавидеть, а поступает с таким расчетом, чтобы в его жизнь не вкралось недоумение или неудобство. Такое сомнительное содержание жизни Имярека должно было дать и соответственные результаты. А именно: в смысле общественного влияния — полная неизвестность; в смысле личной жизни — оброшенность, пренебрежение, почти поругание.

Имярек припоминал имена лиц, бывших когда-то близкими ему,— и почти всюду встречал хоть намеки на обстановку. Его же личная обстановка имела название: оброшенность. Да, есть известная категория деятелей (литературных и иных), которые никакого другого результата и достигнуть не могут. Недаром Некрасов называл «блаженным» удел незлобивого поэта, но и недаром он предпочел остаться верным «музе мести и печали». Последняя вносит в жизнь известный ореол, который самой оброшенности может сообщить характер гордости и силы. Но ведь на поверку все-таки выходит, что человек, даже осиянный ореолом, не перестает быть обыкновенным средним человеком и, в конце концов, ищет теплого дружеского слова, пожатия дружеской руки. Отсутствие этих признаков среднечеловеческого существования действует так удручающе, что многих, несомненно сильных, заставляет отступать.

К счастию, Имярек, по самой природе своей, по всему складу своей жизненной деятельности, не мог не остаться верным той музе, которая, однажды озарив его существование, уже не оставляла его. У него и других слов не было, кроме тех, которые охарактеризовали его деятельность, так что если бы он даже хотел сказать нечто иное, то запутался бы в своих усилиях. Одного бы не досказал, в другом перешел бы за черту и, в конце концов, еще более усилил бы раздражение.

Какие же были идеалы, которые он лелеял в течение своей жизни? Увы! В этом отношении он развивался очень медленно и трудно.

Еще в ранней молодости он уже был идеалистом; но это было скорее сонное мечтание, нежели сознательное служение идеалам. Глядя на вожаков, он называл себя фурьеристом, но, в сущности, смешивал в одну кучу и сенсимонизм, и икаризм, и фурьеризм, и скорее всего примыкал к сенсимонизму. В особенности его пленяла Жорж Занд в своих первых романах. Он зачитывался ими до упоения, находил в них неисчерпаемый источник той анонимной восторженности, которая чаще всего лежит в основании юношеских верований и стремлений. Были слова (добро, истина, красота, любовь), которые производили чарующее действие, которые он готов был повторять бесчисленное множество раз и, слушая которые, был бесконечно счастлив. Если бы от него потребовали наполнить эти слова содержанием, он удивился бы — до того они представлялись ему несомненными и обязательными, до того его прельщал самый звук их.

Но, повторяю, это было лишь сонное видение, которое, впрочем, не мешало жить, «как другие живут» (дело было в самый разгар крепостного права и обязательной бюрократической деятельности), и которое рассеялось при первом же столкновении с действительностью. Столкновение это не замедлило.

По обстоятельствам, он вынужден был оставить среду, которая воспитала его радужные сновидения, товарищей, которые вместе с ним предавались этим сновидениям, и переселиться в глубь провинции. Там, прежде всего, его встретило совершенное отсутствие сновидений, а затем в его жизнь шумно вторглась целая масса мелочей, с которыми волей-неволей приходилось считаться.

Юношеский угар соскользнул быстро. Понятие о зле сузилось до понятия о лихоимстве, понятие о лжи — до понятия о подлоге, понятие о нравственном безобразии — до понятия о беспробудном пьянстве, в котором погрязало местное чиновничество. Вместо служения идеалам добра, истины, любви и проч., предстал идеал служения долгу, букве закона, принятым обязательствам и т. д.

Отделял ли в то время Имярек государство от общества — он не помнит; но помнит, что подкладка, осевшая в нем вследствие недавних сновидений, не совсем еще была разорвана, что она оставила по себе два существенных пункта: быть честным и поступать так, чтобы из этого выходила наибольшая сумма общего блага. А чтобы облегчить достижение этих задач на арене обязательной бюрократической деятельности,— явилась на помощь и целая своеобразная теория.

Сущность этой теории заключалась в том, чтобы практиковать либерализм в самом капище антилиберализма. С этою целью предполагалось наметить покладистое влиятельное лицо, прикинуться сочувствующим его предначертаниям и начинаниям, сообщить последним легкий либеральный оттенок, как бы исходящий из недр начальства (всякий мало-мальски учтивый начальник не прочь от либерализма), и затем, взяв облюбованный субъект за нос, водить его за оный. Теория эта, в шутливом русском тоне, так и называлась теорией вождения влиятельного человека за нос, или, учтивее: теорией приведения влиятельного человека на правый путь.

В оправдание этой теории приводилось то соображение, что вся история русского прогресса шла именно таким путем. Либерал прикидывался выполняющим предначертания и затем сообщал этим предначертаниям тот смысл, который признавался наиболее полезным. Не нужно дразнить, напротив, нужно сглаживать. Не нужно выставлять вперед свою инициативу, а, напротив, делать вид, что сам проникаешься начальственною инициативою. Тогда мало-помалу образуется в облюбованном человеке привычка либерализма, исчезнет страх перед либеральными словами — и в результате получится прогресс.

Все в этой теории казалось так ясно, удободостижимо и вместе с тем так изобильно непосредственными результатами, что Имярек всецело отдался ей. Провинция опутала его сетями своей практики, которая даже и в наши дни уделяет не слишком много места для идеалов иной категории. Идеал вождения за нос был как раз ей по плечу. Он не требует ни борьбы, ни душевного горения, ни жертв — одной только ловкости.

Имярек ничего этого не замечал. Ему предстояла деятельность, наполненная такими кипучими насущными подробностями, за которыми исчезала всякая руководящая нить. Дело сводилось к личностям; порядок вещей ускользал из вида. Казалось, что преуспеяние пойдет шибче и действительнее, ежели станового Зябликова заменит становой Синицын. Синицын менее нахален. Он не станет набрасываться, как волк, на обывателей, не наполнит стана гамом скверных слов. Он будет иметь в виду начальственные требования и поставит себе в обязанность проводить начальственную мысль. А ежели Синицын не оправдает доверия, то можно и его сменить. Тем временем Зябликов, наголодавшись и нахолодавшись в отставке, раскается и явится как раз кстати, чтоб заменить Синицына.

Переливая таким образом из пустого в порожнее, Имярек совсем забыл о критической оценке новоявленной теории. А между тем это было далеко не лишнее. Независимо от того,

что намеченные носы не всегда охотно подчинялись операции вождения, необходимо было, однажды вступив на стезю уступок, улаживаний и урезываний, поступаться более цельными убеждениями, изменять им. «Носы» подозрительны и требуют, чтобы вожаки отдавались им всецело, так сказать, не отлучались от них. Чуть замешивалась в этот двойственный союз третья, не вполне подходящая, личность — и процесс вождения за нос прекращался сам собой. Вообще предприятие было скучное, хлопотливое, тяжелое. Приходилось слушать неумные речи, намеки, укоры, приходилось сознавать, что, в сущности, господином положения остается все-таки «нос», а вожак состоит при нем лишь в роли приспешника, чуть не лакея. Но тяжелее всего было то, что, как ни своди дело к личностям, из-за последних все-таки выскакивал «порядок вещей», а тут уже прямо выказывалась полная несостоятельность усвоенного идеала. Не с Зябликовыми и Синицыными можно достигнуть даже того скудного результата, который первоначально мелькал в перспективе. Зябликовы и Синицыны настолько неразвиты, забиты и пьяны, что даже не могут понять, что от них требуется какой-нибудь результат.

Таков был первый фазис теоретических блужданий, среди которых в течение многих лет вращалась жизнь Имярека. Очевидно, это был фазис будничный, заурядный, свойственный каждому шустрому канцеляристу.

Затем Имярек вновь очутился в центре «большой деятельности» (в отличие от малой, провинциальной). Это было время, когда все носы, и водящие и водимые, смешались, когда мертвые встали из гробов и ринулись навстречу проглянувшему лучу света. Вместе с другими потянулся к лучу и Имярек.

Эпоха возрождения была довольно продолжительна, но она шла так неровно, что трудно было формулировать сколько-нибудь определенно сущность ее. Возрождение — и рядом несомненные шаги в сторону и назад. Движение — и рядом застой. Надежды — и рядом отсутствие всяких перспектив. Ни положительные, ни отрицательные элементы не выяснялись настолько, чтобы можно было сказать, какие из них имели преобладающее значение в обществе. Мало этого: представлялось достаточно признаков для подозрения, что отрицательные элементы восторжествуют, что на их стороне и соблазн и выгода. К чести Имярека должно сказать, что он не уступил соблазнам, а остался верен возрождению, движению и надеждам.

Это было самое кипучее время его жизни, время страстной полемики, усиленной литературной деятельности, переходов

от расцветания к увяданию и проч. Во всяком случае, не чувствовалось той пошлости, того рассудительного тупоумия, которое преследовало его по пятам в провинции.

Лозунг его в то время выражался в трех словах: свобода, развитие и справедливость. Свобода — как стихия, в которой предстояло воспитываться человеку; развитие — как неизбежное условие, без которого никакое начинание не может представлять задатков жизненности; справедливость — как мерило в отношениях между людьми, такое мерило, за чертою которого должны умолкнуть все дальнейшие притязания.

Тогда он был здоров, общителен и деятелен. Он и не подозревал, что будущее готовит ему оброшенность...

. . . .

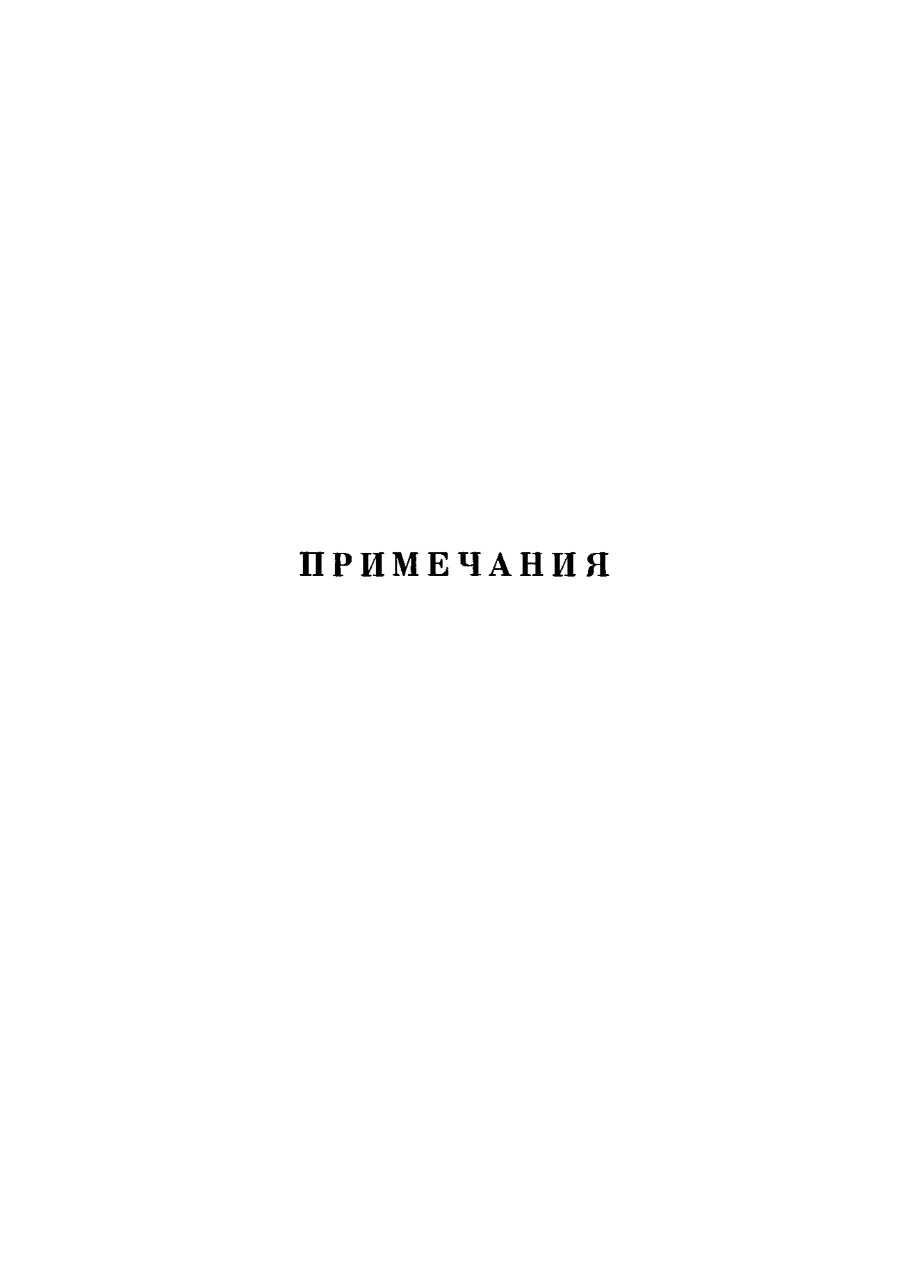
И вот теперь, скованный недугом, он видит перед собой призраки прошлого. Все, что наполняло его жизнь, представляется ему сновидением. Что такое свобода — без участия в благах жизни? Что такое развитие — без ясно намеченной конечной цели? Что такое справедливость, лишенная огня самоотверженности и любви?

Слова, слова и слова...

Он чувствует, что сердце его горит и что он пришел к цели поисков всей жизни, что только теперь его мысль установилась на стезе правды...

Он простирает руки, ищет отклика, он жаждет идти, возглашать...

И сознает, что сзади у него повис ворох крох и мелочей, а впереди — ничего, кроме одиночества и оброшенности...



ПРИМЕЧАНИЯ

Вводная статья и комментарии — *К. И. Тюнькина.*
Подготовка текста и текстологические примечания — *В. Э. Бограда.*

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМ АППАРАТЕ НАСТОЯЩЕГО ТОМА

ВЕ — «Вестник Европы».

ГПБ — Государственная Публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград).

Изд. 1933—1941 — Н Щедрин (М. Е. Салтыков). Полное собрание сочинений в 20-ти томах. М.— Л., 1933—1941.

Изд. 1887 — «Мелочи жизни». Сочинение М. Е. Салтыкова (Щедрина) СПб., 1887. Типография М. М Стасюлевича.

ИРЛИ — Институт русской литературы АН СССР (Пушкинский дом) Отдел рукописей.

ЛН — «Литературное наследство».

М. вед. — «Московские ведомости».

Р. вед. — «Русские ведомости».

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства.

ЦГИАЛ — Центральный государственный исторический архив. Ленинград.

МЕЛОЧИ ЖИЗНИ

I

В августе 1886 г. Салтыков завершил «Пестрые письма» давно задуманным девятым «письмом» о «пестрых людях» и сразу же приступил к работе над одним из самых значительных, самых глубоких своих произведений — циклом «Мелочи жизни».

Первоначально цикл мыслился Салтыковым как серия «фельетонов», имеющих «современный интерес» и предназначенных для публикации в газете («Русских ведомостях» В. М. Соболевского). В таком «современном», злободневном духе и написаны первые три «фельетона» (соответственно — три главки «Введения» окончательной композиции цикла). В ответ на письмо Н. А. Белоголового с оценкой двух опубликованных «фельетонов» Салтыков рассказал о своем новом замысле и о его вынужденной перестройке уже при самом начале осуществления: «Мелочи жизни» должны были выясниться впоследствии, но с ними случилась история. «Русские ведомости» отказались печатать 3-ю главу, по цензурным сообра-

жениям, и просят печатать 4-ую главу. Это меня до того расстроило и раздражило, что я целых две недели придти в себя не могу. Это испортило весь мой труд, потому что я написал уже 5 глав и предполагал еще 12—13 глав» (письмо от 21 сентября 1886 г).

Однако публикация все же продолжалась — частично в «Вестнике Европы», куда были перенесены первые пять глав под общим наименованием «Введение», частично в тех же «Русских ведомостях». «Введение», таким образом, представляет собой приблизительно третью часть начатого произведения. Трудно сказать, что́ именно должны были содержать следующие 12—13 глав, хотя несомненно, что материал ненаписанных глав все же вошел в окончательный текст цикла. Между тем новая структура «Мелочей жизни», печатавшихся параллельно в журнале и газете, спустя месяц, выяснилась для Салтыкова окончательно, но как нечто целое цикл мог осуществиться, по его мнению, только в отдельном издании, в «книжке»: «В целом составится довольно большая книжка <...> не лишенная смысла Только в последней, заключительной статье раскроется истинный смысл работы. Вообще, я к журнальной работе отношусь теперь несколько иначе К ней (а в особенности к газетной) всего менее применима поговорка scripta manent <написанное остается>, и тот, кто не читал меня *в книжке*, очень мало меня знает» (Н А Белоголовому — 30 октября 1886 г.).

Салтыков, конечно, стремился к тому, чтобы написанное им *осталось*, имело бы смысл не преходяще-злободневный, а общеисторический. От весьма разнообразных по своим художественным приемам *зарисовок* «пестрой» русской жизни пореформенного времени, в особенности периода реакции после убийства Александра II («Пестрые письма»), Салтыков восходит к разностороннему художественно-публицистическому анализу глубинных исторических процессов, определявших в восьмидесятые годы общественное развитие и общественное состояние не только России, но и Западной Европы («Мелочи жизни»).

«Мелочи жизни» — самое трагическое и, может быть, пессимистическое произведение Салтыкова — потому, что на исходе жизни ему довелось стать свидетелем страшной, мучительно безнадежной, трагической ситуации, когда современникам казалось, что «история прекратила течение свое», а историческое творчество иссякло, перспективы будущего исчезли в непроницаемом мраке, идеалы исчерпали себя: «в самой жизни человеческих обществ произошел как бы перерыв», «прекратилось русловое течение жизни». Жизнь всецело погрузилась в мутную тину «мелочей».

Вскоре после запрещения «Отечественных записок» Салтыков писал: «...чем больше я думаю о предстоящей литературной деятельности, тем более сомневаюсь в ее возможности. Собственно говоря, ведь писать не об чем. Легко сказать: пишите бытовые вещи, но трудно переломить свою природу» (Н. К Михайловскому — 11 августа 1884 г.) «Надо новую жилу найти, а не то совсем бросить» (ему же — 17 ноября 1884 г.).

Салтыков, естественно, не мог и не стал «переламывать свою природу». Однако «новую жилу» он все же действительно нашел.

Цикл «Пестрые письма», при всей значительности и характерности своего содержания, возводился, в сущности, на развалинах предшествовавших неосуществленных замыслов, в какой-то части — из их обломков.

В «Мелочах жизни» Салтыкову удалось создать новый особый сплав острой публицистической «манеры», характерной для таких высших достижений его творчества как «Письма к тетеньке» или «За рубежом», с глубиной и совершенством социально-психологического реализма «Господ Головлевых», многих рассказов «Сборника» и др.[1] Это была в самом деле «новая жила».

II

«Общее настроение общества и масс — вот главное, что меня занимает, и это главное свидетельствует вполне убедительно, что мелочи управляют и будут управлять миром до тех пор, пока человеческое сознание не вступит в свои права и не научится различать терзающие мелочи от баттенберговских» — таков один из центральных исходных тезисов салтыковского цикла.

Начав, в первых главках «Введения», с перечисления «мелочей», опутавших жизнь современного человека, составляющих единственное и исчерпывающее ее содержание, «управляющих миром», Салтыков переходит к обобщениям, которые позволяют уяснить философско-исторический смысл самого понятия «мелочи жизни»[2]. Прежде всего, Салтыков классифицирует, разделяет «мелочи» на две группы — мелочи «постыдные», «баттенберговские», и мелочи «горькие», «терзающие».

Возня вокруг «болгарского» принца Баттенберга, в которой участвовал «концерт» держав во главе с бисмарковской Германией, символизировала для Салтыкова «мелочность» европейской политической жизни, не называемой им иначе как «политиканство». Эти, «постыдные», мелочи угнетают жизнь, создают атмосферу «испуга», в которой «всякий авантюрист» (Баттенберг, Наполеон III, Орлеан, Бисмарк) «овладевает человечеством без труда». Никакие «новшества» в этой сфере не меняют сложившегося порядка вещей и означают лишь «перемещение центра власти».

Шумные деяния «концертантов», «баттенберговы проказы» мешают увидеть мелочи «горькие», «терзающие», которыми опутана жизнь народная. А ведь именно эти, «горькие» мелочи определяют безысходный трагизм существования человека массы, «среднего человека», ибо они — строй жизни, «порядок вещей». Конечно, этот порядок вещей, современное общественное устройство, исторически исчерпан, неразумен, «призрачен». Однако от этого он не менее реален, не менее «терзающ». (Таким образом, понятие

---

[1] См.: А. С. Бушмин. Сатира Салтыкова-Щедрина. М.— Л., 1959, с. 333—335.

[2] О содержании этого понятия, восходящего к Гоголю («Мертвые души», гл. VII), см. также в книгах В. Я. Кирпотина: «М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество». М., 1955; «Философские и эстетические взгляды Салтыкова-Щедрина». М., 1957.

«мелочей жизни» во многом совпадает с другим важным для философско-исторической концепции Салтыкова понятием — «призраков». «Исчезновение призраков» было для Салтыкова равнозначно освобождению от владычества «мелочей».)

История не может, конечно, остановиться навеки, погрязнуть в мелочах навсегда. Она в конце концов «проложит для себя новое, и притом более удобное ложе» («Современные призраки»). Но, во-первых, подобные «исторические утешения» нисколько не ослабляют ужаса «мелочного» существования в условиях исторического «перерыва» («...человек, даже осиянный ореолом, не перестает быть обыкновенным средним человеком» — «Имярек»). Во-вторых же, самый способ, которым история возвращает себе свои права, не был безразличен Салтыкову. О «гневных движениях истории», сметающей на своем пути и правого и виноватого, он размышлял еще в «Современных призраках». Река истории, запруженная сором мелочей, безжалостно крушит сдерживающую ее плотину, подобно тому как река, остановить которую пытались, по приказу Угрюм Бурчеева, глуповцы, снесла построенную ими из мусора запруду. Обществу, прозябающему под игом «мелочей», грозит взрыв, его ждет «грядущая смута». Почти четверть века, прошедшие со времени написания «Современных призраков», наполнили новым, значительно более конкретным содержанием понятие «гневных движений» истории. Деятелем «грядущей смуты», будущего переворота во имя приобщения к «благам жизни» оказывается «дикий человек». Далее Салтыков прямо называет «парижского рабочего». Речь, таким образом, непосредственно идет о рабочем движении в странах Западной Европы. Но Салтыков, конечно, предчувствует участие в «гневных движениях истории», в «грядущей смуте» русского «дикого человека», русского крестьянина. Массы безропотно сносят владычество мелочей лишь до тех пор, покуда видят в нем «обыкновенный жизненный обиход» (таково было отношение масс к крепостному праву — см. гл. 2 «Введения»).

История, в соответствии с просветительскими воззрениями Салтыкова, прекращает свое течение, свой закономерный ход именно тогда, когда мелочи безраздельно овладевают жизнью общества и жизнью каждого отдельного человека, а общество и человек относятся к этому *бессознательно* как к чему-то привычному и обыденному; когда человеческое сознание не достигло такого уровня, чтобы быть в состоянии выделить и подвергнуть анализу «терзающие мелочи» современного общественного и частного бытия с целью окончательного от них освобождения; когда такому анализу ставятся насильственные преграды Движение истории, по Салтыкову, есть преодоление «мелочей» и «призраков» силой человеческой мысли, силой «неумирающих» идеалов

Способность общества к развитию, к историческому творчеству обусловлена наличием у этого общества идеала, осознанной цели. Погружение в тину «мелочей» и «крох», являясь несомненным признаком исторического «перерыва», есть вместе с тем результат общественной безыдеальности. В этих условиях проблема идеала, формулирование общественных

задач, открытие перспектив приобретает, по Салтыкову, первенствующее значение. Естественно поэтому, что «Введение» Салтыков завершает анализом идеалов, «мечтаний».

Н. К. Михайловский вспоминал: «...когда я еще совсем молодым человеком начал писать в «Отечественных записках» <в конце шестидесятых годов>, то Салтыков чуть ли не в первом же разговоре предложил мне написать статью о французских социальных системах,— он находил необходимым напомнить их русскому обществу <...> та мечта, о правах которой Салтыков хлопотал, имела ярко социальный характер, хотя в подробностях и не вполне определенный» [1].

В цикле «За рубежом» Салтыков писал о Франции как родине идей, под знаком которых прошла его молодость,— идей утопического социализма,— веры в обновленное будущее, в то, что «золотой век не позади, а впереди нас» (тезис Сен-Симона). Французский утопизм, будучи реакцией на политические перевороты конца XVIII — начала XIX веков (буржуазные революции 1789 и 1830 годов), носил ярко выраженный *социальный* характер: он требовал обновления «радикального, социального» [2]. «Старинные утописты были вполне правы, утверждая, что для новой жизни и основания должны быть даны новые...» («Мелочи жизни», «Введение», гл. V). Речь, разумеется, идет о новых *социальных* основаниях. Подобно «старинным утопистам», Салтыков не доверяет *политическим* изменениям, лишь «перемещающим центры власти». Печальный опыт героической борьбы народовольцев мог лишь укрепить его в таком недоверии.

Салтыков сохраняет безусловную верность высоким гуманистическим традициям утопического социализма — «великим основным идеям о привлекательности труда, о гармонии страстей, об общедоступности жизненных благ и проч.», но не принимает «мелочной» регламентации, «усчитывания будущего» — преходящих представлений о деталях грядущей социально-политической организации [3].

Формы и способы осуществления «социальных новшеств», которые одни только и способны освободить массы от «терзающих» мелочей, еще должны быть выработаны в обстановке «полной свободы в обсуждении идеалов будущего». Три фактора, три условия социального обновления и вместе с тем полного ниспровержения власти «мелочей» представляются при этом Салтыкову обязательными: «Все в этом деле зависит от подъема уровня общественного сознания, от коренного преобразования жизненных форм и, наконец, от тех внутренних и материальных преуспеяний, которые должны представлять собой постепенное раскрытие находящихся

---

[1] «Критические опыты Н. К. Михайловского. II. Щедрин». М., 1890, с. 115.

[2] Ф. М. Достоевский. Полн. собр. худож. произведений, т. 11. М.— Л., 1929, с. 312.

[3] Непосредственно речь идет о Фурье, но, по-видимому, разумеется и Чернышевский как автор социальной утопии (четвертый сон Веры Павловны — «Что делать?»). См. т. 6, с. 324 и 401.

под спудом сил природы и усвоение человеком результатов этого раскрытия».

Как демократ-просветитель Салтыков, естественно, в качестве первого условия выдвигает «подъем уровня общественного сознания», активную работу человеческой мысли. Однако он хорошо знает, что недостаточно умозрительно «открыть» те или иные формы идеального человеческого общежития, что функционирование этих форм невозможно в обществе, «к принятию их неприготовленном», что необходимо всеобщее «коренное преобразование жизненных форм», то есть форм социального бытия. Это же преобразование может совершиться лишь как результат прогресса в овладении природой, то есть, в конечном счете, как результат роста производительных сил и прогресса техники.

Таким образом, при общем просветительском характере мышление Салтыкова значительно более конкретно, чем мышление «старинных утопистов»: он совершенно справедливо и очень глубоко определяет почву их социальных упований как почву отвлеченно-*психологическую,* антропологическую. Конкретность исторического мышления Салтыкова позволяет ему увидеть, что «коренному преобразованию жизненных форм» и тем самым освобождению из-под ига мелочей предшествуют «чумазовское торжество» и неизбежная в условиях буржуазного развития противоречивость социальных плодов технического прогресса. И то и другое отдаляет массы от участия в жизненных благах, но вместе с тем является условием движения именно к такому участию — к социальному преобразованию.

III

«Свободное обсуждение идеалов будущего» предполагало, конечно, и критический анализ уже выработанных человечеством идеалов.

Салтыков был самым глубоким, самым чутким представителем демократического мировоззрения 60-х — 70-х — 80-х годов — без той «прибавки» (В. И. Ленин) к этому мировоззрению, которая определила собственно народническую систему взглядов. По причине поразительной глубины, трезвости, ответственности мысли, которую обнаружил Салтыков, именно ему суждено было наиболее точно выразить и наиболее остро и трагически пережить кризис демократически-освободительных идей, характерный для годов 80-х [1], и — открыть в последних строках «Имярека» новые перспективы для демократической мысли и демократического движения.

Под знаком своего демократического мировоззрения развертывает

---

[1] Речь идет о «старой народнической демократии» (В. И. Ленин), а не собственно о народничестве. Поэтому трагическое мироощущение Салтыкова не имеет ничего общего с «разочарованием» народников. «Щедрин шел к восьмидесятым годам своей собственной дорогой. Поэтому и то глубокое разочарование, которое охватило народничество к началу восьмидесятых годов, после крушения всех его упований, не коснулось Щедрина» (Вл. Кранихфельд. Десятилетие о среднем человеке.— «Современный мир», 1907, № 11, с. 173).

Салтыков тот критический анализ утопического социализма, о котором говорилось выше. Под этим же знаком трактуются Салтыковым основные положения и догмы народничества: таков разносторонний анализ «новоявленной общины», которая «не только не защищает деревенского мужика от внешних и внутренних неурядиц, но сковывает его по рукам и ногам»; таковы суждения Салтыкова о наступившей «эпохе чумазовского торжества», которому интеллигенция противостоять не может, и т. д.

Но самым замечательным является то подведение «жизненных итогов», которое было предпринято Салтыковым в главе «Имярек»,— анализ «теоретических блужданий, среди которых в течение многих лет вращалась жизнь Имярека».

«Очерк «Имярек»,— вспоминал Н. К. Михайловский,— произвел в свое время сильное впечатление, как личная исповедь знаменитого автора. Он получал много писем. Одно из них пришло в моем присутствии, и Салтыков, жалуясь на слабость зрения, просил меня прочитать его. Я никогда не забуду этой сцены: слушая письмо, Салтыков, по обыкновению, ворчал и в то же время плакал... Автор письма называл его «святым стариком», доказывал, что не крохи и не мелочи у него в прошлом, что не одинок он и не может быть одинок, что русское общество не может забыть его заслуги, как бы ни умалял их размеры он сам. <...> Корреспондент был настоящий «читатель-друг», общение с которым Салтыков <...> считал драгоценным для каждого убежденного писателя. Но письмо было не просто утешительно, в нем была правда. Конечно, только мнительность и болезнь могли внушить Салтыкову мысль, что «сзади у него повис ворох крох и мелочей, а впереди — ничего, кроме одиночества и оброшенности». Все относительно. Ядовитые мелочи не пощадили и Салтыкова, и в его жизнь и деятельность они внесли свою долю горькой отравы. Но сделанного им, разумеется, слишком достаточно для того, чтобы не предаваться скорби Имярека» [1].

Конечно, «теоретические блуждания», о которых говорится в очерке «Имярека»,— это «блуждания» самого Салтыкова: «сонные мечтания», «юношеский угар» 40-х годов, теория «практикования либерализма в самом капище антилиберализма» и т. д. [2]. Скорбь человека, трезво оценивающего свой жизненный путь, подводящего жизненные итоги,— это скорбь самого Салтыкова. Безнадежный скорбный трагизм подведения жизненных итогов, «итогов прошлого», суровая, беспощадная самооценка были во много крат усилены тяжкой болезнью Салтыкова, сознанием приближающейся смерти.

---

[1] «Критические опыты Н. К Михайловского. II. Щедрин», с. 100. Это письмо «читателя-друга» сохранилось, поводом к его написанию был не очерк «Имярек», а сказка «Приключение с Крамольниковым» (см.: *ЛН*, т. 13-14, с. 412).

[2] См. исследование этих фазисов идейного развития Салтыкова в книгах С. А. Макашина: «Салтыков-Щедрин. Биография», т. I. М., 1950; «Салтыков-Щедрин на рубеже 50-х — 60-х годов». М., 1972.

Однако фазисы, через которые прошла мысль Салтыкова,— это фазисы развития, фазисы «блуждания» русской освободительной мысли вообще. Ретроспективно их анализируя и оценивая, Салтыков приходит к выводам, итогам общего характера. Так, он дважды упоминает «теорию вождения влиятельного человека за нос», которую разделял в годы своей чиновничьей службы; эта теория оказалась весьма живучей и была повторена Г. З. Елисеевым в его суждениях о сказке Салтыкова «Приключение с Крамольниковым». «Вся беда нашей литературы прогрессивной,— писал 23 октября 1886 года Елисеев Салтыкову,— состоит в том, что она не может себе никак вполне усвоить, что она тогда только и постольку только сильна, поскольку идет вполне с этим генералом <Дворниковым> и помогает ему бороться с его врагами. А генерал этот представитель реформенного дела в России со времен Петра и со времен Петра самою силою вещей влечется только к реформам и натуральный враг допетровского московского застоя»[1]. В полемике с Елисеевым Салтыков сформулировал главную идею «Мелочей жизни» о «коренном преобразовании жизненных форм» как единственном условии преодоления исторической «остановки». Он писал Елисееву: «...взгляда Вашего на Крамольникова не разделяю и теории вождения Дворникова за нос за правильную не признаю. Дворниковы и до- и по-Петровские одинаковы, и литературная проповедь перестанет быть плодотворною, ежели будет говорить о соглашении с Дворниковыми. Для этого достаточно Сувориных и Краевских <...> Оттого у нас и идет так плохо, что мы все около Дворниковских носов держимся. Это — основная идея «Мелочей жизни», которые я теперь пишу и которую Вы постепенно раскроете» (30 октября 1886 г.).

«Теория» и «практика» соглашений с Дворниковыми, то есть с государственной властью, решительно Салтыковым отвергается. Это «мелочная» теория и «мелочная» практика. Крамольников, сказано в письме к Елисееву от 16 декабря 1886 года, «всего менее человек компромиссов и ежели создаст теорию, то для практики совсем иного рода».

Теоретические «хождения по мукам» на протяжении важнейшего отрезка русской истории — от 40-х к 80-м годам — привели Салтыкова в очерке «Имярек» к резко обостренной постановке вопроса о соотношении теории и практики, вопроса, всегда стоявшего перед ним, начиная с его первых шагов в литературе. «Слова» («свобода», «развитие», «справедливость»), если они остаются только словами, отрицаются во имя реального исторического дела.

С этой, очень высокой точки зрения, в самом деле: «Все, что наполняло его <Имярека> жизнь, представлялось ему сновидением».

Итак, в глубоко личной форме скорбной исповеди-«самообвинения» (Елисеев) был выражен кризис «старой народнической демократии», демократической мысли, завершавший ее развитие в 80-е годы.

---

[1] Письма Г. З. Елисеева к М. Е. Салтыкову-Щедрину. М., 1935, с. 181.

IV

Социальная и политическая структура пореформенной России вообще и России 80-х годов, в частности, исследована в «Мелочах жизни» глубоко и проницательно. Это художественно-публицистическое исследование создает основу для кардинальных выводов о будущности, ожидающей русское общество.

На первом плане яркой картины русской жизни, естественно, стоит деревня — в момент перехода от патриархальной устойчивости дореформенного строя жизни к новым формам социальных отношений и хозяйствования,— в «момент общественного разложения». Уже во «Введении», давая беглую зарисовку крестьянского мира и крестьянской семьи, Салтыков заключал: «Хиреет русская деревня, с каждым годом все больше и больше беднеет».

С разной степенью обстоятельности и персонификации представлены Салтыковым в первом разделе цикла — «На лоне природы и сельскохозяйственных ухищрений» — все главные фигуры современной русской деревни: мужик («хозяйственный мужичок» — «мироеды» — «гольтепа»), сельский священник, помещик («равнодушный» — «убежденный» — хозяйствующий с помощью «прижимки»).

Классификация Салтыкова достаточно точно отражает состояние деревни.

«Хозяйственный мужичок» представляет тот еще очень устойчивый тип русского крестьянина, который вышел из недр старой русской деревни, из патриархального крестьянства как сословия феодального общественного строя. (Роль этого слоя русской деревни в истории России проанализирована В. И. Лениным в статьях о Л. Толстом.)

Как Л. Толстой, так и народники на особой «природе» русского мужика основывали свои общественные и нравственные идеалы. Особую «природу» «хозяйственного мужичка» отмечает и Салтыков. Но для него — это просто констатация факта, из которого делаются выводы скорее отрицательного свойства.

Безысходным, почти каторжным трудом, трудом «коняги» добился «хозяйственный мужичок» своего идеала — «полной чаши».

Каков же итог этого «жизнестроительства»?

Крестьянская семья превратилась в чисто хозяйственную единицу («горячее чувство любви заменилось простою формальностью»), сохраняющуюся лишь благодаря главе ее. И если сам «хозяйственный мужичок» «чужд кровопивства» в силу устойчивых традиций патриархального прошлого, то сыновья его, со своим «стремлением к особничеству», едва ли не глядят в «мироеды»; ведь от «полной чаши» «до мироедства — один только шаг...» (В. И. Ленин заметил: «Или кулак не имеет ничего общего с хозяйственным мужичком?» [1]).

---

[1] В. И. Ленин. От народничества к марксизму.— Полн. собр. соч., т. 9, с. 195.

А главное (для Салтыкова): «С какой стороны подойти к этому разумному мужику? Каким образом уверить его, что не о хлебе едином жив бывает человек?»

Этот заключительный аккорд очерка о «хозяйственном мужичке» объясняет, почему далее следует этюд о «хозяйственном священнике», подобно мужику занятом «мелочным» «жизнестроительством» во имя «хлеба единого». В самом этом сочетании слов «хозяйственный священник» не содержится ли непримиримое contradictio in adjecto? Впрочем, этот симпатичный автору священник старого времени, «не отказавшийся от личного сельскохозяйственного труда», сменяется фигурой, соответствующей новому, денежному времени («отдает свой земельный участок в кортому») и, по-видимому, тем более чуждой своему назначению — напоминать мужику о том, что «не хлебом единым жив бывает человек».

Изображая современного помещика, Салтыков предпринимает анализ состояния дворянского землевладения и хозяйствования в пореформенное время. Крупное землевладение, основанное на системе «оброчных статей» и, тем самым, превращавшееся в капиталистическое предприятие, в котором сам владелец не принимал никакого участия, не дает, по Салтыкову, представления об особенностях современного помещичьего хозяйствования. Мелкопоместный дворянин, разоренный реформой, исчез из деревни, уступив свое место «разночинцу» или «мироеду». Помещик «средней руки» является основной фигурой среди дворян-землевладельцев.

Таким образом, и в этом случае салтыковская классификация отражает «момент общественного разложения».

Но и помещики «средней руки» — не все на одно лицо. Салтыков делит их на три типа: «равнодушный», «убежденный», ведущий свое хозяйство с помощью «прижимки». Оставляя в стороне «равнодушного», Салтыков персонифицирует две последние категории. «Убежденный помещик» пытается вести хозяйство на новых, усовершенствованных основаниях (своей «убежденностью», верой в то, что «сельское хозяйство составляет главную основу благосостояния страны», он напоминает толстовского Константина Левина). В результате же оказывается, что его «руководящий труд» бесполезен. Переданное на руки старосте «хозяйство идет хоть и не так красиво, как прежде, но стоит дешевле. Дохода очищается <как и прежде> триста рублей».

Особую разновидность помещика «средней руки» представляет мастер «прижимки», паразитирующий на остатках крепостного права, на тех экономических условиях, в которых оказалось освобожденное помещиками (не только от рабства, но и от земли) крестьянство. Иезуитские приемы притеснения крестьян Кононом Лукичом Лобковым напоминают приемы Иудушки Головлева.

Таким образом, вновь, как и ранее (например, в «Убежище Монрепо»), но на новом материале и с еще большей категоричностью, устанавливается полная и безусловная бесперспективность дворянского землевладения и дворянского хозяйствования. Салтыковские выводы представляли

тем большую актуальность, что именно в середине 80-х годов весьма активно принимались меры по восстановлению роли дворянства как в сфере экономики, так и в сфере политики [1].

«Анатомию» русской деревни 80-х годов закономерно завершает (первоначально не предусмотренный) очерк о «мироедах» — «новых хозяевах» деревни, пришедших на смену дворянству. Салтыков ухватывает самое главное в характере владычества буржуазии сравнительно с владычеством дворянства: «Гольтепа» мирская <...> не скрывает от себя, что от помещика она попала в крепость мироеду. Но процесс этого перехода произошел так незаметно и естественно и отношения, которые из него вытекли, так чужды насильственности, что приходится только подчиниться им».

Изображаемый в разделе «На лоне природы и сельскохозяйственных ухищрений» «момент общественного разложения» есть, в социальной истории России, момент разложения старых феодальных сословий, формирования новых классов. Однако, хотя «предметом» Салтыкову, по его собственным словам, служит здесь «сельский экономический год», он развертывает свое социолого-экономическое исследование как художник, с поразительным знанием фиксируя детали деревенского быта — от крестьянской избы до дворянской усадьбы; иронически или сочувственно представляя индивидуальные человеческие судьбы, судьбы людей, неотвратимо и безжалостно захваченных процессом «общественного разложения».

Правда, в этом разделе «индивидуализация» весьма относительна, речь идет о «типах», «классах», к которым принадлежат те или иные индивидуальные явления или индивидуальности (характерно, что персонажи здесь зачастую не имеют имен). Этому принципу типизации соответствуют и наименования этюдов, продолжающие традицию обобщающего «физиологического» очерка.

«Обобщающий», «собирательный», «классифицирующий» способ типизации своеобразно продолжал, как заметил К. Арсеньев, «классическую» традицию: «Изображения «скупого» или «рассеянного», «придворного» или «ученого» вышли, в последнее время, из моды <...> потому что нет людей, которые были бы *только* скупыми или рассеянными, *только* придворными или учеными. Салтыкову удалось обновить и освежить старинный жанр; его «хозяйственного мужичка», его «сельского священника», его «читателя-ненавистника» никто не упрекнет в схематичности...» [2]

---

[1] См. об этом в книгах П. Зайончковского «Русское самодержавие в конце XIX века». М., 1970; Ю. Соловьева «Дворянство и самодержавие в 80-х — 90-х годах XIX века». Л., 1973. Проектов усиления политической власти дворянства в деревне (проект Пазухина и др.) Салтыков коснулся в главе III «Введения»: «Культурный человек сделался проницателен; он понял свою зависимость от жизни масс и потому приспособляет последнюю так, чтобы будущее было для него обеспечено. Отсюда такая бесконечная масса проектов, трактующих об упрощении и устранении».

[2] К. Арсеньев. Новейшие произведения Салтыкова.— *ВЕ*, 1888, № 1, с. 361.

V

Охарактеризованный принцип типизации положен в основу обобщающих характеристик персонажей также в разделах «Читатель» и «В сфере сеяния». Здесь от изображения итогов *социальной* истории России Салтыков обращается к анализу итогов русского *политического* развития, к анализу тем самым современного состояния учреждений и институтов, созданных реформами 60-х годов. Каждому из этих новых институтов или явлений Салтыков посвящает особый очерк в разделе «В сфере сеяния» («сеяние», собственно, и означает, в иронической терминологии Салтыкова, деятельность на «ниве» новых учреждений). Каждое из них персонифицировано фигурой «сеятеля» — печать («Газетчик»), суд («Адвокат»), земство («Земский деятель»), общественное мнение («Праздношатающийся»). (В очерках «Сережа Ростокин» и «Евгений Люберцев» раздела «Молодые люди» Салтыков касается и деятельности новейшей русской бюрократии, но в связи с другой, более важной для него темой — смены поколений, «отцов и детей».)

Дважды обращается Салтыков к положению литературы и вообще печати в самодержавно-буржуазной России (раздел «Читатель», глава «Газетчик» раздела «В сфере сеяния»). В «Читателе» поднята тема, уже разрабатывавшаяся Салтыковым ранее, в последний раз и наиболее глубоко в первом из «Пестрых писем»,— положение «убежденной», то есть единственно отвечающей своему назначению демократически-просветительской, литературы и, соответственно, «убежденного и желающего убеждать» писателя. Это положение, в конечном счете, зависит от отношения к литературе читателя. По этому принципу — отношение к «убежденной» литературе — Салтыков классифицирует, расчленяет читательскую массу. Речь идет о положении литературы в обществе и о прессе, соответствующей потребностям и интересам каждого из тех общественных слоев и вместе с тем читательских групп, которые символизированы «читателем-ненавистником», «солидным читателем», «читателем-простецом» и «читателем-другом». «Читатель-ненавистник» и «солидный читатель» близки по своей общественно-идеологической сущности и различаются лишь степенью активности в травле «убежденной» литературы»[1]. Но особенно важны и проницательны суждения Салтыкова о «читателе-простеце», массовом читателе — порождении новой, пореформенной, буржуазной эпохи. Именно «с наступлением эпохи возрождения <то есть с отменой крепостного права> народилось, так сказать, *сословие* читателей, и народилось именно благодаря простецам». Социальная характеристика «простеца» следующая: он принадлежит «к числу посетителей мелочных лавочек и полпивных» (то есть к городскому простонародью, мещанству), но «занимает довольно заметное место и в культурной среде».

---

[1] Уничтожающая характеристика «читателя-ненавистника» имела в виду, конечно, Каткова и руководимую им «торжествующую прессу».

Две главные (кроме ряда других) особенности характеризуют «простеца»: во-первых, отсутствие «самостоятельной жизни» («Равнодушный и чуждый сознательности, он во все эпохи остается одинаково верен своему призванию — служить готовым орудием в более сильных руках»); во-вторых, это «человек, не видящий перед собой особенных перспектив, кроме перспективы искалечения»: именно среди простецов более всего «искалеченных» или «калечимых» людей; в силу этого жизнь простеца всецело подчинена «самосохранению». Первое («орудие в сильных руках») может сделать простеца социально опасным и требует резко отрицательной оценки; второе (перспектива «искалечения») — открывает в бытии простеца истинный трагизм и вызывает глубокое человеческое сочувствие. (Указанная характеристика простеца позволяет отождествить его со «средним человеком».— См. далее, а также т. 16, кн. 1, с. 480.)

Именно «сословие» простецов создает все условия для расцвета и широкого распространения новой прессы, представленной «газетчиком» Непомнящим.

Сатирический образ «газетчика» в «Мелочах жизни» (Непомнящий) углубляет и детализирует образ «газетчика» из «Пестрых писем» (Подхалимов). Как и в «Пестрых письмах», в «Мелочах жизни» Салтыков выдвигает свою особую, чрезвычайно содержательную трактовку прессы этого рода и ее деятелей. Эта трактовка, подобно отношению Салтыкова к новому суду и земству (см. далее), вызывала непонимание и недоумение у многих современников. Некоторыми своими — критическими — сторонами она, на первый взгляд, совпадала с нападками на новую прессу со стороны дворянской реакции. «Любой уличный проходимец,— писал, например, К. П. Победоносцев,— любой болтун из непризнанных гениев, любой искатель гешефта, может, имея свои или достав для наживы и спекуляции чужие деньги, основать газету, хотя бы большую, собрать около себя по первому кличу толпу писак, фельетонистов, готовых разглагольствовать о чем угодно, репортеров, поставляющих безграмотные сплетни и слухи <...> В массе читателей — большею частью праздных — господствуют, наряду с некоторыми добрыми, жалкие и низкие инстинкты праздного развлечения, и любой издатель может привлечь к себе массу расчетом на удовлетворение именно таких инстинктов, на охоту к скандалам и пряностям всякого рода»[1]. Девиз Непомнящего «хочу подписчика!» отражал реальную особенность массовой печати (от «Нового времени» Суворина до «Московского листка» Пастухова), проникавшей, благодаря новым, не всегда благовидным приемам, во все более широкие слои грамотного населения[2]. «Читатель-простец» читал именно такую, часто бульварную прессу.

---

[1] К. Победоносцев. Печать.— «Московский сборник». М., 1896, с. 60—61.

[2] Характерно, что новыми формами злободневного репортажа, фельетонного жанра вынуждена была овладевать и такая серьезная, «профессорская» газета, как «Русские ведомости» (см. прим. к с. 220).

И Подхалимов и Непомнящий утверждают, что «печать — сила». В устах беспринципных газетчиков это утверждение звучит как профанация принципа, безусловно разделявшегося самим Салтыковым. Все дело в том, как используется, чему служит эта сила. Начиная с 60-х годов и до конца жизни, Салтыков был убежден в исключительном значении печати как органа свободной мысли. «...Человечество,— сказано в пятой главе «Введения»,— бессрочно будет томиться под игом мелочей, ежели заблаговременно не получится полной свободы в обсуждении идеалов будущего». Органом такого обсуждения может быть только печать, освобожденная от травли и обвинений в неблагонамеренности. Поэтому пресса Подхалимовых и Непомнящих представлялась Салтыкову извращением, искажением принципа, но не подрывала самый принцип. Из инвектив Салтыкова по адресу печати невозможно сделать вывод о «вредности» и «лживости» печати как общественного института. А именно к такому выводу приходил, в цитированной выше статье, К. П. Победоносцев: «...Пресса есть одно из самых лживых учреждений нашего времени»[1].

О том, что свободе обсуждения в прессе насущных социально-политических тем Салтыков придавал первостепенное значение, свидетельствует вступление к очерку «Газетчик». Возможно, оно имеет в виду следующие строки Каткова: «Печать в России, и, быть может, только в России, находится в условиях, дозволяющих ей достигать чистой независимости. Мы не знаем ни одного органа в иностранной печати, который мог бы в истинном смысле назваться независимым. В так называемых конституционных, в противоположность России, государствах есть партии, которые борются за власть и во власти участвуют. Политическая печать в этих странах служит для этих своевластных партий органом. Печать в этих странах не есть выражение совести, свободной от власти и не замешанной в интересах борющихся за нее партий. Каждый из этих органов имеет своим назначением способствовать успеху своей партии и заботиться не о том, чтобы раскрыть и разъяснить дело, а чтобы запутать и затемнить его. В России же, где таких партий не имеется, именно и возможны совершенно независимые органы»[2]. На самом деле, отвечает Салтыков, взамен общественно-политических принципов российская пресса руководствуется «побуждениями совсем иного (низменно-морального) свойства», а ее органы подразделяются на «ликующие и трепещущие». В этих условиях свободное «обсуждение идеалов будущего»,— как необходимая предпосылка осуществления «социальных новшеств»,— разумеется, исключается.

Положение русской печати в пореформенное время, особенно в 80-е годы, определялось, таким образом, исторически неизбежным вторжением буржуазности: нового массового читателя, «улицы» — с ее моралью, «философией», вкусами,— влиянием денежных отношений и т. д.— но в условиях полного сохранения самодержавной государственности,

---

[1] К. Победоносцев. Печать.— Московский сборник. М., 1896, с. 57.
[2] *М. вед.*, 1886, 10 декабря, № 341.

то есть при отсутствии политических партий, политической свободы. Это и создавало ту двойственность в положении русской печати, которая отражена в салтыковских ее характеристиках. Двойственной, противоречивой была и личность самого «газетчика». В служении лозунгу «хочу подписчика!», в собирании «крох» и «мелочей» извращается «человеческая природа», гибнет талант. Лишь гений (подобный Чехову) мог преодолеть эти губительные условия ежедневного газетного служения «мелочам». И лишь тогда масса впечатлений и наблюдений (которые копит, например, и вовсе не бесталанный Подхалимов) действительно способна заиграть под пером художника, положить основание новым художественным формам и принципам.

Салтыков никогда не возлагал больших надежд на «новые» учреждения, установленные рядом весьма непоследовательных реформ 60-х годов, никогда не обольщался наступившим «возрождением» и «обновлением» русской жизни. Вместе с тем самый принцип «возрождения, обновления и надежд» был коренным принципом салтыковского миросозерцания. Бросая взгляд в прошлое, в «Имяреке» он точно охарактеризовал как «эпоху возрождения», так и свое отношение к «возрождению, движению и надеждам». «Эпоха возрождения была довольно продолжительна, но она шла так неровно, что трудно было формулировать сколько-нибудь определенно сущность ее. Возрождение — и рядом несомненные шаги в сторону и назад. Движение — и рядом застой. Надежда — и рядом отсутствие всяких перспектив. Ни положительные, ни отрицательные элементы не выяснялись настолько, чтобы можно было сказать, какие из них имели преобладающее значение в обществе. Мало этого: представлялось достаточно признаков для подозрения, что отрицательные элементы восторжествуют, что на их стороне и соблазн и выгода. К чести Имярека, должно сказать, что он не уступил соблазнам, а остался верен возрождению, движению и надеждам».

К 80-м годам стало совершенно ясно, что восторжествовали именно отрицательные элементы. «Возрождению, движению и надеждам», общим для освободительного движения в годы подготовки и отмены крепостного права, остались верны в 80-е годы лишь демократы, несомненным главой которых был Салтыков Такие институты, как новый суд, как земское самоуправление, такие факторы, как печать и общественное мнение, теряли или уже потеряли, если имели, то значение, которое могли бы иметь, при иных политических обстоятельствах, в осуществлении «возрождения, движения и надежд». В этом свете и рисуются Салтыковым сатирические персонажи, олицетворяющие названные институты и факторы.

VI

Особое место в художественно-публицистической концепции «Мелочей жизни» занимают разделы, посвященные современному молодому поколению, «мальчишкам», «детям» («Молодые люди», «Девушки»). Герои

глав, составляющих эти разделы, очень различны, как различны и их жизненные судьбы, и тональность, в которой ведется повествование. Так, в разделе «Молодые люди» авторская ирония, сопровождающая рассказ о Сереже Ростокине — «одном из самых ревностных реформаторов последнего времени» — или повествование о «государственном послушнике» Евгении Люберцеве, авторе записки «о необходимости восстановить заставы и шлагбаумы», резко сменяется скорбно-трагическим тоном рассказов «Черезовы, муж и жена» и «Чудинов». Столь же отлична интонация рассказа об «ангелочке» от интонации трех следующих, особенно «Сельской учительницы».

Для Салтыкова, ревностного защитника «мальчишек» («Наша общественная жизнь»), «дети», молодое поколение всегда было носителем прогресса, перспектив, движения. А тут, во всех случаях, обнаруживается полная бесперспективность, «мелочность» существования «молодых людей» обоего пола. О Черезове, например, говорится: «...никогда дверь будущего не была перед ним настежь раскрыта». Это можно было бы сказать о любом из героев двух названных разделов. Лишь перед Чудиновым в его последние дни раскрывается «дверь будущего», в сущности же это — дверь «в темное царство смерти». Тот идеал, который представился его умирающему сознанию,— не идеал для Салтыкова, разрушающего его точными и безжалостными вопросами.

В воображении Чудинова «рисовалась деревня», куда нужно «придти». Но «как будет принят его приход»? «Согласны ли будут скованные преданием люди сбросить с себя иго этого предания? Не пустило ли последнее настолько глубокие корни, что для извлечения их, кроме горячего слова, окажутся нужными и другие приемы? в чем состоят эти приемы? Быть может, в отождествлении личной духовной природы пришельца с подавленностью, охватившею духовный мир аборигенов?»

Таким образом, как здесь, так и в других рассказах о «молодых людях», Салтыков трезво вскрывает действительное содержание идеальных представлений демократически настроенной молодежи 60—70-х годов — о «личном труде», служении романтическому «несчастному», просветительной работе в деревне и т. п.,— представлений, оказывающихся иллюзиями при столкновении с миром народной жизни, действительной жизни масс.

VII

Значительность и сила социально-исторического анализа, развернутого Салтыковым в многообразных публицистических и художественных формах «Мелочей жизни», увеличивается оттого, что главным его предметом — как субъект и объект истории, как деятель и жертва исторической эволюции — является человек массы, «средний человек», «простец» — в его повседневном быту, будничной жестокой жизни. Именно он столь безысходно опутан «мелочами», что даже и не помышляет о возможности иного,

не «мелочного» существования. Занятый исключительно «самосохранением», он живет сегодняшним днем, в страхе ожидая дня завтрашнего, когда, быть может, его ждет «искалечение». Инстинкт самосохранения, заставляющий его «пестрить», менять окраску, ренегатствовать,— делает его жизнь трагически безысходной, в иных случаях, при пробуждении сознания, тягостной нравственно. Именно на его судьбе с особой яркостью сказывается «безвыходность некоторых отношений» (из письма к Некрасову от 12 мая 1868 г.— См. прим. к с. 26).

Имярек, сказано в заключительной главе «Мелочей жизни», «не признавал ни виновности, ни невиновности, а видел только известным образом сложившееся положение вещей». Подчиненность «простеца», человека массы «безвыходным отношениям», «сложившемуся положению вещей», в сущности, исключает его сатирическое изображение, зиждущееся именно на принципе «вменяемости» (см. т. 9, с. 536).

«Время громадной душевной боли» — назвал Салтыков свое время. «Громадная душевная боль» охватывает автора при виде «душевной боли», фатально переживаемой его героями. «Тема о заступничестве за калечимых людей очень благодарна, но нужно ее развить и всесторонне объяснить. Ведь недаром же она не разрабатывается...» — писал Салтыков В. М. Соболевскому 13 января 1885 года. Цикл «Мелочи жизни» — поразительный по смелости и глубине акт «заступничества за калечимых людей», уродливо деформированных давлением повседневных жизненных мелочей. «Какие потрясающие драмы,— сказано в рассказе «Счастливец»,— могут выплыть на поверхность из омута «мелочей», которые настолько переполняют жизненную обыденность, что ни сердце, ни ум, в минуту совершения, не трогаются ими!»

Выше говорилось об особом способе типизации в «Мелочах жизни» явлений социально-политической жизни — условно его можно назвать «обобщающим», «классифицирующим». Иной способ типизации — «индивидуализирующий» — позволяет Салтыкову в этюдах о «молодых людях» и «девушках», наконец, в двух, особо, помимо разделов, помещенных рассказах — «Портной Гришка» и «Счастливец» — раскрыть драматизм частных, индивидуальных судеб.

Последовательно нарастает и усиливается драматический конфликт в рассказе «Портной Гришка»: бьется в тенетах мелочей бывший дворовый человек, ныне искусный мастеровой, самой «силой вещей» обреченный на постоянное битье. Страдания Гришки ужасны, мучительны, хотя вполне бессознательны: это естественный протест его не заглохшей, не способной к окончательному «юродству» человеческой природы.

Трагизм самодовольного и «счастливого» существования Валерия Крутицына обнаруживается во внезапной катастрофе — самоубийстве сына. Когда нет перспектив, когда будущее неясно, дети вершат суд над отцами, посылая себе «вольную смерть».

Трагическое, таким образом, открывается в обыденном, повседневном, в иных случаях — вполне благополучном — «мелочном» бытии.

Таков был итог творчества Салтыкова, таково было его гениальное художественное открытие в конце жизни. С подобного же открытия, сделанного, в сущности, одновременно с Салтыковым, во второй половине 80-х годов, начинал свой творческий путь как великий художник Чехов.

Эту особенность художественного «мира» «Мелочей жизни» отметили, хотя и не могли объяснить, современники Салтыкова. «В «Мелочах жизни» сатирик является как бы уставшим смеяться и негодовать. Он может только грустить...»[1]. «Восьмидесятые годы были временем полного общественного затишья; жизнь начала однообразно и монотонно течь день за днем, бедная выдающимися событиями. Ничто уже в такой степени не волновало, не увлекало, не выводило из себя, как прежде. Понятно, что и характер и тон сатир Салтыкова значительно изменились: на место саркастического, желчного смеха прежних произведений является теперь величаво эпическое, степенное созерцание, исполненное то глубокой скорби, то восторженного пафоса»[2]. Суждения современной критики, пораженной новизной салтыковской «манеры», в сущности, учитывали, да и то достаточно поверхностно, лишь «индивидуализирующие» этюды «Мелочей жизни». Критики не улавливали самого существа новой «манеры» Салтыкова,— сочетающей в себе остроту критического освещения общественной действительности с талантом художника-психолога, крайне чувствительного к драматической стороне жизни современного человека.

Замысел цикла возник у Салтыкова, вероятно, летом 1886 года. Первоначально он предназначался для «Русских ведомостей», где и появились (17 и 31 августа) первые две главы, впоследствии в отдельном издании вошедшие в раздел «Введение». После отказа Соболевского напечатать третью главу будущего «Введения», Салтыков договаривается со Стасюлевичем о публикации «Мелочей жизни» в «Вестнике Европы». В письме к Соболевскому от 20 сентября он просит не воспринимать передачу цикла в «Вестник Европы» как разрыв с «Русскими ведомостями» и обещает в ближайшее время прислать вновь задуманную «новую работу», которая «будет составлять часть «Мелочей», только с отдельным заглавием». Салтыков сдержал свое обещание и в конце октября — начале ноября в «Русских ведомостях», без указания на связь с «Мелочами жизни», появились «Молодые люди». Вслед за ними в «Вестнике Европы» (1886, № 11) под заглавием «Мелочи жизни» печатаются все пять глав будущего «Введения». В каждом следующем номере журнала регулярно печатается по одной главе «Мелочей жизни». Исключение составляет лишь глава «Девушки», первые три этюда которой («Ангелочек», «Христова невеста»,

---

[1] «Критические опыты Н. К. Михайловского. II. Щедрин», с. 97.
[2] А. М. Скабичевский. Беллетристы-публицисты. М. Е. Салтыков-Щедрин.— «Новости», 1889, № 116.

«Сельская учительница») опубликованы в «Вестнике Европы» (1887, № 2), а четвертый («Полковницкая дочь») — в «Книжках Недели» (1887, № 2), без указания на связь с циклом.

В письме к Белоголовому от 14 января 1887 года, жалуясь на болезнь, которая «положительно превращается в пытку», Салтыков прибавляет: «Желалось бы хоть «Мелочи жизни» кончить, но с каждым номером работа выходит все серее и серее. Совсем исписался». 24 февраля, отправляя «заключительную главу» «Мелочей жизни», он заявляет Стасюлевичу: «...вероятно, это последнее, что я пишу». Об окончании цикла сказано и при напечатании этой главы в журнале: «Мелочи жизни. Заключение. X. Имярек» (*ВЕ*, 1887, № 4). Но работа Салтыкова на этом не прекратилась. В конце апреля, то есть через два месяца после завершения главы «Имярек», он написал этюд «Счастливец», который также печатается в «Вестнике Европы» (1887, № 6), но уже, конечно, без указания на связь с циклом. В конце апреля — начале мая написана последняя по времени глава «Мелочей жизни» — «Читатель» (*Р. вед.*, 1887, 6, 14 и 17 мая). В письме к Соболевскому от 2 мая Салтыков сообщает, что глава «Читатель» «войдет в состав отдельного издания «Мелочей жизни», которое я располагаю начать печатать с первых чисел июня». Все эти произведения напечатаны за подписью «Н. Щедрин».

К подготовке отдельного издания «Мелочей жизни» Салтыков приступил еще до завершения журнальной публикации. 18 мая 1887 года он извещал Стасюлевича: «Я послал в типографию весь материал «Мелочей жизни» и оглавление. Выйдет два тома по 15 л. каждый. Но у меня есть до Вас просьба: не придерется ли цензура к «Газетчику»? Посоветуйте мне. Прочтите, пожалуйста, вновь и почеркайте, что слишком резко в цензурном смысле (в начале статьи)». 15 августа 1887 года в другом письме к тому же адресату он сообщал: «На типографию Вашу я жаловался напрасно. У меня уже налицо 10 чистых листов 2-го тома «Мелочей», и, вероятно, там уже почти все набрано. Боюсь, чтобы в цензуре не случилось с книгою неприятности (особливо по поводу «Газетчика»), а Ратынского, кажется, еще нет в Петербурге, и похлопотать некому Впрочем, попытаюсь, напишу к нему — может быть, уж и воротился, откликнется». Тревогой за судьбу книги проникнуто и письмо к Пантелееву от 24 августа 1887 года: «Ежели Вы уже в Петербурге, то у меня до Вас большая просьба. Дело в том, что в настоящее время в цензуре находятся «Мелочи жизни» и срок истекает 27 числа, в четверг, в 1 ч. дня. Не будете ли Вы так бесконечно добры узнать *именно в это время* в магазине Стасюлевича, благополучно ли вышла книга, и потребовать от Хомиковского, чтоб он *тогда же*, то есть в 1 час, послал мне телеграмму сюда».

Но опасения Салтыкова не оправдались. Книга вышла в свет 27 августа 1887 года: «Мелочи жизни». Сочинение М. Е. Салтыкова (Щедрина). СПб., тип. М. М Стасюлевича, 1887. Часть первая. 217 стр. Часть вторая. 245 стр.

В помещаемой ниже таблице отражены те изменения, которые были

произведены Салтыковым в первоначальной (журнальной и газетной) последовательности глав цикла и в заглавиях их при подготовке отдельного издания 1887 года[1].

Название очерков в журнальной и газетной публикациях	*Изд 1887 г.*
(1) Мелочи жизни *Р. вед.*, 1886, 17 и 31 августа (3) Мелочи жизни *ВЕ*, 1886, № 11	Часть первая I—V. Введение
(4) Мелочи жизни. VI. На лоне природы и сельскохозяйственных ухищрений 1. Хозяйственный мужичок 2. Сельский священник 3. Помещик 4. Мироеды *ВЕ*, 1886, № 12	VI. На лоне природы и сельскохозяйственных ухищрений 1. Хозяйственный мужичок 2. Сельский священник 3. Помещик 4. Мироеды
(2) Молодые люди 1. Сережа Ростокин *Р. вед.*, 1886, 19 октября 2. Черезовы, муж и жена *Р. вед.* 1886, 26 октября 3. Евгений Люберцев *Р. вед.*, 1886, 2 ноября 4. Чудинов *Р. вед.*, 1886, 9 ноября	VII. Молодые люди 1. Сережа Ростокин 2. Евгений Люберцев 3. Черезовы, муж и жена 4. Чудинов
(9) Читатель (Несколько нелишних характеристик) 1. Читатель-ненавистник *Р. вед.*, 1887, 6 мая 2. Солидный читатель *Р. вед.*, 1887, 14 мая 3 Читатель-простец 4. Читатель-друг } *Р. вед.*, 1887, 17 мая	VIII. Читатель (Несколько нелишних характеристик) 1. Читатель-ненавистник 2. Солидный читатель 3. Читатель-простец 4. Читатель-друг
(6) Мелочи жизни. VIII. Девушки 1. Ангелочек 2. Христова невеста 3. Сельская учительница } *ВЕ*, 1887, №2 4. Полковницкая дочь «Книжки Недели», 1887, № 2	Часть вторая IX. Девушки 1. Ангелочек 2. Христова невеста 3. Сельская учительница 4. Полковницкая дочь

[1] Цифры в скобках обозначают последовательность первоначальной публикации глав.

(7) Мелочи жизни. IX. В среде публичности 1. Газетчик[1] 2. Адвокат 3. Земский деятель 4. Праздношатающийся } *ВЕ*, 1887, №3	X. В сфере сеяния 1. Газетчик 2. Адвокат 3. Земский деятель 4. Праздношатающийся
(5) Мелочи жизни. VII. Портной Гришка *ВЕ*, 1887, № 1	XI. Портной Гришка
(10) Счастливец. Этюд *ВЕ*, 1887, № 6	XII. Счастливец
(8) Мелочи жизни. Заключение. X. Имярек. *ВЕ*, 1887, № 4	XIII. Имярек

Таким образом, отдельное издание существенно отличается от журнальной публикации не только составом, но и последовательностью глав и названиями некоторых из них. К публикации «Мелочей жизни» в «Вестнике Европы», подававшейся как законченное целое со своей порядковой нумерацией глав, Салтыков присоединил те части цикла, которые печатались в «Русских ведомостях» («Молодые люди», «Читатель»), «Книжках Недели» («Полковницкая дочь»), «Вестнике Европы» («Счастливец») как самостоятельные произведения. Соединяя разрозненные части цикла в отдельном издании, Салтыков дает всем главам новую нумерацию. Сохраняя для каждой из пяти главок «Введения» самостоятельную нумерацию[2], он, как и в «Вестнике Европы», продолжает в дальнейшем нумеровать лишь отдельные главы, не принимая во внимание составляющие их этюды.

Подготавливая отдельное издание, Салтыков пересмотрел текст всех глав. Главы, печатавшиеся в «Вестнике Европы», подверглись незначительной, главным образом, стилистической правке; главы, публиковавшиеся в «Русских ведомостях», в особенности глава «Читатель», более существенно отредактированы.

К первой части *Изд. 1887* (с. 217) приложен список из 14 поправок, некоторые из них исправляли отнюдь не опечатки. Например, к с. 28, строка 1 дана поправка: *Напечатано:* о децентрализации по расширению власти. *Следует читать:* «о децентрализации, смешиваемой с сатрапством, и о расширении власти, смешиваемом с разнузданностью», то есть так, как в рукописи. Изменен же он в журнальной публикации,

---

[1] По цензурным соображениям вместо этюда «Газетчик» в журнале приведено лишь его заглавие и четыре ряда точек. Впервые он напечатан в *Изд. 1887*.

[2] Это объясняется тем, что каждая из них рассматривалась Салтыковым как самостоятельная глава цикла (см. письма Салтыкова к Соболевскому этого периода).

несомненно, по цензурным причинам. Данная «поправка», как и несколько других, являла собой своеобразный метод обхода писателем цензуры.

При жизни Салтыкова «Мелочи жизни» больше не переиздавались. В первом издании сочинений (т. 8, СПб., 1889) «Введение» оставлено вне нумерации, а цикл разделен на две части, в каждой из которых дана самостоятельная нумерация глав. В *Изд. 1933—1941* (т. 16) «Введение» также оставлено вне нумерации, но уничтожено деление цикла на части, а главы занумерованы порядковыми номерами с I по VIII. Такое отступление от структуры цикла обосновывается ссылкой на опыт работы самого Салтыкова при сведении двухтомных изданий в однотомные. В настоящем издании сохраняется расположение и нумерация глав «Мелочей жизни» в том виде, в каком она дана в *Изд. 1933—1941*.

Рукописи цикла (хранятся в *ИРЛИ, ЦГАЛИ*) дошли до нас почти полностью, главным образом, в первоначальной редакции. Текст их близок к печатному.

В настоящем томе «Мелочи жизни» публикуются по тексту *Изд. 1887* с исправлением ошибок, опечаток и пропусков по рукописям, первым публикациям и с устранением цензурных купюр во «Введении» и главе «Читатель».

ВВЕДЕНИЕ

(стр. 7)

Впервые — *ВЕ*, 1886, № 11 (вып. в свет 1 ноября), с. 229—268, под заглавием «Мелочи жизни».

Сохранились: 1) Рукопись ранней редакции второй — пятой глав (*ИРЛИ*); 2) Наборная рукопись второй главы, предназначенная для «Русских ведомостей», рукой Е. А. Салтыковой с правкой автора (*ЦГАЛИ*).

Журнальная публикация «Введения» снабжена примечанием автора: «Первые две главы «Мелочей жизни» были напечатаны в «Русских ведомостях»[1]. Но, по мере того как работа подвигалась вперед, автор убеждался, что она явится в более цельном виде, будучи напечатана в большом журнале, нежели в газете, где, по самому способу издания, авторский труд поневоле дробится. Поэтому автор решил продолжать «Мелочи жизни» в ежемесячном издании. Да не посетует читатель, что вследствие того первые две главы повторяются здесь для установления общей их связи с новыми, последующими главами».

Однако причины перенесения печатания «Мелочей жизни» из «Русских ведомостей» в «Вестник Европы» заключались вовсе не в этом. Из писем Салтыкова к Соболевскому известно, что пять глав «Введения» были написаны в августе — сентябре 1886 года. Первая глава была от-

[1] *Р. вед.*, 1886, 17 и 31 августа.

правлена в редакцию, вероятно, незадолго до ее появления на страницах газеты, вторая — 23 августа. третья — 5 сентября, четвертая — 8 сентября и, наконец, пятая — 11 сентября. Первая глава не вызвала у Соболевского никаких замечаний. Во второй главе он предложил снять фразу: «Только что я написал, что он не знает, куда ему ехать, на север или на запад, как его начали «возить». Салтыков ответил согласием (см. письмо Салтыкова к Соболевскому от 28 августа 1886 г.). Третью главу Соболевский решительно отказался печатать и просил у Салтыкова разрешения на замену ее четвертой. В ответ на это Салтыков 11 сентября телеграфировал: «Прошу четвертую главу не печатать». Дальнейшие переговоры автора с редактором ни к чему не привели. 20 сентября Салтыков известил Соболевского: «Я сегодня имел собеседование с Стасюлевичем, рассказал ему содержание 3-ей главы, и он ничего не имеет против напечатания ее, в совокупности с остальными четырьмя (первые две в виде приложения). Я же сделаю примечание, что, ввиду распространения размеров «Мелочей», я нашел удобным печатать их в большом журнале, а не отрывками в газете. Поэтому я прошу Вас решиться на одно из двух: или отложить продолжение «Мелочей» до 19 октября, начав печатание их все-таки с 3-ей главы, в продолжение трех воскресений, или же если Вы и на это не согласны, то будьте так добры, по получении сего, возвратить мне все три главы обратно. Я просто не могу по сей миг успокоиться ввиду предполагаемого пропуска. Повторяется то же самое, что и с «Пестрыми письмами», которые Вы с первого же письма отказались печатать, а «Вестник Европы» напечатал, и ничего не вышло». Однако «Русские ведомости» так и не решились «по цензурным соображениям» на печатание третьей главы. Поэтому Салтыков передал «Мелочи жизни» в «Вестник Европы».

В докладе в С.-Петербургский цензурный комитет (27 октября) об одиннадцатом номере «Вестника Европы» за 1886 год цензор В. М. Ведров сообщал: «Первенствующей статьею этой книжки журнала без сомнения являются «Мелочи жизни» г-на Щедрина. Это — не ничтожная фельетонная статья газеты, как она могла бы показаться читателю в «Русских ведомостях», в которых были напечатаны первые две главы, но «в цельном виде» (см. прим. автора) без дробления она представляется руководящею к изменению нашего удрученного положения и отчасти к объяснению некоторых фазисов западного современного состояния, хотя последнее приведено и оговорено дважды (стр. 244 в прим., с. 268) только для удобнейшего появления в свет самой статьи. Сущность же ее прямо касается нашего положения политического и социального, а так как мы принадлежим также к Европе, то, разумеется, суждение об нас невольно связывается с положением вещей на Западе.

Чего же желает автор в своем окончательном выводе? *«Полной свободы в обсуждении идеалов будущего. Только одно это средство и может дать ощутимые результаты»* (стр. 265). *«Переполох в массах от новшеств социалистических нужно искать не в открытом обсуждении идеалов бу-*

дущего, а скорее в стеснениях и преследованиях, которыми постоянно сопровождалось это обсуждение» (стр. 266).

К этой желанной идее свободного обсуждения автор приходит через подробное описание бедственного состояния русского общества в четырех рубриках: 1) описание «испугов»; 2) о значении русской школы и ее нивелирующего циркуляра; 3) ограждение «прерогатив власти» от действительных и мнимых нарушений; 4) воспоминание о злоупотреблениях крепостного права и бедственного положения русского крестьянина от *голода* и *земельного надела* (стр. 259).

Пятый последний отдел доказывает недостаточность мер, принимаемых даже на Западе (компромиссы) против «дикого человека», и предписывает одно средство к освобождению человечества из-под ига мелочей — *полную свободу обсуждения* (стр. 265 и др.).

Окончательный вывод нисколько не возбудил бы внимание цензуры, если бы ему не были предпосланы суждения в разных сатирических картинах о современном гнете, лежащем на русском обществе в виде «испугов», ограждений власти, опутывающих и подавляющих мелочей чрез циркуляры и инсинуации, бедственного положения русского крестьянина, к которому кабала словно приросла. В первом отделе, после описания пребывания автора на даче и пустоты газетных известий, автор саркастически говорит, что «умы постепенно заполняются испугом. Испуг до того въелся в нас, что мы даже совсем не осознаем его. Это уже не явление, приходящее извне, а вторая природа» (стр. 235). «Да, батюшка, нынче хамы — сила» (стр. 236).

Во втором отделе, после горькой насмешки над политическими деятелями — Баттенбергом, Наполеонидами, Орлеанами и др., этого изнуряющего вздора (стр. 237—240), автор объясняет, как *над школой тяготеет нивелирующая рука циркуляра* (стр. 241—243), следствием чего вырабатывается для будущего: во-первых, что нет ни общей для всех справедливости, ни признания человеческой личности, ни живого слова, ничего, кроме задачника Буренина и Малинина и учебников грамматики всех возможных сортов; во-вторых, что может дать такая школа? Что, кроме tabula rasa и «школьного худосочия» (стр. 241); в-третьих, сожитие ожесточенных зверей, готовых растерзать друг друга — пример из комедии Островского; в-четвертых, заправский раб, в котором все отжило, кроме гнутой спины и лгущего языка во рту (стр. 242 и др.).

В третьем отделе автор переносит место своего желчного описания на губернии: и здесь тоже вредное действие циркуляра к ограждению прерогатив власти и инсинуации. Автор, говоря о массах, о жизни крестьянина, о его отношении к земле, к промыслам, к нанимателю, к начальству, угрожает тем, что *всему предполагается учинить отчетливую и безвыходную регламентацию.* И много породит несчастливцев эта глыба, много в своем нарастании она увлечет жертв в могилы. Вот настоящие, удручающие мелочи жизни, долженствующие сделаться достоянием истории (стр. 250—251).

В четвертом отделе, вспомнив о бывшей продаже девок, о рекрутчине, автор представляет такую картину настоящего быта русского крестьянина: «Старая форма давала раны, новая дает скорпионы; старая томила барщиной и произволом, новая — донимает голодом. Население растет, а границы земельного надела остаются те же. Период помещичьего закрепощения канул в вечность; наступил период закрепощения чумазовского...»

До этой статьи юмор автора касался бытовых сторон русской жизни, не касаясь политических и социальных отношений; в этой же статье он нападает на государство и развращающее влияние школы и единственным радикальным средством признает «свободное обсуждение». На этих основаниях цензор имеет честь донести комитету об особенном значении статьи»[1].

При обсуждении доклада В. М. Ведрова на заседании С.-Петербургского цензурного комитета (27 октября) председательствующий на нем Е. А. Кожухов заявил, что «ввиду наступления срока выхода книжки журнала в свет, он, соглашаясь с мнением цензора о неблагонамеренности направления статьи и признавая ее за несомненно тенденциозную и способную характеризовать направление журнала, в котором она помещается, немедленно донес о ней на благоусмотрение Главного управления по делам печати» (*ЦГИАЛ*, ф. 777, оп. 27, ед. хр. 514, лл. 422—425). В связи с этим комитет постановил «принять доклад к сведению». Аналогичным было и решение Главного управления по делам печати (*ЦГИАЛ*, ф. 776, оп. 3, 1865 г., ед. хр. 87, л. 129).

В материалах цензуры не удалось обнаружить еще каких-либо дополнительных данных о «Мелочах жизни». Между тем в письме к Пыпину от 6 ноября 1886 года Стасюлевич со всей определенностью свидетельствовал: «Кстати: в прошедший вторник участь «Вестника» висела на волоске,— и спасся он, бедняжка, всего только большинством одного голоса. Виновником оказались «Мелочи жизни» и банкирские дела;[2] но все хорошо, что хорошо кончается» (*ГПБ*, ф. 621, ед. хр. 836, л. 4).

По сравнению с печатным текстом, рукопись ранней редакции II—V глав содержит ряд вариантов. Приводим наиболее существенные варианты рукописи ранней редакции.

Стр. 15, строка 4. После слов: «...возвращению рукоплескали» в черновой и наборной рукописях, а также *Р. вед.* было:

Но кто рукоплескал? И какие рукоплескания были сильнее: при вести об увозе или при вести о привозе? — все это требует разъяснения.

Стр. 22, строка 11 св. После слов: «...а газета» — в рукописи было:

---

[1] В. Е. Евгеньев-Максимов. Из прошлого русской журналистики. Л., 1930, с. 74—77.

[2] Имеется в виду «Внутреннее обозрение», значительная часть которого посвящена отчету крестьянского поземельного банка.

Ежели газета подтверждает переполох, ее ожидает не только сочувствие, но и насильственно-благосклонное распространение; ежели она отрицает существование анархии,— ее ожидает беспощадный остракизм.

Стр. 38, строка 22 сн. После слов: «...лишена творческой силы» —

и не приходит к ясным результатам. Так что ежели дореформенную администрацию можно было сравнить с игрой в casse tête, то нынешнюю вполне уместно уподобить ристалищу, на протяжении которого расставлены искусственно придуманные, а часто и просто воображаемые препятствия.

В настоящем издании, как и в *Изд. 1933—1941,* устранены четыре цензурных сокращения, сделанные в журнале:

Стр. 23, строка 20. «Сколько тут жертв?»

Стр. 25, строка 3. «Сегодня намечается <...> усиленной прогрессии».

Стр. 25, строки 14—16. «Но за всем тем <...> и даже радовать?»

Стр. 40, строка 3 сн. «динамитного».

Стр. 7. *Вместо того чтобы везти меня за границу, куда, впрочем, я и сам не чаял доехать, повезли меня в Финляндию.*— Лето 1886 г. Салтыков провел в имении Красная мыза в Финляндии. Дальнейшие строки — автобиографичны: Салтыков был тогда тяжело болен и о своем состоянии почти в тех же словах сообщал в письмах июля — августа 1886 г.

Стр. 8. *«Каким образом этот «вредный» писатель попал сюда?»* — В обнародованном в 1884 г. списке книг, подлежащих изъятию из библиотек, значились «вредные» «Отечественные записки» за 1868—1884 гг., когда во главе журнала стоял Салтыков и где печатались все его произведения тех лет.

Один газетчик, которому я немало помог своим сотрудничеством при начале его журнального поприща, теперь прямо называет меня не только вредным, но паскудным писателем.— Речь идет о М. Н. Каткове, успеху журнала которого «Русский вестник», при начале его издания, много способствовала публикация «Губернских очерков» Салтыкова (1856—1857).

...в родном городе некто пожертвовал в местный музей мой бюст.— Об этом Салтыков сообщал 27 сентября 1884 г. В. М. Соболевскому: «...в Твери есть какой-то музей, и там стоял мой бюст, яко тверского уроженца. Теперь этот бюст оттуда вынесли».

...злая волшебница Наина и добрый волшебник Финн.— Герои поэмы Пушкина «Руслан и Людмила».

...миновавши териокскую таможню...— Являясь с 1809 г. частью Российской империи, Финляндия в то же время сохранила особую форму автономии и была отделена от России таможенной границей. Таможня находилась в городе Териоки (ныне — Зеленоград).

Стр. 9. *Старообрядцы...*— Салтыков издавна проявлял интерес к старообрядчеству (см., например, т. 4, с. 580—581). Здесь он повторяет мысль,

высказанную еще в 1864 г. в неопубликованной «апрельской» хронике цикла «Наша общественная жизнь» (т. 6, с. 347).

Стр. 10. *...провербиальная репутация* — то есть репутация, вошедшая в поговорку (франц. proverbial).

...вина здесь совсем нет, за редким исключением корчемства... — В Финляндии действовал сухой закон. Корчемство — подпольная торговля спиртными напитками.

Стр. 11. *...науке финской <...> отгорожено место в Гельсингфорсе...* — Речь идет о Гельсингфорсском университете. Гельсингфорс — шведское название города Хельсинки, столицы Финляндии.

...с какого права признано необходимым, чтобы Сербия, Болгария, Босния не смели устроиваться по-своему, а непременно при вмешательстве Австрии? С какой стати Германия берется помогать Австрии в этом деле? — Вмешательство Австро-Венгрии на Балканах в ущерб национальной независимости славянских стран этого района, освобождавшихся от турецкого ига, было «признано необходимым» Берлинским трактатом 1878 г., в выработке которого принял участие германский канцлер О. Бисмарк. Летом 1886 г. борьба за влияние на Балканах обострилась. Это выразилось в многочисленных встречах европейских политических деятелей, о чем сообщалось в июле — августе в газетах. Особую активность вновь проявил Бисмарк, что и вызвало трения между Россией и Германией и побудило Россию к сближению с Францией.

Стр. 12. *...самосуд живорезов московского Охотного ряда...* — Речь идет о расправе в 1878 г. торговцев-мясников Охотного ряда над московскими студентами, провожавшими в ссылку товарищей — студентов Киевского университета, участников студенческих демонстраций.

...некоторые не отступали даже перед топлением в Москве-реке... — «Топить умников» предлагали в 1879 г. «Московские ведомости» (см. т. 13, с. 738).

Стр. 14. *А с Баттенбергом творится что-то неладное. Его начали «возить»...* — Будучи первоначально ставленником русского правительства, «болгарский князь» Александр Баттенберг испытывал, однако, разнообразные внешнеполитические влияния. На его положении отражалась и неустойчивая внутриполитическая обстановка в Болгарии, борьба различных партий внутри страны. В ночь с 8 на 9 августа 1886 г. он был арестован в своем дворце, подписал отречение от болгарского княжеского престола и был выдворен за границу Болгарии. Баттенберг высадился на русский берег Дуная и собирался направиться через Галицию в Бреславль, а оттуда в Германию. Однако в главном городе Галиции Львове ему был приготовлен особый экстренный поезд, и при содействии своих сторонников Баттенберг через Бухарест вернулся в Болгарию. Он не мог оставаться у власти без поддержки русского императора, которой к этому времени он лишился. В конце августа политическая карьера Баттенберга бесславно закончилась.

А он, мятежный, ищет бури... — Из стихотворения Лермонтова «Парус».

Стр. 15. *Концерты европейские...*— «Концертом» в печати того времени именовалось политическое равновесие европейских держав. Например, «Московские ведомости» писали: «...под видом соблюдения европейского концерта она <Россия> должна была отдать себя в полное распоряжение берлинской политики» (1886, 19 июля, № 197).

Стр. 16. *Сколько всевозможных «союзов» опутало человека со всех сторон.*— «Союзами» современные Салтыкову буржуазные социально-политические теоретики называли семью, гражданское общество, церковь, государство (см.: Е. И. Покусаев. Революционная сатира Салтыкова-Щедрина, с. 334—336).

Стр. 17. *Смутно всюду, тёмно всюду...*— Салтыков ошибочно приписывает Пушкину строки из поэмы А. Мицкевича «Дзяды».

Стр. 18. *...над всей школой тяготеет нивелирующая рука циркуляра...*— Речь идет о политике в области образования, которую проводил министр народного просвещения правительства Александра III И. Д. Делянов. Циркуляр был главной формой руководства учебными заведениями.

Ничего, кроме <...> учебников грамматики всевозможных сортов.— Схоластическое, «грамматическое» направление школьного обучения было определено созданием в 1871 г. как основного типа среднего учебного заведения так называемой классической гимназии. «Все внимание сосредоточивалось на бесплодном зубрении грамматических форм, которое не только не сообщало молодым умам живого духа классических писателей, но не давало даже порядочного знания языка. <...> А рядом с этим одуревающим налеганием на грамматику самые важные предметы гимназического преподавания: история, русский язык и русская литература — оставались в полном пренебрежении. Молодое поколение разучилось даже писать» (Б. Н. Чичерин. Земство и Московская дума, с. 102). В 1889 г. даже министр народного просвещения И. Д. Делянов вынужден был признать, что в преподавании древних языков «возобладало» «одностороннее грамматическое направление», оттеснившее «чтение и объяснение писателей» С. В. Рождественский. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения. СПб , 1902, с. 633).

Стр. 19. *Студент Хорьков женился на Липочке Большовой...*— Студент Хорьков — персонаж комедии А. Н. Островского «Бедная невеста», Липочка Большова — «Свои люди — сочтемся». Полная противоположность психологии, морали, поведения этих двух героев Островского подчеркивает абсурдность такого сочетания, тем не менее вполне возможного «в мелочной» действительности.

Стр. 21—22. *...ограждением прерогатив власти от действительных и мнимых нарушений <...> Уже не циркуляр является руководителем, а газета, с ее толками и инсинуациями.*— Речь идет о принципе, положенном в основу внутренней политики самодержавия в 80-е годы. В определении этой политики значительную роль играли «инсинуации» таких газет, как «Московские ведомости» и «Гражданин».

Стр. 25. *Недаром же так давно идут толки о децентрализации, сме-*

шиваемой с сатрапством...— Децентрализацией именовалось усиление власти губернаторов (см. т. 16, кн. I, с. 512—513). Сатрапство — безграничная, неконтролируемая власть (от названия самовластного правителя в древней Персии).

Стр. 26. *...поставленный покойным Решетниковым вопрос: «Где лучше?»* — Этот вопрос был поставлен Ф. М. Решетниковым в одноименном романе, «наглядно рисующем,— как писал Салтыков Н. А. Некрасову 12 мая 1868 г.,— безвыходность некоторых отношений». См. т. 9, с. 321—324 и 561—563.

Стр. 26. *...в одном из сборников Льва Толстого сказку о старом коршуне.*— Салтыков по памяти пересказывает, изменяя ее «мораль», басню «Ворон и воронята» из «Четвертой русской книги для чтения» Л. Н. Толстого. В басне Толстого ворон щадит третьего вороненка потому, что только тот сказал правду. Коршун же у Салтыкова сохраняет жизнь «беспощадному и жестокому» и убивает слабых. В этом толковании сказка призвана иллюстрировать «жестокие» отношения, определяющие жизнь крестьянской семьи.

Стр. 27. *Семейная жизнь крестьянина, его отношение к земле, к промыслам, к нанимателю, к начальству — все выступило на арену, и всему предполагается учинить отчетливую и безвыходную регламентацию.*— Вопросы общественного состояния русского крестьянина, его хозяйства, быта, самоуправления, наконец, власти над ним — были предметом постоянных обсуждений как в писаниях дворянских идеологов, так и в проектах, изготовлявшихся в правительственных сферах. Например, еще в 1876 г. Р. А. Фадеев нападал на самостоятельность крестьянского общественного управления, предлагая подчинить его дворянству. Салтыков, возможно, имеет в виду проект А. Д. Пазухина (см. т. 16, кн. I, с. 515), разработанный им к весне 1886 г. и основанный, по свидетельству Е. И. Феоктистова, на «необходимости установить твердую власть в крестьянском управлении» (цит. по кн.: П. А. Зайончковский. Российское самодержавие в конце XIX столетия. М., 1970, с. 367). Закон о земских начальниках, принятый уже после смерти Салтыкова в 1889 г., на деле осуществил «отчетливую и безвыходную регламентацию» крестьянской жизни.

...его беспокоит вопрос: что скажут свои? папенька с маменькой, тетеньки, дяденьки, братцы и сестрицы? — Салтыков намекает на родственные узы, которые связывали Александра Баттенберга с теми европейскими государствами, в центре политических интриг которых он оказался как болгарский князь: он был сыном австрийского генерала, племянником русской императрицы Марии Александровны (жены Александра II) и дальним родственником английской королевы Виктории (его брат был женат на младшей дочери королевы).

Стр. 29. *...зачетные рекрутские квитанции...*— Дореформенный устав о рекрутской (воинской) повинности допускал замену лица, сдаваемого в рекруты по жребию или по очереди, другим лицом — или «охотником»,

или назначенным к сдаче по приговору крестьянского общества. За каждое такое лицо правительством продавались или выдавались так называемые зачетные квитанции, представление которых освобождало от военной службы. Для помещика торговля квитанциями могла стать как источником дохода, так и еще одной формой произвола по отношению к крепостным.

Стр. 32. *Это было уже в 1859 году...*— Описанный случай беззакония накануне упразднения крепостного права, так называемая «хлудовская история», был хорошо известен Салтыкову, который в качестве рязанского вице-губернатора проводил его расследование. «Хлудовской истории» Салтыков посвятил статью «Еще скрежет зубовный» (1860), запрещенную цензурой (см. т. 5, с. 84—97 и 547—550). В изложение этой истории в «Мелочах жизни» вкрались мелкие неточности: мошенничество раскрылось не в 1859, а в 1858 г., когда и была объявлена десятая (а не девятая) народная перепись (см. т. 5, с. 87—88).

Стр. 34. *...«слово и дело»...*— Доносчик, выкрикнувший эту знаменитую формулу в знак того, что у него имеются сведения о государственном преступлении, так же подвергался дознанию, как и лицо, им обвиненное (отменено при Екатерине II).

Стр. 40. *...на крайнем Западе, среди ужасов динамитного отомщения...*— Речь идет о многочисленных террористических актах, совершавшихся в эти годы ирландскими мелкобуржуазными революционерами — фениями, противниками английского владычества в Ирландии. («...динамитное движение с особенною силою разыгралось в Англии, где в прошлом году один за другим следовали взрывы железнодорожной станции, парламента, Тоуэра, адмиралтейства, Лондонского моста, совершились среди бела дня убийства вице-короля Ирландии и его секретаря, не считая уже более мелких анархических преступлений...» — *М. вед.*, 1886, 25 июля № 203).

Стр. 42. *...почему у кормила понадобился в данную минуту Гизо, а Тьер оказался ненужным.*— Имена Гизо и Тьера здесь — скорее нарицательные, нежели собственные, и выбраны потому, что они принадлежали французским государственным деятелям, игравшим значительную роль в политической жизни Франции на протяжении многих лет.

I. НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УХИЩРЕНИЙ

(Стр. 45)

Впервые — *ВЕ*, 1886, № 12 (вып. в свет 1 декабря), с. 589—632, под заглавием «Мелочи жизни. VI. На лоне природы и сельскохозяйственных ухищрений».

Сохранилась рукопись ранней редакции (*ИРЛИ*). Первоначальное заглавие «Среди сельскохозяйственных [забот] соображений и ухищрений» исправлено.

По предварительному замыслу, глава состояла из трех этюдов («Хозяйственный мужичок», «Сельский священник», «Помещик»), которые были

закончены к 26 октября (см. письма Салтыкова к Стасюлевичу от 12 и 26 октября 1886 г.). Однако 3 ноября Салтыков известил Стасюлевича: «У меня написался 4-й этюд к главе «На лоне природы» под названием «Мироеды». Я отдам его в переписку и к субботе, а может быть, и ранее, он будет готов. Займет он менее 1/2 листа. Нельзя ли напечатать его тоже в декабрьской книжке вместе с прочими? Иначе, он у меня совсем пропадет».

Журнальный текст этюдов «Хозяйственный мужичок» и «Сельский священник» за незначительными расхождениями совпадает с рукописным.

Текст этюда «Помещик» отличается от рукописного рядом вариантов и дополнительной стилистической правкой. В рукописи отсутствует текст от слов: «Однако, на другой день...» (с. 70, строка 11) — и кончая словами: «Еще бы! — отозвалась жена» (с. 70, строка 11 сн.).

Рукопись этюда «Мироеды» полнее журнальной публикации. Приводим наиболее существенные варианты рукописи.

Стр. 79, строка 20. Вместо слов: «Мужик он <...> компетенции суда?» —

Помилуйте! такого мерзавца да не признать вполне благонадежным! — где ж это видано! А под судом он, конечно, тоже не бывал: он никого не убил, не ограбил, никто его не изобличил ни в краже, ни в изнасиловании, а разве такие тонкие деяния, как мироедство, подлежат компетенции суда?

Стр. 85, строка 1 сн. После слов: «...мечтанием, угрозою...» —

И находятся, однако, люди, которые утверждают, что, несмотря на лихорадочную деятельность, у нас все-таки ничего не делается; что живем мы — спим; ступим шаг вперед, потом шаг в сторону и, наконец, опять шаг назад. И утешаем себя, что присваиваем этому бесконечному шатанию наименование реформ.

Стр. 48. *...к наступлению летнего мясоеда...* — то есть к концу июня (летний мясоед наступает с 29 июня, с Петрова дня).

...своего хлеба у него хватит до масленой... — Масленая неделя (масленица) приходится на конец февраля.

Земельный надел так ограничен, что зернового хлеба сеется малость... — См. прим. к с. 61.

Стр. 50. *...рождественский мясоед...* — время от праздника Рождества (25 декабря) до масленой недели.

...на Красную горку... — Красная горка — первая неделя после пасхальной (обычно приходится на апрель).

Стр. 53. *...в кортому* — в аренду.

...благочинный — священник, старший в округе, состоящем из нескольких церквей с приходами.

Стр. 55. *...под озимь двоить...* — то есть пахать по второму разу.

Стр. 56. *..читает <...> апостола...* — Апостол — часть Нового завета, состоящая из «Деяний апостолов» и так называемых «Посланий». Отрывки из апостола читались во время богослужения.

...оставшийся за штатом — уволенный от службы.

Стр. 57. *Около первого Спаса приедет прасол...* — Первый, так называемый «медовый», Спас празднуется 1 августа.

Около Воздвиженья... — Церковный праздник Воздвиженья приходится на 14 сентября.

...к Покрову — к 1 октября, на которое приходится этот церковный праздник.

Стр. 59. *...потир* — серебряная чаша, употребляемая в церковном обряде.

Стр. 60. *...остались при так называемых оброчных статьях...* — До выкупа (так же как и во время крепостной зависимости) крестьяне обязаны были нести по отношению к помещику феодальные повинности в форме оброка (денежные платежи) и барщины (работа на помещичьей земле). Некоторые помещики-землевладельцы предпочитали, как об этом и пишет Салтыков, денежную форму отношений с крестьянами.

Стр. 61. *Продали оставшиеся за наделом отрезки...* — «Положением 19 февраля» размер полевого крестьянского надела был значительно сокращен (до 50%) по сравнению с размером дореформенного надела. При проведении реформы помещики отрезали от крестьянского надела ту часть, которая превышала установленный размер. Эта часть и получила наименование отрезков. Результатом указанной операции было массовое обезземеливание крестьян.

Стр. 69. *Интеллигентный работник, Анпетов...* — Впервые упоминается в очерке «Охранители» («Благонамеренные речи»).

Стр. 70. *...завел разговор о сербских делах...* — то есть, по-видимому, о положении в Сербии в 1875 г., накануне русско-турецкой войны 1876—1877 гг.

Стр. 71. *...не написать ли к Зверкову?* — Возможно, что Салтыков ориентируется на известный читателю персонаж: Зверковым в «Записках из подполья» Достоевского назван герой, лишенный рефлексии, деятельный, ограниченный и преуспевающий

Стр. 76. *...скупает лошадей-пáлошниц* — то есть лошадей, подбадриваемых при продаже ударами палки.

Стр. 78. *...сивушная реформа.* — Речь идет об установлении винного акциза (см. т. 7, с. 598), отменившего откупа, получение которых требовало высокого имущественного ценза.

II. МОЛОДЫЕ ЛЮДИ

(Стр. 86)

Впервые — *Р. вед.*, 1886, 19 октября — «Сережа Ростокин»; 26 октября — «Черезовы, муж и жена»; 2 ноября — «Евгений Люберцев»; 9 ноября — «Чудинов».

Сохранились: 1) Рукопись ранней редакции всех четырех этюдов

(ИРЛИ); 2) Отрывки наборной рукописи этюда «Чудинов», рукой Е. А. Салтыковой с правкой автора *(ЦГАЛИ)*.

Замысел «Молодых людей» возник у Салтыкова, по-видимому, в первой половине сентября 1886 года. 20 сентября, сообщая Соболевскому, что в случае отказа «Русских ведомостей» опубликовать третью главу из «Введения» к «Мелочам жизни», он передает весь цикл в «Вестник Европы», Салтыков тут же прибавлял: «Впрочем, Вы не думайте, чтоб я желал порвать с «Русскими ведомостями». Напротив, я уж надумал работу, которую и начну, как только вы пришлете обратно «Мелочи». Новая работа будет составлять часть «Мелочей», только с отдельным заглавием». Здесь, конечно, имеется в виду глава «Молодые люди». Время окончания каждого из входящих в главу четырех этюдов легко определяется по дальнейшим письмам Салтыкова к Соболевскому.

Первоначально глава «Молодые люди» должна была состоять из трех этюдов. Отправляя 30 сентября первый этюд, то есть «Сережу Ростокина», Салтыков сообщал Соболевскому, что «другой будет иметь предметом человека, трудящегося ради насущного хлеба, третий — человека, ищущего света и обретающего смерть». Значит, второй этюд — это «Черезовы, муж и жена», а третьим должен был быть «Чудинов». 7 октября Салтыков пишет Соболевскому: «На просьбу Вашу печатать «Молодых людей» с 12 числа я отвечал другой просьбой: не печатать их, покуда у Вас все этюды не будут налицо. К сожалению, покуда я писал второй этюд, у меня выработался еще промежуточный тип, государственного послушника. Один этюд уже у Вас (отметьте его цифрой 1), два других завтра заказным письмом вышлю, но не для печатания, а чтобы Вам досужнее было прочесть. Четвертый наполовину готов и вышлется не позднее начала будущей недели, ежели ничего экстраординарного не случится». Следовательно, 8 октября был выслан этюд «Черезовы, муж и жена», а под вновь задуманным имеется, конечно, в виду «Евгений Люберцев». О том, что именно этот этюд был отправлен вместе с «Черезовыми...», видно из письма Салтыкова к Соболевскому от 12 октября: «Уверен я, что Вы уже на «Люберцеве» задумались, кого я описываю. И хотя и уверяю Вас, что никого лично в виду не имею, но ведь мне, критикану, кто же поверит? На то я и критикан, чтобы дразнить и списывать патреты. А на четвертом этюде Вы наверное остановитесь, потому что в нем идет речь о той особи молодых людей, которая ныне не ко двору». Следовательно, четвертый этюд — это «Чудинов», что подтверждается также и наборной рукописью, предназначавшейся для «Русских ведомостей» (написана рукой Е. А. Салтыковой), в которой он пронумерован четвертым. О времени завершения «Чудинова» Салтыков сообщает Соболевскому в написанном в тот же день другом письме: «Только что я послал к Вам письмо, как получил Ваше, и потому спешу послать вдогонку другое. Так как Вы не имеете ничего, с цензурной точки зрения, против напечатания «Молодых людей», то завтра же вышлю страховым 4-й этюд. Прочтите и ежели не задумаетесь печатать, то с богом».

Так как по замыслу автора третий в порядке написания этюд («Евгений Люберцев») был «промежуточным» между первым и вторым, то при публикации в газете он предложил поставить его вторым. Соболевский же пожелал печатать этюды в иной последовательности: вторым поместить этюд «Черезовы, муж и жена», а третьим — «Евгения Люберцева». 17 октября Салтыков телеграфировал, что на «перемену согласен» и просит «19 начать печатание». В *Изд. 1887* автор восстановил нарушенный при первой публикации порядок расположения этюдов.

Газетный текст отличается от рукописного мелкой стилистической правкой. При подготовке *Изд. 1887* в текст внесен ряд незначительных поправок.

Стр. 94. *...куда мы, наконец, идем?* — Лейтмотив многочисленных статей реакционной прессы на тему о положении в России в начале 80-х годов (см. т. 16, кн. I, с. 496).

Стр. 100—101. *Любимыми авторами его были французские доктринеры времен Луи-Филиппа...* — Доктринеры — политический кружок сторонников конституционной монархии, образовавшийся в период Реставрации (1814—1830). Многие из доктринеров, в том числе названные далее Гизо, Дюшатель, Вильмен, находясь в оппозиции накануне революции 1830 г., в эпоху Луи-Филиппа играли значительную, хотя и неодинаковую политическую роль.

Стр. 106. *...данные о необходимости восстановить заставы и шлагбаумы...* — Заставы и шлагбаумы — эзоповское обозначение всякого рода запретительных и карательных мер.

Стр. 121. *...схоронили у Митрофания...* — на кладбище для бедных.

Стр. 122. *Нет, вздумал странствовать один из них, лететь...* — Из басни И. А. Крылова «Два голубя» (1809).

Стр. 123. *...а там куплю на твое имя двести десятин болота, и в члены попадешь.* — Двести десятин земли — имущественный ценз, необходимый для баллотировки в члены земской управы.

Стр. 125. *...за лекции около двадцати пяти рублей за первое полугодие уплатить нужно, да мундирчики нынче требуются...* — Университетским уставом 1884 г. вводилась плата за право посещения студентами университетских лекций. Форма, упраздненная в 1861 г., была восстановлена в мае 1885 г.

III. ЧИТАТЕЛЬ

(Стр. 133)

Впервые — *Р. вед.*, 1887, 6 мая — общее введение, «Читатель-ненавистник»; 14 мая — «Солидный читатель»; 17 мая — «Читатель-простец», «Читатель-друг».

Сохранилась рукопись ранней редакции (без введения и начала первого этюда), начинающаяся со слов: «Минуту эту приводят за собой...», с. 137, строка 9 *(ИРЛИ)*.

К работе над главой писатель, по-видимому, приступил в конце апреля. Первый этюд, вероятно, был отправлен 3 мая, второй 4 мая, третий и четвертый — 8 мая (см. письма Салтыкова к Соболевскому от 2, 5, 7, 8 и 9 мая 1887 г.). В письме к Соболевскому от 2 мая, разрешая вносить без согласования с ним любые изменения в текст, Салтыков тут же прибавлял: «Одно только условие ставлю: выпускайте и исправляйте по корректуре, в которой статья будет оттиснута в том виде, в котором я ее написал, и один такой оттиск пришлите мне для помещения в отдельном издании «Мелочей». Я даже за напечатание в измененном виде буду до крайности благодарен, потому что крайне нуждаюсь». Ознакомившись с первым этюдом, Соболевский телеграфировал автору, что напечатает его без изменений. Отсутствие наборной рукописи и газетной корректуры не дает возможности установить, в какой степени воспользовался Соболевский разрешением Салтыкова на редактуру текста при публикации остальных трех этюдов. Однако сличение рукописи с газетной публикацией позволяет выявить один вариант явно цензурного характера и два других, которые, очевидно, произошли по недосмотру редактора. Вот перечень этих мест, не появившихся в «Русских ведомостях» и введенных в текст настоящего издания:

Стр. 149—150, строки 3—10. В рукописи было: «Самостоятельной жизни, несмотря на то <...> жизнь дисциплине, руководить и распоряжаться» — вместо: «самостоятельной жизни, так что руководить и распоряжаться».

Стр. 151, строка 13. После слов: «...бог послал!» — «Затем помимо личных имен <...> ну их совсем!»

Стр. 153, строка 23. После слов: «...но идет» — «Быть может <...> трудном странствии».

От газетной публикации рукопись отличается рядом вариантов. Приводим некоторые наиболее существенные [1].

Стр. 150, строка 17. После слов: «...убежденных людей» —

Недаром ненавистники и солидные люди с такою беззаветною самонадеянностью выражаются:

— О! с нас и того, что есть, предостаточно! И мы проживем, и дети наши проживут, а покуда на свете водятся простецы, все будет на своем месте стоять, как всегда стояло. Вон их сколько — смотрите-ка! Кликните клич — и сейчас целая стена обступит!

И точно: стоит кликнуть клич — стена готова. Так что ненавистники вполне правы, утверждая, что целые поколения их в полном безмятежии проживут, покуда эта стена не рухнет.

Стр. 150, строка 21 св. После слов: «...изумительной прогрессии» —

---

[1] Некоторые из вариантов впервые опубликованы В. П. Кранихфельдом в статье «Литераторы и читатели. (По неизданным рукописям Щедрина)».— «Утро юга», 1914, 27 апреля, № 97.

так что, судя по слухам, существует газета, у которой число подписчиков доходит до ста тысяч. Согласитесь, что для нас это — хоть куда.

Стр. 154, строка 16. После слов: «...среды самих ненавистников» —

Благодаря ему органы честной мысли или совсем исчезают с литературной арены или впадают в бесплодное уныние, а на месте их ликуют «Помои» и «Уединенные места».

Во время печатания главы «Читатель» в «Русских ведомостях» Салтыков корректуры не держал. Поэтому при подготовке ее к *Изд. 1887* он значительно сократил и выправил текст. Однако в нескольких случаях, то ли в результате спешки, недосмотра или по каким-то другим техническим причинам, исключение части текста привело к нарушению логической связи между предыдущим и последующим изложением. Вот перечень этих мест, которые вводятся в текст настоящего издания:

Стр. 137, строка 3 сн. После слов: «...прекратить ее» — «Нет, нет, он выстоит <...> поддерживает его».

Стр. 138, строка 21. После слов: «...большинство ненавистников» — «действует дружно <...> довольно правильно».

Стр. 139, строка 27. После слов: «...игом ненавистнического срама» — «Коль скоро печатное слово <...> рамки нетронутыми».

От *Изд. 1887* рукопись и газетная публикация отличаются рядом вариантов. Приводим некоторые из них:

Стр. 141, строка 9 сн. После слов: «...выделить из себя перебежчика» —

Спешу, впрочем, оговориться. Солидный читатель настолько подчинен веяниям минуты, невсегда является приспешником ненавистника, но от времени до времени ежели не прямо становится в ряды его противников, то во всяком случае игнорирует его. Подобно ручью, он отражает в себе окрестный пейзаж, с тою лишь разницей, что у ручья пейзаж всегда один и тот же, а у него он представляет собою беспрерывно изменяющуюся панораму.

Стр. 142, строка 4 сн. «После слов: «...и случилось» —

Словом сказать, в первом случае он игнорирует читателя-ненавистника, во втором — обращает к нему взоры.

Стр. 143, строка 10. После слов: «...исправником честь знать» — Было их времячко, пожуировали, пофорсили — и будет!

Стр. 134. *Поэт <...> имел полное право воскликнуть, что он глаголом жжет сердца людей...* — Реминисценция из стихотворения Пушкина «Пророк».

Стр. 137. *Минуту эту приводят за собой единичные события, источник которых не имеет с литературой ничего общего, но приурочивается к ней с самою позорною непринужденностью.* — Речь в первую очередь идет об

обстоятельствах, вызвавших закрытие «Отечественных записок» как органа, будто бы связанного с революционным подпольем.

Стр. 147. *Старик Крылов был прав...*— См. прим. к с. 122.

Стр. 153. *Анна Ивановна Резвая есть не кто иная, как Серафима Павловна Какурина, которой муж имеет магазин благовонных товаров...*— Подобные «разоблачения» постоянно печатались, например, в газете Н. И. Пастухова «Московский листок» в отделе «Советы и ответы». «Это нечто неслыханное,— вспоминал В. Гиляровский.— Например: «Купцу Ильюше. Гляди за своей супругой, а то она к твоему адвокату ластится: ты в лавку — и он тут как тут... Поглядывай».— Или: «Васе из Рогожской. Тухлой солониной торгуешь, а певице-венгерке у Яра брильянты даришь. Как бы Матрена Филипповна не прознала». И весь город грохотал: и Вася и Матрена Филипповна были действительно, их знали и проходу им не давали зубоскалы-купцы, пока сами не попадались в «Советы и ответы». А попадались очень многие» (Влад. Гиляровский. Московские газеты в 80-х годах.— «Былое», 1925, № 6 (34), с. 121).

IV. ДЕВУШКИ

(Стр. 155)

Первые три этюда («Ангелочек», «Христова невеста», «Сельская учительница») впервые — *ВЕ,* 1887, № 2, с. 478—521, под заглавием «Мелочи жизни. VIII. Девушки»; четвертый («Полковницкая дочь») — «Книжки Недели», 1887, № 2, с. 1—18 (третьей пагинации).

Сохранились рукописи ранней редакции всех четырех этюдов (*ИРЛИ*). Первоначальное заглавие этюда «Сельская учительница» — «Горькая» — в рукописи зачеркнуто.

Сравнение рукописей с первопечатным текстом показывает, что перед публикацией глава подверглась небольшой стилистической правке.

Стр. 159. *...m-lle Тюрбо... m-lle Эперлан.*— Эти две фамилии, так же как и следующие,— со значением. Turbot *(франц.)* — палтус; eperlan *(франц.)* — корюшка; essbouquet — название французских духов; Кейнгерух (*нем.*— Keingeruch) — без запаха; Тушату (от *франц.* touche à tout) — непоседа.

Стр. 164. *...князь Сампантрé.*— Прототипом этого часто появляющегося у Салтыкова сатирического персонажа был П. П. Демидов, князь Сан-Донато.

Стр. 165. *...вышла из института...*— То есть из так называемого института благородных девиц — закрытого учебного заведения для девушек из дворянских семей. В московских институтах — Александровском и Екатерининском — учились дочери мелкопоместных дворян.

Стр. 173. *...скоро и совсем земства похерят...*— Хотя действие рассказа происходит в начале 70-х годов, рассуждение мирового судьи о судьбах земства отражает также и яростные нападки на это учреждение сторон-

ников так называемого «возвращения правительства» (см. т. 16, кн. I, с. 502). «Похерить» же земство предполагалось земской контрреформой 80-х годов, одно из положений которой было формулировано министром внутренних дел гр. Д. А. Толстым в докладе Александру III от 18 декабря 1886 г. следующим образом: «Земские и городские учреждения должны быть введены в общий строй государственных установлений. Лежащие в основе сих учреждений начала общественного самоуправления должны быть заменены началом государственного управления через посредство и при содействии представителей местного населения» (цит. по кн.: П. А. Зайончковский. Российское самодержавие в конце XIX столетия. М., 1970, с. 370).

Стр. 176. *...стараться показывать, что наши мысли совпадают с мыслями влиятельных лиц.*— Теория вождения влиятельного человека за нос была формулирована Г. З. Елисеевым в его письме к Салтыкову от 23 октября 1886 г. как отклик на салтыковскую сказку «Приключение с Крамольниковым» (подробнее см. т. 16, кн. I, с. 475).

Стр. 177—178. *...без всякой винословности...*— без причинной зависимости, случайно, хаотично.

Стр. 178. *...историю и современное значение высшего женского образования...*— Конец 60-х — начало 70-х годов были ознаменованы борьбой за открытие университета для женщин. В 1872 г. открылись московские высшие женские курсы проф. В. И. Герье. В 1876 г. было дано разрешение на открытие высших женских курсов в университетских городах. Вопрос о будущности высшего женского образования в 1886 г. обсуждался в газетах в связи с прекращением приема на высшие женские курсы с мая этого года. Эта мера была фактически направлена на закрытие курсов.

Стр. 192. *...принцип <...> настаивал на поддержке крупного землевладения и того значения, которое оно должно иметь в уезде.*— Этот принцип составлял одну из основ политики самодержавия в 80-е годы (см. прим. к с. 238).

Стр. 198. *...в качестве пепиньерки...*— Пепиньерка — ученица из числа «бедных и способных воспитанниц», оставленная в институте по окончании его для подготовки, в так называемом «пепиньерском классе», к занятию места классной дамы.

Стр. 206. *«Фрейшютц»* («Freischütz» — «Вольный стрелок») — опера Вебера, на русской сцене шла под названием «Волшебный стрелок».

V. В СФЕРЕ СЕЯНИЯ

(Стр. 209)

Впервые — *ВЕ*, 1887, № 3 (вып. в свет 1 марта), с. 58—98, под заглавием «Мелочи жизни. IX. В среде публичности».

Сохранились рукописи ранней редакции всех четырех этюдов *(ИРЛИ)*. Первоначальное заглавие этюда «Газетчик» — «Газетчик Кубарев». Затем

фамилия «Кубарев» зачеркнута и заменена на «Непомнящий». Впоследствии обе фамилии были зачеркнуты карандашом.

Окончание работы над главой определяется письмом Салтыкова к Стасюлевичу от 26 января 1887 года: «Посылаю при сем, для мартовской книжки, 9-ю главу «Мелочей жизни». Будьте так добры уведомить меня о получении, а насчет «Газетчика» поступить как было условлено». По цензурным соображениям, вместо этюда «Газетчик» в журнале напечатано лишь его заглавие и четыре ряда точек. Впервые «Газетчик» был опубликован в *Изд. 1887*, несмотря на опасения Салтыкова, что он может привлечь внимание цензуры (см. письма Салтыкова к Стасюлевичу от 18 мая и 15 августа 1887 г.).

Журнальный текст отличается от рукописного дополнительной стилистической правкой и сокращениями. Приведем шесть вариантов рукописи [1].

Стр. 210, строка 15. После слов: «...приступаю к рассказу» —

Каким образом Савва Кубарев сделался обладателем большой и распространенной газеты — он сам хорошенько не мог себе объяснить. Прошлое его ничего в этом смысле не обещало. Был он беден, как Ир, и пробавлялся за умеренное вознаграждение фельетонцем в чужой газете. В обыкновенные дни сплетничал, лгал и клеветал; в большие праздники — настроивал себя на возвышенный лад. Так, в Рождество писал, что скоро начнется катанье на тройках; на масленице — что все равно, что в море купаться, то блины с икрою у Палкина есть; на Светлой неделе — что в городе уже начинают появляться признаки весны. Все это носило наименование остроумия и бойкости, и очень возможно, что деятельность этого рода длилась бы и поднесь, если б не вмешались совершенно неожиданные обстоятельства. Кубаревскую фельетонную деятельность заподозрили в вольномыслии, и автору ее совершенно случайно создали репутацию, о которой он и не мыслил. Пришлось из легкомысленного сделаться вольномысленным, и так как Кубареву терять было нечего, то он и стал с каждым фельетоном больше и больше «наяривать». Разумеется, наяривание не прошло ему даром.

Это было самое славное и в то же время самое тесное для Кубарева время. Ходил он осиянный ореолом, но куда ни обращался с предложением работы, всюду его признавали опасным. Это, конечно, льстило его самолюбию, но не пропитывало. Как вдруг одному из знакомых, принимавшему искреннее участие в постигшем его бедствии, пришло на мысль:

— А что, Кубарев, не хотите ли издавать газету?

— Как газету? — изумился Кубарев, словно с колокольни спрыгнул.

— Да, настоящую большую газету. Простыню. Вас знают, многие сожалеют об вас, пишете вы бойко и легко — вот и все, что требуется.

— Но ведь меня...

— И это можно устроить. Номинально газета будет выходить за маркой подходящего лица, а хозяином будете вы. Можно это и контрактом оформить.

— Но на газету ведь деньги нужны?

---

[1] Часть вариантов этюда «Газетчик» впервые опубликована В. П. Кранихфельдом в статье «Литераторы и читатели. (По неизданным рукописям Щедрина)».— «Утро юга», 1914, 27 апреля, № 97.

— И деньги будут. Главное, нужно пользоваться временем, покуда сочувствие к вам живо. Согласны?

Стр. 214, строка 7. После слов: «...великая держава» —

Стол для своего местопребывания он ставит посредине комнаты с таким расчетом, чтобы собеседник сидел напротив и можно было бы, в случае надобности, уклониться от возмездия, бегая кругом стола, пока не подоспеет помощь. В так называемые рабочие часы он облачается в соответствующий костюм и непременно надевает на голову шапочку: все французы-писатели так работают.

Стр. 218, строка 25. Вместо слов: «На другой день <...> забыл о вчерашнем» —

— Что такое с нашим «Фаустом наизнанку» сделалось? — недоумевают сотрудники, перешептываясь между собой.

— Так, *мехлюдия* какая-нибудь в голову вошла. Лишний раз убедился, что он знает, что ничего не знает, и что все его старые фельетоны — Nichts. Ничего, пройдет. Завтра же все требования будут удовлетворены, только надо его проучить. Сегодня я просил сто рублей, завтра — буду просить двести.

И действительно, завтра Непомнящий уж совсем другой человек.

Стр. 219, строка 8. Вместо слов: «направо и налево сыплют анекдотами из жизни своих бесшабашных патронов» —

видят в нем счастливого шалопая, который бесконечно надоел им своим хвастовством и лганьем, в некоторых разновидностях Непомнящего переходящим в бесцельную и бешеную злобу. Анекдоты об этих исчадиях лганья и злобы услаждают немногие досуги, которые достаются на долю сотрудникам в продолжение времени, посвященного на сформирование завтрашней газетной простыни.

Стр. 241, строка 3 сн. После слов: «...земские школы» —

Дело пошло бойко и весело. Губернатор обещал быть снисходительным, и очень любезно, хотя иронически намекнул, что ему не безызвестно, что Краснов в своей речи на живоглотовском обеде упомянул о беспочвенности бюрократии и о намерениях его объявить войну.

— Почтеннейший мой, Николай Николаевич, — сказал он, — поверьте, что и под нами, и под вами одна почва. И мы слуги, и вы слуги, ничего больше. Что касается до военных замыслов, то хотя я и не полководец, но уверен, что и первое сражение, и последнее останется за мной.

Стр. 250, строка 11 сн. После слов: «...на месте» —

Но это ничего; Афанасий Аркадьич в этом не виноват. Когда он возвещал об X., последний — клянусь вам — имел вполне несомненные шансы на успех, и даже начал подыскивать для себя новую, более обширную квартиру; но вдруг подвернулась графиня Твердоонто и все дело перестроила на свой лад. И даже подробности этой внезапной перемены теперь известны.

Текст *Изд. 1887* за исключением нескольких мелких стилистических поправок не отличается от журнального.

Стр. 209. *...данный журнал (по-нашему «газета»)...* — Словом «journal» во французском языке называется ежедневное периодическое издание, соответствующее русской газете.

Стр. 210. *Он сам в основу своей литературно-публицистической деятельности всегда полагал дразнение...*— Дразнение, то есть искусственное раздувание несуществующих, мнимых «злоб дня», Салтыков считал особенностью публицистики М. Н. Каткова.

Стр. 212. *Подписчик <...> приводит за собою объявителя.*— Объявления составляли немаловажную статью дохода и занимали, даже в «солидных» газетах, значительную часть их листажа. Так, например, вся первая и часть второй полосы «Московских ведомостей» были заняты объявлениями и лишь затем следовали «руководящие» передовицы Каткова.

Стр. 217. *Если бы был под рукою Мефистофель, он приказал бы ему потопить корабль с грузом шоколада.*— Салтыков иронически использует мотив из пушкинской «Сцены из Фауста», начинающейся словами Фауста, обращенными к Мефистофелю: «Мне скучно, бес»,— и заканчивающейся приказанием Фауста Мефистофелю утопить

Корабль испанский трехмачтовый,
Пристать в Голландию готовый:
На нем мерзавцев сотни три,
Две обезьяны, бочки злата
Да груз богатый шоколата...

...он начинает коллекционировать.— Салтыков отмечает характерное для нарождающейся русской буржуазии пристрастие к собирательству, приобретавшее, впрочем, в иных случаях и вполне серьезные формы (например, собрание П. М. Третьякова).

...находит чашу, из которой пил Олег, прибивая щит к вратам Константинополя.— Имеется в виду хрестоматийный эпизод русской истории: в знак победы над Византией в 907 г. воины Олега водрузили свои щиты на Константинопольских воротах (ср. в «Песни о вещем Олеге» Пушкина: «Твой щит на вратах Цареграда»).

...дорогими эльзевирами — Эльзевирами называются издания XVII в. знаменитой голландской фирмы «Эльзевир», высоко ценимые библиофилами.

Стр. 218. *...в Италию, где продается замок Лампопó с принадлежащим к нему княжеским титулом.*— Намек на русского миллионера-горнозаводчика П. П. Демидова, купившего в Италии за баснословную сумму титул князя Сан-Донато.

...о временном пребывании в нем Добрыни, или Осляби, или Яна Усмовича.— Названы герои русского былинного эпоса.

...на верху «крутой горы» <...> «знаменитый жил боярин по прозванью Карачун».— Слова песни Торопки из оперы А. Н. Верстовского «Аскольдова могила» (либретто М. Н. Загоскина).

Стр. 219. *...смотрит как на илотов...*— Илоты — замледельческое население Древней Спарты, находившееся в крепостной зависимости от государства. В переносном смысле — закабаленные, всецело зависящие.

Стр. 220. *Он думал пробить себе стезю особо от Непомнящего и с горечью увидел, что те же самые вопросцы и мелкие дрязги, которые с таким*

успехом разрабатывал Непомнящий, сделались и его уделом.— Указание на судьбу редакторов «солидных» газет, вроде «Русских ведомостей» В. М. Соболевского, вынужденного прибегать к услугам расторопных репортеров, подобных начинавшему тогда В. Гиляровскому, который вспоминал: «Я вел <после перехода в 1883 году из «Московского листка» Пастухова в «Русские ведомости»> городские происшествия и, в случае катастроф, эпидемий и лесных пожаров, командировался «специальным корреспондентом» на места происшествий, иногда очень далеко, даже на Кавказ, на Волгу и пр. <...>Благодаря тому, что я еще ранее изучал трущобы, я имел на Хитровом рынке своих агентов, которые мне сообщали сенсации — мне удавалось доставить такие сведения уголовного характера, которых даже и полиция не знала,— а это в те времена ценилось и читалось публикой даже в такой сухой газете как «Русские ведомости» (Влад. Гиляровский. Московские газеты в 80-х годах.— «Былое», 1925, № 6 (34), с. 125).

Стр. 223. *Когда Перебоев выступил в 1866 году на адвокатское поприще...*— Именно в 1866 г. началось практическое осуществление «Судебных уставов» 1864 г., вводивших состязательность судебного процесса.

...стоит обратить взоры на Запад...— Русская либеральная адвокатура руководствовалась в своей деятельности по преимуществу опытом адвокатуры французской (см. далее упоминание знаменитых французских адвокатов Шедестанжа и Жюля Фавра; ср. также в «Современной идиллии» того же Шедестанжа и Берье — т. 15, кн. I, с. 230 и 371).

Не мечтания и утопии должны руководить нашими действиями...— Отказ от принципов адвокатской деятельности, провозглашавшихся при введении в 60-х годах института присяжных и частных поверенных (адвокатов), отчетливо проявился в ряде громких дел середины 70-х годов (например, в деле Кронеберга), которые вели такие видные представители русской адвокатуры как В. Д. Спасович и П. А. Потехин. Обоснование такого отказа можно обнаружить в «Заметках о русской адвокатуре» К. К. Арсеньева. См. гл. V «Недоконченных бесед» и прим. к ней (т. 15, кн. вторая).

Стр. 224. *...цитата из Беккарии...*— Интерес Салтыкова к знаменитому сочинению итальянского просветителя XVIII в. Чезаре Беккария «О преступлениях и наказаниях» возник еще во время ссылки в Вятку (см. справку С. А. Макашина «Утраченные сочинения и наброски Салтыкова 1849—1855 годов» — т. 2, с. 549—550). Правовые концепции Беккария привлекали внимание русской печати, как специальной, так и общей, в начале 60-х годов в связи с подготовкой судебной реформы.

Стр. 227. *Износила ли башмаки Гертруда или не износила...*— Гертруда — мать принца Гамлета, ставшая женой короля Клавдия, убийцы ее первого мужа, не износивши башмаков, в которых шла за его гробом (из монолога Гамлета — Шекспир «Гамлет», акт I, сц. 2).

Стр. 237. *Красновы поняли <...> очищать помещичьи имения от грубиянов, переселять крестьян на новые места, записывать их в дворовые...*— Как уже отметил Салтыков во «Введении», помещичий произвол в годы,

непосредственно предшествовавшие крестьянской реформе, усилился (см. с. 31—34). Он выражался в ссылке «грубиянов» в Сибирь или отдаче в рекруты, в переселении крестьян на неудобные и мало плодородные земли, записывании их в дворовые, которые землей вообще не наделялись, и т. п. Помещики, которые «поняли», этим путем создавали для себя наиболее благоприятные условия проведения реформы, несколько далее характеризуемые формулой: «чтобы крестьяне сразу почувствовали, а помещики ничего не ощутили».

Стр. 238. *Он, во главе большинства комитета, написал проект <...> чтобы крестьяне сразу почувствовали, а помещики ничего не ощутили.*— Возможно, Салтыков пародирует указания, данные Александром II на заседании Главного комитета по крестьянскому делу 18 октября 1858 г.: «а) чтобы крестьянин немедленно почувствовал, что быт его улучшен; б) чтобы помещик немедленно успокоился, что интересы его ограждены...» (цит. по кн.: П. А. Зайончковский. Отмена крепостного права в России. М., 1968, с. 109).

...два радикала <...> подали свой проект...— Проект «радикалов» предполагал наделение крестьян землей с последующим ее выкупом в собственность крестьянской общины. Таким образом устанавливались две формы собственности на землю — помещичья (частная) и крестьянская (общинная). В этом духе и была осуществлена крестьянская реформа 1861 г., хотя крестьянский надел, подлежавший выкупу, значительно урезан (см. прим. к с. 61).

...я наделяю крестьян настоящей, заправской землей и потому на выкуп не согласен-с.— Проект «либерала» Краснова — в сущности последовательно крепостнический — сохраняет неприкосновенным помещичье землевладение, предполагая или полное обезземеливание крестьян (освобождение без земли, «наделение» крестьян землей лишь на правах аренды, но не выкупа), или выделение им так называемого «сиротского» надела (см. прим. к с. 306). По поводу стремления крепостников сохранить в своей собственности всю землю Н. П. Огарев писал в «Колоколе»: «Большинство помещиков не согласится не только на безвозмездное наделение землею, но едва согласится на выкуп...» (1859, лист 38).

...неудачный выбор мировых посредников...— Речь идет о так называемых «мировых посредниках первого призыва».

Стр. 239. *...на место отдельных сословных групп явится нечто всесословное <...> выступит на сцену «земля».*— «Землю», «земство» дворянские идеологи и политики рассматривали как учреждение всесословное, но при главенстве в нем дворянства. Таким земство и было на деле. По словам Ю. Самарина, «несмотря на всесословный характер новейших учреждений, фактическое первенство в них осталось все-таки за дворянами» (Ю. Самарин и Ф. Дмитриев. Революционный консерватизм. Берлин, 1876, с. 43). Так называемая «земля», противопоставляемая бюрократии, была, в сущности, не чем иным, как дворянской олигархией.

Стр. 240. *...Вы всегда были излюбленным человеком нашей губернии...* — Излюбленный — выбранный на какую-нибудь общественную должность (термин русского обычного права).

Стр. 241. *...наступила новая эра...* — то есть эра конституционного правления.

Любиму Торцову поручили наблюсти за кабаками и народною нравственностью... — Земская должность Любима Торцова вполне соответствует, хотя и в пародической трансформации, его роли в комедии А. Н. Островского «Бедность не порок»: пьяница, пропащий человек, он оказывается там носителем нравственного начала.

Стр. 243. *...умывальники горели как жар.* — О «лужении умывальников», как одной из немногих доступных земству сфер деятельности, Салтыков иронически писал еще в «Признаках времени» (см. т. 7, с. 25).

...крестьян уговаривает не давать приговоров на открытие питейных заведений... — Для открытия кабака в деревне необходим был так называемый «приговор», то есть согласие крестьянского общества.

Стр. 250. *...Перипатетик* — Салтыков в буквальном смысле толкует название, данное ученикам Аристотеля, потому что тот во время лекций и бесед прохаживался в Лицее со своими слушателями.

Стр. 252. *...Баттенберга будут возить.* — См. прим. к с. 14.

...принц Вильманстрандский! Принц Меделанский! — Возможно, намек на балканских «концертантов» — приближенного Александра Баттенберга Георгия Странского и короля Сербии Милана (Медиоланум — древнее название города Милана).

Стр. 257. *...приезд его в Петербург совпал с тем памятным временем, когда Северная Пальмира как бы замутилась.* — По-видимому, речь идет о конце 60-х — начале 70-х годов, когда, всего лишь спустя три года после покушения Каракозова на Александра II, в 1869 г. разыгралась так называемая «нечаевская история», и внимание общества было приковано к первым гласным политическим процессам — Нечаева и его сообщников (июль — август 1871 г.), затем — «долгушинцев» (июль 1874 г.).

Стр. 258. *...европейский концерт.* — См. прим. к с. 15.

Стр. 259. *...будет ли оккупация...* — В связи с тем, что образовавшееся после падения Баттенберга правительство Стамболова продолжало антирусскую политику, в печати проскальзывали намеки на возможность оккупации Болгарии русскими войсками. Стоилов, о котором говорится далее, был членом правительства Стамболова.

Стр. 260. *...как только француз немца в лоб, так мы сейчас австрияка во фланг.* — Бодрецов выбалтывает сокровенную суть русской внешней политики, как она складывалась с осени 1886 г. (см. прим. к с. 11).

VI. ПОРТНОЙ ГРИШКА

(Стр. 261)

Впервые — *ВЕ*, 1887, № 1 (вып. в свет 1 января), с. 30—60, под заглавием «Мелочи жизни. VII. Портной Гришка».

Сохранилась рукопись ранней редакции *(ИРЛИ).*

Рукописный текст отличается от журнального незначительными расхождениями стилистического характера.

При подготовке *Изд. 1887* в текст внесено несколько мелких стилистических поправок.

Стр. 284. *Тверская улица как будто присмирела, Кузнецкий мост — тоже, но зато в «Городе», на Ильинке, на Никольской...* — Тверская улица и Кузнецкий мост — аристократические районы Москвы, где были расположены богатые дворянские особняки и блестящие, главным образом французские магазины. «Город», или Китай-город,— часть Москвы между Красной площадью и Китайгородской стеной; «здесь производилась главнейшая московская торговля и были ряды и лавки, в которых продавались всевозможные необходимые товары...» (М. И. Пыляев. Старая Москва. СПб., 1891, с. 422). Через Китай-город проходили три оживленные торговые улицы, вливавшиеся в Красную площадь,— Никольская (ныне ул. 25 Октября), Ильинка (ныне ул. Куйбышева) и Варварка (ныне ул. Разина).

VII. СЧАСТЛИВЕЦ

(Стр. 289)

Впервые — *ВЕ,* 1887, № 6 (вып. в свет 1 июня), с. 615—639, с подзаголовком «Этюд».

Сохранилась рукопись ранней редакции *(ИРЛИ).*

Окончание работы над главой определяется письмом Салтыкова к Стасюлевичу от 27 апреля 1887 года: «Посылаю при сем статью мою, которую кончил раньше, нежели сам ожидал. Недоразумения прекратились, и работа пошла скоро. Нецензурного, кажется, нет, разве в конце, сейчас после второй черты. Ежели найдете нецензурности, то отчеркните — я исправлю, а всего лучше, ежели исправить по соглашению с Вами».

Рукописный текст, за исключением незначительных расхождений стилистического характера, не отличается от журнального.

При подготовке *Изд. 1887* текст подвергся мелкой стилистической правке.

Стр. 291. *...служить по выборам...* — то есть по выборам сословных дворянских учреждений, возглавлявшихся предводителем дворянства.

Стр. 296—297. *...кичились <...> воображаемою «независимостью»... удалялись от коронной службы...* — Коронная служба — служба в государственных учреждениях.

Отставные корнеты... — О сатирическом типе отставного корнета у Салтыкова см. т. 16, кн. I, с. 514.

Стр. 298. *...вынужден был оставить Петербург и удалиться в глубь провинции.* — Автобиографическая деталь: здесь и далее речь идет о ссылке Салтыкова в Вятку, последовавшей в апреле 1849 г.

Стр. 300. *...железный путь от Москвы до Петербурга был уже открыт.*— Петербургско-Московская (Николаевская) железная дорога была открыта в 1851 г.

...прибаутки Кокорева, его возню с севастопольскими героями <...> кутежи в Ушаках...— «В Крымскую войну <Кокорев> из своих рук поил водкой и кормил калачами ополченцев и всенародно кланялся им в ноги от лица благодарного отечества, что не мешало ему одновременно то же отечество опустошать посредством своих кабаков» (Вл. Михневич. Наши знакомые. СПб., 1884, с. 105). Ушаки — имение Кокорева.

Стр. 301. *...печать <...> повысила тон... провинциальная юродивость всплыла наружу <...> городничие, исправники и <...> начальники края не на шутку задумались... обращал на себя внимание возникавший «Русский вестник».*— Речь идет об оживлении русской общественной жизни после смерти Николая I, что выразилось прежде всего в некотором ослаблении цензурного гнета, появлении возможностей для обсуждения в печати некоторых политических вопросов. «Обличительное направление», образовавшееся в это время в литературе, обнаруживало и «обличало» русское провинциальное чиновничество («провинциальную юродивость»). Возникший в это время «Русский вестник» обращал на себя внимание прежде всего «Губернскими очерками» Салтыкова, в которых, в частности, были даны портреты «юродивых», то есть провинциальных чиновников (подробнее см. в т. 2 комментарий С. А. Макашина).

Стр. 301. *...совершенно либеральный цензор...*— «Русский вестник» цензуровал Н. Ф. фон Крузе.

Мельмот-Скиталец — герой одноименного романа английского писателя-романтика Ч.-Р. Мэтьюрина.

Стр. 304. *...до вожделенного 3-го пункта...*— Третий пункт закона от 7 ноября 1850 г. позволял увольнять неспособного чиновника без объяснения причин и права возвращения на службу.

Стр. 305. *Явления, имевшие совершенно частный характер, обобщались...*— Речь идет об использовании реакцией таких, по Салтыкову, «частных» фактов, как петербургские пожары в 1862 г., выстрел Каракозова, нечаевское дело и т. п. в целях отказа от реформ, для наступления на печать и литературу, для шельмования интеллигенции.

В прессе, рядом с «рабьим языком», народился язык холопский <...> смесь наглости, лести и лжи...— «Рабьим», «эзоповым» языком как средством обсуждения насущных проблем современности вынуждена была пользоваться демократическая печать, и прежде всего сам Салтыков. От «рабьего языка» принципиально отличается язык «холопский», то есть язык публицистики реакционной, претендовавшей на руководящую политическую роль и вместе с тем пресмыкавшейся перед самодержавной властью. Это был язык Каткова и Вл. Мещерского.

Стр. 306. *...ни один помещик не продал ни пяди занадельной земли <...> господствовал преимущественно сиротский надел...*— Зана-

дельная земля — помещичья, оставшаяся за наделением землею крестьян. Мелкопоместные и частично среднепоместные землевладельцы, не имея средств и навыков для ведения хозяйства в новых, пореформенных условиях, продавали свою занадельную землю. Сиротский надел — минимальный надел, установленный «Положением 19 февраля»; составлял одну четвертую часть урезанного «высшего надела». Сиротский надел не мог обеспечить крестьян средствами к существованию, вновь закабалял их помещику.

Стр. 309. *...он познал свет истины.*— Речь идет о распространившемся в дворянских кругах середины 70-х годов религиозном сектантстве, в частности, редстокизме, аристократической секте, получившей название по имени ее основателя, проповедника лорда Редстока.

VIII. ИМЯРЕК

(Стр. 313)

Впервые — *ВЕ,* 1887, № 4 (вып. в свет 1 апреля), с. 518—530, под заглавием «Мелочи жизни. Заключение. X. Имярек».

Сохранились *(ИРЛИ):* 1) Рукопись ранней редакции, без эпиграфа и под заглавием «Оброшенный. (Притча)»; 2) Наборная рукопись рукой Е. А. Салтыковой, с исправлениями и вставками автора. Под заглавием «Оброшенный. Больные грезы больного человека».

Окончание работы над главой определяется письмом Салтыкова к Стасюлевичу от 24 февраля 1887 года: «Посылаю при сем заключительную главу «Мелочей». Очень возможно, что она покажется Вам нескладною, но прошу Вашего снисхождения. Во-первых, необходимо покончить с «Мелочами», во-вторых, вероятно, это последнее, что я пишу».

Рукопись ранней редакции содержит ряд вариантов, частично или полностью вычеркнутых в наборной рукописи. Приведем наиболее существенные из них.

Стр. 322, строка 25. После слов: «...Имярек всецело отдался ей» —

Он забыл, что ее искони практиковали иезуиты (разумеется, в своем смысле), что русский прогресс так незаметен, что никаким доказательством служить не может.

Стр. 322, строка 29. После слов: «...одной только ловкости» —

Только одна жертва и представлялась необходимою: наплевать самому себе в лицо. Да и то лишь при самом вступлении на арену вождения за нос.

Стр. 323, строка 23. После слов: «...свойственный каждому шустрому канцеляристу» —

Словом сказать, фазис, которого неизменность и ограниченность сама собой бросалась в глаза. Ясно также, что самым подходящим воздаянием, на которое можно было надеяться, за деятельность, в основании которой лежала подобная подкладка, было забвение ее.

Но о заслуге, конечно, и речи быть не могло.

Сличение рукописей с первопечатным текстом позволяет установить также авторскую правку в несохранившейся корректуре. Так, вместо части текста от слов: «прошлому, тем явлениям, которые кружились около него...» (с. 316, строка 18) и кончая словами: «...перед ним вставали картины веселых собеседований и прочих» (см. 317, строка 23 св.) — в рукописи ранней редакции было:

определению выражений, характеров и явлений, к которым он прежде относился ежели не безразлично, то и без особенной тревоги. Что такое «друг», «дружба»? — Этот вопрос занимает его очень живо, потому что он ближе всего связан с одиночеством. Затем, что представляют собой люди, среди которых он жил? что представляет его собственная личная жизнь? в чем состояли идеалы, которыми руководились его сверстники? какими идеалами руководился он сам? И т. д.

Однажды, когда он жаловался на свою оброшенность, некоторый несомненно проницательный человек сказал ему:

— В этом нет ничего удивительного. В сущности, у Вас никогда не было друзей.

В первую минуту это откровение поразило его. Как, не было друзей? А X, а Y, а Z — разве это не друзья? И тут же, одна за другой, перед ним вставали картины дружелюбия, хлебосольства, веселых собеседований, смеха и прочих

Часть этого текста («руководились его сверстники <...> Разве это не друзья. И тут же») в наборной рукописи зачеркнута, и вместо нее рукою Салтыкова вписан известный по журнальной публикации текст: «Были ли когда-нибудь у него друзья? <...> со всех сторон» (с. 317, строка 18).

При подготовке *Изд. 1887* в текст внесено несколько мелких стилистических поправок.

Стр. 313. *О поле, поле кто тебя усеял мертвыми костями?* — строки из поэмы Пушкина «Руслан и Людмила».

Прародитель, лежа в проказе на гноище... — В рукописи было: «Прародитель Иов...» Таким образом, источником этих строк Салтыкова оказывается библейская Книга Иова, повествующая о несчастьях и болезнях, которыми бог поразил праведника Иова с целью испытать его.

Стр. 315. *...что у нас в сферах делается...* — то есть на верхах бюрократической власти.

Стр. 318. *...«сцены из народного быта» рассказывают <...> Иван Федорович Горбунов...* — Актер и писатель И. Ф. Горбунов был создателем особого жанра устных рассказов на темы из мещанской и крестьянской жизни (неоднократно издавались под названием «Сцены из народного быта»).

...тайный советник Стрекоза — сатирический персонаж, появляющийся, чаще всего эпизодически, на страницах многих произведений Салтыкова.

Стр. 319. *...«на теплых водах»...* — то есть за границей.

Стр. 320. *Недаром Некрасов называл «блаженным» удел незлобивого поэта, но и недаром он предпочел остаться верным «музе мести и печали».* — Салтыков вспоминает два стихотворения Некрасова: «Блажен, незлобивый поэт...» и «Замолкни, Муза мести и печали!».

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ ИМЕН И НАЗВАНИЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ[1]

[1] В указатель входят личные имена и названия периодических изданий, имеющиеся как в текстах Салтыкова, так и в примечаниях. В первом случае цифры, указывающие страницы, набраны прямым шрифтом, во втором — курсивом. Римскими цифрами указаны первая и вторая книга тома. Имена и названия, упоминаемые только в библиографическом аппарате, в указатель не введены, за исключением статей и книг о Салтыкове.

Указатель составила А. М. Малахова.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕЛОЧИ ЖИЗНИ

Михаил Евграфович

САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

Собрание сочинений, т. 16, кн. 2

Редактор *С. Розанова*

Художественный редактор
С. Данилов

Технический редактор
Л. Титова

Корректоры *Г. Киселева*
и *О. Неренкова*

Сдано в набор 15/III 1973 г. Подписано в печать 5/V 1974 г. Бумага № 1. Формат $60 \times 90^{1}/_{16}$. 24,5 печ. л. 24,5 усл. печ. л. 24,66 уч.-изд. л. Тираж 52 500 экз. Заказ 2233. Цена 1 р. 54 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Ленина типография
«Красный пролетарий».
Москва, Краснопролетарская, 16.